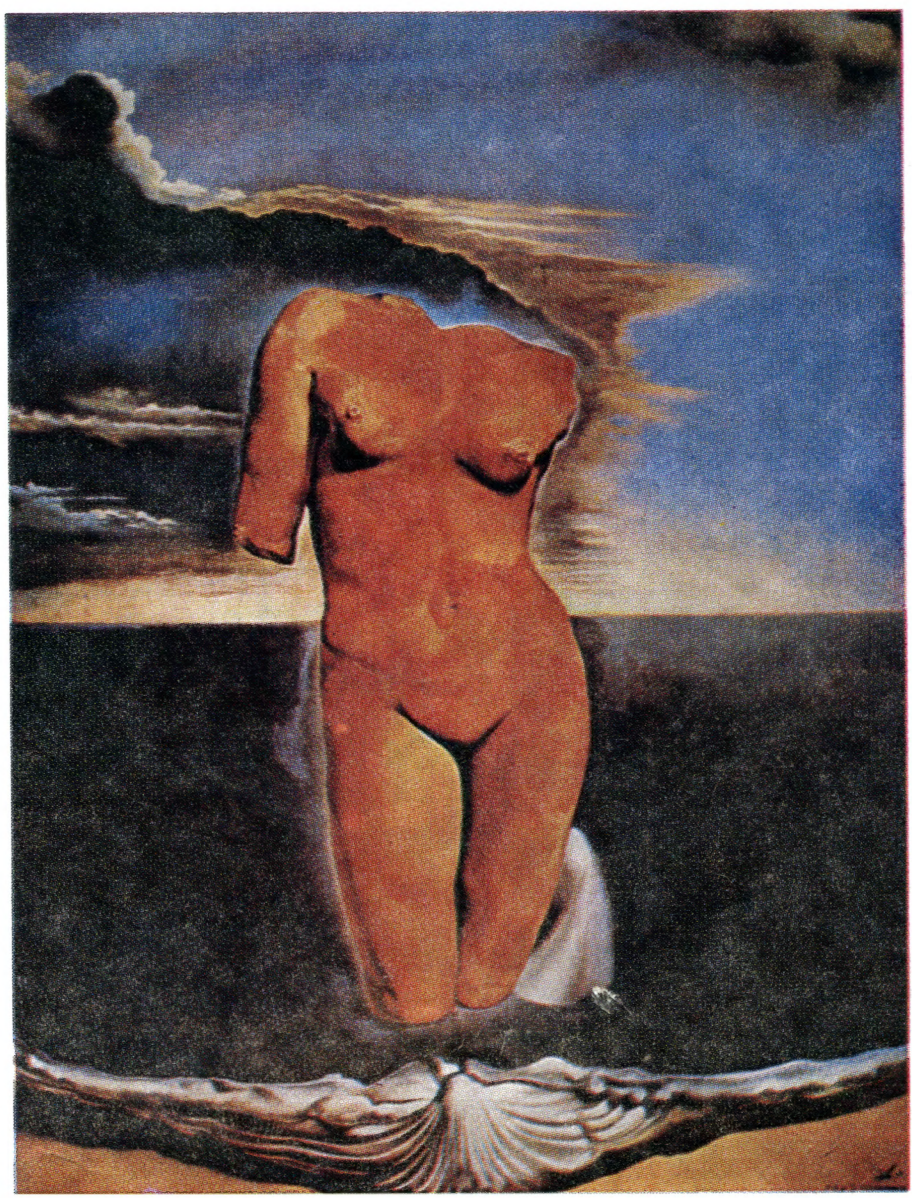
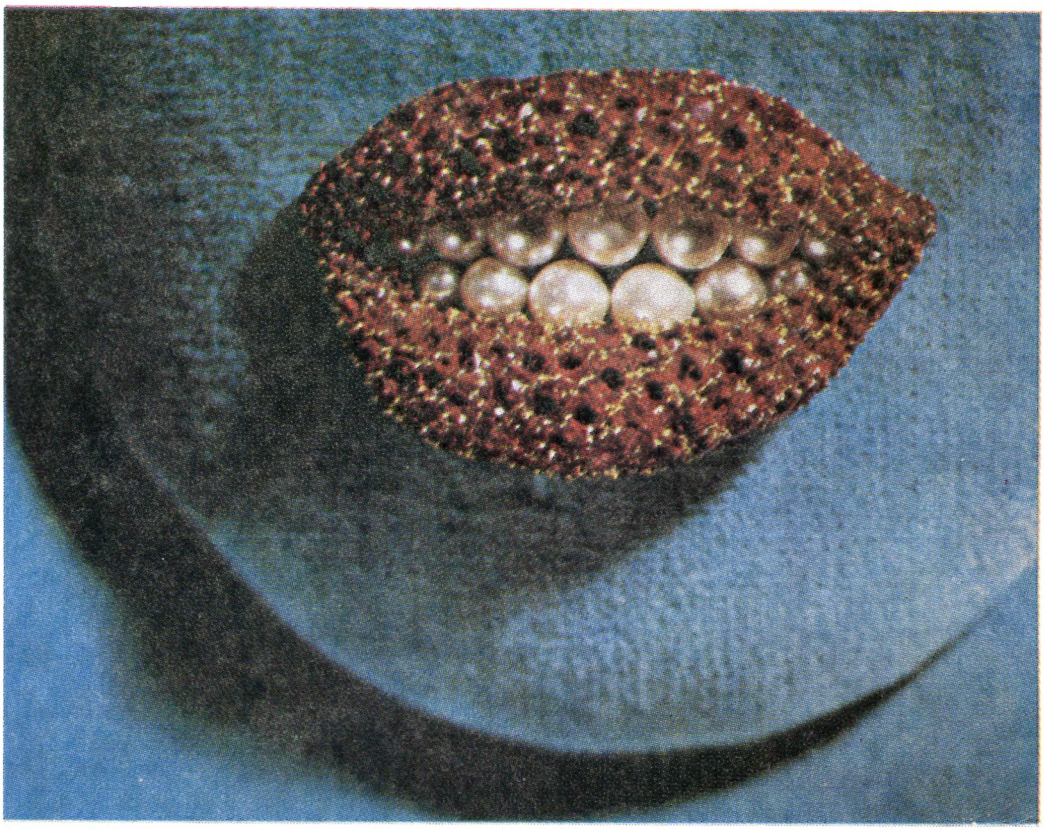
ISSN 0130–6545

12. 1988

Иностранная литература





Рот

На 1-й и 4-й страницах обложки —
Носорожья гусиная плоть
Сон

Цветные иллюстрации номера — работы испанского художника Сальвадора Дали

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ
ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЖУРНАЛ

■

ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР

■

ИЗДАЕТСЯ с 1955 ГОДА
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ИЗВЕСТИЯ». МОСКВА

12 декабрь 1988

Содержание

ФРАНЦ ФЮМАН — Два рассказа на античные сюжеты *(Перевод с немецкого Т. Холодовой, И. Кивель)* 3

ГЕНРИХ БЁЛЛЬ — Под конвоем заботы *(Роман. Перевод с немецкого М. Рудницкого. Окончание)* 20

ГЕОРГИОС МОЛЕСКИС — Стихи *(Перевод с греческого Евгения Долматовского)* 108

ПАТРИК МОДИАНО — Смягчение приговора *(Перевод с французского Т. Ворсановой)* 111

Из французской поэзии

Наши гости из «Аксьон поэтик». АНРИ ДЕЛЮИ ЭММАНЮЭЛЬ ОКАР, МАРИ ЭТЬЕН, ОЛИВЬЕ КАДЬО *(Вступление Тамары Балашовой. Переводы с французского Натальи Стрижевской, Мориса Ваксмахера, Ирины Кузнецовой)* 142

АКИЛЛЕ КАМПАНИЛЕ — Бедный Пьеро *(Комедия в трех действиях с прологом. Перевод с итальянского Ф. М. Двин)* 156

Публицистика

ЛИ ЯКОККА (при участии Уильяма Новака) — Якокка: автобиография *(Фрагменты книги. Перевод с английского И. Гуровой)* 174

Писатель и время

«Не подводя итогов». По страницам польской прессы: Збигнев Сафьян, Роман Братны, Ежи Яжембский, Тадеуш Конвицкий *(Составление и перевод с польского Тамары Чугановой)* 207

Критика

Л. КОПЕЛЕВ — О Генрихе Бёлле 218

Навстречу нашим публикациям

Т. С. ЭЛИОТ — «Улисс», порядок и миф *(Вступление Е. Гениевой. Перевод с английского Ю. Комова)* 226

Антирубрика

Научно-фантастические рассказы

РОБЕРТ ШТЕФФЕН. ДЖОРДЖ ЭЛЕК ЭФФИНДЖЕР *(Перевод с немецкого Ростислава Рыбкина, с английского — Н. Емельянниковой)* 229

Читальный зал

АЛЕКСАНДР НИЛИН — Читатель входит в роман 237

Из месяца в месяц

241

Содержание журнала «Иностранная литература» за 1988 год, № 1—12

249

Авторы этого номера

254

ФРАНЦ ФЮМАН

Два рассказа на античные сюжеты

С немецкого

«Миф — это и зародыш, и варианты его развития. Естественное продолжение жизни мифа — во все новых художественных прочтениях. Превращаясь в нечто застывшее, раз и навсегда данное, миф погибает. Верность мифу требует неверности по отношению ко всем его предыдущим трактовкам, это звучит парадоксально, но в свое оправдание сошлемся на то, что в мифе непременно таится противоречие...

«Ну хорошо,— слышу я чье-то настойчивое возражение,— а какая нам польза от его противоречий, чему научит нас твой миф?»

На это имеется ясный ответ: в смысле повторения набивших оскомину истин пользы от него совершенно никакой, но миф несет нам нечто иное, нечто несравненно иное: он дает возможность соизмерить свой индивидуальный опыт, от которого в общем-то толку немного, с моделями опыта общечеловеческого».

Эти слова взяты из доклада «Мифический элемент в литературе», прочитанного перед студентами Берлинского университета имени Гумбольдта одним из самых известных писателей ГДР, лауреатом многих национальных премий Францем Фюманом. Как явствует из автобиографических свидетельств писателя, сказки, легенды и мифы были не только его любимым чтением в детстве, но сопровождали его всю жизнь, а в последние два десятилетия теоретическое и художественное осмысление и переосмысление античной, скандинавской и германской мифологии стали его главной творческой задачей.

Вольные художественные переработки мифов, легенд, народного эпоса, а также сказки, сочиненные им самим, составили два больших тома в собрании сочинений Ф. Фюмана.

Ниже мы публикуем два рассказа на античные сюжеты, представляющие творчество «позднего Фюмана», Фюмана-«мифотворца».

Нефела

Аполлодор, Эпитома 1,20
Пиндар, 2-я Пифийская ода

Нефела — это та, которую сотворили для Иксиона, разделившего с ней ложе, а Иксион — это тот, кто дерзнул домогаться любви Геры, супруги Зевса. Его история окончена; история Нефелы не окончится никогда.

Иксион был царь лапифов, дикого, необузданного народа на северо-востоке Фессалии, который вел беспрерывные войны с соседними, к югу от него, племенами. Прародителем Иксиона был бог войны Арес, отцом — царь Флегий, тот самый нечестивец, который сжег святилище Аполлона в Дельфах. «Флегий» означает «полыхающий», он вполне оправдывал свое имя: был свиреп с врагами, опустошал их земли; жестокий нрав, который Флегий унаследовал от Ареса, перекинулся, подобно неистовому желтому пламени, и на его отпрыска Иксиона.

Как-то раз, когда Иксион преследовал шайку разбойников в землях отдаленного горного царства, размером не шире и не длиннее

© VEB Hinstorff Verlag, Rostock, 1985

долины, ему случилось увидеть Дию, дочь царя Деионея, «ту, что с неба», как подсказывало ее имя. И она увидела Иксиона, когда в полдень, за ивами, омывала свое стройное тело под серебряными струями дождя, будто явившись из облака. Она спокойно мылась, словно ей и дела не было до того, что кто-то мог ее увидеть, а потом скрылась во дворце. Вечером перед трапезой Иксион снова встретил ее — в одеждах из белоснежной пены облака, над которой чернели как ночь волосы и глаза. Иксион схватил ее за руку; она засмеялась. «О ты, что с неба»,— сказал он, и она засмеялась в ответ: «Ах, меня только зовут так!»

Ночью Иксион увидел ее во сне и во сне же почувствовал, как разверзлась небесная бездна и благоуханная серебряная волна излилась на его ложе.

Наутро он просил Деионея отдать дочь ему в жены. Она уже была обещана другому. Иксион решил похитить ее, но что-то в облике Дии, какая-то естественная чарующая прелесть останавливали его; к тому же и воинство его ослабло. Он посулил за невесту богатые дары, какие тестю еще никто не предлагал, и дорогой выкуп за отвергнутого жениха, и когда он пообещал сверх того еще три слитка железа, многоценного, серого, ковкого железа, горный царь согласился отдать ему дочь. Дию не спрашивали, но замена жениха, казалось, обрадовала ее или во всяком случае не огорчила; впрочем, утверждать это с уверенностью мы не можем. Уже на седьмой день сыграли свадьбу, и Гере, охранительнице брачных союзов, была принесена в жертву корова, невинное животное с белой метинкой на лбу.

Та, что с неба, оправдала свое имя и в эту ночь, когда полная луна осветила опочивальню, ничто на земле не могло сравниться с нею.

Иксион не стал больше преследовать разбойников и отправился вместе с Дией в свое царство. Она ехала впереди — светлое облачко, летевшее по земле средь черных елей.

Лапифы бросились ей в ноги.

— Она с неба,— сказал Иксион.

Но едва он вступил в пределы своего дворца и своды сокровищницы гулко задрожали, отзываясь на его шаги, он пожалел об обещанных дарах, а когда полная луна, совершив свой путь по небосклону, вновь осветила, как и в первую ночь, брачное ложе, Иксион счел, что Дия, хотя и стоила того, чтобы ее похитить, однако не стоила тех даров, которые он посулил за нее.

Почему бы ему теперь не украсть сошедшую с неба?

Деионей ждал обещанного выкупа: ждал все лето и осень и каждый месяц посылал гонцов напоминать о нем, и те, возвратившись, докладывали, что зять-де помнит об обещанном и дары, им приготовляемые, превзойдут все ожидания. Зимой дорога была непроезжей. Но вот, когда стаял снег и путь наладился, лапифский герольд принес наконец весть, что царь Иксион зовет забрать дары, кои уже погружены на специально сработанные колесницы, двухосные, числом в шесть и размером с женский покой, и шесть коней впряжены в колесницы, а в них сокровища из серебра, золота и бронзы. Он посылал также сердечные приветы от Дии: мол, царица горит желаньем расцеловать своего отца после долгой разлуки.

Это побудило Деионея самолично отправиться в путь, не то он, втайне испытывая все же недоверие к Иксиону, отправил бы своих людей. Итак, царь сел в колесницу и, сопровождаемый многоопытнейшими возницами, покатил по угрюмой местности, поросшей черными елеями, фессалийской равнине — ко дворцу, который виднелся еще издалека и своими вознесшимися кверху каменными стенами напоминал скорее чертог бога, нежели жилище смертного.

Дворец был окружен двойной стеной; Деионей въехал в распахнутые ворота, сперва Бычьи, затем в Солнечные, высеченные из гро-

мадных каменных плит; во дворе он остановился и по гравийной дорожке, что вела прямо к царским палатам, направился к хозяину. Он сделал всего несколько шагов. Дорожка под ним вдруг провалилась, и Деионей рухнул в яму — в одну из искусно замаскированных волчьих ям, в сооружении коих лапифы отличались необыкновенным мастерством. На дне ямы был затаен огонь; Деионей корчился в ужасных муках, испуская дикие вопли, а Дия, слыша крики отца, доносившиеся через стены палат, стала седой за одну ночь. Свита гостя была умерщвлена стрелами в узком коридоре между стенами, у самых ворот, там уже была вырыта и яма — могила, принявшая их, и эта могила, и сам царь, извергающий вопли-проклятия, были поспешно закиданы еще свежей землей.

Содеянное переходило все границы. То, что один царь убивал другого, было в порядке вещей, здесь же было убийство отца сыном и гостя хозяином, и ни один из эллинских народов, даже варвары-фракийцы, не слыхал дотоле о подобном злодеянии. В более поздние времена и такое стало привычным. Заслышав проклятия, летевшие из огня, Эринии, обитавшие в царстве Аида, снялись с места и решили, еще в пути, поразить Иксиона безумием.

Они настигли его в тот момент, когда он шел к Дие; его дружина тем временем пересекала равнину, направляясь к царству Деионея, с тем чтобы завладеть его сокровищами. Почему Иксион шел к Дии, к той, что облеклась в нарядные одежды в день приезда отца, которого так ждала и который был теперь так подло убит? Просто ему этого захотелось, как перед тем захотелось насыпать в яму горящих углей. Праздная жестокость. Ему захотелось сжечь в огне алчного сребролюбца. Теперь, когда это желание было утолено, ему захотелось пойти к сошедшей с неба; он шел к ней и не видел этих трех, внезапно заступивших ему дорогу черных сестер в серых одеждах, с кроваво-красными поясами и извивающимися как змеи волосами. Тисифона, взмахнув бичом из живых гадюк, хлестнула злодея по лбу и глазам, яд просочился в его мозг, и он увидел пепел волос Дии и ее глаза — два горящих угля и в тот же миг почувствовал, как пламень объял все его члены. Он с криком ринулся во двор, взывая к небу, чтобы оно пролилось дождем, но небо сияло ослепительной голубизной. Алекто подстрекала сестер сечь злодея бичами до тех пор, пока он не бросится в воду и не утопится, однако Мегера укротила ее пыл: пусть Иксион потеряет рассудок, но пусть он осознает это и испытывает муки.

Яд уязвил его мозг, и ежедневно в час убийства слух Иксиона поражал ужасный рев и шипение змей, напоминающее шипение кипящей крови.

Иксион корчился в муках и знал, что это возмездие.

Очищение от скверны убийства избавило бы его от страданий, но сколько он ни молил, обходя алтари и дворы, сколько ни предлагал сокровищ — серебра, золота и железа в слитках, многоценного, серого, ковкого железа, ни один из богов и ни один из людей не решился дать ему искупление: все боялись сестер, богинь мести, а иные опасались, что Иксион обманет их, так же как обманул царя Деионея. Тогда Иксион вознес мольбы к Зевсу: неужто его грех столь тяжек, что даже он, всемогущественный властитель, в руках которого судьба людей — счастье и несчастье, добро и зло,— уже не властен позволить ему искупить этот грех? Ужели царь богов только прислужник сестер с извивающимися как змеи волосами, этих обительниц отвратительной преисподней? Разве Зевса не чтят как отца, который даровал людям искупление, чтобы заведенный им порядок мира был незыблем? Ведь невозможность искупления покажет всем, что этот порядок не так уж прочен!

Зевс благосклонно внимал его речам; они свидетельствовали о царственности духа, к тому же Иксион был прав: невозможность

искупления ставила под сомнение порядок, который установил над миром он, Зевс. Нет, он не даст Эриниям насмехаться над собой. А посему Зевс спустился с Олимпа и очистил Иксиона в Пенее, и кровь сотни белых свиней вместе с живой водой реки смыла кровь гостя Иксиона с его рук. Более того, Зевс пригласил искупленного, в знак очищения и чтобы все о том знали, к себе на трапезу.

Так Иксион оказался за пиршественным столом Державного; он сидел среди богов, и смотрел на Геру, и никого, кроме нее, не видел.

Мы-то хотели рассказать о Нефеле; однако этого нельзя было сделать раньше, поскольку ее до сих пор не существовало. И вот она возникла — пока как замысел в голове Зевса. Гере ничего не нужно было говорить супругу: Зевс видел, как Иксион пожирает ее глазами — ту, что действительно была с неба.

Такой, и только такой, представлял он себе ее: ту, что с неба.

Когда-то он пленился земной, которая звалась «та, что с неба», когда-то он был очарован Дией, но теперь Иксион, завороженный Герой, уже не помнил этого, не думал о поседевшей Дии: та, что с неба, была здесь, она сидела напротив него, и никого, кроме нее, не существовало. Его восхищало не что-то особенное в ней; он, словно ослепленный ярким солнцем, видел лишь смутные очертания ее фигуры, растворявшиеся в ореоле, который сиял вокруг нее, который и был, в сущности, ею, хотя только окружал ее. Особенное исчезало в этом сиянии, оно не являлось совокупностью ее черт или, наоборот, как раз являлось их совокупностью; оно возникало не из совершенства форм, которые созерцал трезвый взор, а из представления, мечтания о чем-то небесном, о божественном; идея возобладала над телесным, и телесное теперь виделось только через эту идею. Иксион смотрел на эту величественную, державно сидевшую на троне фигуру, которая казалась загадочно сияющей плотью; он еще видел соразмерно полные лучезарные округлости ее груди под тканью цвета слоновой кости, но он уже не видел струящихся поверх ткани от шеи и до лодыжек узких красных лент — словно застывший отпечаток вен, по которым текла ее незримая божественная кровь. Он еще видел откинутую фату, но уже не видел ее искусно уложенных дивных волос, которые обрамляли ее лицо, безупречно прекрасное, вечно юное: этот высокий лоб, эти нежно округлые ланиты, эти уста — словно бы расколотый на две половины гранат, и эти карие очи, широко раскрытые, влажно мерцающие огнем глаз ее священного животного, коровы. Он не видел этого лица, этой шеи, этих рук, которые обнажались из сбегавших волнами складок ее одежд, этих спокойно двигающихся рук, которые держали чашу и кубок, словно это был гранат ее славы. За ней — сияющее золото трона. Иксион сидел между ее сыновьями — искусным Гефестом и кровожадным Аресом, от которого вели свой род лапифы, но ему, их царю, и в голову не приходило перекинуться словом со своим прародителем; он сидел за столом царя богов, пил нектар и вкушал амврозию, как пила и вкушала Единственная, и Геба подносила ему кубок и чашу, как подносила и Единственной, той, от которой он совсем потерял рассудок. Зевс снисходительно взирал на Иксиона. Когда он во второй раз пригласил Иксиона, тот после трапезы не сразу спустился с небесных высей. Он, словно ослепленный, притаился у опочивальни Зевса, непроницаемой, с высокими сводами залы, и стал ждать, когда пройдет та, которая делила ложе с верховным богом,— ведь больше всего его влекли именно эти покои, исконно принадлежавшие Державному, он хотел быть там, следовательно, он хотел быть самим Зевсом.

Иксион никогда не признался бы в этом даже самому себе: ведь он томился по этой груди и по этим устам.

Иксион поведал Гере о своей страсти. Она молча выслушала его признания и рассказала обо всем Зевсу.

Для Зевса это не было неожиданностью.

Тогда он и сотворил Нефелу — вопреки воле Геры. Ей противен обман, говорила она; ей претит сама мысль о том, что на Олимпе может появиться существо, подобное ей, Гере; она даже грозилась навсегда покинуть дворец. Зевс, однако, настоял на своем. Он взял немного вещества, из которого состоят облака, и вылепил из него образ, во всем сходный с Герой: этот рост, эту грудь, эту голову, эти руки, даже эту стать, эту поступь и это дыхание — все как у Геры, только это была не Гера. Увидев Нефелу, она не могла скрыть возмущения: Зевс уподобил ее гулящей девке, годной на потребу ничтожному рабу.

Зевс засмеялся: «Я же знаю твою верность!»

Ей послышалась насмешка в этих словах, и она почувствовала его ненависть, которая свидетельствовала о его бессилии; Зевс насмехался над верностью Геры, присущей ей, но отнюдь не ему, хотя именно ее верность позволяла ему быть тем, кем он был. Так насмехается огонь над поленом, которое питает его. Гера была верна вовсе не из страха или принуждения, и он знал это и чувствовал себя от этого еще более свободным, он — всевластный, устанавливающий и отменяющий закон по собственному усмотрению, поскольку его самого закон не связывал ни в чем, даже если речь шла о брачных узах. Он карал за клятвопреступление и сам приносил ложные клятвы; он карал за нарушение верности и насмехался над верностью, когда дело касалось его самого. Когда-то он домогался любви Геры, она владычествовала тогда над Аргосом и Критом; она сидела на троне, а он лежал у ее ног; в ту пору она признала в нем Единственного, только с ним она могла быть самой собой, равно как и он только с ней был самим собой. Это уже потом он сковал ее цепями и повесил над Тартаром, привязав к ступням наковальни.

Но теперь это в прошлом; ныне — насмешка, ненависть. И еще хитрость.

Гера не желала больше смотреть на Нефелу, на свое до смешного бесстыдное зеркальное отражение, на это существо, сотворенное, чтобы свершилось то, чего Гера сама никогда не сделала бы, хотя и испытывала порой тайный соблазн.

Теперь эта бездна, которая манила ее, разверзлась, приняв обличье Нефелы. Если бы не Зевс, стоявший между ними, она бы набросилась на ту, что казалась Герой, не будучи Герой, и созданная, чтобы жить смертоносными желаниями Геры, была ничто против Геры и в то же время больше чем Гера.

— Это будет позором для меня, если он сойдется с ней, хотя она только мое подобие,— сказала Гера после некоторого раздумья,— а мой позор падет и на твою голову.— Она сказала это в надежде урезонить Зевса, и он как будто бы внял ей — насторожился, но потом вдруг рассмеялся: он почувствовал ревность в словах Геры, ревность и неосознанную зависть, и сказал, небрежно кивнув в сторону Нефелы:

— Уж не эта ли сотворенная мной тучка лишит меня чести, то есть сделает то,— Зевс вдруг стал серьезным,— что непосильно даже сестрам-мстительницам?

Нефела стояла рядом — подобие Геры и в то же время существо иного свойства. Она не понимала ничего из того, что говорили эти двое; их речь напоминала плеск волн, дуновение ветра, и смех мужчины был подобен журчанию освежающей струи. Она не знала ни своего имени, ни лица и, следовательно, не могла знать, что она — отражение Геры. Ей казалась прекрасной та, что стояла рядом с мужчиной, в котором она тотчас угадала Повелителя. Кто была Гера — об этом она не задумывалась, она вообще ни о чем не думала: то, что ей надо было знать, ей дано было знать, все остальное придет позднее. Зевс приказал облаку принять облик его супруги, вместе с

тем он наделил свое создание чувственностью, присущей всякой женщине. У Нефелы была грудь Геры, кожа Геры, чресла Геры, однако неразбуженная чувственность, которая дремала в ней, была ее, и эта грудь, и эта кожа, и эти чресла были тоже ее. Она чутьем угадала в этой прекрасной женщине свою соперницу, и Гера чувствовала враждебность Нефелы, чувствовала физически, как своего рода зуд, Гера вдруг поняла: это создание испытывает влечение к Зевсу как к мужчине. Зевс видел, что происходит между ними, двумя подвластными его воле существами; видел эту борьбу, этот град незримых стрел, посылаемых друг в друга двумя женщинами, как в зеркале отражавшимися одна в другой, и это несказанно забавляло его: такой игры он еще никогда не затевал. Чем она кончится? Посмотрим. Он стоял между ними, схожими как две капли воды существами, и одним из них была его жена: если бы он не знал наверняка, как сейчас, которую из этих двух женщин он сотворил и которую взял в жены,— сумел бы он их различить? Он вдруг почувствовал желание заключить обеих в объятия и обеих увлечь на свое ложе. Он раскинул руки, желая обнять и ту и другую, но одна подалась к нему, другая отпрянула.

Гера поняла, что ей не следовало говорить Зевсу о своей чести: ведь его чести при этом ничто не угрожало. С какой насмешкой он сказал: разве тучка может лишить его чести? И вот теперь он держит руку Нефелы в своей, словно бы в предвкушении любовного наслаждения. Гера испытывала отвращение.

— Пусть всего только тучка,— сказала она,— но ведь люди будут говорить.

Зевс воззрился на нее: о чем это она?

— Иксион станет похваляться перед смертными, что разделил ложе с супругой Зевса, и те, на земле, поверят, ибо откуда им знать правду?

Зевс все еще держал руку Нефелы, но взгляд его был устремлен на Геру, на ее тело.

Она не выдерживала долго его взгляда, словно бы небрежного и вместе с тем намеренно уязвляющего,— взгляда, каким он смотрел только на нее, на ту, в которой всегда чувствовал сопротивляющееся ему достоинство. Хорошо, тучка — его создание; пусть Зевс поступает с ней как хочет; но Гера отомстит его любимцу: горе Иксиону, если только он посмеет заключить эту тучку в объятия! Она уже желала, чтобы он сошелся с Нефелой, и чтобы принял ее за Геру, и чтобы смертные узнали об этом, и чтобы их смех уязвил Зевса; да, теперь она желала этого.

Но оставаться здесь больше не могла.

Его взгляд Гера не выдерживала долго. Она повернулась и пошла на Крит, на Иду, в любимый храм, где она сидела когда-то на троне, а он лежал у ее ног. Зевс не удерживал ее. Нефела сияла от счастья.

Когда пришло время трапезы, Зевс посадил Нефелу на место Геры; ее чувства подсказывали ей, что она должна делать: она знала, что Зевс — Повелитель, и видела, что соперница освободила ей трон. Никто из богов не заметил подмены.

Зевс привел Нефелу в покой, схожий с его опочивальней. Она думала, что он ляжет рядом с ней на ложе, но он сказал смеясь: «Подожди!»

Она осталась ждать.

Зевс снова пригласил Иксиона к себе. Гера узнала об этом от своей посыльной, вороны, и поспешила в Фессалию; ворона летела впереди.

Иксион поднимался на Олимп и видел только ее, Единственную, казавшуюся ослепительной горной вершиной, в сверкании снегов, в сиянии небес, в пене облаков; этот блеск и эта осанка! Он не чувст-

вовал усталости; Зевс влил в него силы, и он с легкостью горного оленя взбирался вверх по кручам и чувствовал: настал его день! Над ним, в вышине, с криком пронесся орел. Во дворце его принял верховный бог; Нефела сидела на месте Геры.

Зачем это делал Зевс? Так ему захотелось. Он играл в неведомую ему прежде игру, которая снова подтверждала его могущество, а то, что Гера была уязвлена, только разжигало его. Он подвел Иксиона к Нефеле, и она поняла, что незнакомец предназначался ей, но она также знала, что за этим незнакомцем стоит Он, Сам, цель ее вожделений, и, угадав, чего добивался от нее Единственный, склонилась, сияя, к Иксиону. В глазах его вспыхнул огонь желания: эта дразнящая плоть, угадываемая под скрывавшими ее одеждами. Они безмолвно сидели рядом, предназначенные друг для друга, и совершали трапезу; боги сконфуженно молчали. Зевс развлекался. Из богов только один Аполлон заметил подмену, и это вызывало у него возмущение.

Но он не вышел из-за стола.

После трапезы получилось так, что Иксион остался наедине с той, кого принимал за супругу Зевса; она привела его в свой покой, и он принял его за опочивальню Державного. Пена облаков. Иксион жаждал утолить свою страсть, Нефела чувствовала, как в ней все сильнее разгорается желание, но оно остается неутолимым; тут даже Пан оказался бы бессилен. Она ощущала — и все острее — только пустоту, разверзнутая бездна могла заглатывать и заглатывать, а Иксион, устремившийся в эту бездну, уже чувствовал счастливое изнеможение.

Потом он заторопился на землю.

Она попросила, цепляясь за него: «Побудь еще!» Но он высвободился. Она сказала умоляющим голосом: «Приходи снова!» Он возразил: «Приходи сама ко мне, в мой дворец, на мое ложе».

Она хотела кивнуть и не посмела: она не знала, угодно ли это Повелителю.

Иксион видел ее горящие глаза, у него мелькнула мысль: может, мне похитить ее, и вдруг ощутил трепет во всех членах — явный признак немощи, полного изнеможения и понял: он дерзнул на то, что ему не по силам.

Но это длилось всего лишь мгновение.

Иксион повернулся и покинул опочивальню. Дворец был объят тишиной, вокруг ни души, только Гермес дожидался у врат, чтобы спустить гостя Повелителя с заоблачных высей. Он обвил его своей рукой, и Иксион почувствовал себя невесомым. Они тихо скользили вниз; два клубящихся облачка. Внизу — Фессалия, дремлющая в вечерних сумерках, и высоко вознесшийся дворец. Иксиону хотелось крикнуть вниз, туда, где раскинулась его земля, что он обладал Герой, прокричать облакам или хотя бы поделиться этим с Гермесом — как бы между прочим, по-приятельски небрежно; но, побоявшись вновь ощутить трепет во всех членах, сдержался, затаил свое счастье в себе.

Гермес улыбался; тихо плыли облака. Иксион сомкнул глаза и увидел ту, что с неба.

Гера тем временем предстала, незримая, перед Дией и дохнула на нее, и от дуновения из уст богини поседевшие волосы Дии тотчас обрели свой прежний блеск и стали черными как ночь, а в чреве ее появился ребенок Дия испытала блаженство, когда почувствовала, что тяжелеет; она оглядела свой округлившийся живот, это тело, давно томившееся жаждой материнства. После того как она поседела, Иксион не раз еще делил с ней ложе, но то была не любовь, а только нетерпение плоти; она не испытывала радости и, принимая его, уповала на одно — на сына, в котором видела теперь, после гибели отца и охлаждения мужа, последнюю опору. Ощутив в своем чре-

ве дитя, она подбежала к зеркалу и увидела в нем свои волосы, черные и сияющие как прежде, и тут ей открылось, кому она обязана этим чудом; она вознесла руки к небу и стала благодарить Геру, искренне веря, что теперь все в ее супружеской жизни пойдет по-новому.

Иксион пробудился только у Бычьих ворот: тут Гермес оставил его; Иксион прошел через ворота, Бычьи, потом Солнечные, и от неожиданности замер: перед ним стояла Гера, под фатой и в одеждах, покрывавших ее до ступней, даже рук не было видно. И это был не мираж. Она стояла и молчала; за ней — Иксионов дворец, весь в лунном сиянии, сверкающий, как золото ее трона. Она казалась ему сейчас еще более ослепительной, ему подумалось даже, что он, пробудившись, все еще находится в опьянении прекрасного сна. Она так скоро последовала его желанию и теперь стоит, застыв от отчаянной решимости быть с ним, смертным, земным. Внезапно до его сознания дошло: ведь он вкусил нектара и амврозии, и, стало быть, теперь он — бессмертный, как тот, кого она оставила ради...

Иксион не отважился додумать мысль.

Она стояла на гравийной дорожке, на том месте, где провалился в яму и сгорел Деионей. Мягкий настойчивый свет луны. Иксион дрожал, сжигаемый страстью, но он знал, что обессилен, и не решался приблизиться к той, что стояла в ночи, сладостно нашептывающей и дразнящей; он был слишком смущен, чтобы вымолвить слово, был поражен неожиданным открытием, до него слишком медленно доходило, что же с ним произошло — ведь он был земной. Он велел Гере прийти; он хотел попросить ее об этом, а вышло иначе — и он сам содрогнулся от того, что дерзнул на повелительный тон,— и вот она стоит перед ним, повелителем,— супруга Зевса, и полным страсти взором смотрит на него, земного, но уже не смертного; Иксион напряг все свои силы, чтобы выдержать ее взгляд. Он выдержал; но ему уже недостало сил сделать шаг к ней. Гера вдруг выпростала руку — для того, чтобы плотнее прижать одежды к телу; она стояла подобно устрашающему знаку перед бездыханно тихим дворцом, и Иксион видел только ее глаза, горящие и таинственно сверкающие, но тут она неожиданно исчезла.

Он догадался: для нее еще не приготовлено ложе.

Ведь она так быстро за ним последовала.

Он не должен упустить судьбу!

Иксион кинулся в опочивальню Дии; она не спросила, откуда он — что ей за дело до этих рабынь, с которыми он проводил время, будь они земные или с неба; она знала, что Зевс приглашал его к себе на трапезу, но и она приняла милость Геры и теперь чувствовала себя равной ему. Она с нетерпением ждала возгласа изумления, с нетерпением и уже без всякой робости, а Иксион стоял на пороге и думал, куда бы спровадить постылую: к рабам или в царство теней? Дия сгорала от нетерпения: должен же он наконец увидеть, что произошло с ней; или он от радости лишился дара речи? Она произнесла слово, чудное, насмешливое слово, даже полслова, на своем языке, и шагнула к нему. Черные, облитые светом луны волосы, округлившийся живот.

Иксион видел только горящие глаза.

Дия, со свойственной ей непосредственностью, сказала: «Видишь? — и чуть расставила ноги.— Пощупай, я беременна!»

Только тут он увидел, как Дия преобразилась, и нашел лишь одно объяснение: Зевс. Дия не была беременной, всего неделя как у нее прошли месячные, и вдруг нате вам — округлившийся живот и блестящие волосы; Иксион не сомневался: пока он держал в объятиях Геру, ее супруг ласкал на его ложе его жену — Дию, земную, постель за постель, и подтверждение тому — живот.

Вот почему на Олимпе не было стражи и гость сколько хотел мог оставаться наедине с царицей.

Женская плоть за женскую плоть.

Именно так понимал это Иксион в своем ослеплении, это уравнивало небесного царя и земного — два бессмертных предаются любовным утехам, обмениваясь по-приятельски партнершами. Он ни на миг не устрашился обмена: пусть Зевс остается с Дией, он, Иксион, нашел счастье в Гере. Теперь, конечно, он не может прогнать Дию, он отведет ей место в покое для гостей, украсит его венками из дубовых листьев и олив и дверью из чистого золота, заставит его благоухать, как весенний сад, а когда другой царь пойдет через Солнечные ворота и ступит на гравийную дорожку... и тут Иксион увидел двор, и гравийную дорожку, и яму, скрытую под настилом, который провалился под ногой ступившего на него — Гость снова падал в яму.

Мимолетное видение, но что оно означает? Уж не хочет ли Гера оставаться абсолютно свободной и дает таким образом ему об этом знать? Возможно, обмен это не только игра. Яма? Нет, не угли, огонь не возьмет Зевса, но отчего не продержать его в плену? Разве не заточили От и Эфиальт вероломного Ареса в бочку для нечистот, где он маялся больше года? Разве Гера не была закована в цепи? Разве Аполлон не находился в рабском услужении? И разве сам Зевс не томился в оковах? Почему бы ему не побыть в яме, пока... Видение исчезло. Иксион все еще стоял на пороге и разглядывал живот Дии. Она достойный товар, ему нечего стыдиться. Он понял, что теперь должен что-то сказать. Он знает, что она забеременела от Зевса, сказал Иксион и, помедлив, добавил: «А я спал с Герой. и она, может статься, понесла от меня!»

Крик вырвался из груди Дии: это было уже слишком, от таких нечестивых речей можно поседеть во второй раз. «Безумец! — вскричала она.— Ты ослеплен! Боги покарают нас!» Иксион ударил в медный колокол над дверью опочивальни и зычно крикнул — и крик прокатился по всему дворцу, а Дия зажала уши. Да, он спал с Герой, на ее ложе, и излил семя в ее чрево, и пусть все на земле знают об этом!

Гера тем временем вознеслась на Олимп и, подойдя к Зевсу, предложила ему взглянуть вниз и послушать, что происходит в стране лапифов, и Зевс услышал, как дерзко похваляется Иксион, слышали это и другие бессмертные. Ах, слепец! Зевс призвал к себе Нефелу и, указав вниз, на дворец в лунном сиянии, спросил: спала ли она с тем мужем? Все ее существо, не только губы, сказало: «Да!» У дворца, во дворе, колодец, Нефела взглянула в его зеркало, а может, отразилась в глазах Геры, но она впервые увидела себя, увидела, что она — подобие другой,— прекрасная, как и та, Прекрасная, величественная, как и та, Величественная, и она поняла, что близка к цели: Повелитель привел к ней гостя, чтобы испытать ее на месте другой, она исполнила его волю, она заметила другую и теперь могла рассчитывать на благодарность Повелителя, и это означало, что она может занять место той, другой.

Гера ударила ее по лицу. И она дерзнула равняться с ней, царицей, девка, клок облака! Гера вцепилась в ее красиво уложенные волосы. И эти завитки — божественные локоны Геры? И это обвислое мясо — грудь Геры? Она сорвала с ее тела одежды. Нефела вскрикнула и бросилась в ноги Повелителю, обхватив его колени; Гера пнула ее под зад, и Зевс оттолкнул ее ногой от себя. Так, осыпаемая ударами и пинками, Нефела произвела на свет чудовище, кентавра, плод мужеского пола, у которого тело ниже пояса переходило в туловище коня: мужская голова, длинная спина, две руки, четыре ноги, яичко мужчины и яичко коня. Иксионово порождение. Зевс схватил его и швырнул на землю, к истокам Пенея; от этого

чудовища повели свой род кентавры, другое племя Фессалии, вечно враждовавшее с лапифами; правда, в их роду было немало искусных врачевателей, но это уже не относится к нашему повествованию.

След крови и мокроты; Нефела, постанывая, уползла в свой покой, и Зевс велел ей там оставаться — неизреченное приказание, но она почувствовала, что от нее требовали, такова была ее природа: угадывать чужую волю и повиноваться.

Потом Зевс послал за Иксионом. Брезжил рассвет. Дия в этот день родила сына, Пиритоя, о котором хронисты и по сей день ведут спор: от Зевса он или от Иксиона. То, что Гермес на этот раз явился сам, чтобы вознести его к заоблачным высям, Иксион расценил как свидетельство своего высокого положения, и мимолетное видение теперь обретало очертания величественного замысла — занять место Зевса, править миром. Так летел он на небо. Наверху уже ждал Гефест, с ним два подручных — они подхватили Иксиона, горящие угли были уже наготове, а на них колесо из серого, ковкого, многоценного железа, и клещи уже лежали рядом, тоже из железа, и оковы, раскаленные на огне. И Гера стояла, в длинных одеждах и под фатой, с нею Зевс, а за ними в алом зареве занимался день. Колесо тем временем раскалилось; Гера откинула с лица фату; Иксион увидел два горящих глаза, он подумал, что сейчас, должно быть, состоится посвящение его в боги — через закаливание в небесном огне; но уже в следующий миг он вскричал страшным криком, и крик разнесся по всему миру, а он все кричал и кричал: Гефест распял его на колесе, и Зевс, осуществляя свою изощренную месть, изрек, взглянув на Геру, казнящее слово: «Кроткою мздою воздавай благодетелю!»

Потом Гермес раскрутил колесо и закинул его в небо, и с тех пор кружится оно в поднебесье вокруг Олимпа, среди облаков, старательно обходящих его стороной.

Но мы хотим рассказать о Нефеле.

История Иксиона окончилась; он кружится на своем раскаленном колесе и знает: такова его судьба. Он с этим смирился, как сказал поэт. Он знает, что ничто не может избавить его от страданий, даже смерть, ведь он — бессмертный; он давно понял, что бесполезно гоняться за облаками в надежде умалить жар; опыт учит: они избегают его. А когда жар становится совсем нестерпимым, он кричит: «Кроткою мздою воздавай благодетелю» — слова, изреченные Зевсом, и тогда страдания отпускают его, правда, ненадолго, потом он снова кричит и снова молчит, измученный, и так вечно. Дию он больше не видел, оковы не позволяют ему смотреть вниз, на землю, и потому он не видит ничего, кроме облаков, бегущих в вышине, а над ними, под самым куполом неба,— дворец в золотом сиянии, там сидит Державный. Иксион не получает никаких вестей; он даже не знает, что его народ воюет с кентаврами, которые похищают жен лапифов, не знает о подвигах, которые совершает сын Дии в этих войнах. Иксион понял: участь его решена, это вошло в его плоть, и ничего в его судьбе измениться не может.

Другое дело — Нефела; правда, и в ее судьбе ничего больше не меняется, и все-таки она не теряет надежды. Она сидит у себя в опочивальне, льет слезы и без конца глядит в зеркало, которое показал ей Гермес: она может смотреть через расщелину в стене вниз, на дворец Дии, и там, в колодце, видит свое отражение: эти волосы, эти глаза, этот стан... Геба снабжает ее едой и питьем, и Нефела, изводя себя воспоминанием и будя в зеркале воспоминание, сидит в одиночестве, льет слезы и ждет, когда скрипнет дверь и войдет Он, Единственный, возьмет ее за руку, поцелует ее в уста и припадет к ее лону, а потом поведет с собой и посадит ее рядом, на золотой

трон, на котором она уже сидела однажды: разве такое не может случиться?

Она никогда не сможет понять, что она креатура, существо, подобное многим другим существам, которых повелитель создает для воплощения какого-то своего замысла, он делает их ради этого совершенными, а потом, когда его замысел осуществляется, отстраняет за ненадобностью. Она ждет и надеется, что придет ее час, и потому ее история не окончится никогда.

Перевод Т. ХОЛОДОВОЙ

Гера и Зевс

Что предшествовало этой истории? Не все ли равно?

На десятом году Зевс-громовержец притомился от непрерывной бойни и решил отдать победу Трое. Почему Трое? Опять-таки не все ли равно? Он никому не обязан отчитываться, быть может, дело в том... Правда, рассказывают еще о чьей-то ласковой руке, что гладила его бороду; возможно, так оно и было, а может, и нет, ведь единственное, что имело силу,— его воля.

Он уселся на вершине горы Ида (по правую руку — Троя, по левую — корабли ахейцев) и приказал богам, сражавшимся в рядах простых смертных, покинуть поле боя и положиться на судьбу, что в образе трех ужасных мойр, одетых в белое, парит меж холодных звезд. Мойры были не против, чтобы веление божественного властелина победило — если до наступления вечера никто ему не воспротивится. Довольно беспорядков, довольно страха, который нагоняют боги, теряя достоинство вопреки собственному могуществу. Победа за Троей!

Все это началось здесь, на горе Ида, когда троянский царевич, пасущий стада Парис, пренебрег милостью Геры и обещаниями Афины и присудил яблоко Афродите прекраснейшей; здесь, на горе Ида, должны и кончиться раздоры; и вечер кровавого дня, утро которого, возвещенное петушиным криком, отозвалось в скрежете железа, должен окончиться миром, продиктованным божественной волей. Зевс приказал, боги повиновались. Они покинули поле брани, Посейдон — последним, и прежде чем опуститься в морские глубины, еще раз напутствовал греческий флот, издав рык, равный реву тысячи быков. Гера из своей опочивальни видела, как он, кружась и вспенивая воду, шел ко дну, и наблюдала, как захлебнулась атака греков, а еще она видела Зевса в роще на Иде, сидящего у скалы в тени вяза, упершись локтями в расставленные колени.

— Так будет,— сказал он Афине Палладе,— этот день, полный надежд, погаснет еще до вечера.

Афина, послушная отцу, молчала.

Афродита же в своих покоях потешалась и, глядя, как крупные клубы пыли откатываются назад к кораблям от стен города ее любимого царевича, смеялась подобно воркующей горлице.

— Он зовет тебя голубоглазой дочуркой,— проговорила Гера,— отправляйся на Иду и пади к его ногам.

Афина покачала головой:

— Бесполезно. Он и не подумает меня слушать.

— Все-таки попробуй.

— Бессмысленно.

Богини пристально глядели друг на друга.

— Бездействие недостойно,— настаивала Гера.

Афина ничего не ответила супруге своего отца, которая не была ей матерью, не стала напоминать: «Ты его жена!» Она знала: Гера

© VEB Hinstorff Verlag, Rostock, 1985

лишь рассмеется и покажет рубцы на запястьях; они появились тогда, когда она попыталась противостоять мужу: Зевс повесил ее в золотых оковах — по наковальне на каждой ноге — на три дня и три ночи над пропастью преисподней. В другой раз на ее плечах остался шрам от Зевсовой плети. А рубцы на сердце? Афина не посмела напомнить: «Ты его законная жена!» Ей — обманутой чаще и позорнее всех среди прочих жен богов и людей!

Победа — за Троей, это непреложно.

Афина отвернулась от Геры, но та уже решилась:

— Есть такой народ, который чтит нас. Нельзя допустить, чтобы он исчез здесь, в Азии.— Она положила руку на плечо Афины:— Я его жена, кто, как не я, пойдет к нему?

Афина не имела права сказать: «Я помогу тебе».

Удалившись в покои, Гера сбросила платье и омылась молоком бессмертия, амврозией — притиранием богов. Она омылась с головы до пят — не тронув лишь запястья и плечи. Потом вымыла волосы и, расчесав их, забрала наверх, уложила в пучок; оделась в тончайшее одеяние, сотканное для нее Афиной, застегнула на груди золотую пряжку и пошла к Афродите, чтобы на один день попросить у нее, своей соперницы, защитницы Трои, чудесный пояс, обладающий магической силой обольщения.

Из поколения в поколение передается, как развивались события дальше; но ведь совсем не обязательно пересказывать все слово в слово: можно чуть приврать, чуть приукрасить в угоду наивной красавице, умело расставляющей силки для других, отнюдь не предполагающей, что нежданно-негаданно и сама попадется в уже уготованную для нее западню. Итак, супруга и сестра властелина богов и людей смиренно и униженно постучала в дверь покровительницы супружеских измен...

Гера получила пояс до наступления вечера.

Поэты описывают его так: пестро расшитый узорами и заключающий в себе колдовские чары, которых семь: любовное томление, льстивость, кокетство, ласковость, велеречивые мольбы, страсть, неотступность желания. Но нам видится он совсем иначе — то была полоска обыкновенного беленого холста, и так же, как семь небесных цветов сливаются в единый белый, так и все волшебные чары объединены верой в то, что суть, как она есть, побеждает сама по себе.

Примеряя пояс перед зеркалом, Гера ожидала каких-то перемен, думала — станет равной юной сопернице: белейшая кожа, изящные ушки, тонкие брови, нежное тело; а когда превращения не последовало, ресницы ее дрогнули от разочарования — Гера даже заподозрила какой-то подвох, но именно в это мгновение, объятая жаждой исполнения своего замысла, прозревшая, она обрела себя.

Она неотразима — такая, как есть.

Больше ничего и не требовалось, к тому же ей вспомнился этот пояс на Афродите: раньше Афродита никогда его не снимала, он был на ней и в тот памятный час у подножия Иды, когда они втроем предстали перед троянским царевичем: Афина Паллада в золотом снаряжении; сладострастная Афродита с поясом под прозрачным покрывалом и Гера в голубом одеянии, что и сейчас облегает ее грудь. Тогда она втайне мечтала о том розовом, бесподобном розовом, что был цветом Афродитовой груди, но теперь она знала, что стянутая поясом грудь — ее грудь, грудь Геры, необычного алого оттенка, ни с чем не сравнимого благородного цвета, близкого к коричневому. Да, это был красный цвет Геры, и она, а никто другой — законная жена Зевса, который выбрал ее; нет, она выбрала его.

Гера отправилась к Зевсу.

Поэт описывает, что Гере помогал бог Сон, уговорить его действительно оказалось не так-то просто, но мы упомянем такую подроб-

ность: ему, пугливому мальчишке, трепещущему перед Зевсом, Гера пообещала отдать в жены тайно любимую им Пасифею, одну из харит, дочерей Зевса (чьей матерью была не Гера), повсюду сопровождавших Геру.

Кроме того, она надела чудесный пояс.

Гера и Сон собрались в путь-дорогу — по островам и бухтам; Сон шагал мягко, стелился как туман; под ногами Геры земля дрожала. Ни одна из богинь не могла сравниться с ней в поступи: вся крепость бронзы, пружинистость крон лесных деревьев, порывистость морских ветров были заключены в походке величайшей из богинь. Когда они достигли леса у вершины Иды, Сон, обернувшись птичкой-козодоем, опустился на дуб, растущий на горе, а тем временем Гектор метнул первый факел в греческие корабли.

Полдень недолог, и тени в полдень коротки.

Зевс, сидя у скалы под вязом, заметил приближающуюся Геру. Она шла как раз с той стороны, куда он смотрел в эту минуту, а внизу уже полыхал первый корабль. Троянцы стояли лицом к лицу с неприятельским флотом.

Но он смотрел лишь на Геру.

Кто это подходит к нему ближе и ближе — такая величавая, освещающая все вокруг? Его жена или богиня, рожденная воспоминаниями? Из какой пены, из какого моря? Внезапно послышалось журчанье вод, стекающих с горы.

— Кто ты, идущая сюда?

Неужто вдруг вернулось прошлое: ночь на острове Крит, их брачная ночь, когда он превратился в кукушку? И это она, единственная, несравненная, опора его власти — Гера? Он неотрывно глядел на нее, она подошла еще ближе. Гера! Пожар на греческом флоте — всего лишь отсвет на ее волосах. Ее походка, ее молчание... Голубое одеянье. Ее глаза. Блеск пряжки. Ее грудь.

— Куда ты?— спросил он, и его слова прозвучали резче, чем ему хотелось.— Наверно, путь недальний, раз ты без коней и колесницы?

И она ответила:

— На край земли — увидеть отца Океана и мать Тефису, туда, к их древнему свадебному ложу (то же самое она говорила Афродите, обманывая ее).

Разве может матрона, лицо которой в морщинах, в складках, воспламенить мужчину?

Ложь — и все же правда. Если Зевс сейчас скажет: «Иди!» — она уйдет. Она промолвила:

— А колесница ждет у подножия горы, у источника.

И опять ложь, тем более явная, что Гера указывала в ту сторону, куда глядел Зевс, но он ничего не видел — только ее.

Пристально всматривался в ее запястья.

Хотел зло одернуть ее — ведь она пришла помогать грекам, но из груди его вырвалось:

— Ты прекрасна!

Гера стояла, покорно ожидая.

— Мне пора,— быстро сказала она, потому что он уже привстал, чтобы схватить ее,— из своих покоев я увидела тебя и явилась, как подобает супруге, сказать о предстоящей дороге, и теперь я могу продолжить путь на край света.

Пожар вспыхнул на втором корабле.

— Останься!— воскликнул Зевс, а Гера уже покидала рощу, и он закричал осипшим голосом, умоляя и угрожая: — Вернись!

Гера уже вступила на опушку.

Ее волосы, ее затылок, шея, изгиб плеч, ее руки — весь облик... Нет, даже тогда, на Крите, когда он добивался ее, а она так долго противилась ему, до тех пор пока не вынудила растрепанным куку-

шонком спрятаться меж ее грудей и укрыла его ладонями, а он угнездился в теле ее, в ее запахе, нет, даже тогда он не был так ослеплен, как теперь,— ею, которая вот-вот скроется в лесной чаще. Тогда он покорил ее, забравшись в теплое гнездышко на три сотни лет, исчисленных человеческими ночами. Для него же ночь была всего одна. И Гера думала о том часе, когда сильнейший стал столь слабым и беспомощным, что она могла бы задушить его, растрепанного кукушонка, а он-то вообразил, будто одолел ее.

В ту ночь, растянувшуюся на триста лет, он клялся ей в верности. Одна ночь, но какая! Он был тем, кем он был — Зевсом. Десять тысяч раз он потом обманывал ее: с ее сестрой, со Сладострастницей, с ее свитой, с нимфами и музами, с харитами и женами всех и всяческих богов и дочерьми разных богинь, даже с простыми смертными, которых не счесть: женщинами, зверушками, даже с растениями, и с мальчиками, и с чудовищами, и с призраками. Такой уж он был, и он возжаждал Геры, как никого другого.

Она сделала еще два шага.

И тут он выкрикнул ее имя, древнее, полузабытое, еще критское: Диона, океанида, нимфа дубовая; на тех дубах вьют гнезда кукушки и голуби. Так звалась и Сладострастница.

Гера обернулась.

Он, властелин Вселенной, поднялся.

Она двинулась ему навстречу. Казалось, она будет идти так бесконечно. Желание узреть обнаженной ту, которой он так пресытился, что изменял ей даже с простыми смертными, исказило его черты и голос.

— К старикам ты еще успеешь,— сказал он, он торопился, уверяя ее, что еще только полдень и до вечера далеко; и вдруг опять у него вырвалось: — Ты прекрасна!

И он повторил слова, которых не произносил с тех давних пор:

— Гера, ты прекраснейшая из всех.

Он словно обезумел. По свидетельству поэта, Зевс, домогаясь Геры, начал хвастать, утратив всякую гордость, как мальчишка, смешной и неукротимый.

Но он уже не мог причинить ей боли.

Запинаясь, он стал называть имена тех, кого она люто ненавидела — с кем он изменял ей; тех, чьих сыновей она потом безжалостно преследовала. Называл одно имя за другим, каждый раз повторяя:

— Ты прекраснее ее.

Растрепанный кукушонок...

Она слушала.

— Прекраснее, чем Даная,— бормотал он (это та, к которой он явился в образе золотого дождя),— не Персеем ли звался ее приплод? Ты прекраснее ее. Прекраснее Семелы,— шептал он (это та, сквозь которую он прошел молнией, испепелив дотла). Семела оказалась простодушной и, следуя совету Геры, приснившейся ей, потребовала от любовника, чтоб тот явился к ней во всем своем великолепии; тогда Зевс и предстал в сверкании молний; и родился Дионис, бесстыднейший из его побочных отпрысков.— Прекраснее Семелы,— сказал Зевс,— и прекраснее, чем Дия.

А это еще кто такая? Ах да, жена Иксиона, распятого на вечно вращающемся колесе. А теперь она, говорят, превратилась в тень?

— Ты краше, чем она, и прекраснее Алкмены, матери Геракла; ты лучше, чем Европа, мать Миноса, хозяйка Крита (острова, к которому Зевс приплыл в обличии быка; ее имя носит целая часть света). Ты лучше ее. Прекраснее Деметры, твоей сестры. Чудеснее, чем Лето, мать близнецов, та, другая, посягавшая на звание супруги и госпожи, она с плодом во чреве кочевала с острова на остров, умоляя принять ее, но все отвергали ее мольбы, боясь гнева Геры,

пока не сжалился над несчастной каменистый пустынный островок Делос, и она наконец разрешилась от бремени — Артемидой и Аполлоном, когда живот уже готов был разорваться на части; теперь она настолько поумнела, что стала тише воды, ниже травы, единственная, кого стоило опасаться.

Прекраснее, чем Лето?

Почему он молчит?

— Гера!

И вот она подходит к вязу... не слишком близко... Зевс не может дотронуться до нее. Чего же ему надо? А он опять подыскивает слова...

— Но мне уже пора идти, и если твое желание столь сильно, так лучше уж в опочивальне, под крышей, за стенами, за дверью с искусно сделанными запорами — ведь неприлично же здесь: на глазах у всех, на открытой горе, под небом, изрешеченным чужими взглядами, я жена твоя, а не какая-нибудь...

Блестела пряжка; Гера чуть отступила: голубое одеяние светилось в зеленом лесном сумраке, Зевс ринулся к ней — это ее запястья, ее плечи, ее загорелое тело, это она, волоокая, ее глаза, большие, карие. Ее запах. Это жена его, а он — Зевс! Он протянул руку над морем, чтобы поймать облако, сотканное из чистейшего золота, и схватил его, и сотворил завесу от чужих глаз. Теперь ее опочивальня здесь, на Иде, где находится ее муж, и даже солнце не посмеет заглянуть под полог.

Золото свода отражалось в глазах богини.

Что за пояс на ней?

— Прекраснее, чем Гера,— бормотал он.

Торжествующий кукушонок в гнезде ее тела, в гнезде из цветов, пустивших первые ростки. Едва узел пояса коснулся Иды — раскинулся ковер из крокусов, гиацинтов, лотосов.

Он взял ее и стал горой, заполонившей долину.

Три сотни лет?

Мгновение.

И вот сейчас, во второй раз овладевая Герой, Зевс судорожно сжал ее запястья, навалившись на нее всей тяжестью, и Гера знала: он опять представляет ее подвешенной, в узах из золота, в которые он ее заковал — на каждой ноге по наковальне,— а он уселся тогда перед ней и смотрел ей прямо в лицо, наблюдая, как оно меняется.

Долина поглотила гору.

Гера догадывалась, о чем он думает — о ее глубочайшем унижении, ставшем вызовом его силе и подарившем ему особое наслаждение... Он доказал свою власть перед сонмом всех богов. Сожалеет ли она, что искушала его? Глаза земных и неземных существ, с которыми он изменял ей, глядели на ее бессильную муку. Три часа кряду он сидел перед ней, упершись локтями в расставленные колени, и всматривался в нее, и усмехался, но так и не засмеялся по-настоящему, и усмешка его была такова, что даже в преисподней умолкли, сострадая, и подземное царство мертвых начало сочувственно вздыхать.

На миг ненависть всколыхнула Геру. Все потоки ринулись с горы. Зевс закричал.

Был ли услышан крик внизу?

Может, брат Посейдон, следя за Идой, заметил золотое облако на склоне горы и воспользовался удобным моментом? А может, Афина оповестила его о намерениях Геры? Может, потушили пожар? Или затрещали в огне новые паруса?

Все было скрыто под золотом непроницаемого полога.

Даже взор Геры не сумел проникнуть сквозь такую завесу.

Сколько же времени прошло?

Все случилось между полуднем и наступлением ночи, говорят

поэты, а тот, кто был под Троей и видел, содрогаясь, как с ясного неба низверглось облако, нависло потемневшей бронзой над горой Ида, а потом с откоса устремилось вниз и внезапно рассеялось, тот знал наверняка: прошло дважды по три часа, а в середине — поворот в битве.

В блаженном изнеможении Зевс искал взглядом глаза Геры: золотые зеркала, подвластные ему: зеркало удовольствий и зеркало свободы.

Ее глаза открылись. Его глаза — в ее глазах.

Волоокая Гера.

Он поцеловал ее.

Льняной пояс; Зевс отбросил его в сторону. Гера, уверенная в себе, не шелохнулась: большей силы он ей уже не придаст. Не ночная ли птица там вспорхнула? Голова Зевса склонилась набок; Гера приподнялась. И сквозь дрему смутно ему припомнилось: два бьющихся войска, какой-то берег, какой-то город и чья-то победа. И еще всплыло в памяти: до наступления вечера.

Сколько времени прошло?

Кругом золото облаков.

Он смутно помнил, что затевала Гера.

Волоокая, глаза точно золотые шары.

Медленно пробуждался Зевс, возвращаясь к яви.

Вот лежит она неподвижно, воля ее всегда покоряла его, как только ее взор встречался с его взглядом. Та, что сопротивлялась всем его замыслам, действовала наперекор, объединившись с другими богами, хитрая интриганка, коварная, лукавая, шпионящая за ним по ночам, строящая козни, вносящая беспорядок в привычный уклад, задиристая, ворчливая, врагиня его, проклятье его сыновей и любовниц, жена-соперница, чужая Гера...

Несравненный оттенок ее кожи...

Прекраснее, чем все остальные...

Его женщина.

Зевс думал: нужно выбирать — осуществление намеченного или один миг, и она, читая в его глазах, поняла его выбор и что он значит.

Ее пояс среди цветов; наверно, надо надеть его снова.

Он схватил ее за руку.

Нет, только Гера. Ах!..

Гора, вспарывающая долину... И вот в неизъяснимом самоистощении мужчины, в непостижимой самоотдаче женщины произошло чудо соития: навечно прикованные друг к другу в этом ужасном браке, они соединились по обоюдному желанию, сливаясь в порыве страсти, которая обернулась любовью в сердцах, забившихся в унисон. Безграничное счастье. Желание покориться друг другу. Судьба. Зевс забыл обо всем, забыл про битву, про троянцев и греков, про флот и город, про предсказания мойр; их место заняла она — единственная, неповторимая, его спутница навеки, верная советчица, смысл его власти, ядро его воли, соучастница его судьбы и в вечном их противоборстве всякий раз другая, что и помогало каждому из них утвердить свое «я». И Гера забылась, забылась на мгновение, заключающее в себе вечность.

Потоки, низвергающиеся с горы, клокочущие подземные источники, и где-то вдалеке битва, Гектор у моря...

Он выпустил ее руки, ласкал ее волосы; они лежали рядом, средь цветущих трав и золота облаков. Вдруг он усмехнулся, обессиленный кукушонок, и поцеловал темное пятно на плече, куда когда-то угодила плеть его молнии. И проговорил:

— Прекраснее, чем Гера.

А она:

— Сильнее Зевса!

— Моя Диона!

— Мой кукушонок!
— Диона!
— Кукушонок!

Ее голос был почти неслышен. Сон, обернувшийся козодоем, прислушался к зову кукушечьей самки под золотыми покровами; и лишь только Зевс опустился на цветочный ковер, Сон проскользнул под завесу — там, где ее отогнул брошенный Зевсом пояс.

Заснул кукушонок; Гера поднялась.

Чертог, покинутый Герой, все еще отливал золотом, но золота не прибывало над цветущим лугом — наоборот, купол неба темнел, наполняясь дождем.

Поэт вещает, что Сон, посыльный Геры, отправился к Посейдону, призывая его на битву; другие, однако, оспаривают эту версию, утверждая, будто Сон — Маковый Глаз не мог оказать подобной услуги. Но было так, как было: явился Посейдон, выброшенный бурным потоком на горящие корабли, и его призыв к штурму разбудил в Патрокле, по-ястребиному отважном, Ахиллесовом любимце, непреодолимую жажду победы. Как это происходило в подробностях, что — раньше, что — позже, да еще всякие второстепенные обстоятельства — это долгая история, и рассказывают ее по-разному. Однако вот что нам известно доподлинно: Патрокл, как и все мирмидонцы, подчиняясь обидевшемуся на Агамемнона Ахиллесу, до сих пор не вступал в борьбу. А потом вдруг появился на поле битвы и отогнал троянцев. Но вскоре он пал — пал от руки Гектора.

Когда Зевс пробудился, уже настал вечер. Гера спокойно лежала рядом, а греки тем временем приступом брали город, карабкаясь на стену.

Что было дальше, доскажем в двух словах: Зевс в дикой ярости, естественной для любого мужчины, отступившего от намеченных планов, угрожал наказать Геру так, как никогда не наказывал, но супруга сумела найти выход из положения, напомнив, что она сообщила ему, как и полагается супруге, о своих намерениях, о том, куда путь держит, и осталась по его, Зевса, просьбе — послушная его воле. Разве можно его ослушаться? Да, все так и было — пришлось согласиться Зевсу. А греки уже укрепляли на стенах Трои веревочные лестницы. Зевс пуганул их, изрыгнув молнию.

Потом громовержец отправился к ужасным мойрам, сестрам, что обитают среди холодных звезд,— молчаливые, угрюмые, обо всем на свете помнящие.

День истек, молвили они, указывая на поле боя, где в свете кочующих факелов покачивалось тело отважного Патрокла на плечах опечаленных победителей. Слова излишни: что это — стечение ли обстоятельств, случайность? Было так: погиб Патрокл, Ахиллес явился на поле брани, чтоб убить Гектора, сразившего его любимца; и Ахиллес пронзил копьем Гектора; а смерть Гектора означала падение Трои. Исход предрешен. Обжалованию не подлежит. Ведь даже власть могущественнейших не всесильна: и они, подобно паукам, запутываются в сетях собственных планов и замыслов.

Потом, вернувшись на Олимп, Зевс-вседержитель созвал всех богов, и даже русалок и нимф; и падшие и призраки слушали его речь. То была его воля, провозгласил Зевс, что битва длилась столь долго, но все же не дольше, чем потребовалось, чтоб увенчать славой достойнейших: Ахилла и Гектора. На то была его воля, что победило войско достойнейших — в силу закона мойр. И он взял золотые весы, и положил на одну чашу судьбу морского народа, а на другую — судьбу азиатского города. Так решилась участь Трои. Гера смиренно склонила голову. Она сидела рядом с Зевсом за золотым столом. Боги покорились.

И было так, потому что на то была его воля.

Перевод И. КИВЕЛЬ

■

ГЕНРИХ БЁЛЛЬ

Под конвоем заботы

РОМАН

Перевод с немецкого М. РУДНИЦКОГО

VI

Вечером, после трудов праведных, ритуал, на котором Хольгер настаивает, за молоком к Гермесу, в любую погоду, от семи до полвосьмого, хочешь не хочешь, все равно иди, по правую руку Хольгер, в левой — бидон, а Катарина тем временем готовит ужин: чаще всего суп, хлеб, сладкое, а потом, перед тем как уложить сына спать, чай возле печки. В теплые вечера ужин на воздухе, в саду между домом священника и стеной, и неизменный костер, этого требует сынишка, утверждая, что «огонь так интересно рассказывает...» И священник иной раз на огонь приходит, Ройклер, молодой, сосредоточенный, но какой-то дерганый, нервный, ни минуты спокойно не посидит, сам же заговаривает о серьезных вещах, а потом отмалчивается, курит сигару, улыбается, ни словом не намекнул, что охрана ему в тягость, успокаивается, только когда немного выпьет, и каким-то особенным, печальным взглядом смотрит на женщин — на Катарину и на жен их друзей. Иногда приводит и экономку, пожилую женщину, которая, по всей видимости, приходится ему теткой, та смотрит на них со смесью недоверия и страха, никак не возьмет в толк, что они за люди, и впадает в окончательное смятение, когда к ним наведываются отец или мама и весь сад заполоняют охранники с рациями. Она решительно отказывается понимать, «что творится в этом мире», и, вероятно, по-своему права: кто и когда понимал, что в нем творится? А тут перед ней собственной персоной не кто-нибудь, а сам старик Тольм, сидит как ни в чем не бывало и безропотно принимает печенье и чай из рук этой особы, которая, если разобраться, его сыну даже и не жена. С этой особой, да и с другими, можно, оказывается, про вязанье поговорить, про стряпню и про заготовки на зиму — а при этом они... так кто же они на самом деле? Коммунисты — это уж точно, если не хуже, если не вообще бог весь что, словом, «подозрительные элементы»; попытки объяснить ей разницу между охраной и надзором оставались тщетными, конкретный системный анализ тут совершенно бессилен. Ее, очевидно, удивляло — она даже вскользь высказывалась на эту тему,— что у них «все так чинно», то есть, вероятно, в том смысле, что никаких сексуальных оргий, вообще никаких непристойностей. От нее поступали самые достоверные и оперативные донесения, когда затевалась очередная «модернизация»: в деревне то и дело кто-нибудь надумывал сменить старые оконные рамы и двери, обновить перекрытия, содрать старую обшивку, сломать стенной

Окончание. Начало см. в № 11.

шкаф и был только рад избавиться «от этого хлама». Ему оставалось погрузить все на тачку, привезти домой, распилить, расколоть — годные вещи он складывал в сарае, ремонтировал и потом продавал,— во всяком случае, в дровах недостатка не было, так что выпечка хлеба стала если не доходным, то, по крайней мере, и не накладным делом, какая-никакая, а экономия, к тому же друзья регулярно хлеб берут у них, и из деревенских кое-кто иногда покупает, а священник и вовсе другого хлеба теперь не ест. Печурка для хлеба, которую он в свое время выломал у Клюверов и пристроил в сарае, начинает себя оправдывать; за разговором о домашних «закрутках» ему вспомнилось, как Генрих еще давно, лет десять назад, еще в Айкельхофе, с цифрами в руках доказывал матери, что домашние «закрутки», вопреки утверждениям рекламы, обходятся куда дешевле консервов, моду на консервы и полуфабрикаты он обозвал «псевдопролетарщиной», еще тогда, и восхвалял мещанские добродетели: картошку и овощи в погребе, соленья, варенья, компоты, маринады, и обувь покупать он еще тогда их учил, и, в конце концов, он печет хлеб не только забавы ради, домашний хлеб просто-напросто вкусней, вот и Катарина уже стала прикидывать, не основать ли «собственную колбасную фабрику», заключив с крестьянами договор на поставки мяса,— пора, мол, обосновываться «всерьез и надолго».

Почему-то словечко «надолго» его беспокоит. В глазах священника он все чаще угадывает, что никакого «надолго» тот гарантировать не может, поэтому и размеренный ритуал, в который превратилась их здешняя жизнь, постепенно теряет свою идиллическую прелесть: с утра работа в саду или за верстаком, сбор урожая, сортировка, обработка — то для себя, то на продажу. Катарина тем временем с детьми, либо на прогулке, либо в зальце при доме священника, его то и дело зовут помочь с ремонтом или на огороде, щедро расплачиваются натурой; морока с дровами — запасти, распилить, наколоть, сложить,— дел хватает. Эту свою страсть заготавливать как можно больше дров сам он истолковывает в том смысле, что, значит, его тянет к теплу, уюту, безопасности, хотя сам же — и не только в глубине души — ничуть всему этому не верит; а ведь, казалось бы, живи — не хочу: еда, жилье, одежда — все почти даром, и лишь изредка, совсем изредка, отголоски, скорее даже тени воспоминаний о первых трудностях, о первых невзгодах их здешнего житья-бытья, когда многие, очень многие не только относились к ним с открытой враждебностью, не только выкрикивали ругательства им вслед, но и вполне целеустремленно норовили выжить их из деревни. Это было отвратительно, да и тягостно, и только благодаря Катарине, которая не спасовала, не хныкала, наоборот, снова и снова «ставила себя на место этих людей»,— чем постепенно сумела убедить и его,— только благодаря ей они и обрели этот спасительный покой.

Последний ритуал дня, ежевечерняя прогулка за молоком, был и единственной, не считая случайных приработков, прочной ниточкой, связывавшей его с жителями деревни; когда он с Хольгером заходил к Гермесам в их молочную кухню и протягивал бидон, их чаще всего встречала бабушка, сгорбленная старуха с живыми светлыми глазами из-под кустистых бровей, такая же немногословная, как и он сам. Долгие месяцы каждый из них считал молчаливость другого признаком недружелюбия: он безмолвно протягивал бидон, она безмолвно наливала полтора литра молока, он все так же безмолвно протягивал ей заранее отсчитанные деньги, пока однажды уже дома не обнаружил, что в бидоне не полтора литра, а добрых два, если не больше, ведь она всегда наливала ему, как деревенские говорят, «с походом»,— с течением лет он научился по весу бидона определять, какова сегодня добавка; поскольку же бидон вмещал только два с половиной литра, а им иногда — для теста или молочного супа — требовалось на литр больше обычного, места для до-

бавки, а уж тем паче для совершенно обязательного и в этом случае «похода» не оставалось, так что, видимо, все-таки имеет смысл купить бидон литра на три-четыре, ибо и добавка, и даже «поход», которого, по словам Катарины, как-никак вполне хватает, чтобы забелить кофе, составляли для них немалую экономию, а им приходится экономить; кроме того, Катарина хоть и не крестьянская дочь, но все же выросла на крестьянском дворе у своего дяди Коммерца и совершенно не понимала, с какой стати они должны отказываться от добавки и «похода». Лишь позже он разглядел любопытство в глазах бабушки Гермес, слегка насмешливое любопытство, которое ему опять-таки объяснила Катарина: «Господи, ты же этих людей очень интересуешь, как ты не поймешь — машины жег, в тюрьме сидел, и это при отце, которого все знают и считают за своего». Еще некоторое время спустя старуха поделилась соображениями о погоде, он ей ответил, а вскоре стал находить эту метеорологическую литанию, в которой были свои строго обязательные зачины, присказки и прибаутки, даже забавной; еще через какое-то время она показала им электродоилку и погреб, как бы невзначай сунула Хольгеру яблоко, поведала о продвижении внуков по стезе образования, которое происходило с переменным успехом. Много позже, почти через год, она робко спросила о своей дочери, «Бройер, может знаете, она ведь соседка вашей сестры», и он вынужден был сознаться, что еще ни разу, честное слово, ни разу не был в гостях у сестры, поэтому с госпожой Бройер не знаком, и, подумав, добавил: «Видите ли, у меня с шурином нелады». Что его до сих пор поражает: никаких сплетен, и от других крестьян тоже, то есть они иной раз позволяли себе при нем кое-какие замечания, но сплетен — никогда, у Катарины и на этот счет было свое объяснение: между собой и друг про дружку они конечно, сплетничают, но чтобы при нем, чужаке, который не варится с ними, деревенскими, в общем котле,— ни за что!

И вот еще что поразительно: мужчины оказались куда болтливей и жадней до сплетен, чем женщины, вечно они шептались, шушукались даже о священнике, «который что-то уж больно часто, в Кёльн ездит», и снова Катарине, которая знала все это еще по Тольмсховену, пришлось его просветить: «поехать в Кёльн» — это двусмысленный, а точнее даже многозначный намек, который означает — исповедь или бордель, для женщин, разумеется, исповедь или магазины, ну, а поскольку священник вряд ли станет шастать по магазинам, да и бордель в его, Ройклера, случае тоже довольно сомнителен — все-таки молодой еще и «из себя видный»,— оставалось предположить одно из двух: либо женщина, либо исповедь, или то и другое вместе; в прежние времена, вероятно, не исключили бы и кинотеатр — может ведь человек в кино съездить, ничего плохого тут нет,— но сейчас, когда в каждом доме телевизор, это было бы странно.

Для младшего Гермеса, тоже крестьянина, его приход, безусловно, всегда был событием, источником любопытной информации; про свою сестру он осведомился только однажды, зато напрямик расспрашивал об «этих самых» прежних его «акциях», интересовался Вьетнамом, ужасно удивился, услышав, что это все крестьяне, как и он,— изувеченная земля, выжженные леса, загубленная скотина,— он, оказывается, хорошо помнил, как в здешних местах выглядели лес и пашня после войны. Война — она всегда против крестьян,— словом, у него они тоже получали и добавку и «поход», впрочем, ни на то, ни на другое ни в коей мере не скупилась его пугливая жена — та, правда, очень нервничала, случалось, даже проливала молоко, видимо, от страха перед ним и из жалости к Хольгеру, которого она изредка гладила по головке, как бы желая сказать: бедный мальчик, он-то чем провинился? — и Катарину, вероятно, тоже считала своего рода «заблудшей овечкой», посылала ей «гостинцы» — то яйцо,

то горстку орехов. Все же и с ней, несмотря на затаенный страх в ее глазах, можно было поговорить про огород, посоветоваться и даже дать совет, например, насчет салатной свеклы и особенно насчет китайской капусты, которую он, так сказать, ввел в здешний обиход, хотя само название сорта — китайская — многих настораживало, и до сих пор он все еще гораздо больше, чем Катарина, боится, когда они, правда редко, выбираются вечером в деревенский трактир. Ведь и уют собственного дома иной раз может осточертеть, или, по выражению Катарины, «обрыднуть», ну, а поскольку Катарина говорит на *ихнем* диалекте, это как-никак располагает, создает предпосылки к общению, но когда кто-нибудь подсаживался к ним за столик или пристраивался рядышком за стойкой, на политические вопросы, даже заданные без провокационных целей, они не поддавались; объясняли, если их об этом спрашивали, про деньги, процентные ставки, погашение долга, денежное обращение, пытались даже растолковать, почему проценты в сберкассе почти всегда соответствуют уровню инфляции. Погашение долга, хитрости налогообложения, вклады — тут они его внимательно слушали, знали, что в этом деле он «дока», а он старался объяснять спокойно, без полемического нажима, полагаясь на то, что сущность системы откроется им сама и сама все про себя скажет: как нарочно, снижают проценты, чтобы выманивать у них деньги, они ведь даже не догадывались, что политики отговаривают их копить деньги, и он как умел старался объяснить, почему политики поступают так и не могут иначе, чтобы они разглядели кое-что конкретное за извечной мужицкой присказкой «нашего брата все одно надуют», и тогда в их глазах вспыхивал страх — страх потерять «горбом» нажитое «добро»: дом, участок, шкафы, что ломятся от барахла, счета в сберкассе, которые у них норовят «пощипать», так подло, «по нахалке», снижая их кровные проценты; никаких, ни малейших оснований для страха у них не было, но они все равно боялись, и постепенно он начал их понимать — с помощью Катарины, которой было легче, потому что она говорит на «ихнем» диалекте, и каждый знает, что она всегонавсего коммунистка, а никакой там не «подрывной элемент», и отца ее все тут знали, и дядю, и мать, «набожную Луизу», все помнили,— впрочем, с похвалой вспоминали и его отца, и его маму: «Господи, Тольмы — это же наша гордость, он и Кэте Шмиц»,— и спрашивали его, правда ли, что и Хубрайхен «вроде бы тоже», и делали жест, как бритвой по горлу, на что он качал головой: ничего такого он не знает; и все равно, когда они потом шли домой, ему снова было страшно. Это был уже не тот вполне конкретный страх, как в первое время: что им побьют стекла, подпалят хижину, силой выгонят из деревни, несмотря на заступничество священника, а совсем иной страх, страх тишины и еще чистоты, эти чистые улицы, на которых даже в пору урожая не увидишь ни соломинки, ни клочка сена, ни листка свекольной ботвы, не говоря уж о коровьей лепешке. Он ничего не имеет против чистоты, чистота — хорошее дело, приятное, и против аккуратных палисадничков перед каждым домом с клумбами из старых, но непременно покрашенных тележных колес с обязательной тачкой, разрисованной цветами,— если бы только не веяло от этой тишины и чистоты среди глухих стен крестьянских подворий каким-то холодом, каким-то могильным покоем. Все вылизано и ухожено, как могилы на кладбище, да, могильный покой, и среди этого покоя сын крестьянина Шмергена вдруг вешается в хлеву, без всякой видимой причины, сколько потом ни ломали голову — ни роковой любви, ни неприятностей с армией, ничего, милый, тихий парень, все его любили, а какой был танцор,— ни намека на мотив, и тем не менее однажды в воскресенье, после обеда, в самый что ни на есть тихий час, он вешается в хлеву у себя за домом, среди могильного покоя, ни с того ни с сего. Или вдруг крестьянин Хальстер

убивает свою жену — богатырь, косая сажень в плечах, и хозяин отменный, у такого все справно, и под образком богоматери на столбике возле длинной, просто бесконечной стены всегда свежие цветы и лампадка горит,— все у него было: и почет, и достаток, и уважение, у этого молчуна, который своих работников содержал так, что об этом легенды ходили. Они уже больше трехсот лет на этом подворье сидят, Хальстеры, а уж сколько пасторов и юристов, учителей и чиновников вышло из их семьи и разбрелось по свету от Кёльна до Австралии — всех и не счесть, и не было такой войны, на которой один-другой Хальстер не погиб, вплоть до наполеоновской и даже раньше — древний, разветвленный, могучий род, почти династия. Да и она — статная, ладная, темноволосая, почти красавица, слывшая к тому же «тихоней»,— и вот однажды, между утренней мессой и обедом, он стреляет в нее из ружья. Поговаривали, правда, что она якобы «порченая», ничего толком не объясняя, намекали только на ее бездетность,— но все «почему?», «за что?» так и остались без ответа; трагедия, жуть, сенсация; а Хальстер сразу, пока соседи не проведали, поехал в Блюкховен и явился с повинной в полицию; и все это в тихой, чистенькой деревне, где на улицах ни соломинки, в красивой деревне, с чинными прихожанами, традиционными утренними сходками мужчин по воскресеньям, стрелковыми и церковными праздниками, с неизменной пол-литровой «добавкой» и еще «походом» вечерами у Гермесов. Страшно помыслить, страшно загадывать на пять, а то и десять лет вперед; боязно расставаться с этим «надолго», но не расставаться, пожалуй, еще страшней: грядки, лук, морковь, дрова, одно и то же, одно и то же, годы, десятилетия — в сорок, в пятьдесят лет все еще в Хубрайхене, жуткая мысль...

Хольгер сегодня мерз, попеременно совал то одну, то другую ручонку в карман отцовской куртки — «скоро будем доставать варежки из шкафа»,— ему тоже пришлось менять руку с бидоном, а кроме того, пообещать пожарить каштаны, жареные каштаны согревают руки лучше всего, и, конечно же, печеные яблоки с ванильным соусом, а вечером еще и поиграть, построить домик,— отчего это дети так любят строить домики, сидеть с родителями у теплой печки, слушать сказки, песни, стишки? Молоком сегодня распоряжался Гермес-младший, был приветлив, любопытен, плеснул особенно щедрый «поход», почти как мать, а потом заговорил о своих детях, из которых ни один не желал унаследовать отцовское хозяйство, Рольф его утешил:

— Все переменится, погодите, они и подрасти не успеют, а все уже будет по-другому. Они еще переругаются из-за дома.

Тот в ответ только рассмеялся:

— Хорошо бы, коли по-вашему вышло.

— А вот увидите.

— Ежели б знать, что вы и тогда у нас жить будете, я бы с вами поспорил: три месяца молоко даром, если по-вашему выйдет.

— Вашему Конраду восемнадцать через пять лет будет, нет, к тому времени меня, наверно, здесь уже не будет.

— Оставались бы...— Это было сказано настолько от души, что оба смутились.

А Хольгер сжал его руку, словно просил: давай останемся.

— Это ведь не только от меня зависит,— ответил Рольф.

— Может, от нас? Я имею в виду — от всей деревни?

— У меня ведь профессия,— пояснил Рольф.— По образованию я финансист, даже с практическим навыком, но, боюсь, здешний филиал банка мне вряд ли доверят.

Тут они оба снова рассмеялись, и Гермес сказал:

— Может, сестра дом возьмет. А что, сестра, она может.

Рольф поблагодарил, забрал молоко, но прежде чем уйти, пожал Гермесу руку. Черт возьми, в кого он тут постепенно превратился — в смутьяна или, чего доброго, в оппортуниста? У здешних, разумеется, тоже есть сынки и дочки, которые учатся в университетах и приезжают на выходные погостить в дешевых «студенческих» автомобильчиках, одетые по молодежной моде, в церковь ни ногой, левацкая бравада, сексуальная революция и прочее, иногда заходили и к ним, пробовали «выступать», разглагольствовали о Мао, к нему относились с известным почтением, все-таки в каталажке сидел, но ему их подобострастие не нравилось, ничего почетного, а тем более приятного он лично в каталажке не находит, а Катарина своим чистым сердцем коммунистки сразу учуяла фальшь, слишком уж откровенно и скорее напоказ, чем всерьез, рассуждали они о сексе, слишком явно, да и грубо норовили «втереться», а потом вдруг сгинули, все разом, может струхнули, все-таки «опасное знакомство», ведь уже года два как общение с ними считается предосудительным, и в итоге остался только один паренек, сын крестьянина Шмергена, которого самоубийство брата сначала потрясло, а потом навело на размышления; этот приходил, говорил о Кубе, хотел выучить испанский, и они нашли ему чилийку, Долорес, которая с ним занимается; он и теперь иногда заходит, этот Генрих Шмерген, сидит тихонько у печки, курит сигареты-самокрутки, улыбается, молчит, но не уходит, даже когда появляются их старые друзья, верные, испытанные друзья, ожесточенные, безработные и подзапретные, и вспыхивает дискуссия о различиях между надзором и охраной, и бывает до смерти обидно слышать в их голосах, пусть тихо, пусть полутоном, легкую снисходительность: вопреки всему, несмотря на каталажку и надзор его по-прежнему числят в «привилегированных». Для него это — прямо нож острый, лучше бы уж били стекла, ведь в конечном счете дело не только в его происхождении, это касалось еще и Вероники и Беверло, которых они всецело и с негодованием осуждали, но все равно каким-то боком причисляли к аристократии, а он как-никак бывший муж Вероники, бывший друг Беверло, вот и слышны в их голосах, почти неуловимо, но слышны, нотки сомнения, словно они принимают его не совсем всерьез. Нечто в этом роде чувствуется и у Хольцпуке, «руководителя мероприятий», который надеется почерпнуть у него гораздо больше, чем он способен дать. Недоуменно покачивая головой, тот ищет мотивы — и не находит, расспрашивает его о предполагаемых мотивах, все еще уповает на психологию, и все без толку, все впустую: никто и никогда не ущемлял Генриха Беверло. ни одна душа не делала и не причинила ему зла, напротив, его всячески поощряли и хвалили, с ним все носились, еще бы, «такой даровитый, такой неверятно способный юноша из народа», можно считать, сын рабочего, отец ведь начинал простым почтовиком, вручную на тележке развозил по домам посылки, так что, конечно, рабочий, кто же еще, это потом тяжкими и упорными трудами он выбился в служащие и чиновником ушел на пенсию. Но в ту пору Генриха еще можно было, не особенно даже кривя душой, «подавать» как «рабочего паренька»: одаренный, почти с проблесками гениальности, к тому же и с чувством юмора, симпатичный, христианское воспитание, гуманитарное образование — словом, еще бы чуть-чуть (видимо, этому чуть-чуть помешала лишь наивная убежденность Сабины, что в брак нужно вступать непременно девственницей), и он бы стал его шурином, а на месте Вероники сейчас была бы Сабина и точно так же сидела бы с ним где-нибудь (где же? где?) в глуши, храня ему верность, проклятую верность до гроба и до безумия, о, эта убийственная, непостижимая логика мифа, которую он тщетно снова и снова пытается объяснить себе и Хольцпуке, когда они об этом беседуют. Он вспоминал Нью-Йорк, их нью-йоркские разговоры и тот дурман, дурман ужаса, который обуял Генриха, когда он открыл

для себя «международный континент денег», эти моря, которые никому не дано пересечь, эти горные твердыни, которые никому не дано покорить, эту безмерность,— да, где-то там брезжил в жизни Генриха поворотный миг, когда он узрел своего врага и, как копье, нацелил на него свой разум. То была не зависть, вовсе нет, с тем же успехом можно считать, что святой Георгий Победоносец или Зигфрид бились с драконом из зависти. Да, если уж искать мотивы, то, пожалуй, стоит поразмышлять о Нибелунгах, это куда ближе к истине, чем разглагольствования о зависти, злобе, ненависти и дурацкая болтовня об обидах. Став банкиром или биржевым дельцом, Генрих наверняка заработал бы денег куда больше, чем могло ему понадобиться, и, наверное, в этом-то все и дело: он узрел эту пузырчатую и пупырчатую, бухнущую как на дрожжах безмерность, которая никому не нужна, существует вне всякой пользы, только из себя и ради себя, сама себя покрывает и плодит в мерзком кровосмесительном самозачатии, он узрел многоглавую гидру и пошел отсекать головы, он и отца, конечно, не пощадит, так что вы уж его поберегите, понимаете, словом «капитализм» это уже не исчерпывается, это нечто большее, это — миф. И тут не помогут воспоминания о юношеских чувствах, благодарность, совместные прогулки, танцы, споры, игры, веселые праздники в саду; а после отца, если уж он, Хольцпуке, хочет знать, наиболее вероятная жертва — Сабина. Ибо она и есть та прекрасная царевна, которую он, Беверло, должен вырвать из когтей дракона. Самому Фишеру, как он полагает, ничего не грозит, его они, по всей вероятности, держат просто за «дешевого пижона» и не удостоят ни покушения, ни похищения. Но ребенка, Кит, они, конечно, тоже похитят, однако только с одной целью: чтобы не причинить боль Сабине.

— Да-да, вы не ослышались: чтобы не причинить ей боль. Они ведь ее любят, и он, и Вероника, моя бывшая жена. Разумеется, я не вправе давать вам советы, да и не могу поручиться, что все мои советы и прогнозы верны, я просто пытаюсь нащупать мотивы, не более того. Я, кстати, почти уверен, что, сняв наблюдение с моих друзей, вы только избавите себя от ненужных хлопот.

— А с вас?

— Объективно говоря, учитывая, что у нас есть телефон и, следовательно, возможен контакт, я бы не снимал, я продолжил бы наблюдение, за мной во всяком случае, но не за Катариной, моя жена никогда, понимаете — никогда, не пустится в такую авантюру, она не поедет, нет.

— А вы?

— По всей вероятности — причем вероятность граничит с полной уверенностью,— тоже нет. Но заметьте: я сказал — граничит с уверенностью, может, эта граница — всего лишь тонюсенькая линия, но все равно что-то остается, какая-то мелочь, которая не позволяет мне за себя поручиться.

Хольцпуке вздохнул, потом сказал:

— Жаль, что вас нельзя залучить к нам на работу. Впрочем,— он усмехнулся,— вас, наверно, и не допустят, а?

— Если ваше вопросительное «а?» относится к возможности залучить меня в полицию, то ответом будет «нет». А допустят меня или не допустят, это уж не мне судить. Скорее всего нет, ведь полиция защищает не только то, что действительно нуждается в защите,— она защищает и дракона, которого я пытался вам живописать. Так что лучше уж продолжайте за мной следить, так даже проще, но, если возможно, избавьте от этого мою жену.

— Мы обязаны держать под наблюдением, или, если угодно, охранять, вашу жену. Она объект потенциальных контактов, да вы и сами знаете. И вашего сына мы обязаны охранять. Любопытно, вы говорите «деньги», а не «капитализм»...

— Я-то говорю «капитализм», а вот они — да, «деньги».

— А ваша первая жена?

— Она социалистка. Думаю, она бы с радостью хоть сейчас все это бросила, но у нее есть одно ужасное свойство, как, впрочем, и у моей сестры, госпожи Фишер: верность.

— Верность до гроба?

— Возможно...

— Только вот до чьего гроба?

На это он не знал, что ответить, замялся, потом сказал:

— У нее ведь ребенок, и ей грозит пожизненное.

— Еще одно: вам обязательно было нужно и второго сына называть Хольгером?

— Хольгер — красивое, древнее, благородное нордическое имя. Моего первого сына зовут Хольгер Тольм, второго — Хольгер Шрётер. А что — разве законом запрещено иметь двух сыновей по имени Хольгер?

— Нет-нет, вот разве что ссылка на происхождение имени — я, кстати, тоже считаю его красивым,— ну, как бы это сказать, немножко не на уровне нашего разговора. Нет, законом не запрещено давать сыновьям одно имя, особенно если у них разные фамилии. Люблю с вами поболтать, с вашей помощью я каждый раз хоть немножечко приближаюсь к сути этого проклятого дела, которое, я знаю, вы проклинаете не меньше меня. Только вот хотелось бы узнать — я не собираюсь ловить вас на слове,— вы действительно готовы поручиться и за ваших друзей, за их жен, подруг? Я имею в виду тех, к кому вы ходите, которые ходят к вам?

— Я готов поручиться, что их теоретические воззрения и практические поступки ни на йоту не приблизят вас к тем, кого вы ищете и преследуете. Я готов поручиться, что ни один из них, даже мысленно, ни разу не обозвал полицейского «легавым». Но вообще поручиться? Вот вы за кого-нибудь поручитесь «вообще»? Хотя бы за любого из ваших подчиненных — что он не свихнется, не выйдет из себя, ведь при их работе это вполне простительно? И потом, не забывайте: мои друзья, их жены и подруги, да и сам я, и моя жена — мы бы с удовольствием работали, учителями, слесарями, я вот банковское дело хорошо знаю, нет, правда, а наша подруга Клара замечательная учительница, таких поискать.

— Я не из ведомства по охране конституции и не из министерства по делам культов.

— Да знаю я, и вы прекрасно знаете, что я не собираюсь вас упрекать, но сами подумайте, во что превращается человек, которому запрещено заниматься своим делом. Мы же не можем вечно помидоры выращивать!

— Может, у вас есть какие-нибудь просьбы, которые я в состоянии выполнить?

— Мой сын, Хольгер-старший,— вам хоть что-нибудь о нем известно?

— Не больше того, что ваша бывшая жена иногда сообщает по телефону вашей сестре.

— А если бы вы узнали больше?

— Я бы вам не сказал — не могу, не имею права, и вы прекрасно знаете, что не скажу. Не только по вполне понятным служебным соображениям, но и просто ради вашего сына, да и ради вас. Мы надеемся на телефон — как и вы. Позвольте мне еще один вопрос, сугубо абстрактный, теоретический, если угодно — даже логистический: будь вы на их месте, сообразуясь так сказать, с их логистикой — какое транспортное средство вы бы избрали, если б надумали пожаловать в наши края?

— Что ж... Самолет, машину, поезд я бы сразу отбросил. Остается одно — велосипед. Само напрашивается, да и логично.

— Но медленно. А почему не мотоцикл?

— Слишком много мороки. Ну, а медленно — что из того? Это ведь вопрос планирования, подготовки, если угодно — только вопрос начала операции. Вы, конечно, спросите: почему тогда не пешком. Отвечу: чтобы не бросаться в глаза. Одинокий пешеход слишком заметен, на него обращают внимание, водители думают, что он будет голосовать, в общем — рискованно. А на велосипеде — и модно, и ни от кого не зависишь. Словом, я выбираю велосипед. И позвольте вам еще кое-что напомнить: считать Беверло научился в банке, баллистику изучал в армии, он ведь в артиллерии служил.

— Как и вы.

— Да, мы были вместе, и в армии тоже. Это Герберт, мой брат, уклонился.

Иногда он ездил к Цельгерам помочь матери Вероники с огородом. Полол сорняки, кусты обрезал, помогал собирать урожай — яблоки, груши, сливы, малину и смородину, картошку копал; и когда они вместе работали в дальнем углу сада, жгли картофельную ботву или еще что-нибудь делали, она подходила к нему вплотную и шепотом спрашивала: «Ну что, ничего не слыхать?» И он рассказывал все, что слышал от матери, Сабины, от Герберта: «Мария, царица небесная...» — и все остальное, и что с Хольгером все в порядке. Она совсем сдала, милая Паула Цельгер, которую он по привычке зовет мамой, стала тихой, робкой, трясется, выглядит много старше своих лет. А ведь ей пятьдесят пять, не больше, но Вероника у нее единственная дочь. Несколько раз она попалась на удочку газетчиков и телевизионщиков, наговорила что-то о преступности банков и трусости церкви; с тех пор больше почти никого на порог не пускает. Цельгер оставил свою практику, какие-то гады побили камнями его эмалированную табличку, а новую он заказывать не стал. Как-никак он тридцать лет честно проработал врачом здесь, в Хетциграте, пора бы им было его узнать и сообразить, что он не позволит бить камнями свою вывеску и писать на стенах всякие политические пакости.

Ковыляя, он выходил в сад, с тростью, с трубкой в зубах, бурчал:

— Кто будет есть все твои варенья, Паула? Кто будет есть всю твою картошку? Беженцев нет, кому ты это раздашь? Знаешь, Рольф, если бы она знала, где Вероника, обязательно бы послала ей малинового варенья.

— И послала бы! И мальчику, и даже этому Генриху тоже послала бы. В тюрьмах вон и то кормят, и варенье дают, даже убийцам дают варенье. Послала бы, всем послала бы варенье.

Потом был кофе с тортом, а если он приезжал с Хольгером, тому давали мелочь на мороженое; старик Цельгер посасывал свою трубку, бурчал что-то под нос, не хотел и слышать о том, что «время неприязни давно позади», что никто в Хетциграте больше на него «не сердится», ну уж нет:

— Теперь сержусь я и не перестану до конца дней. Плевал я на ихнее сострадание и на ихние обиды, на ихнее доверие или там недоверие! Среди ночи вставал, не спрашивал, что там — болячка или роды, все равно шел, никому не отказывал, и так тридцать лет, даже сразу после войны, когда ночью на улицу выходить было опасно,— и вот за все за это тебе на старости лет бьют стекла, сшибают вывеску, пакостят стены, и никто, ни один не зашел, не извинился, слова доброго не сказал. А священник, он здесь живет ровно столько же, сколько я, когда встречал меня на улице, не здоровался, а этак деликатно отворачивался — просто отворачивался и шел в другую сторону, у-у, боров трусливый. И нечего пугаться, Паула, да, я назвал священника трусливым боровом, он и есть боров. Нет, детки, нет — и за что? Только за то, что дочь от рук отбилась и по кри-

вой дорожке пошла, а у самих-то свои уголовники, вон их сколько в этой мерзкой, вонючей католической дыре: и воры, и убийцы, и насильники, а уж про аборты, мошенничество и всякий блуд говорить нечего — сколько их над своими же дочерьми да невестками надругались, сколько отцов я по справке от каталажки, скольких детей от колонии спас?! Сколько? Иной раз, Рольф, мне самому хочется террористом заделаться, честное слово, особенно когда этого подлюгу священника вижу — даже не поздоровался, представляешь, а ведь первый, самый первый должен был к нам прийти.

Он достал фотоальбом и показал фотографию Вероники после первого причастия, милая, прелестная девчушка, вся в белом, со свечкой в руке и цветком в волосах. Рядом с ней за кофейным столиком священник тянет ложку к вазе со сливками.

— Вон он, видишь, лыбится, сливки твои хлебает! Ну, что за люди? Что у нас — чума? Да даже если бы и чума! Не-е-т, теперь пусть у него прямая кишка хоть до земли вывалится, он и таблетки у меня не получит. Знаешь, Рольф, если бы не твоя мать, мы ведь подохли бы с голоду. На черный день я никогда не откладывал, у меня вот только и есть что дом да закладные на него, не-е-т, ей, если б мог, я бы ей не только варенье посылал. Если дочка по кривой дорожке пошла — что ж, выходит, мы неприкасаемые? Ну да ладно... А скольким из них я после войны их эсэсовские наколки вырезал? Если бы не твоя мать, да, от нее все приму. И от твоего отца приму, не побрезгую.

На обратном пути он, случалось, заворачивал к старику Беверло: тот открывал недоверчиво, без слов, молча поднимался вместе с ним в мансарду крошечного домика — в комнату, которая когда-то служила Генриху и кабинетом и спальней. Они называли ее «карцером»: девять квадратных метров, скошенные стены, два окна-люка на крышу; старик с издевательской ухмылкой обводил взглядом книжные полки: Томас Мор, Томас Аквинас[1], Томас Манн, «сколько ни есть Томасов, все тут»,— чертежные линейки, пашки, бумага, ручки, карандаши, все в безупречном порядке на складном столе-пюпитре, что привинчен к спинке кровати в изножье; даже ластик на прежнем месте, а в прозрачной пластмассовой точилке для карандашей еще остались шелушистые стружки; початая пачка сигарет, окурок в пепельнице, на стене университетский диплом в рамочке, распятие, мадонна Рафаэля — жутковатый набор реликвий, в котором нашлось место даже для лейтенантских погон.

— Он ведь в артиллерии кой-чего добился, Генрих-то, он у них по баллистике лучшим был, его в генеральный штаб хотели брать.— Он даже позволил себе помочь, когда они спускались по лестнице, этот желчный, высохший старик, а на прощанье, уже в дверях, добавил:— Он всегда говорил: мир еще обо мне услышит. Вот и услышал.

Ну, а поскольку это было почти совсем по пути, рукой подать, он в таких случаях заезжал в Тольмсховен, вместе с сыном, минуя охрану, поднимался к родителям, которые всякий раз чуть с ума не сходили, чуть не плакали от радости, дед сразу хватал внука за руку, тащил гулять по коридорам или на балкон; он обожает водить детей за руку, его старик. Рольф помнит свою детскую ручонку в руке отца, когда они бродили по полям вокруг Иффенховена, тот неизменно вел двух детей за ручку, был на верху блаженства, заставлял их меняться, вел по очереди — его и Герберта, Герберта и Сабину, а позже и Веронику,— вот только он не помнит, сколько лет было

[1] Фома Аквинский — Thomas Aguinas *(лат.)*.

Генриху Беверло, когда тот появился у них в доме, был ли он еще в том возрасте, когда детей водят за ручку. Наверно, отцу ничего больше и не нужно от жизни, только детские руки и история искусств, не нужен ему этот его «Листок» и уж тем более замок. Замок вообще «не про его честь», слишком все шикарно и с чужого плеча, даже не выйдешь просто так, взяв внука за ручку, побродить по лесам и полям и не выбросишь из головы злосчастный «Листок»; и Кэте в замке не по себе, не постряпаешь, не закатаешь на зиму компоты и соленья, вроде как неудобно, и вообще все, что в Айкельхофе было естественно и просто, тут как-то не получается,— да, с замком своей мечты отец, похоже, дал маху.

Было что-то бесконечно трогательное в суматошной радости, с какой его всякий раз встречали старики, в том, как Кэте тотчас же убегала в свою крохотную кухоньку готовить один из своих непревзойденных супов и печь пончики для внука, и все это с какой-то лихорадочной ревностью к «большой» кухне внизу, которую они оба называли «пленарной кухней». Отец радостно колготился рядом, то и дело вытаскивая из кармана сигареты и тут же засовывая их обратно; какое счастье, что он никогда не рассказывает о войне, ни слова об этом, даже в связи со своей всем известной «табачной травмой», не заводит разговоров про «наше время», про свою бедную юность и голодные студенческие годы, только всякий раз боязливо спрашивает, не пригласить ли все-таки в гости родителей Катарины, они ведь рядом живут, здесь же, в деревне; слишком они оба застенчивые, отец и Кэте, и вовсе им не по душе жить, как Кэте выражается, «в этих хоромах», но вот ведь живут. А Луизу Коммерц, мать Катарины, отец с детства знает, помнит маленькой девочкой, с которой они играли на дворе у Коммерцов — мяч, салки и все такое.

А вот Хольгер любит бывать в замке — тут и страшный подвал со старинными ржавыми доспехами, и башня с бойницами, и беседки в саду, а в траве каменные ядра и тяжеленные стволы древних пушек.

И все чаще слезы, подозрительная влага в глазах отца, когда приходит время прощаться — а ведь до Хубрайхена восемнадцать километров, до Кёльна, где Герберт, двадцать, и семнадцать до Блорра, где Сабина. И у Кэте тоже глаза на мокром месте.

Ну а коли уж он добирался до Тольмсховена, просто грех не навестить родителей Катарины, ведь о его приезде мгновенно узнавала вся деревня, как же, Рольф приехал, тот самый Рольф, которого все помнили «таким славным, таким скромным мальчиком», который своим умом, без отцовской помощи, в люди вышел и чуть было не стал директором банка, если бы, да, если бы не удумал поджигать машины и камнями в полицейских швыряться. Из всех домов сбегались друзья детства, те, с кем он когда-то играл в футбол и прислуживал в церкви, хлопали по спине, ощупывали его, изображая полицейский шмон, сверху донизу, притворно изумлялись: «Куда ж ты подевал динамит и гранаты?» — все наперебой тискали и тормошили Хольгера, через раз дружно объявляя его то «вылитым Тольмом», то «вылитым Шрётером»; сверстницы Катарины, с которыми она пела в церковном хоре, сердобольно покачивая головами, совали ему леденцы и просили передать привет маме; ну и конечно, потом Хольгеру непременно надо было пошвыряться камушками в ручей. Цепные псы на дворе у Коммерцов презлющие, Хольгер всегда проходил мимо них с опаской. И снова «О, господи!», и слезы, теперь уже задолго до прощанья, и снова кофе, и печенье из жестяных банок, которое так и тает во рту, и, разумеется, Хольгер тащил его в дедушкину мастерскую, где столько всего интересного. Там восседал старик Шрётер, на чем свет стоит клял коммунистов, которые укокошили его брата, но еще пуще

Аденауэра, который все, все подчистую «предал и продал — и за что? За чечевичную похлебку. Ну и как тебе ихняя похлебка? Видать, не больно по вкусу, иначе ты бы не стал... Ну да ладно, что было, то прошло, хоть и не забыто». Хольгеру он показывал все — муфты и втулки, патрубки и нарезки, колдовал над каким-то устрашающим сооружением, свинченным из старых оружейных деталей, и было немного жутковато слышать, как он снова и снова объясняет внуку, что «в этот вот оптический прицел, слышь ты, я точнехонько, прямо тютелька в тютельку, беру на мушку окна другого твоего деда, ну просто в аккурат, слышь ты, особенно которое в ванной». Что-что, а уютно у Шрётеров не было, Луиза слишком набожна, почти до плаксивости, да и сам Шрётер с его вечной старой песней про «левый центр»,— под конец, когда все родственные повинности были исполнены, его прямо-таки одолевала тоска по Хубрайхену, по тенистому саду за высокой стеной, по красной эмали молочного бидона, по огороду, яблоням, сливам и грушам, по играм у печки, по Катарине, которая, не отрицая известного неуюта в родительском доме, пыталась подыскать этому объяснение: «Как ты не можешь понять — это ожесточение левых католиков при виде победного марша правых католиков? Этих левых — их же вечно оттирали, вечно они плелись в хвосте, усталые, желчные, злые, да и с чего им было радоваться? Не с чего. Вот и выходит: как тебе ихняя похлебка?»

Эта тоска по Хубрайхену его пугает, тоска по их домику и саду, по уединению с Катариной и Хольгером, по чувству защищенности, даруемому поленницей, которую он укладывает точно крепостную стену; ежедневный ритуал, увенчанный ежевечерней прогулкой за молоком и щедрым «походом» старухи Гермес; его пугала эта тоска по защищенности, вполне понятная и извинительная прежде, в ту пору, когда он только-только вышел из каталажки и его травила свора Цуммерлинга, травила сама и пыталась натравить на него и на священника всю деревню,— но теперь, четыре года спустя, Хольгеру ведь уже три, теперь он вроде бы должен, просто обязан рваться отсюда, а его даже не тянет. Неужто ему так и суждено, неужто ему хочется до конца дней просидеть в Хубрайхене, растрачивая свои способности к планированию и сложнейшим расчетам только на сад, урожай, заготовку дров и детские игры? Превратиться в эдакого бесплатного консультанта для деревни, которому иногда, в награду за труды, посылают то ливер с убоя, то лукошко яиц?

Он сам ужаснулся унылому автоматизму своего возвращения: открыть дверь, молоко в кухню на полку, чмокнуть Катарину, снять с Хольгера курточку, погреть руки у огня, заглянуть в кастрюлю, из которой сегодня даже пахнет мясом: рагу с овощами и грибами,— посмотреть, хватит ли початой бутылки вина на ужин или надо откупорить новую; закрыть ставни, набросить изнутри крючок, проверить землю в ящиках с геранью; на дворе туманно и сыро, от вечерней прогулки можно воздержаться. Он испытал облегчение, услышав, что Долорес сегодня на испанский не придет, организует какую-то демонстрацию, то ли в поддержку Чили, то ли Боливии, хвалила по телефону их испанский, она теперь с ними только по-испански говорит, принципиально, на прощанье — «Venceremos!» [1] Где? Кто?

Они оба перепугались, когда тем не менее раздался стук в дверь, даже вздрогнули, ведь они уже предвкушали тихий вечер, как они поупражняются в испанском, послушают музыку, и были безмерно удивлены, увидев на пороге Сабину с Кит и молодым охранником, которого он в последнее время встречал в замке — в коридоре, в парке или во дворе. Сабина с вещами — это что-то новенькое: чемодан, сумка, мешочек с вязаньем, Кит с двумя куклами в обнимку и вдоба-

[1] Победим! *(исп.)*

вок со старым, драным плюшевым львенком, она с ним никогда не расстается. Голос у Сабины просительный, почти смущенный:

— Знаю, что помешала. Но мне очень, очень нужно было приехать, поговорить и вообще... А заночевать мы можем и в чуланчике.

Это был подходящий случай еще раз убедиться в несокрушимом и безоговорочном Катарининой радушии — ни тени удивления или досады не промелькнуло на ее лице.

— Сперва войдите. И поужинайте с нами, у нас кое-что вкусненькое. Да и Хольгеру совсем не вредно для разнообразия поиграть не с нами, а с Кит. Входите, входите же! Вот только... твоя безопасность... ты же знаешь, я без шуток.

— А я с охраной,— сказала Сабина улыбаясь.— Господин Тёргаш, вы, наверно, его знаете, любезно согласился меня сопровождать на маминой машине, свою я у Эрвина оставила... Словом, по указанию господина Хольцпуке господин Тёргаш взял меня под свое покровительство.

Молодой охранник только кивнул, потом сказал:

— Мне пора на пост, доложить начальнику обстановку. Наверно, подкрепление пришлют. Ответственность, сами понимаете, а дом вон какой, и сад огромный.

— Вы там продрогнете,— забеспокоился Рольф.— И дождь вот-вот начнется, да и туман, вон сырость какая. Пойдемте, я покажу подходящее место.— И тут же оговорился: — На мой взгляд, подходящее. К тому же надо священника известить.

По садовой дорожке он отвел Тёргаша к входу в подвал, где стальной козырек и стенки из армированного стекла образовывали нечто вроде будки.

— По-моему, отсюда все просматривается — и сад, и стена, и наш домик. А если вы... словом, вы позволите принести вам что-нибудь поесть?

— Спасибо,— Тёргаш прислонился к стене, проверяя обзор.— По-моему, сойдет, во всяком случае пока напарник не приедет. Только вот еще что: у вас лампочка над входной дверью есть?

— Есть, а что?

— Вы не могли бы ее включить?

— Ну конечно.

— Спасибо, и вы уж извините, но, пожалуйста, никакой еды... Я бы с удовольствием, но...

В ту же секунду в церкви вспыхнул свет, пролился из окон в сад, и Рольф, сам не зная почему, он никогда бы не сумел этого объяснить, испугался, кинулся к двери ризницы, подергал за ручку, потом со всех ног бросился к другому входу, через сад, в калитку, и тут увидел перед домом машину Ройклера, багажник настежь, крышка поднята, и молодая женщина, явно незнакомая, с двумя чемоданами и сумками через плечо спускается с крыльца, она ему кивнула, прошла мимо, он проводил ее взглядом: строгая бледность лица, длинные, свободно ниспадающие волосы, красивая походка,— а она поставила чемоданы, прежде чем уложить сумки в багажник, снова глянула на него и улыбнулась. Тогда он подошел, хотел представиться, но она, качнув головой, сказала:

— Я вас знаю. А я — Анна Плаук. Зайдите к нему, он уезжает насовсем. Хотел потихоньку, собирался вам потом написать. Единственное, что его беспокоит,— это что без него вас вытурят отсюда. Зайдите к нему, он в церкви.

Он давно уже не был в церкви, хотя живет, можно сказать, под церковной стеной и подружился, да, подружился со священником; и все равно ему было страшно, когда, пройдя коридором и ощутив дуновение сквозняка, он вступил в гулкий холод храма. Непроизвольно

поискал глазами чашу со святой водой и обмакнул персты; не так уж давно это было, всего десять лет назад, десять из его тридцати; он даже перекрестился и чуть не вздрогнул, увидев вдруг Ройклера в облачении у алтаря, наверно, испугался, уж не задумал ли тот какого-нибудь кощунства, какого-нибудь торжественного и глупого святотатства, но священник, к его удивлению, просто снял с алтаря покрывало, бережно его сложил, достал чашу из дарохранительницы, преклонил колена, загасил свечи и удалился в ризницу, откуда вскоре вышел в обычном костюме. Рольф все еще стоял столбом, когда Ройклер, тронув его за плечо, сказал:

— Нельзя же все просто так бросить. Я все оставляю в порядке — чаша в сейфе, белье в шкафу, ключ от сейфа вышлю епископу. И ухожу я вовсе не потому, что меня измучили сексуальные влечения, а потому, что люблю эту женщину, да, я люблю Анну, не хочу бросать ее и обрекать на одиночество себя — да, милый Тольм, не хочу, не хочу больше тайком делать то, что возбраняю другим, вменяя им это в грех. Для прихожан, я думаю, беда не бог весть какая, надо надеяться, им скоро пришлют нового священника. Пойдемте, мне надо еще кое-что с вами уладить.

— Что же вы будете делать? — спросил Рольф.— Чем займетесь, на что жить будете?

— Сначала поживу у Анны, она прокормит на первых порах. Может, у брата найдется какая-нибудь работа, у него ведь электроремонтная мастерская. Читать и писать я умею, считать тоже — не смотрите на меня так грустно: мне жаль расставаться с вами, вашей женой, вашими родителями, да и со всеми здесь. Может, как-нибудь тайком и заеду — посидеть у огня, выкурить сигару. Вы чем-то напуганы?

— Да,— признался Рольф.— Вопреки всем моим доводам, вопреки всем прогнозам... да, я напуган, я всегда думал, мы всегда думали... Катарина...

— Вы думали, что я хороший священник. Пожалуй, так оно и есть, я был неплохим священником, сколько мог. И я хочу по-доброму расстаться со своей церковью... Пойдемте.

Они оба перекрестились, почти одновременно, Ройклер при этом улыбнулся, Рольф нет. Судя по всему, Ройклер не взял с собой даже книги: стеллажи стояли нетронутыми, в комнате еще пахло дымом его сигары.

— Я тут бумагу оставил, только не уверен, все ли по форме и захотят ли ее признать. Нижеследующим такого-то числа — дату проставите сами — продлевается сроком на пять лет заключенный ранее договор о временной сдаче жилой площади. Сегодняшнее число, подпись: Фердинанд Ройклер, священник,— ведь я пока еще священник, пока еще в этом статусе; так, а вот тут подпишетесь вы — доктор Рольф Тольм. Приходский совет не станет — или, скажем, так: не стал бы — чинить вам препятствий, люди вас полюбили, да и на Гермеса можно положиться. Но я не знаю, какое давление окажут на них сверху, и не знаю, насколько они там, наверху, полномочны вмешиваться в такие вопросы. Не исключено, что все это по усмотрению, по обстоятельствам, может, придется судиться, но как бы там ни было, просто выбросить вас на улицу они теперь не могут, я хотел, чтобы вы об этом знали. Все еще грустим, Рольф? Грустим. Хорошо, мы обязательно увидимся здесь либо в Кёльне, если вы нас с Анной навестите: кстати, вот вам ключ от дома, располагайте епископской комнатой, если ваши родители вдруг захотят у вас заночевать. Пластинки, как всегда, в шкафу, мою стереосистему вы знаете, где вино хранится, надеюсь, тоже не забыли,— и еще: мне было бы очень приятно, если бы епископскую ванную, где еще никто, а тем паче ни один епископ ни разу не мылся, хоть разок использовали по прямому назначению. Не унывайте, мой милый, и попрощайтесь за меня с Катариной и мальчиком.

А тетю я от греха подальше пока что отправил в отпуск, ничего, переживет как-нибудь.

Тут, наконец, Рольф, заикаясь, выдавил что-то о своей благодарности и о том, какое замечательное время они тут прожили.

— Не знаю, что было бы с нами, куда бы нас забросило...— И потом, если бы не вы, люди здесь наверняка не были бы к нам так... милы... не знаю...

Анна Плаук уже сидела за рулем, улыбнулась, кивнула. Потом еще были объятия, даже скупые слезы, взмах руки на прощанье, затихающий вдали рокот мотора, а потом он все-таки еще раз зашел в церковь, долго смотрел на осиротелый алтарь и только тут вдруг заметил, что неугасимая лампада тоже потухла. Страх при виде этой перемены, страх в ожидании нового священника, страх перед будущим страхом их возможного изгнания; он запер дом священника и положил ключ в карман.

Дома Кит уже играла с Хольгером; вместе они решали важный вопрос: куда положить спать львенка и деревянную таксу, которую Хольгер так любит — жуткое поп-изделие а-ля Дисней. Сабина, устроившись на скамье возле печки, курила, что в последнее время наблюдалось за ней редко; это она от печки так раскраснелась или от смущения? В ней ведь всегда было что-то детское, не наивное, а именно детское, и он до сих пор не понимает, как это ее угораздило выскочить за Фишера. Уж если брать из этого разряда, то вполне можно было найти кого-нибудь не только милей, а просто милягу: Плифгера-внука, к примеру, с которым он как-то у отца познакомился, да и — как ни прискорбно, но справедливость прежде всего — младшего Цуммерлинга, конечно, не бог весть какой интеллигент, но действительно внимательный, заботливый, тактичный, про таких говорят «любезный», уж его-то она вполне могла заполучить, к тому же первоклассный наездник, вот это был бы альянс: «Листок» и Цуммерлинг. А почему бы и нет? Ведь совершенно все равно, что читать, везде одно и то же, что тут, что там, разницы никакой,— его даже самого растрогало, что он так нежно, с улыбкой смотрит на Сабину и мысленно желает ей куда больше счастья, чем она, судя по всему, изведала с этим Фишером. Да и Фишер, кстати, вначале был совсем не так плох, как сейчас, хотя, конечно, всегда был реакционер и помешан на прибылях, ну да это все они, наверно, просто не могут иначе,— но прежде он был спокойнее, не такой жесткий; быстро же слинял весь его шарм, а ведь даже какая-то грусть мелькала во взгляде, но милей всех, без сомнения, был младший Цуммерлинг.

— Чему ты улыбаешься? — спросила Сабина и, не докурив сигарету, придавила ее в пепельнице.

— Улыбаюсь, потому что подыскал тебе место для ночлега, и не чулан, а кое-что получше. Самая что ни на есть настоящая епископская комната, даже с епископской ванной.— Он вынул из кармана ключ и подбросил его на ладони.— Священнику срочно понадобилось уехать, он торопился, тебе, Катарина, просил передать привет, и Хольгеру тоже. А дом предоставил в наше распоряжение — на случай гостей. Ну, и просто я рад тебя видеть, выглядишь ты ослепительно, можно подумать, влюбилась, так что, имей в виду, тебе идет быть в положении. Уже, кстати, заметно.

Она покраснела. Наверно, он что-то не то ляпнул.

— Извини, ты к нам надолго?

— Поживу несколько дней. Я Катарине уже все объяснила — Эрвин опять укатил по своим делам, одной в пустом доме тоскливо. Так что, если вас это не очень стеснит, пожалуйста, не надо мне ни епископской комнаты, не епископской ванны, ведь это же опять сидеть в огромном доме одной, и вокруг только полиция. Пожалуйста, если можно — не надо меня в епископскую...

Она улыбнулась, вся какая-то смущенная, помогла накрыть на стол, помнила даже, где у них тарелки, где ложки и бумажные салфетки. Он тем временем вырезал сердцевинки из яблок, положил в каждое по ложке варенья, поставил все в духовку и стал смешивать в мисочке яйца, ваниль, молоко и сахар, готовя соус.

— Это напомнит тебе Айкельхоф.

— Значит, ты тоже частенько Айкельхоф вспоминаешь? А я думала, ты о нем и слышать не хочешь.

— Да нет, не особенно часто, но я знаю, что ты вспоминаешь, вот и хочу, чтоб тебе было хорошо. А вообще-то у нас тут, можно считать, свой Айкельхоф, правда, раз в тридцать поменьше... Ну, дети, к столу.

— Да, очень похоже. Наверно, это из-за стены, а еще... потому что вы такие добрые.

Она то и дело блаженно вздыхала, пока они ели — рагу, тушеные овощи с грибами, салат,— сама, без спросу, поставила чайник, норовила дотронуться до Катарининой руки, улыбалась, чуть не плача, во всяком случае со слезами на глазах, и хотя он и предупредил ее, что полицейский от еды отказался, настояла на том, чтобы собственноручно отнести охраннику его «мисочку».

— А потом и яблоко, когда они испекутся, от меня он возьмет, мы ведь давно знакомы.

Дождь тем временем разошелся вовсю, она набросила на плечи куртку Рольфа, накинула на голову капюшон и склонилась над мисочкой, бережно прикрывая еду от дождя полами куртки; зонтик взять не захотела и аккуратно закрыла за собой дверь.

Едва он рот открыл, Катарина отрицательно качнула головой. У них до сих пор не хватает духа отправлять Хольгера в другую комнату, когда надо что-то обсудить. Он сказал вполголоса:

— Ройклер, священник, надолго уехал... Очень надолго,— и положил перед ней бумагу, продление договора.

Их обоих поразило, с какой блаженной, счастливой улыбкой Сабина вернулась в дом, сняла с себя мокрую куртку, встряхнула ее и снова села у печки. Потом были печеные яблоки в любимых горшочках Хольгера, коричневых с красной каемочкой, и ванильный соус, и все было так мирно, душевно и тепло, будто святая Барбара и святой Николай оба вместе осенили своим присутствием дом, сад, всю деревню: еще осень — но уже дохнуло зимой, и снова ему стало не по себе от физической осязаемости домашнего уюта. Сабина покачала головой, когда Катарина протянула ей горшочек с яблоком для полицейского.

— Нет, он не хочет, слишком щепетильный. Я должна вам еще кое-что сообщить: фургон, в котором живут полицейские, из Блорра перевезут сюда — я нарушаю ваш покой.

— Ты пробудешь у нас сколько нужно... сколько тебе захочется.

— И мне не надо в епископскую комнату?

— Нет.

Сабина настояла: она сама вымоет детей и уложит спать, да-да, сама. Они и вправду являли собой трогательное зрелище, двое малышей в кроватке в обнимку с драным львенком и диснеевской таксой: «просто прелесть».

— Ну вот, а теперь,— произнесла Сабина,— я скажу все: я ушла от Фишера насовсем, окончательно, и ребенок у меня будет не от него, да, не от Фишера, и не смотрите на меня, как папа и Кэте, они тоже не могли поверить, но тем не менее это так.

Катарине первой пришла в голову мысль выпить за ребенка и обязательно чокнуться. Ей всегда приходят в голову такие вот замечательные мысли, а после второго бокала на лице Сабины появилось выражение, которое, пожалуй, следует назвать «счастливым упрямством», и она сказала:

— Если будет мальчик, я назову его Хольгером, хотя бы назло ему: зеленый свет — и никаких ограничений!

— Нельзя называть ребенка кому-то назло, еще беду накличешь,— возразила Катарина.— А потом, откуда ты знаешь, может, будет девочка.

— А вот девочку я назову Катариной, да, не Вероникой, хотя Вероника — тоже очень красивое имя. Папа обещал мне помочь, а Кэте вообще уже видит меня великой журналисткой. Что там стряслось со священником, ты не хотел при детях?

— Да, он уехал и больше не вернется, во всяком случае священником. К женщине, к своей жене. Честно говоря, я и тебя хотел поберечь...

— Поберечь? Меня? С какой стати? Думаешь, я ничего не знаю — ну, хотя бы про Кольшрёдера? И потом, это же только подтверждает ваши прогнозы...

— Не всякий прогноз радует, даже если сбывается. Да, кстати, знаешь, три Хольгера на одну семью — это, по-моему, уже перебор.

VII

Вот и опять его занесло в ту смутную, крайне деликатную область, где интересы безопасности так тесно переплелись с интимностью, что в любой миг можно нарушить и то и другое. Скажи ему кто-нибудь заранее, что по долгу службы ему придется выяснять, от кого забеременела женщина и на каком она месяце, он бы, наверно, решил, что его разыгрывают. И тем не менее, трезво глядя на вещи, следует признать, что именно этот вопрос может на данном этапе оказаться ключевым: установить, когда и с кем небезызвестная дама вступила в тот — несомненно интимный — контакт, последствия которого приводят к состоянию, именуемому беременностью. Ну, а поскольку безопасность госпожи Фишер (и даже безопасность ее брата, хоть тот и сам являет собой фактор повышенной опасности) он принимает очень близко к сердцу не только по долгу службы, но и чисто по-человечески, что в данном случае и понятно и допустимо, ему, видимо, все же следует попытаться пролить свет на это загадочное дело, ибо «обременитель» — пока что назовем его так — под сколь бы привлекательной, социально безупречной маской он ни таился, вполне может оказаться — не в нравственном аспекте, а сугубо в плане безопасности — фигурой по меньшей мере столь же двусмысленной, что и этот молодой Шублер, весьма сомнительный тип, который тоже ведь состоял в интимном контакте с соседкой госпожи Фишер, хотя и без аналогичных последствий — на сегодняшний день, по крайней мере, таковые не установлены.

Случай, что и говорить, довольно щекотливый. Расследование, а тем более доказательство фактов супружеской неверности совсем не по его части, его дело — безопасность, а госпожа Фишер принадлежит к кругу наиболее «подверженных» лиц, и вот выясняется, что она в интересном положении, но не от мужа, сейчас это установлено совершенно точно. Газетчик, что позвонил ему с утра, еще ни разу его не подводил. Это он в свое время сигнализировал о более чем странных оружейных поделках старика Шрётера, из мастерской которого, как ни крути, замок простреливается просто идеально, он же обратил внимание на озлобленность старика Беверло и крайнее ожесточение доктора Цельгера, все сплошь пожилые люди, старики, каждого из которых он прежде считал фигурой второстепенной, в крайнем случае объектом контактов, но уж никак не потенциальным преступником. Но очень может быть, что их ожесточение, гнев, злоба чреваты вспышкой насилия.

Как-никак эта Фишер — урожденная Тольм, а значит, подвержена опасности вдвойне, и все эти люди каким-то боком связаны с Тольмами, которых так трудно держать в узде, просто невозможные старики, оба легкомысленные, иногда просто недопустимо беспечные, особенно она, хотя он лично ни при каких обстоятельствах не усомнится в безобидности этой милой, такой любезной пожилой дамы; их сын Рольф тоже вне подозрений, хоть он и... ну, да это дело прошлое, к тому же на собеседовании он обнаружил незаурядные способности в анализе обстановки; вот другому сыну, Герберту, он, пожалуй, не слишком доверяет: с этими его «три А» (анти-автомобильная-акция) дело может обернуться куда хуже, чем парень предполагает. А теперь, вдобавок ко всему, еще и новая, абсолютно надежная, информация: Сабина Фишер, урожденная Тольм, оказывается, беременна, и не на третьем месяце, а на шестом; но шесть месяцев назад ее муж Эрвин был бог весть где и отсутствовал почти три месяца, чем, кстати, доставил им уйму хлопот — он просто помешан на сомнительных ночных клубах, отсюда и наивные плейбойские замашки, и идиотская бравада, а одно с другим, бравада с безопасностью, не очень-то вяжется. Только зря людей задергали. Впрочем, это больше касалось местной полиции, а детали его не интересуют. Конечно, пришлось проверять все его шашни, каждую случайную интрижку, теперь иначе нельзя, и притом изволь соблюдать — да еще и гарантировать — строжайшую секретность! Но больше всего хлопот из-за Блямпов: она только и знает, что титьками трясти и всем прочим, у его людей от этой порнографии уже в голове мутится, к тому же бесконечные магазины, поездки, вечеринки,— ну, а он ни одной юбки не пропустит, всех его шлюх просто невозможно досконально проверить. А между тем сейчас и в этой сфере тоже повеял «левый ветерок», все из-за этих эмансиписток, будь они неладны, раньше хоть на шлюх можно было положиться, надежный народ, неколебимо реакционный, но «эмансы» и тут поработали на славу, так что теперь и за шлюхами надо смотреть в оба; и с Кортшеде тоже забот хоть отбавляй, милый старикашка, но окончательно и безнадежно — не иначе как «бес в ребро» — втрескался в этого растреклятого подонка Петера, который хоть и не «подрывной элемент», но головорез первостатейный, от такого всего можно ждать, довольно жуткий парнишка, что и говорить.

А теперь вот еще и эта Фишер, чья беременность, помимо всего прочего, задевает его лично, поскольку ставит под сомнение профессиональную безупречность охраны; значит, кто-то все-таки проскочил у них под носом — ведь где-то она с ним встречалась, как-то об этих встречах уславливалась? А между тем они стерегли каждый ее шаг, для ее же блага, разумеется, и с ее ведома, даже по телефону она не могла бы с ним — с кем? с кем? — договориться, ибо что-что, а уж телефон они перекрыли на все сто, да и не могли иначе из-за этой болтушки, которую они между собой прозвали «царицей небесной» и рано или поздно все равно сцапают; к тому же и сама Сабина Фишер знает, что телефон прослушивается, что это совершенно необходимая мера безопасности; а кроме того, он разочарован ее, так сказать, моральным обликом: такая милая, такая серьезная молодая особа, ревностная прихожанка, чьи набожность и благонравие общеизвестны, такая скромница и красавица, можно сказать — почти мадонна, к тому же с прелестным младенцем, а на поверку, судя по всему, оказалась столь изощренной потаскухой, что сумела даже от них укрыть своего любовника! От строки до строки он перечитывал все, буквально все отчеты, протоколы, рапорты: с кем встречалась, к кому ходила, кто приходил в гости — ничего, ни намека на след! О том, чтобы lover[1] проник к ней под покровом ночи, разумеется, и речи быть не может. Мало какой дом

[1] *Любовник (англ.)*

охраняется так, как этот, и потом, черт побери, если у нее и появился некто, кого она полюбила, что неудивительно при таком, между нами говоря, поганце муже, ему-то, Хольцпуке, она могла довериться, могла все рассказать, ведь они столько раз беседовали,— но, видно, печальный опыт соседки, которую они в своем кругу дружно прозвали «падкой Эрной», научил ее предельной осторожности. Ибо меры, которые пришлось применить при расследовании амурных тайн этой самой Эрны — с точки зрения безопасности меры совершенно необходимые и оправданные,— увы, повлекли за собой семейный крах. Нет, расследование супружеских измен и разрушение браков вовсе не по его части; в конце концов, у него серьезная государственная служба, а не детективная лавочка, но встречаются такие вот деликатные сюжеты и щекотливые, рискованные ситуации, в которые приходится вникать. Все-таки удивительно, что ее супруг, судя по всему, начисто забыл азы простейшей арифметики. Или она все еще кормит его баснями насчет «третьего месяца»? Тогда по меньшей мере странно выглядит роль семейного врача, доктора Гребницера. Потребовалось вмешательство вышестоящих — довольно высоких — инстанций, чтобы разъяснить ему, что в данном случае разглашение врачебной тайны совершенно необходимо. Этот наивный, но ужасно милый старикан, в свое время, так сказать, принимавший молодую госпожу Фишер на свет божий,— еще из тех старомодных докторов со стетоскопом на шее, что присаживаются на кровать больного со словами: «Ну-с, как мы себя чувствуем?» — был просто как громом поражен, когда ему — не без труда и совсем не сразу — втолковали, что ребенок, вызревающий, и, судя по его словам, «отменно, отменно» вызревающий в лоне Сабины, вовсе не от мужа. «Сабина — никогда! Сабина — никогда!» — вскричал этот старец, а потом, хотя в конце концов подтвердил и шестой месяц беременности, и согласился признать длительное отсутствие Фишера в соответствующий период, по-прежнему упрямо стоял на своем «Сабина? Никогда!» и даже пробормотал что-то вроде: «Одними подсчетами тут тоже ничего не докажешь...»

А чем же еще, как не подсчетами, когда дело идет об установлении отцовства? А коли так, если столь бдительно охраняемой молодой особе тем не менее удалось тайно завести роман, значит, Люлер, Цурмак и Тёргаш —зачатие пришлось как раз на их время — чего-то недоглядели. Может, она повстречала «обременителя», когда шла к Беерецам за молоком и тут же — простецки вульгарные выражения как-то к ней не подходят — «отдалась», да, видимо, женщины ее типа называют это «отдаваться», отдалась ему где-нибудь в сарае или в хлеву, но тогда, значит, среди Беерецов у нее должен быть сообщник; впрочем, все это весьма маловероятно, ведь когда она ходила за молоком, все подходы к двору Беерецов строжайшим образом контролировались, а сарай и хлев подвергались предварительному осмотру; да нет же — с нее вообще не спускали глаз: ни в ту пору, когда она еще выезжала верхом, ни в магазинах, ни даже в душевой теннисного клуба. Телефонные разговоры с намеками на предстоящее свидание непременно и немедленно были бы взяты на заметку, уж что-что, а ее телефон — с ее ведома и согласия — был на строжайшем контроле, ведь они все еще надеялись засечь «царицу небесную». И тем не менее где-то тайно от них она совершила тот акт, который, как известно, необходим для возникновения беременности. Опять, снова и снова, протоколы, отчеты, списки — ничего; один и тот же круг подозреваемых лиц: снова этот Бройер и этот Клобер, Шублер, Хельмсфельд, крестьяне в деревне — весьма маловероятно, хотя и не исключено, молодой Беерец, к примеру, очень даже симпатичный парень, с прекрасной фигурой, к тому же почти образованный, а она всего только человек, женщина, часто и подолгу одна, нет, ей тоже не позавидуешь, видит бог. Среди дам,

которых она иногда приглашала к чаю, не исключены лесбийские поползновения, разумеется, не с ее стороны и не по отношению к ней, да и вообще от этого, как известно, не забеременеешь. А помимо этого в интересующий период она почти не отлучалась из дома, разве что раз-другой сходила в гости на вечеринку, но в одном он уверен свято: она не из тех, кто готов заняться этим в любом углу, нет, только не она, такая скромная, тихая, серьезная молодая женщина, о чьей религиозности даже писали в газетах. И коли он способен догадываться, что набожность еще никого не оградила от греха, то способен догадываться и еще кое о чем: этой женщине, если уж на то пошло, нужна душевность, а не вульгарный порнографический зигзаг, из-за которых у его людей подчас столько мороки.

На этой коварной ничейной полосе между безопасностью и деликатностью, в этих джунглях неразрешимых противоречий впору не только самому шею свернуть, но и разрушить еще один брак, да притом такой, что пресса оповестит об этом аршинными заголовками. Тот же газетчик прозрачно ему намекнул: брак Фишеров, который во всех журналах, газетах и газетенках прославлен как идеальный, больше того — идиллический, этот образцовый союз между «Листком» и «Пчелиным ульем», в котором, как беспрестанно подчеркивалось, «царит и полное идейное согласие»,— такой брак не может рухнуть без шума и скандала. Впрочем, не исключено, что беспредельно самоуверенный и, видимо, до сей поры ни о чем не подозревающий Фишер так и не удосужится заняться элементарными арифметическими подсчетами или в последний момент извлечет на свет божий романтическую сказку о тайном рандеву с женой — на Багамах или еще где-нибудь; ну, эту-то версию он в два счета опрокинет.

Да, это дело требует величайшей деликатности. Тот газетчик никогда раньше не подводил, у него самая надежная информация. Ведь это он обратил его внимание на гомосексуальные склонности Кортшеде, и таким путем они вышли на Петера Шлумма, который на все способен (хоть и пришлось ради этого подслушивать, как Кортшеде нежно шептал ему «моя пташечка»). Этот Шлумм — вот уж кто действительно фактор повышенной опасности, хотя ни в малейшей мере не «подрывной элемент», зато в шантаже и попытке убийства считай что изобличен, сутенерство само собой, плюс гашиш и героин,— и это в свои двадцать лет, притом писаный красавчик, белокурые локоны, а лицом сущий ангел. От такого только и жди сюрпризов, да притом куда похлеще, чем сюрприз молодой Фишер с ее внезапно «продвинувшейся» беременностью. Наверно, все-таки надо еще раз с ней поговорить, ознакомить ее с результатами своих разысканий и просто попросить — ради ее же блага и блага ее ребенка — поделиться с ним ее сокровенной тайной; он пообещает ей строжайшую секретность, сообщит о результатах проверки «обременителя», и вообще он вовсе не желает создавать какие-либо препоны в ее интимной жизни, ведь, в конце концов, он не какой-нибудь частный сыщик, чтобы рыскать по постелям и комодам. Но если она откажется — тогда придется поговорить с Дольмером, а Дольмеру, вероятно, со Стабски, прежде чем начать энергичные розыски «обременителя».

Нет, тут сюрпризов быть не должно, и если этот брак пойдет прахом, то никак не по вине полиции. Как-никак один из Фишеров сидит у самого Цуммерлинга, так что падение невестки Фишера мгновенно и неминуемо обернется скандалом для оберегавшей ее полиции — в нескольких газетенках и так уже были намеки на «семейные трения».

Досадно, что к телефону в Блорре подошла горничная, сообщила, что госпожа Фишер только что уехала вместе с дочкой и своей мамой; еще более досадно, что Кюблер рапортовал ему об этом лишь

пять минут спустя, добавив, что «взят кой-какой багаж» и все это «смахивает на маленький переезд», вскоре после этого Тёргаш из Тольмсховена — и, что поразительно, почти теми же словами — доложил о прибытии двух дам с девочкой, добавив, что все это «похоже на маленький переезд»; Ромер, который ехал за дамами следом, попросил новых указаний: возвращаться ли ему в Блорр или оставаться в Тольмсховене? Тут как раз Кюблер из Блорра сообщил, что почти сразу после отъезда жены объявился Фишер, забрал кое-какие бумаги и, так и не выгрузив из машины многочисленные чемоданы, снова укатил. Ему, Кюблеру, он, Фишер, в обычной своей оскорбительной манере изволил сообщить, что на несколько недель уезжает; поскольку, продолжал Кюблер, Блюм тоже ушла, и ей поручено всего лишь время от времени — то есть нерегулярно — присматривать за домом, то, видимо, объект не требует теперь столь неукоснительного наблюдения, а потому нельзя ли ему, Кюблеру, уехать домой? На что Хольцпуке, неожиданно разозлившись, в резкой форме велел Кюблеру оставаться на месте и ждать дальнейших указаний. Впрочем, было от чего разозлиться: Сабина Фишер всегда относилась к их работе с пониманием и тактом, заранее сообщала обо всех изменениях, что позволяло ему спокойно и без спешки перераспределить людей; теперь же все, особенно это «безоглядное бегство» из Блорра вместе с матерью и дочкой, свидетельствовало о каких-то трениях, неладах, если не о панике; отъезд Фишера, впрочем, может, просто случайность; и уж совершенная неразбериха воцарилась после того, как Ромер доложил из Тольмсховена, что Сабина Фишер после кратковременного отдыха в замке отправилась вместе с дочкой дальше, в Хубрайхен, к брату, ввиду чего он, Ромер, поскольку решение требовалось принять незамедлительно, отрядил для ее охраны Тёргаша, а сам вплоть до окончательного прояснения задач Тёргаша остался на его месте в Тольмсховене, где после заседания все относительно спокойно, и будет ждать, пока его не сменит Люлер, а тогда уж поедет обратно в Блорр. Он подтвердил распоряжение Ромера, вызвал Кюблера, извинился за недавнюю резкость и при этом поймал себя на мысли, что расстроен из-за того, что доверительный разговор с Сабиной Фишер за чашкой чаю не состоится. Время от времени ему случалось беседовать с ней, иногда что-то объяснять, иногда самому наводить справки,— и он, что скрывать, любил посидеть в обществе этой очаровательной молодой женщины: было что-то непередаваемо детское и в ее смехе, и в самой манере смеяться над некоторыми вещами, отчего сразу забывалось ее пресловутое «положение в обществе»; она всегда сама заваривала чай, а иногда даже извинялась за то, что причиняет столько беспокойств. Он-то думал, что всецело заручился ее доверием, возомнил, что сумеет обсудить с ней даже эту весьма щекотливую тему, объяснить ей, что и в самом обворожительном любовнике — либо за этим любовником — могут скрываться элементы, нуждающиеся в проверке. Он уже заготовил кое-какие формулировки, вроде: «Сопоставление некоторых фактов привело меня к выводу, что ребенок, которого вы ждете,— поймите, на эту мысль меня натолкнули отнюдь не моральные соображения, а исключительно соображения безопасности,— так вот, этот ребенок, вероятно, проистекает (нет «проистекает» нехорошо, тут надо еще подработать) не из вашего супружеского, а из иного любовного союза; ну, а поскольку я несу ответственность за вашу безопасность, то, прошу прощения...» — вероятно, она покраснеет, примется подливать чай, а может, наоборот, рассмеется или разозлится, будет возмущена, оскорблена, укажет ему на дверь, а то и пожалуется начальству, и тогда жди выговора — могла бы разозлиться, могла бы пожаловаться... Ибо теперь, когда она обосновалась у брата в его тесной хижине, ни о каком доверительном разговоре, тем более на такую тему, не приходится и мечтать.

Чем больше он об этом размышляет, тем менее вероятным представляется ему роман за пределами Блорра. Ведь если бы она захотела встретиться с «обременителем» не в Блорре, ей бы неминуемо пришлось на два-три часа уехать, какое-то время отсутствовать, а это обязательно отразилось бы в протоколе, пусть только вопросительным знаком, но вопросительный знак потребовал бы разъяснений, как это было, например, когда она зачастила с дочкой в Хетциграт к этой Гребель, или в другой раз, когда она вдруг сменила парикмахера, вместо Шуманского в Блюкховене стала ездить к Пикзене в Хурбельхайм; рано или поздно вопросительный знак в протоколе все равно снимается; теперь она вообще не затрудняет больше парикмахеров, сама моет и укладывает свои роскошные, тяжелые, золотистые волосы, на которые ему так хотелось бы полюбоваться во время доверительной беседы за чашкой чаю. Если брать соседей, то на первых порах его заинтересовали Блёмеры, весьма разбитное семейство, к тому же устраивающее иногда более чем непринужденные вечеринки — сплошная морока, ведь особо сомнительных гостей тоже приходилось, пусть выборочно и наспех, проверять,— и в первую очередь шурин Блёмера, некто Скульч, человек явно состоятельный, хотя источники его доходов не до конца ясны: считалось, что он якобы сочиняет и публикует под псевдонимом ходкие порнографические романы. Однако оба они — и сам Блёмер, и его шурин,— пожалуй, совсем не в ее вкусе, слишком легкомысленны, слишком развязны, ни намека на «душевность», а кроме того, ему только сейчас пришла в голову важная деталь, позволяющая вовсе сбросить Блёмеров со счетов: ведь они поселились в Блорре месяца два-три назад, а она на шестом и прежде никаких контактов с Блёмерами не имела, это установлено. Значит, остаются молодой Беерец, старик Херманс, Клобер, Хельмсфельд и еще — в интересующий период — Бройер; все до крайности маловероятно, но он давно усвоил, что в оценке любовных коллизий категории вероятности, основанные на анализе склонностей, вкусов и возможных симпатий и антипатий — инструмент более чем ненадежный: взять хотя бы Кортшеде, этого, мало сказать, тонкого — утонченного господина преклонных лет, который как-никак женат, отец взрослых детей, играет на клавесине,— если уж заподозрить за ним какие любовные грешки, то, сообразуясь с его вкусами, следовало бы подобрать ему культурную, ухоженную особу лет тридцати восьми, актрису или вокалистку (сопрано), а он втюрился в распоследнюю дешевую потаскуху, к тому же мужского пола, в этого вульгарного подонка Шлумма; а Блямп, которому подошла бы, скажем, танцовщица (чардаш или, на худой конец, фламенко), когда в третий раз женился, выбрал себе тихую, добрую, необычайно приветливую югославку — уборщицу, это был просто ангел кротости, правда, больше двух лет даже она с ним не выдержала. В конце концов, после того, как он доподлинно убедился, что она действительно совершила то, что на ее языке, очевидно, именуется «прелюбодеянием», он никого не имеет права исключить из числа возможных партнеров — ни пожилого Хельмсфельда, у которого, впрочем, на такое вряд ли хватит духу, хотя желания, наверно, хоть отбавляй, ни даже кривоногого Клобера; оба, кстати, зафиксированы в списке посетителей — Хельмсфельд, вероятно, приглашался на чаепитие с «литературным уклоном», а Клобер заходил ненадолго, чтобы сбыть овощи «со своей грядки» — салат, цветную капусту, «ручаюсь, госпожа доктор Фишер, никакой химии!» — никак не мог отучиться от церемонного обращения «госпожа доктор», и хотя не отказывался от предложенной сигареты и рюмочки коньяка, но чувствовал себя явно не в своей тарелке, сигарету обычно не докуривал, и вообще ни один из его визитов по продолжительности не превысил 15—17 минут; пожалуй, Клобера со спокойной совестью можно вычеркнуть.

Ну, и потом — всякое дело надо продумывать до конца — оставались еще и его люди. Самый подозрительный, пожалуй, Цурмак — подозрительный, если смотреть его, Цурмака, глазами: этот хоть и женат, но малый не промах, своего не упустит даже на службе — во всяком случае однажды, притом в крайне неприятной ситуации, которая могла кончиться плохо, он вступил в интимные отношения с родственницей одного из задержанных. Он арестовал паренька, торговца гашишем, а потом отправился к нему на квартиру, чтобы как следует все обыскать, и там, как он сам потом признался, «лег» с матерью мальчишки.

«Да, у меня с ней было. Хорошая баба, Элли ее звали, фамилию не помню, и вовсе не шлюха. И потом, бывало, заходил, да, в рабочее время, потому как тянуло очень, и сейчас, как мимо ее дома пройду, тоже тянет, и сердце щемит, ведь я знаю, что и ее старик, и ее мальчонка — оба в тюряге, а мне она нравится, даже, может, не просто нравится, а еще сильней, и когда бываю около ее дома, не могу устоять, да и она каждый раз так и млеет, а Лисбет, жена моя, ничего не знала и ни разу ничего не заметила. Но потом я все-таки и сам струхнул, опасность шантажа и все такое, хотя у нее этого и в мыслях не было, нет, Элли хорошая баба, душевная, баба что надо...»

И все-таки Цурмака он исключил, не потому, что считал его на такое неспособным, а из-за нее, из-за Сабины Фишер. Не мог он представить ее с Цурмаком, ну никак, пожалуй, тогда уж скорее с Клобером, хотя Клобер — кривоногий старый сморчок, а Цурмак — видный, статный полицейский, есть в нем даже что-то от добропорядочного жандарма былых времен, ладный, спортивный, открытый и, видимо, на женский взгляд, отнюдь не лишен шарма. Люлер — он перебирал их, так сказать, в порядке вероятности — теоретически, конечно, запросто и в сей же миг, этот тоже не боится приключений и пережил их предостаточно, к тому же холост, одно только: эта «пчелка» — ни в любовном, ни в чисто социальном аспекте — не его поля ягода, слишком уж шикарно и слишком рискованно. Она же из тех, кто «фигурирует в прессе», да еще как! А это означает скандал и крупные неприятности. Нет, Люлер на такое не пойдет, только не он; и потом, ведь если это кто-то из его подчиненных — а они, черт возьми, тоже люди, и, между прочим, мужчины,— значит, нарушения безопасности тут исключены; остается еще Хуберт Тёргаш. Этого он до сих пор так и не раскусил, вообще-то он ему нравится, один из самых надежных сотрудников, и даже в теории на высоте, юридические, правовые аспекты всегда в полном ажуре, вообще ни малейшей промашки, даже когда стажировался в полиции нравов. При поступлении Кирнтер ручался головой и за него, и за его стабильный брак, а проявляющуюся временами нервозность, которая иногда почти переходила в раздражительность, объяснял финансовыми трудностями: парень слишком много на себя взвалил — новый дом, новая машина, престижные покупки,— но Кирнтер указал и на необычайно важный, даже, как он выразился, «неоценимый стабилизирующий элемент» — жену Тёргаша Хельгу, милую, спокойную, умницу, к тому же «почти красавицу»; правда, среди родственников имеются и некоторые отнюдь не стабильные элементы, как то сестра Хельги Моника и особенно ее друг Карл Цурмайен, тоже из таких, социолог-недоучка, но у них на него ничего, ровным счетом ничего нет, хоть он и находился в Берлине в довольно подозрительный период, так что вполне могло и быть. Только одно указывает на Тёргаша как на вероятного «обременителя» — из всех подозреваемых лиц он единственный если не идеально, то по крайней мере приблизительно подходит под «ее тип». Очень серьезный молодой человек, набожный, как и она, притом не без юмора, хоть и кажется иногда сухарем, к тому же преисполнен спокойной мужественности, кото-

рая ей наверняка нравится; религиозен, временами до фанатизма, чего в ней нет, чертовски «справедлив», не самоуверен, но одержим идеей справедливости, ради которой кое-кому в обход инструкций кое-что спускал, а кое-кого даже и отпускал. Среди них он отчасти как бы инородное тело, сальных анекдотов не терпит, непристойностей на дух не переносит, что прежде давало повод для насмешек, иной раз даже не безобидных, но при этом среди сотрудников, включая самых циничных зубоскалов, он сумел завоевать и уважение, и даже расположение. Но неужели Тёргаш — даже мысленно что-то мешает назвать его «обременителем», поэтому на сей раз он предпочел слово «любовник»,— неужели Тёргаш был или, чего доброго, все еще остается ее любовником? Впрочем, само это слово «любовник» хоть и прибавляло вероятия невозможному, но все же не настолько, чтобы уверовать в его вероятность.

Значит, один из его подчиненных? Аршинных заголовков тут будет хоть отбавляй, и от первого же он мигом слетит, так что, наверно, лучше покамест это дело не трогать и уж ни в коем случае не подключать ни Дольмера, ни Стабски, а газетчику так и сказать: интимная жизнь госпожи Фишер может заинтересовать его лишь в той мере, в какой она содержит в себе риск нарушения ее безопасности, а в данном случае этот риск исключен: в самом деле, если это кто-то из соседей или один из его людей — какой же тут риск? Разве что моральный, но моральный риск — это уже не по его части. Тёргаш? Да, он как раз из таких, из «душевных». Но ведь у него же Хельга, такая превосходная, милая, да и красивая жена, с которой он, Хольцпуке, даже имел удовольствие несколько раз станцевать, однако, как ни крути, а в данное время Сабина Фишер пребывает у брата в Хубрайхене в сопровождении Тёргаша и под его охраной; сад священника за высокой стеной, укромная хижина, могучие деревья, густой орешник; если у них и вправду роман, обстановка для влюбленных лучше некуда. Разумеется, ее брат Рольф вовсе не разбитной поборник порнопрогресса, как, кстати, и его капиталистическая сестрица, он-то скорее тип социалиста-пуританина, но, конечно же, не станет читать мораль и вообще как-то портить жизнь любимой капиталистке-сестре, если застукает ее за любовным тет-а-тет где-нибудь в укромном уголке старого сада. Да, ситуация скверная, просто взрывоопасная, и, наверно, лучше всего для начала отправить всех троих, Цурмака, Люлера и Тёргаша, на сборы в Штрюдербекен. А что—и лес, и поле, и кормят хорошо. Утром кросс, футбол, немножко теории, немножко стрелковых занятий — им такой отдых только на пользу, да они и заслужили; а после сборов он их всех представит к повышению, давно пора, это они тоже заслужили, особенно Цурмак, которого жена Блямпа просто вконец доконала, так что он, бедняга, теперь наотрез отказывается когда-либо впредь «сопровождать хоть какую-нибудь бабу в магазин даже по приказу, и на курорт тоже, где она в баре будет накачиваться и титьками трясти, а ты только глазей да облизывайся. Нет уж, дудки! Все что угодно, только не это». Значит, сборы, потом отпуск, а потом и перевод: им совсем не повредит вспомнить о том, что сам он называет нормальной полицейской работой; правда, возникнут, конечно, кадровые проблемы. Четвертая жена Блямпа изъявила желание отдохнуть на каком-то острове в Северном море, и Блямп уже просил «обеспечить соответствующие меры». Значит, надо срочно переговорить с Дольмером, в случае чего даже пробиться к Стабски и потребовать подкрепления; а о беременности этой Фишер даже не заикаться — это ее дело, дело ее мужа и ее любовника, если тот вообще в курсе. С нее ведь станется — такая никому, никому ни слова не скажет, пока на нее не набросится вся свора Цуммерлинга, и тогда, видимо, ей крышка, но ему, Хольцпуке,— нет уж. Надо сейчас же позвонить этому газетчику и твердо сказать, что беременность госпожи Фишер «не сопряжена с каким-либо рис-

ком нарушения ее личной безопасности»; уж он-то сумеет ему втолковать, что не уполномочен давать более подробную информацию.

VIII

Может, ей даже удастся доказать, что Бройер знал про ее связь с Петером, знал и терпел. Пусть, если дело действительно дойдет до суда, пусть выложит путевые листы, которые он всегда так внимательно, так придирчиво изучал и в которых регулярно, раз, а то и два раза в неделю помечены ездки в 23 километра, а потом два, а то и три часа стоянки. И разве не он, подмигнув, спросил у Петера: «Что, навещаете кого-нибудь?» — и разве Петер не кивнул в ответ и не согласился произвести перерасчет, записав эти злосчастные 46 километров — 23 туда и 23 обратно — как поездки по личному делу? Неужто Бройер так сразу запамятовал, что от его фирмы до дома ровнехонько 23 километра, ведь они вместе много раз специально — и не просто из спортивного интереса, а из-за налогов — это проверяли? И свидетели есть, если, конечно, они согласятся подтвердить: бухгалтер Пляйн, он и счета предъявить может. О чем же, о чем Бройер раньше-то думал? Как он на суде все это объяснит: 23 километра туда, 23 обратно, два часа стоянки — и все это «по личному делу»? Разговора об этом у них, конечно, не было, но ведь у него есть и бухгалтер и учетчик, а это продолжалось больше двух месяцев и могло бы спокойно продолжаться дальше, если бы проклятые ищейки из безопасности не совались куда не надо, а в личном деле Петера не значилась пара мальчишеских глупостей и если бы еще не этот идиотский допотопный пистолет, которым в наши дни и ребенка не напугаешь,— старинный револьвер с барабаном, образца 1912 года, правда с патронами.

Адвокат, впрочем, ее предупредил: Бройер запросто может все отрицать, он, мол, знать ничего не знал, а даже если он, что маловероятно, и согласится рассказать о кое-каких своих догадках, все равно он имеет полное право заявить: дескать, прежде терпел, но когда все оказалось официально запротоколировано, терпение его лопнуло, тем более что стараниями прессы, для которой, очевидно, одного соседства с Фишерами уже достаточно, чтобы ославить человека на всю страну и увековечить для истории (последнее, впрочем, спорно, но в том-то и закавыка, что тут все «спорно и неоднозначно»),— дело приобрело столь широкую огласку. Как супруг он вполне мог «терпеть скрепя сердце» (ни черта он не «терпел», извращенец несчастный, небось, еще получал и от этого свое удовольствие!), но трепать свое доброе имя, свою репутацию коммерсанта не позволит, потому и подал на развод. Огласку она не отрицает, что да, то да, но если разобраться, тут тоже не все так гладко, во всяком случае ее или Петера вины тут нет, скорее уж сам Бройер виноват, если бы он помалкивал, а не пытался объяснить свое банкротство каким-то там «моральным ущербом», может, и не было бы никакой огласки. Очень даже может быть, что он сам позвонил какому-нибудь газетчику, а что, с него станется, она же его знает, и если до дела дойдет, она все выложит, про все его свинства и мерзости расскажет; а в случае чего, если Бройер все-таки процесс выиграет, можно — адвокат уже намекал — объявить себя «потерпевшей от безопасности». Это, как растолковал адвокат, а маклер Бройера подтвердил, выводит дело на совсем иной уровень и в случае чего позволяет начать совсем иной, прямо-таки показательный процесс. Что ж, если он так настаивает на разводе — пожалуйста, но без установления виновности сторон: пусть раскошеливается, уж она-то знает, сколько у него в банке.

И Клобер наверняка согласится участвовать, после проверок его гостей вскрылись весьма неприятные вещи — контрабанда и еще ка-

кие-то махинации с нефтью, она в этом не разбирается; но главное, из-за чего Клобер был просто взбешен,— многие его посетители, с которыми он проворачивал свои, скажем так, не вполне законные делишки (и Бройер тоже проворачивал — с часовщиками-итальянцами, очень подозрительные типы!), теперь наотрез отказались его посещать — кому же охота по доброй воле «лезть полиции прямо в лапы». А для делишек, которые раньше обделывали с Клобером, они мигом подыщут другого партнера, и Клобер достаточно ясно дал ей понять, не прямым текстом, конечно, но более чем прозрачно намекнул, что теперь со страхом ждет налогового инспектора. Как бы там ни было, Клобер уж точно «потерпевший от безопасности», и, оказывается, создана инициативная группа адвокатов, которая собирает сведения о потерпевших по всей стране, даже если ущерб выражается в столь пустяковом и, казалось бы, неизбежном неудобстве, как постоянное присутствие полиции возле дома или просто на улице. Уже документально подтвержден случай с одной школьницей, родители которой жили по соседству с неким высокопоставленным лицом и которая, хотя до поры до времени училась вполне прилично, даже хорошо, что подтверждено и отметками, затем в результате нервного срыва провалилась на экзамене и покончила с собой. Снижение цен на участки, «охваченные мерами безопасности»,— тоже документально зафиксированный факт. И если не вранье то, что говорят насчет «гарантий секретности»: что, дескать, нарушения по части налогов, всевозможные сомнительные делишки и «особенности сексуального поведения», выявленные в результате контрольных мер безопасности, но не связанные с «фактором риска», не подлежат разглашению, более того, сохраняются в тайне,— тогда как же быть, если они все-таки через какие-то дыры и прорехи вышли наружу, и кто в таком случае обязан возместить ущерб?

На этот счет адвокат ее совершенно успокоил. Он только снова и снова заклинал ее ни намеком, ни полсловом, упаси бог, не обмолвиться, что она, вероятно, в один прекрасный день все равно сбежала бы с Шублером,— тогда всему конец, процесс считай что проигран, и этот и другой, по части «ущерба от безопасности».

Да, после роскошного дома в Блорре — квартирка Петера, конечно, это было потрясение, которое стоило ей многих вздохов и слез; после восьми комнат с двумя ваннами, после сада и бассейна — тридцать восемь квадратных метров, и только душ, а она так любила поблаженствовать в ванне, из ванны в бассейн, из бассейна в ванну, и вообще. Безденежье, теснота, а тут еще эти мужики, соседи по этажу, из холостых, есть и вполне приличные на вид, с их бесстыдными предложениями «понежиться за полсотни», слово-то какое нашли, хотя не сказать, чтобы оно ей не нравилось, особенно при ее безденежье, но нет, по этой дорожке она не покатится. Раньше, еще до замужества, иногда бывало близко к тому, когда она еще продавщицей у Бройера работала, богатые клиенты, особенно из иностранцев, так и норовили зазвать к себе в гостиницу «на рюмочку». Нет. Она никогда этого не делала, за деньги — никогда, да и Петер наверняка заметит и не простит, хотя сам-то за полсотни иной раз целый день вкалывает, да еще как: грузчиком, упаковщиком, и притом нелегально, а при нынешнем спросе на работу насчет оплаты особенно не покочевряжишься — их просто медленно душат. И хоть он никогда не ворчит, она же видит, как его это гложет, ведь у Бройера он уже вот-вот «пошел бы в гору»: до управляющего ему, конечно, еще далеко, но закупщиком или там координатором вполне мог бы стать, как-никак он все-таки изучал экономику. Нет-нет, надо следить за собой и продержаться, он действительно ее любит, и она с ним счастлива, а он и не ругается, не ворчит никогда, только временами какой-то тихий и очень уж серьезный, да и читает многовато, к телевизору его не затащишь, разве что иногда в кино сходят, а

потом что-нибудь выпить, на танцы — редко, говорит, что для танцбаров он уже староват. Слава богу, хоть эти идиотские допросы кончились и газеты оставили их в покое.

Одно только, но это всего хуже: шум с улицы, от него даже снотворное не помогает. Эти сволочи — знать бы, кто, кто именно? — проложили через город скоростную автостраду, а в центре, прямо под окнами, еще и транспортную развязку, день и ночь в квартире только гул, гул, гул, а если на минуту-другую, в лучшем случае на три, гул умолкает, она все равно ждет, когда он возобновится, наплывами то тише, то сильней, среди ночи она встает, в халатике выходит на крохотный, смехотворно жалкий балкончик, курит и думает, что надо бежать — но куда? Как прекрасно было в Блорре, и, как знать, быть может, Бройер в конце концов согласился бы на какой-нибудь «тройственный вариант», если бы эти проклятые ищейки не совались куда не надо. Этот гул, иногда переходящий в рев,— от него просто спасу нет, окна закрывать бесполезно, а звуконепроницаемые стекла слишком дороги, да и душно. Спать с закрытыми окнами — нет, без воздуха она задохнется. И ничего, ничего нельзя сделать: протесты, гражданские инициативы, собрания в кафе на углу, где им приходилось выслушивать скользкие отговорки ответственных лиц,— все бесполезно, против этого только одно верное средство — переезд, бегство. Бывали ночи, когда она, одурев от бессонницы, сигарет и шнапса, в бессильной ярости молотила кулаками по голове и готова была уйти, просто уйти куда глаза глядят. Затычки в уши тоже не помогали, гул преследовал ее неотвязно, даже если вдруг на минуту становилось тихо, в голове все равно гудело, гудело и тогда, когда она в автобусе ехала в Блорр, чтобы повидать прежних знакомых, те хоть и ухмылялись, но были с ней милы. Беерецы, к примеру, которых она умоляла сдать ей комнату, любую, хоть самую убогую конуру, можно даже чуланчик, лишь бы поспать, лишь бы наконец выспаться. Но те начинали ставить условия: конечно, они могли бы, «несмотря ни на что» — на что? — освободить и даже обставить для нее комнатенку в мансарде, не совсем задаром, но по знакомству, разумеется, дорого бы не взяли. Смущает их только одно: что она, возможно, будет спать там «с этим мужчиной», этого они не могут допустить, а так — ради бога. Но на это она не пойдет, без Петера — ни за что, тот выматывается, как каторжник, не гнушается самой грязной работы, и так уже работает почти исключительно с турками, редко когда — с итальянцами, он до того дошел, что месту мусорщика обрадовался бы как величайшему и престижному поощрению. И ему нельзя с ней спать? Нет уж, коли так, и не надо.

А к этой Фишер она не пойдет. Зря, конечно, обругала ее по телефону: она милая, и соседка хорошая, да и, в конце концов, она-то при чем? И наверно, у Фишеров им можно было бы погостить в субботу — воскресенье, если бы не муж Сабины, который во время танцев далтаки волю рукам и вообще повел себя как последний потаскун, а Клоберы, которые, наверно, все-таки на ее стороне, не очень-то ей симпатичны, сразу начнут лезть в душу, выспрашивать подробности о разводе и отпускать пошлые шуточки насчет разницы в возрасте между ней и Петером. И на ее бывший дом в Блорре, который до сих пор пустует, смотреть больно, даже издали. Бройер, наверно, и сад совсем запустил, в бассейне тина, салат зацвел, фасоль тля заела. Вот уж действительно, все пошло прахом, а на обратном пути она с ужасом думала о предстоящей ночи, о гуле и реве за окном, об этом аде, который днем не казался таким уж страшным, но ночью доходило до того, что она, лежа рядом со спящим Петером, плакала в подушку, потом вставала, опять шла к бутылке и уже под утро проваливалась в тяжелое забытье, но тут же просыпалась от плеска воды: Петер принимал душ. Пошатываясь, она плелась в кухонный уголок приготовить завтрак, даже после кофе клевала носом, но Петер все равно каждый раз

на прощанье прижимал ее к груди, целовал, и было очень приятно слышать его шепот: «Я делаю что могу, вот увидишь, мы обязательно отсюда выберемся. Ты только разводись скорей, и мы поженимся. Я тебя очень люблю».

Хорошие, добрые слова, особенно от Петера, он ведь не слишком-то разговорчив. Но он же не слепой, не может не замечать, что кожа у нее портится, лицо по утрам серое и в морщинках, что никаким мытьем, никакими кремами и массажами не удается добиться той «молочной мягкости», которая прежде исторгала из его уст столь пылкие, хотя и немногословные хвалы. Она стареет, старится, каждая бессонная ночь старит ее, наверно, на целый месяц, если не больше, и алкоголь совсем не бодрит, тут, сколько ни втирай, сколько ни массируй, все равно остается ненавистный серый налет, а ей ведь не хочется, чтобы она своему Петеру разонравилась. Такой молодой, почти студентик — и любит ее, от него ей это во сто крат приятней слышать, и потом он ей тоже дорог, и это правда — то, что она сказала адвокату: в один прекрасный день она бы все равно с ним сбежала, но лучше бы не в такую тесную квартирку и не в этот район, где она от шума рано или поздно свихнется. Еще бы годик, может даже полгода, — и она бы выбила из Бройера деньжат, открыла бы мелочную лавку в тихом районе, а что, ей бы это подошло, или галантерейку. Петер смог бы доучиться и получить диплом, и ребенка они бы усыновили. Она же вполне нормальная женщина, и в сексуальном отношении тоже, в конце концов, вся история с Петером это лишь подтверждает. Вот только сосредоточенности недостает, из-за этого ни во что играть не умеет — в шахматы там или еще во что, даже в несложные игры, которые он так любит, даже в лото или в уголки, не может сосредоточиться, и все тут. А из-за телевизора в первые недели чуть до скандала не дошло: ну что делать, если она привыкла в семь часов посмотреть новости, потом поужинать, полистать телепрограмму и что-нибудь себе выбрать «на вечер». А у Петера только крошечный переносной телик, черно-белый, и к тому же барахлит — то мигать начнет, то звук пропадает. А ночью шум, прямо хоть беги, и даже телефона нет, а она целый день одна-одинешенька, иногда так хочется позвонить кому-нибудь из старых подружек, Элизабет хотя бы, у которой теперь свой кабачок, или Герте — та и в самом деле открыла-таки галантерейку. Старым приятелям, пожалуй, звонить не стоит, начнутся намеки, заигрывания, воспоминания бог весть о чем — нет, она не хочет обижать Петера. А из автомата звонить никакого удовольствия. Обязательно кто-нибудь стоит над душой, некоторые даже стучат. То ли дело развалиться в кресле, поболтать всласть, заодно и сигаретку выкурить.

И деньги кончаются, понемногу, но кончаются. Конечно, у нее есть своя сберкнижка, давно, еще до замужества, и из хозяйственных денег случалось кое-что выкраивать, Бройер ведь раньше никогда не мелочился, это он сейчас стал мелочным, а она теперь подсчитывает, сколько раз в день можно проехать на автобусе или трамвае. Хорошо еще, дел у нее здесь куда больше, чем в Блорре; Бройер ведь ей ничего делать не разрешал — а тут стирка, уборка, покупки, стряпня, стряпня особенно потому, что Петеру очень нравится, как она готовит, оно и неудивительно, после стольких лет холостяцкой жизни, когда он питался всухомятку или, в лучшем случае, разогретыми консервами. Да, она любит готовить, к тому же это отвлекает от шума за окном и от мыслей об очередной бессонной ночи. Любит к его приходу красиво накрыть на стол — хоть приданое, слава богу, Бройер ей отдал — и смотреть, как он ест, и слушать его нежные слова. Он такой милый мальчик, не очень, правда, разговорчивый, и телевизор, к сожалению, не любит, и хоть он и просит обязательно его будить, когда она не может заснуть, у нее рука не поднимается, такой он во сне тихий и так сладко спит, видно привык к шуму. И лицо у него во

сне такое доброе, и, конечно, она знает: вечно это продолжаться не может, нет, не может, и она снова шла к зеркалу и пристально изучала свою кожу; вечно это не может продлиться, и даже долго не может, скоро никому и в голову не придет предложить ей «понежиться». Тогда, наверно, она все-таки поедет домой, к своим в Хубрайхен, куда вернется не Эрной Бройер и не Эрной Шублер, а все той же Эрной Гермес, ведь она не забыла, как обращаться с электродоилкой, и подать еду в постель больному отцу тоже сумеет, и поухаживать за ним, и убрать. Вместе с Бройером ее там никогда особенно не привечали: для домашних он был «больно шустрый», брат так напрямик сказал: «Скользкий какой-то», а появиться с Петером — нет, у нее духу не хватит. Но ее комната всегда ее ждет: ореховая кровать с высокими спинками, умывальник с тазиком, ночной горшок, «комната в любое время твоя, но только для тебя одной». И еще: «Если вернешься, не вздумай снова выкидывать свои фокусы».

Какие такие фокусы? Это уж скорей Юпп Хальстер выкинул фокус, когда однажды воскресным утром ни с того ни с сего застрелил жену, или молодой Шмерген, который тоже ни с того ни с сего однажды воскресным вечером взял да и повесился. Ну да, да, было у нее «коечто» с одним женатым, с Хансом Польктом, а он не сумел развестись, и пришлось ей уехать в город. Было, было! Но этому сыночку Тольма, брату Сабины Фишер, за которым грешков небось куда больше, чем за ее Петером, они преспокойно позволяют у них жить, а он ведь тоже не женат на этой девчонке, коммунистке, у которой от него ребенок!

Из автомата звонить — просто никаких нервов не хватает. После того как у Фишеров и в третий раз никто не ответил, она все-таки позвонила Блюм, узнала, что Сабина уехала в Тольмсховен, позвонила туда, ей сказали, что ничего говорить не велено, нет, по телефону никаких сведений, но она не уступила, пока не вытребовала к телефону мать Сабины; в конце концов, старушка должна ее помнить, чай вместе пили и вообще прекрасная женщина, ничего не скажешь, но и та сперва что-то мямлила, потом все-таки ее вспомнила и после долгих колебаний и уговоров — «не могу, право, не могу, поймите, милочка моя, меня и так без конца ругают» — сообщила, что дочка «переехала» в Хубрайхен, она так и сказала: «переехала», не «поехала»,— к ее сыну, и даже дала номер телефона. Но нет, туда, пожалуй, она звонить не будет, лучше съездит, может, даже на велосипеде, и Петера с собой возьмет, а что?

Наверно, у Сабины можно и денег попросить. У нее ведь есть. Трое юнцов, позвякивая мелочью, давно торчали возле автомата, а когда она вышла, присвистнули и один негромко, но отчетливо сказал:

— Вот уж не знал, что телефонные шлюхи теперь и из автомата работают...

Неужели она так выглядит? Уже так? Может, слишком зазывно? Да, пора уходить, уезжать. Может, Хальстер возьмет ее в экономки, хозяйство-то теперь у него запущено. Силенок у нее вполне хватит, и коже это только на пользу, а Петер смог бы там приложить свои знания в экономике, да и не боится он грязной работы, лишь бы спальни у них были отдельные, тогда все будет в порядке, ведь это совсем не значит, что они должны спать врозь. Молодому Тольму — тому вот раздельные спальни иметь не обязательно, тому можно скодько угодно миловаться со своей коммунисткой, да еще прямо возле дома священника, не говоря уже о том, что сам он «подрывной элемент». Он-то в любом случае и сейчас гораздо опасней, чем ее Петер был тогда, по молодости. Мальчишки все еще нахально свистели ей вслед.

IX

Сабина — вот о ком у него душа болит. Тут не только огорчение и не только мысли о возможной ссоре с Фишером и «любовном внима-

нии», которым его снова одарят люди Цуммерлинга,— нет, его беспокоит сама девочка, ее дальнейшая судьба. Если Фишер вдруг вздумает признать ребенка своим, она, вероятно, на это не согласится, и тогда возникнет множество почти неразрешимых юридических закавык. И мысль о неизбежном прощании с Тольмсховеном тоже уже укоренилась, вгрызлась в него и начала расти. А кроме того, он устал, до смерти устал и уже сожалеет о том, что пригласил Блуртмеля и его Эву к ужину. Приглашение было принято неожиданно быстро, скорее всего по настоянию этой Кленш, которая оказалась даже миловидней, чем на фотографии, и, похоже, не чужда любопытства к жизни сильных мира сего. И гораздо бойчей, чем он предполагал, было в ней что-то почти хваткое, назойливости, правда, никакой, но и застенчивости или хотя бы намека на застенчивость — тоже. Блуртмелю все это, видимо, было довольно неприятно, но он и в этой ситуации был безупречен, проявляя и скромность, и такт, и поистине виртуозность канатоходца в балансировании на грани между слугой и гостем, умудрялся помогать по хозяйству, никак не дав почувствовать свое зависимое положение. Он даже стол накрыл, пока Кэте с Эвой Кленш чему-то смеялись на кухне, и даже эта акция выглядела у него как помощь внимательного и любезного гостя, а вовсе не приглашенного в гости слуги. Но было в этой поразительной способности к перевоплощению, в этой почти непостижимой, но в то же время вполне внятной смене нюансов что-то каверзное: словно все это игра, спектакль, представление, и легко было вообразить, как Блуртмель на вечеринке в кругу друзей с блеском играет всевозможные роли, «показывая» гостеприимного хозяина, его слугу, потом прислуживающего хозяина и его гостя, из вежливости согласившегося позабыть, что он слуга. Блуртмель тем временем сбил для него коктейль, который и в самом деле развеял усталость и все тревоги: Сабина, съезд, интервью, Блямп, судьба Тольмсховена,— а Блуртмель уже поставил кассету, Шопен, негромко, а сам пошел на кухню резать лук, совсем другой человек, веселый, почти сияющий, и даже ни чуточки не смутился, когда Кэте предложила его Эве все-таки, раз уж Сабина уехала, перебраться в гостевые комнаты, добавив: «Так вы, по крайней мере, будете хоть не на разных этажах». С кухни то и дело доносился веселый смех: там изготовлялся какой-то фантастически изысканный омлет, откупоривались бутылки, Кэте, в виде исключения, так и быть, согласилась на суп из консервов, а Блуртмель сознался, что вообще-то обожает икру, но купить ни разу не отважился, и даже это замечание, недвусмысленно напоминавшее о социальных различиях, ничуть не омрачило общего радостного оживления.

И все же у него чуть голова не пошла кругом, когда пожаловали еще и Шрётеры, которых, оказывается, Катарина — «наконец-то удалось затащить!» — тоже пригласила: как-никак и односельчане, и родственники, пусть и неофициальные, но внук-то у них общий. Тут опять возникла проблема, как к кому обращаться, которую они после трех, если не больше, встреч у Рольфа так и не смогли решить. Шрётер ни в какую не хотел говорить ему «ты». Самое большее, на что его удалось сподвигнуть, было «Тольм» и «вы», тогда как Луиза, его жена, снизошла до «Фриц Тольм» и «вы»; Кэте, со своей стороны, тоже проявила упорство, категорически запретив называть себя «госпожой Тольм» или «госпожой Кэте», просто Кэте и «вы» — еще куда ни шло; но поскольку они так редко виделись, Шрётеры поначалу то и дело сбивались, «господин» и «госпожа» все равно у них нет-нет да и проскакивало. Тогда Кэте воззвала к добрым старым временам:

— Вы представьте, что мы познакомились, когда я еще жила у свекрови в доме учителя и с Рольфом на руках ходила по деревне, или когда я жила у графини, или еще раньше, когда я была просто Кэте Шмиц из Иффенховена, ведь мы же могли познакомиться на карнавале или на танцах, и я бы вам сказала: зови меня просто Кэте.

— Так-то оно так,— возразил Шрётер со своей мягкой, но чуть горькой улыбкой,— только ведь не было этого. Тольм и «вы» — это еще куда ни шло, но Кэте и тоже «вы», нет, язык не поворачивается, а просто «вы» вроде как невежливо, да и глупо, ну а звать вас тоже «Тольм» и «вы» — это уж совсем ерунда получается; и вообще все эти штучки-дрючки с именами не для меня, слишком по-американски, нет, язык не поворачивается.

— А я,— сказала Луиза Шрётер,— слишком мала была, когда он у нас в деревне в школу ходил, чтобы ему тыкать, да и потом тоже, а так, наверно, могла бы говорить ему просто Фриц и «ты». Да, шампанское я люблю. А по какому случаю? Ах да, ну конечно, извините, как же я забыла. Что ж, тогда поздравляю и... счастья вам.

Шрётер настоял на пиве, закурил свою трубку и, когда стол был окончательно накрыт и Эва Кленш внесла суп, сказал:

— Ну, сейчас я навалюсь. Только о политике не надо, ладно?

— Ладно,— ответил Тольм.— О политике не буду, обещаю.

Кэте заранее определила, кому с кем сидеть: Кленш со Шрётером, сама она с Блуртмелем, а он с Луизой Шрётер. У них нашлось о чем поговорить. Он осторожно осведомился об Анне Пюц и о Берте Кельц, услышал в ответ, что одну разбил паралич, другая померла, узнал и о том, что Кольшрёдер теперь уж вряд ли долго продержится, потому что он, ну... тут бедная, милая Луиза, которая всегда была, так сказать, одной из главных опор священника, покраснела,— словом, что-то там вышло с девушками, со школьницами, которые, то ли сами перед ним «обнажались», то ли он заставлял их обнажаться. Луиза ограничилась констатацией, что «все это слишком далеко зашло».

Стараясь укрепить Блуртмеля в сознании, что он здесь только гость, Тольм иногда вставал, подливал вино, открывал минеральную воду, принес бокалы из посудного шкафа, а потом принялся объяснять и показывать Луизе Шрётер все тонкости смакования икры: как надо сперва дать прожаренному кусочку хлеба остыть, чтобы масло на нем не плыло, но остыть не до конца, чтобы он оставался хрустящим и внутри теплым, а уж тогда на него икру, «как следует, Луиза, как следует, полной ложкой!» — а сам краем уха слушал, о чем говорят другие, удивляясь, что Шрётер очень даже оживленно беседует с Эвой Кленш, причем первый же начал о политике: социализм, католицизм, история христианско-демократических профсоюзов, как он сидел при нацистах, предательство Аденауэра, о ХДС вообще говорить нечего, СДПГ слабаки,— удивился и тому, как спокойно, но энергично Эва защищает и свою СДПГ, и католическую церковь. Он пожалел, что Кэте не посадила его с Эвой, с удовольствием заглянул бы поглубже в глаза этой на диво хорошенькой особе, но если бы его посадили рядом с Эвой, Луизе пришлось бы сидеть со своим Шрётером.

Он и посуду помог убрать после закусок, разлил по бокалам красное вино, однако в голове временами уже слегка мутилось, слишком много всего для одного дня: выборы, интервью, бредовые мысли насчет птиц, история с Сабиной. Он извинился перед Луизой Шрётер за то, что, наверно, не очень-то разговорчив, но потом, собравшись с силами, все же развлек ее рассказом о графе Хольгере Тольме, просто так, болтовня, но она слушала с явным и непритворным интересом.

— Жалко,— только и сказала она под конец.— Вовсе не такой уж плохой был парень.

С растущим изумлением наблюдал он за Блуртмелем, который, утратив всякую робость, но не достоинство, виртуозно соблюдая дистанцию и ничем не давая ее почувствовать, мило разговаривал с Кэте, без малейшего подобострастия и фамильярности, но при этом сохраняя в повадке и жестах, во всей манере держаться легкий оттенок профессионализма, который позволит ему завтра без тени смущения приступить к обязанностям слуги, снова готовить ванну, делать мас-

саж, не встревать без спроса в беседу. Даже в том, как Блуртмель любезно, но строго запретил ему дальнейшее участие в сервировке, и в той подчеркнутой, как ему показалось, слегка утрированной демократичности, с которой он вызвался разрезать омлет и раздавать тарелочки для салата, в той отнюдь не приказной, но деликатной и дружелюбной твердости, с которой он без слов, одним только взглядом прервал метафизические разглагольствования Эвы со стариком Шрётером, отправив ту на кухню, где они с Кэте тут же опять начали хихикать, во всем чувствовалось что-то такое, что он, Тольм, мог назвать только одним словом: личность. Это была решимость, способность принимать решения, которой так недоставало ему самому: Блуртмель, вне всяких сомнений, был бы замечательным президентом. В осанке и движениях Блуртмеля ему вдруг отчетливо бросилось в глаза что-то, чему он так долго искал подходящее определение, и теперь нужное слово наконец-то нашлось: молодежное движение начала века, видимо, в Силезии оно продержалось дольше. Наверно, именно это и навело его — ошибочно — на мысль о педагогическом эросе.

Вечер, судя по всему, совершенно удался: еду нахваливали, все разговорились, Блуртмель даже «выдал» несколько смешных историй о своем интернате, тепло вспомнил епископа, а Луиза до того «расслабилась», что без стеснения стала говорить о денежных заботах: как ее брат — «вы же знаете, какой он всегда был бессердечный»,— повысил квартирную плату, даже на воде норовит их обжулить, а пенсия у Шрётера — гроши. Он уже чуть было не решился предложить ей денег, разумеется, якобы в долг, так они ни за что бы не взяли, но помешал страх, его неискоренимый страх, старый и новый. С этими деньгами все ужасно сложно, вечно одно и то же: одни норовят урвать поскорей и как можно больше, а те, кому сам предлагаешь, с ледяной миной отказываются; нет, пусть уж лучше Кэте возьмет это дело в свои руки. Луиза даже спросила, сколько стоит икра, но потом спохватилась, зарделась, и ему пришлось, успокоительно положив руку ей на плечо, признаться, что он и сам толком не знает, сколько она стоит, потому что — сейчас она удивится — икру ему дарят, и кто? Конечно же, русские, с которыми у него, правда, прямых деловых связей нет — «им мой «Листок» ни к чему, в Советском Союзе его не продашь»,— но встречи бывают, на приемах там, конференциях. Он рассказал и о том, как не любят эти русские общаться со своими же товарищами, о которых иногда, особенно под хмельком, говорят пренебрежительно, почти с презрением,— ну, почти как наши епископы о причетниках или кардиналы о рядовых прелатах. Что же до икры, то точно таким же манером он получает и сигары с острова Фиделя Кастро: опять-таки русские дарят, сам бы он ни за что покупать не стал, как и икру, и он признался Луизе Шрётер, что никогда, никогда ему не избавиться от некоторых своих травм и комплексов, никогда: в нем все еще сидит вечно голодный сын сельского учителя, и он никогда, хотя давно уже в состоянии себе это позволить, никогда не сможет выложить шесть-семь марок за одну сигару или там, «ну не знаю», сорок марок за несколько ложек икры. Стараясь незаметно вернуть ее к денежной теме, он продолжал: пусть она только, ради бога, не думает, что он скупердяй, чего нет, того нет, машина, замок — это пожалуйста, но вот через цену на икру или сигары он переступить не сможет. Это так просто, чтобы она знала, какими прихотливыми путями гаванские сигары доходят до западногерманских капиталистов и икра из вспоротых осетров.

Пить кофе перешли в салон, который Кэте с тех пор, как им настоятельно отсоветовали чаевничать на террасе, называла «чайной каморкой»; Эва Кленш вызвалась приготовить кофе и настояла на своем. «По-восточному, если не возражаете». Никто не возражал, у Кэте в хозяйстве нашлись и маленькие медные джезвы. По-восточному? Где

она этому научилась? В Ливане? А может, в Турции или в Сирии? Догадывается ли она, что он доскональнейшим образом о ней информирован? Ознакомлен с ее биографией, осведомлен о ее походах в церковь и воскресных завтраках, о коммерческих операциях и даже об увлечении стрельбой из лука. Ему вдруг стало так стыдно, что он даже покраснел. Эта хорошенькая молодая женщина, оказавшаяся чуть более раскованной, чем можно было предположить по фотографии, эта милая, прилежная, миниатюрная особа, столь явно наслаждавшаяся приятным вечером, знает ли она, что на нее заведено досье и что он в это досье заглядывал, в обход всех правил, исключительно из любопытства к Блуртмелю, потому что с Блуртмелем он как-никак ежедневно общается больше, чем с кем-либо другим. Ну что, что ему до личной жизни Блуртмеля, до его мотоциклов, друзей-приятелей и любовных дел? Да, ему стыдно, но любопытство оказалось сильнее стыда.

В салоне пары перегруппировались: Кэте села с Луизой, Шрётер с Блуртмелем, а он — наконец-то — с Эвой Кленш, которая ненамного старше Сабины. Кофе был отличный, может, слишком крепкий, но он все равно выпил, потом, с улыбкой извинившись, снова встал, чтобы предложить гостям сигареты и сигары, а Кэте поставила на столик коньяк и ликер, призвав всех угощаться без церемоний. Шрётер долго и с наслаждением нюхал сигару: «Вот это вещь, даже курить жалко!» Эва закурила сигарету, не отказалась и от рюмочки ликера, спросила его о внуках, тут же покраснела, осеклась, но он ее успокоил:

— Да,— ответил он,— мой старший где-то бог весть где, вероятней всего в Северной Африке. Не вижу причин об этом молчать, с какой стати? А сейчас у меня четвертый на подходе — от дочки, от Сабины.

Он удержался от вопроса, хочется ли ей иметь детей, удержался и от признаний, которые так и вертелись на языке и облегчили бы душу — невзгоды Сабины, невзгоды из-за Сабины, спросил только, чем она занимается, поинтересовался, как идут дела, сделал комплимент ее мужеству и предприимчивости, и все это, не решаясь по-настоящему взглянуть ей в глаза. Она охотно поведала о превратностях моды, о риске — «это как овощи-фрукты, скоропортящийся товар»,— о конкуренции, борьбе, подсчетах, боязни прогадать, неизбежных убытках, и ему подумалось, что ее бойкость, наверно, просто оборотная сторона застенчивости; сказала и об Алоизе, «спутник жизни, любимый и верный», а еще призналась, что очень тоскует по Берлину.

— Господи, Берлин, вот уж действительно город так город!

Кэте и Луиза, похоже, хватили лишку, беседа их давно перешла в неприкрытое шушуканье, сквозь которое то и дело прорывались знакомые деревенские фамилии, особенно часто — Кольшрёдера, но тут Шрётер, да, именно он, без слов, но энергично — мол, пора и честь знать — встал, тоже, кстати, слегка пошатываясь и все еще с потухшей сигарой в руке, которую ему явно жаль было бросить. Нет, не может он предложить старине Шрётеру еще одну сигару, так сказать, на вынос, это будет выглядеть подачкой, благотворительным жестом. Угостить — да, а с собой — никак, но если обставить это поделикатней, можно будет послать ему коробку, да, коробка, наверно, сойдет, это уже не подачка, это подарок. Обе дамы, судя по всему, все-таки преодолели церемониальные трудности и при всех говорили друг другу «ты», иначе Кэте не спросила бы на прощанье:

— Может, тебе еще чего-нибудь хочется?

И Луиза ответила:

— Да, прокатиться разок в вашем автомобиле.

— Прямо сейчас?

— Да, если можно.

Что ж, это можно устроить, только вот ехать-то до дома Коммер-

цов всего ничего, решено было просто немного прокатиться, на что Блуртмель тотчас же согласился. Эва Кленш, несмотря на все уговоры, осталась на кухне мыть посуду, сам он тоже с превеликим удовольствием пошел бы в спальню, но нет, ему, наверно, надо ехать, да и охрану известить. Луиза, не таясь, восхищалась «шикарной» машиной: «Мурлычет что твоя кошка, даже и незаметно, что едешь, честное слово». Она, как ребенок, наслаждалась недолгой поездкой, которую Блуртмель, выбрав кружной путь и назвав его «кругом почета», постарался растянуть, с интересом разглядывала все комфортабельные приспособления, которые демонстрировала ей Кэте,— автоматически открывающиеся окна, мини-бар и даже телефон, которым она тут же захотела воспользоваться, позвонила Катарине, сперва поговорила с Рольфом, потом с дочерью:

— С ковра-самолета, да! Ну, всех целую и дорогую госпожу Фишер тоже. Только не принимайте все это слишком всерьез. Как что? Политику эту вашу!

Блуртмель, которому детские восторги Луизы доставляли огромное удовольствие, включил стереосистему, поставил Баха: «То жених грядет небесный, агнец божий к вам грядет!» Тут у Луизы и вправду увлажнились глаза. Шрётер, испытывая, по-видимому, некоторую неловкость, отер ей слезы, ласково бормоча: «Ишь, детка, как тебя проняло», на что она сказала:

— Да, ведь столько раз сама в хоре пела, а вот чтобы так — ни разу не слышала. — И приняла в подарок кассету, когда они остановились перед воротами Коммерцов и Кэте попросила Блуртмеля прокрутить ленту обратно, а потом снять.

— Господи, в жизни не видела, чтобы так чувствовали Баха, нет, ты должна взять, я тебя прошу.

— А я и не знала,— ответила Луиза,— что такое на пленке бывает. Возьму с удовольствием, спасибо.

Следом тут же подрулила машина охраны, откуда выскочили двое полицейских— лай собак, замешательство и прощальные слова Луизы:

— Вы к нам тоже как-нибудь обязательно заходите, все-таки мы родня, пусть они и не женаты, но ведь они наши дети и живут по-людски.

Больше всего ему хотелось бы сейчас, взяв Кэте под руку, пройтись до замка на своих двоих — ведь тут рукой подать, но, подумав, он направился назад к машине: переполох, который вызовет такая прогулка, да еще в темноте, заранее лишал ее всякой радости. Тольмсховен со всех сторон как на ладони, а по пути деревья, рощицы, кустарник, излучина ручья, обзор плохой, улица освещена тускло. Он почувствовал нервозность охранников, их вежливую скованность, когда на секунду замешкался у машины, потом помог сесть Кэте и следом за ней, с помощью Блуртмеля, сел сам; нет, эти семь-восемь минут ночной прогулки по деревне — для него несбыточная мечта.

Блуртмель снова находился в стадии перевоплощения, еще не вполне шофер и слуга, но уже и не совсем гость, во всяком случае в заботливой, почти участливой нежности его прикосновений чувствовалось нечто гораздо большее, чем профессиональная исполнительность. «Человек,— подумал Тольм,— чью душевную тонкость, все богатство нюансов я открыл слишком поздно, а ведь считал его скорее холодным».

Всего две минуты — и они уже подъехали к залитому огнями замку, снова вылезать, снова ладонь Блуртмеля, его рука, а Кэте опять побледнела и посерьезнела, покачала головой, когда в лифте он захотел что-то сказать, глазами показала на потолок: дескать, микрофон,— уголки губ устало опущены, видимо, все-таки многовато выпила. Блуртмель, взбежав по лестнице, ждал их наверху, озабоченный, милый, мягким голосом предложил свои услуги — растирания.

легкая гимнастика, массаж? — а когда они, поблагодарив, отказались, попросил все-таки «звонить, если что».

Эва Кленш уже удалилась к себе, в салоне, на кухне и в столовой все сверкало чистотой. Кэте прошла в ванную, отворила окно, выглянула на улицу.

— Я только сейчас сообразила,— сказала она,— что из окон Шрётеров, нас, наверно, прекрасно видно, вон там, внизу,— видишь? — свет горит. Сейчас Луиза сидит в комнате Катарины и на дешевеньком магнитофоне слушает Баха. Ты когда-нибудь заходил в бывшую комнату Катарины?

— Нет.

— Что ты, это почти как маленький музей. Там ее фотография после первого причастия, рядом репродукция лохнеровской мадонны, потом Мао, Че Гевара, Маркс, конечно, и еще этот итальянец, все время забываю его фамилию, а на ночном столике старый кассетник, или как там он еще называется. И вот она сейчас там сидит, наша милая Луиза, и со слезами на глазах слушает «Страсти по Матфею». Надо подарить ей магнитофон получше, красивый, с хорошим звуком и, конечно, новый. Я очень устала, Фриц, ужасно устала, а ты вообще, наверно, еле живой после всей этой суеты, толкучки, а потом еще и интервью — ты, кстати, отлично справился.

Он подошел к ней, обнял за плечи, посмотрел в ту сторону, где вдалеке светились окошки Шрётеров.

— Знаешь, во время пресс-конференции мне пришла в голову одна идея: для радио и телевидения интервью можно давать впрок, про запас, будет что-то вроде консервов — по вопросам консолидации, заработной платы, по проблемам культуры, по внутренней и внешней политике, по вопросам безопасности. Можно заранее заготовить незначительные вариации, чтобы придать всему видимость злободневности.

Ведь пока я там что-то болтал, я же совершенно о другом думал, почти ни на один вопрос не ответил прямо, кроме тех, что касались детей. Надо обсудить с Амплангером, может, это стоит организовать: посвятим как-нибудь полдня изготовлению консервированных интервью. Конечно, придется то и дело переодеваться: костюм тут важней слов, одеждой можно подчеркнуть разнообразие ситуаций. Ну, и фон тоже придется варьировать, но это устроить легко: то книги, то картины, то современный интерьер, то что-нибудь античное — зато сколько сил, времени, хлопот сэкономим,— а для радио можно слегка изменять голос, то с хрипотцой, то помоложавей, то усталый, а то бодренький... Таким манером за каких-нибудь семь-восемь часов ничего не стоит накрутить интервью на несколько лет вперед. На всякий случай я бы мог и некрологи наговорить — на Кортшеде, допустим, на Поттзикера, на Плифгера, может, и на Блямпа, на кардиналов и президентов, как ты считаешь? Конечно, если и от профсоюзов кто-нибудь сделает то же самое...

— Они не согласятся, им же все подавай — как это у них называется? — живьем.

— У них это называется live, но — как знать? — может, в записи на пленку все окажется куда живей, чем live, ведь не зря Вероника пыталась мне втолковать, что игрушечные заводные птицы бегают гораздо «натуральней», чем настоящие,— меня это до сих пор занимает,— если это и вправду так, тогда и запись на магнитофон или видеозапись тоже воспринимается куда натуральней всяких там live: ведь то, что они подают «живьем», на самом деле мертвей мертвого. Такая же мертвечина, как «Листок», который почил у меня на руках, но продолжает пухнуть.

— Опять страх, да?

— Страх скуки, Кэте,— болезнь, которую Гребницер еще не распознал. Страх перед экспансией, которую, как пожар на ветру, не

остановишь. Теперь вот пришел черед Кюстера кидаться мне в ноги или на грудь, уж не знаю. Компьютер неумолимо предвещает падение Кюстера. Ампланжер в этих делах пока что ни разу не давал промашки. Значит, после Блюме мы сожрем Кюстера, потом Боберинга, все они пойдут в общий котел, в липкую серую газетную кашу, приправленную для вида щепоткой либерализма. Я запустил, я погубил «Листок»...

— А если взять да и бросить — совсем?

— Да я уж было собрался, но теперь — Блямп, наверно, что-то почувствовал, а то и просто от Ампланжера узнал. Вот и подцепил меня на крючок, в последний момент, так сказать, ухватил за полу. Кто бы объяснил, почему у Рольфа и Катарины мне не скучно, даже у Герберта не скучно, тот, по крайней мере, меня злит,— а вот у Блямпов — у Кортшеде тоже не скучно, и у Поттзикера, и у Плифгера, — зато уж у Фишеров, — ну, и с тобой, конечно, не соскучишься. Если бы еще нам почаще гулять, я бы тебе много порассказал, а тут — неохота увековечивать это на пленке.

— И я тебе. Думаешь, и сейчас тоже? Нет, не может быть, мы ведь говорим в окно. Рольф мне объяснял, что если высунуться из окна, тогда...

— Вполне возможно. Что ж, тогда поговорим?..

За окном все тонуло в тумане, поднялся ветер, рваные серые клочья проносились мимо, даже деревьев не различить, все поглотила влажная, серая мгла, из которой уже начал сочиться мелкий дождик. Свет в окошках Шрётеров тоже куда-то сгинул.

— Вот, значит, как: чтобы пооткровенничать с собственной женой, надо, оказывается, высунуться под дождь, и ей тоже... Ты по-прежнему мое самое лучшее лекарство от скуки, а еще дети и дети детей; я просто передать тебе не могу, как я рад, что Сабина ушла от этого Фишера. Ведь страшно сказать — я иногда даже у нее скучал, у родной дочери: не по душе мне эти дома, которые они строят «по своему вкусу», не по душе мне их вкус. У них любая картина — даже самая лучшая, некоторые мне просто нравятся,— все равно выглядит подделкой, несмотря на документально заверенную подлинность, а может, именно потому. Есть что-то в них самих, что убивает искусство, даже музыку, и я рад, что девочка от них сбежала. Пусть поживет немного у Рольфа... Пошли, а то еще простудимся... Слышишь сову? Да не бойся ты...

Он закрыл окно, усилившийся дождь забарабанил по стеклу, Кэте прошла в угол комнаты и прибавила отопление.

— Может, тебе все-таки уйти в отставку? Не завтра, конечно, а месяца через три-четыре? По состоянию здоровья или просто так. А они наконец выберут Ампланжера, ты-то им на что?

— У меня бесценная репутация, чуть ли не ореол, ты же знаешь. А кроме того, я уязвим и беззащитен — из-за Рольфа, Вероники и Хольгера-старшего. Лучшего им не надо, ты же знаешь. А я вдобавок еще и везучий...

— Ты? Везучий?

— Ну, послушай, сама посуди: унаследовал скромную газетенку — и тут же получил лицензию, бумагу и даже журналистов в придачу. И с тех пор неудержимо рос, разбухал... замок купил, президентом вот выбрали... Я не только везучий, я еще и трудяга...

— Ты? Трудяга?

— Но Кэте...

— У тебя отняли Айкельхоф, ты и пальцем не пошевельнул, Тольмсховена у тебя тоже считай что уже нет, ты не можешь пробить для своих сыновей даже самое жалкое местечко в «Листке», твоя дочь несчастлива...

— Несчастлива? Давно не видел ее такой счастливой. Правда, не стану утверждать, что это моя заслуга...

— Ты дрожишь перед Блямпом, боишься Цуммерлинга, ах, Тольм, милый мой Фриц! Давай уберемся отсюда, переедем, все равно куда.

Кэте, уже в ночной рубашке, помогла ему снять ботинки, распустила шнурки, сняла носки, с остальным он справился сам, даже повесил пиджак, рубашку и брюки, исподнее бросил на стул, надел пижаму...

Он лег с ней рядом, взял ее за руку, молча — знает, что она молится,— послушал дождь за окном, дождался, пока она перекрестится и пошлет вслед молитве напутственный вздох.

— Грустишь, старичок?

— Да, из-за ног. Наклоняться совсем не могу. Но все равно чудный был вечер. Хорошо, что посидели со Шрётерами, надо как-нибудь и к ним сходить. А за детей я спокоен: Сабина на верном пути, ей-то я сумею помочь, Рольф тоже в порядке, Катарина тем более, вот разве что Герберт — его я не совсем понимаю: наверно, не надо было отдавать его в интернат, хоть он и сам просился. Может, нам к нему перебраться, в этот высотный дом, который каким-то боком нам принадлежит...

— И ужасен...

— Да, отвратителен. Но мы могли бы занять целый этаж, и небольшую квартирку для Блуртмеля. Но тогда над этой махиной день и ночь будет кружить вертолет и по меньшей мере полроты полицейских будут торчать на балконах, на лестницах, в лифте — жильцы начнут разбегаться, все съедут. А что, Кэте, совсем неплохая мысль— переехать самим, пока нас не выжили отсюда,— поищи маклера, какой-нибудь дом, большой, но не слишком.

— Старый дом священника, красивый, чуть-чуть подремонтировать, слегка перестроить, сейчас много таких, священники строят себе новые, помодней, вроде коттеджей. Я так устала, Тольм, но прошу тебя: помни о Дрездене, о детях и о твоем четвертом внуке.

Рука ее разжалась, она заснула. Он еще долго слушал шум дождя, потом встал, приоткрыл окно, убавил отопление, постоял у открытого окна, выкурил еще одну. Надо переговорить с Хольцпуке. Переехать — а что, хорошая мысль. Тольмсховен — он уже прощался с ним — и даже без особой боли. Может, перебраться пока в гостиницу, апартаменты для них, что-нибудь поскромней для Блуртмеля. Но гостиницы так трудно охранять...

X

Дождь не перестал, со вчерашнего вечера, пожалуй, даже усилился, сквозь стылую утреннюю мглу он разглядел за окном лужи в саду — там же, где они бывают всегда,— и охранника, что расхаживал взад-вперед под стеклянным навесом между церковью и часовней, но не вчерашнего, а другого, помоложе, с рацией, автоматом, в наброшенной плащ-палатке.

Прижав трубку правой рукой к уху и выслушивая пространные извинения Хольцпуке, он, не вставая с табуретки, собрал щепу для растопки, скомкал обрывки бумаги, сунул в холодную печь, сверху положил лучину и попытался, поставив коробок на чугунную плиту, левой рукой зажечь спичку. Получилось — бумага вспыхнула, сухие щепки сразу же затрещали, он подложил еще, придвинул несколько поленьев побольше, разогнулся, наконец-то как следует сунул ноги в шлепанцы, запахнул халат, прислушался — справа, где спала Сабина с детьми, и слева, где спала Катарина, все тихо. К счастью, он сразу услышал телефон и никто не проснулся; было еще рано, полседь-

мого, не больше, и он то и дело повторял: «Да», «Ну конечно», потом снова: «Конечно, да, приезжайте». Эта смесь крайней нервозности, почти возбуждения и любезности, с которой Хольцпуке снова и снова пытался объяснить свой ранний звонок и срочно просил о встрече,— все это было, пожалуй, неудивительно. Удивила его какая-то грусть в голосе Хольцпуке, который все еще продолжал расспрашивать, не переполошил ли он в столь ранний час весь дом, и, похоже, не находил утешения в его успокоительных заверениях: «Нет-нет, правда нет».

— Наверно, мне проще приехать к вам, только вот где бы нам побеседовать с глазу на глаз?

— Дом священника со вчерашнего вечера пустует, у меня есть ключ, и я даже уполномочен им пользоваться.— Тут он не удержался и добавил: — Может, в епископской?

— Где-где?

— Потом объясню — приезжайте.

Он подложил дров, поддел кочергой и сдернул с плиты конфорки, поставил воду, осторожно отворил дверь в спальню и выудил со стула свою одежду, бросил ее на скамейку к печке, потом нашарил под кроватью ботинки и носки. Катарина, похоже, все еще спала, он поправил одеяло, которое, когда он вставал, слегка сползло, обнажив ее плечи, аккуратно закрыл окно.

Было холодно, его слегка знобило, и он не удержался от соблазна еще чуть поправить, подтянуть одеяло,— ужасно хотелось поцеловать ее в затылок, в шею, туда, где сквозь пышные волосы пробилась теплая прогалинка загорелой кожи, но не решился, побоялся разбудить.

Только теперь, одеваясь, он обнаружил и второго охранника — возле садовой калитки: уже немолодой, рация, автомат, такая же плащ-палатка поверх штатского костюма; с автофургоном им придется помыкаться: ворот-то нет, только калитка. И тут же подумал, что пора рвать орехи и собирать тоже, вон их сколько валяется, но это можно поручить детям, им одно удовольствие.

Сегодня он будет завтракать первым; он достал молоко, масло и яйца из холодильника, хлеб из хлебницы, молотый кофе с кухонной полки, поискал в ящике комода ключ от дома священника, нашел и вспомнил о горстке прихожан, которые регулярно являлись к заутрене: как правило, восемь-девять человек, редко больше, но старуха Гермес почти каждый божий день — кто встретит их сегодня у запертой церкви, кто сообщит, что Ройклер уехал? Хоть причетника-то Ройклер известил о своем отъезде? Неужто впервые за много столетий в Хубрайхене без четверти семь не зазвонит колокол? И почему, с какой стати он думает, беспокоится о вещах, до которых ему совершенно нет дела? Он заварил кофе, поставил греть молоко для детей, нарезал хлеб, взглянул на часы: через несколько минут должны зазвонить.

Еще вчера вечером, когда он наблюдал за Ройклером в церкви, на него вдруг накатила необъяснимая печаль, сродни той, на которую, бывало, жаловался отец и которую он, Рольф, прежде всегда считал блажью: они только берут у людей, ничего не давая взамен. Он подумал о Кэте и Сабине, для которых отъезд Ройклера будет горькой вестью, налил себе, когда кофе отстоялся, полную кружку, закурил сигарету, кивнул, завидев Хольцпуке у калитки, и, с кружкой в руке, с сигаретой в зубах, вышел на порог, приложил палец к губам, вернулся, подбросил дров в печку и налил еще одну кружку. Две кружки в одной руке — это он умеет, научился, когда подрабатывал официантом и разносил пиво.

Он протянул Хольцпуке кружку, жестом остерег не поскользнуться на раскисшей, усыпанной мокрыми листьями дорожке, тот благодарно улыбнулся:

— Очень мило с вашей стороны, я действительно не успел позавтракать.

У дверей церкви, смотри-ка, и вправду стояла старуха Гермес, а еще угловатый, бледный парень, которого в деревне прозвали «святошей» — имя его Рольф позабыл.

— Что случилось, господин Тольм? Закрыто и не звонят — разве службы не будет?

— Господин священник уехал, вчера, что-то срочное. Не знаю, может, причетник?

— Причетник в отпуске, а когда у него отпуск, господин священник всегда сам звонил...

— Не знаю,— сказал он,— не знаю, наверно, вам лучше пойти домой, все устроится...

Старуху было не просто жаль — на нее было больно смотреть, в пальто и шляпке, с молитвенником в руке, она стояла как потерянная.

— Думаю, нам лучше вернуться,— сказал он Хольцпуке.— Если вы сейчас войдете со мной в дом священника, они решат, что тот что-нибудь натворил, поползут слухи, потом хлопот не оберешься, вас же здесь все знают.

А люди все подходили: прихожане, просто соседи — он испытал облегчение, когда калитка снова захлопнулась у них за спиной.

— Как ваша сестра? — тихо спросил Хольцпуке, согрев руки у печки и отхлебнув кофе.

— По-моему, хорошо, хоть тут и становится тесновато,— вы не находите? — особенно если еще и родители попросят у меня убежища, а потом и брат, и мы всем табором, в тесноте, да не в обиде, заживем на каких-нибудь сорока квадратных метрах, пока триста метров в Блорре, четыреста в Тольмсховене и сто десять в Кёльне будут пустовать, в доме священника тоже метров сто восемьдесят — двести, чудно́,— не правда ли? — особенно если учесть, что прибыли от «Листка» постоянно растут, а уж о «Пчелином улье» и говорить нечего.

— У вас же тут уютно,— прошептал Хольцпуке,— так что насчет убежища я не удивлюсь. Но теперь о деле, из-за которого я вас побеспокоил, вынужден был побеспокоить в такую рань. Произошла странная, очень странная вещь, странная и тревожная, и кроме вас, мне, пожалуй, больше не к кому обратиться за помощью.

Он оглянулся на обе закрытые двери, Рольф успокаивающе кивнул головой, сказал:

— Полчаса у нас, наверно, еще есть. Жена в восемь заступает, а сестра — впрочем, не знаю, когда она теперь встает.

— Так вот,— начал было Хольцпуке, потом сел, снова встал, не выпуская чашку из рук.— Ваша первая жена, Вероника, снова звонила: вашей сестре, вашей матушке и священнику в Тольмсховен, но ни по одному номеру ей никто не ответил. То есть, конечно, у нас нет доказательств, что звонила именно она, магнитофон записал только длинные гудки, но затем последовал еще один звонок, опять вашей сестре и снова безуспешно. И тогда — тут-то и сюрприз — хотя она прекрасно знает, что все прослушивается, она все равно произнесла, трижды повторила: «Мы приедем на колесах — мы приедем на колесах — мы приедем на колесах»,— некое закодированное сообщение, причем явно адресованное нам. Непонятно только, почему она никогда не звонит вам.

— Просто знает, что я буду с ней не слишком любезен. А она этого не выносит.

— Этого она, значит, не выносит.— Хольцпуке хмыкнул.

— Да, это так. Я бы на нее наорал, просто наорал, и не только из-за этих безумств, в которые она впуталась, но, главное, из-за сына, ведь она уже три года таскает мальчишку по всему свету,— но тем не менее это так: она не выносит грубости, даже невежливости, спро-

сите у матери, сестры, отца, у моего брата, спросите у ее отца. И теперь вы, конечно, хотите знать, что означают «колеса»?

— Понимаете, под «колесами» можно подразумевать практически любой вид транспорта, иногда в переносном смысле, но здесь, похоже, имеется в виду что-то совершенно конкретное.

— «Колесами» мы называли велосипед, машину — если удавалось раздобыть машину — никогда. Следовательно...

— Следовательно, Беверло прибудет на велосипеде. Может, уже едет. Это подтверждает вашу гипотезу...

— Просто я постарался вжиться в его мысли. Как-никак я его знаю. Правда, распознаю ли я его сейчас — нет, не внешность, а все хитросплетения его расчетов...

— Велосипед... — Хольцпуке задумался. — Если не ошибаюсь, в стране их сейчас больше двадцати пяти миллионов. Надо сообщить Дольмеру, а может даже Стабски; места вокруг Тольмсховена просто рай для велосипедистов, почти как в Голландии, и... — Он осекся: из комнаты Сабины донесся неясный шорох.

Рольф подложил поленце в печь, потом успокаивающе махнул рукой:

— Сперва все пойдут в ванную, в клозет, а это там, с другой стороны.— Он подлил Хольцпуке, который напряженно застыл у двери, еще кофе, подвинул поближе к огню кастрюльку с молоком, кивнул на печь: — Теплушка и кофейня для высших полицейских чинов, убежище для заблудших жен богатых и влиятельных граждан — все это тоже будет отражено в моем досье?

— Меня не пугает, что будет отражено в вашем досье у нас. Куда страшнее то, что может оказаться в вашем досье у них. После того, как вы отбыли наказание, никакой негативной информации на вас не поступало. Но к вам подозрительно часто наведываются легавые, к тому же высшего ранга, вы поите их кофе, даете им справки. Не знаю, понравится ли это вашему приятелю Генриху Шмергену? И другим приятелям...

— Генрих учит у нас испанский, я помаленьку наставляю его в азах политэкономии, преимущественно финансовые отношения. А что до остальных моих друзей и подруг — не волнуйтесь, я сам им все расскажу, даже эту историю о «колесах», они поймут.

— Я бы очень просил вас сохранить наш разговор в тайне, даже от жены...

— Этого я вам обещать не могу, я не вправе иметь подобные тайны от друзей и тем более от жены. — Он вздохнул, последняя тень любезности исчезла с его лица, и он почти прошептал: — Относительно «колес» я вам сообщу еще кое-что, это очень важно, но сперва вам придется выслушать вот что: нам — если не преследуемым, то по крайней мере изгоям,— во всяком случае моим друзьям и мне, нечего скрывать, даже в помыслах. Мы и не *помышляем* о каких бы то ни было формах насилия, не помышляем больше даже о разрушении вещей, и каждый волен знать, с кем встречаюсь я, с кем встречаются они. У нас очень мощная группа, мы даже толком не знаем всех, кто к нам примыкает. И объединяет нас одна, но твердая, решимость — не поступаться своими убеждениями, мы не испытываем ни отвращения, ни гнева, — только презрение к тем, кто снова и снова ворошит старые сплетни, и к тем, кто отдает нас на откуп молве наших сограждан с помощью слежки, сыска, запретов на профессии; самое опасное в нас — это наша гордыня, наше высокомерие. И если я, дражайший, милейший, глубокоуважаемый господин Хольцпуке, соглашаюсь иногда немножечко вам помочь, то только потому, что вижу в этом хоть крохотную надежду защитить жизнь, пусть даже жизнь несравненного, дважды почетного доктора господина Блямпа, равно как и сохранность — я имею в виду физическую, отнюдь не моральную,— сохранность вовсе не столь уж безупречного

бюста четвертой жены господина Блампа, созерцанием которого я мог бы услаждаться в каждом третьем иллюстрированном журнале, если бы считал, что он того стоит,— впрочем, защиту этих округлостей, думаю, можно спокойно вверить автоматам ваших людей. А теперь нам пора идти, жена уже зашевелилась, дети просыпаются. В доме священника есть черный ход, между часовней и церковью. Что-то нет у меня желания продираться сквозь взбудораженную толпу, покинутую своим пастырем. Еще кофе?

— Нет, спасибо.

— Тогда я провожу вас в епископские покои.

Он набросил на плечи куртку, распахнул дверь и первым, не оглядываясь на Хольцпуке, зашагал к дому священника, мимо часового, который хотел было его остановить, но после секундного замешательства и, вероятно, кивка Хольцпуке проворно посторонился.

В пустых коридорах было холодно, на улице перед домом, судя по всему, тихо, но едва они ступили на лестницу, где-то в глубине, в кабинете, зазвонил телефон. Рольф остановился, Хольцпуке мимо него прошел в комнаты, пробормотав:

— Это ведь может быть...— Снял трубку, сказал: — Слушаю? — И, немного помолчав, ответил: — Господин священник уехал, надолго, советую вам обратиться в соседний приход. Кто я такой? Это не имеет значения.— Он положил трубку.— Последнее причастие,— пояснил он чуть позже, поднимаясь с Рольфом по лестнице.

Епископские покои были обставлены скромно, но очень мило: белая меблировка, медового цвета ковер, на стене — репродукция Шагала, небольшая, но изысканная деревянная статуэтка мадонны в нише, тут же лампадка; диванчик, два кресла, круглый столик — все плетеное, из бамбука; телефон, ни намека на пепельницу, Хольцпуке уселся, вздохнул:

— Вы сегодня заготовили для меня целую речь, господин Тольм, и весьма пространную...

— Было бы неплохо, если бы вы довели ее до сведения господина Дольмера, а при возможности и господина Стабски, желательно дословно. Я готов произнести ее перед этими господами и сам, так сказать, из первых уст, объяснить этим господам, в чем разница между гордыней и динамитом, втолковать им, сколько тысяч, а может сотен тысяч, душ они изымают из жизни, видимо вполне осознанно, дабы иметь резерв, чтобы в случае чего было что бросить на прокорм цуммерлинговской прессе — и банкам. Но сперва о динамите: это имеет прямое отношение к «колесам». Помнится, много лет назад, Беверло — мы тогда еще дружили, вместе организовывали демонстрации, да и акции тоже, — вынашивал идею «велосипеда с начинкой», а проще говоря, производил подсчеты, сколько взрывчатки можно набить в трубчатый каркас велосипеда, где и как приспособить взрыватели, ну и так далее и тому подобное. Идея — в ту пору она рассматривалась чисто теоретически — состояла в том, чтобы зарядить таким образом пятьдесят или, скажем, сто велосипедов и спокойно оставить их на месте операции. Мы все были против, все, эта его задумка так и осталась в теории. Но, как знать, может, сейчас он воплотил теорию в практику. Так что «колеса» — велосипед, на котором он прикатит,— вполне могут оказаться самоходной миной, или — такая идея тоже теоретически рассматривалась — после несложной и быстрой разборки превращаться в стрелковое оружие, например в катапульту. Если уж Веронике так приспичило предупредить вас насчет «колес», не знаю... — Он оглядел потолок и стены.— Здесь прослушивается?

— Нет,— ответил Хольцпуке устало.— То есть, телефон, конечно, а так нет.

— Видите ли, я не хотел бы, чтобы эта информация фигурировала в ваших бумагах со ссылкой на меня.

— Обещаю,— заверил Хольцпуке.— Это важная подсказка, не-

обычайно ценная, хотя и — жуткая. Значит, проверять не только велосипедистов, но и велосипеды, на всех подъездах к Тольмсховену, к Хорнаукену, к Тролльшайду, к Бретерхайдену...

— К Хубрайхену, если моя сестра останется тут...

— А она останется? Надолго? Вам она ничего не говорила?

— Пока нет. Ей тут нравится. И разумеется, она пробудет здесь сколько захочет, если, конечно, нам вообще разрешат здесь остаться. У меня впечатление, что в ее жизни многое переменится, а что до нас, то теперь, после отъезда господина Ройклера, совершенно неясно, как поступят с нами церковные власти. Кстати, вы знали, что Ройклер..?

— Да, мы знаем об этом его... о его отношениях с этой госпожой Плаук, знаем и... словом, мы знали, что он вчера... сбежал. Кстати, глубоко порядочный человек.

— Значит, у вас есть информаторы в деревне?

— Конечно. Уж вас-то это не должно удивлять. А теперь — если вас не затруднит — нельзя ли раздобыть где-нибудь пепельницу: видно, эти епископы все как один некурящие.

По соседству, в ванной комнате, Рольф углядел настенную керамическую мыльницу, которую удалось снять с крепежей, поставил ее на стол, взял предложенную Хольцпуке сигарету, прикурил от его зажигалки, но садиться не стал.

— Качается немножко, но другой нет. А по всем комнатам рыскать неохота. Я только внизу знаю, где что. Вы, наверно, хотите теперь побеседовать с сестрой?

— Нет, пока с вами — о ваших друзьях. То, о чем вы тут говорили: эта гордыня, эта неподатливость, это изгойство или, если угодно, чувство изгнанности, убеждения, мысли — насколько велика, по-вашему, группа, о которой вы рассказывали?

— О, это очень просто определить: достаточно подсчитать число досье в вашем ведомстве и, так сказать, в смежных службах. Ведь мы же все на учете, то есть, мы-то сами себя никак не учитываем, мы не знаем, сколько нас, а вот вы должны знать, так что проведите смотр, призовите эту армию призраков, пусть эти сотни тысяч молодых мужчин и женщин, равно как и их детей, строем пройдут хотя бы перед вашим мысленным взором, а вы спросите себя: неужели их умственные способности, образование, духовный потенциал, силы, наконец, красота нужны только для того, чтобы шпионить за ними? Разнорабочие нации, сборщики орехов, упаковщики яблок... что ж, если у вас больше нет вопросов — мне здесь как-то не по себе, но зато по крайней мере епископские покои хоть однажды на своем веку кому-то сослужили службу... Значит, теперь весь ваш охранный табор перекочует из Блорра сюда?

— Внезапное решение вашей сестры застигло меня врасплох. Вокруг Блорра у нас было два кольца безопасности, внешнее и внутреннее, так сказать, интимное, два кольца охраны, людей, которые у всех на виду, а здесь... мы не ждали этого переезда, и внезапность подобных эскапад, чтобы не сказать — выходок... Словом, признаюсь вам как на духу: сейчас я вынужден импровизировать и больше уповаю на стены вокруг вашего сада... Так что если ваша сестра...

— За молоком ей по крайней мере можно ходить?

— Лучше не надо. И если вы в состоянии этому воспрепятствовать — прогулки и все прочее тоже нежелательно. К несчастью, пресса тоже уже что-то пронюхала, поговаривают о семейных неладах, о кризисе...

— Значит, вы приставляете меня вроде как тюремщиком к собственной сестре?

— Называйте как хотите — и к малютке, разумеется, тоже. Эта затея с велосипедами не идет у меня из головы, хотя, если верить вашей теории, вашей сестре они ничего не сделают.

— Не очень-то на это полагайтесь.

— Если разрешите, еще один вопрос: ваши предположения относительно одежды?

— Пристойно. Без пижонства, не в стиле золотой молодежи, но и не как оборванцы. Пристойно, как милые, нормальные молодые люди, отправившиеся на велосипедную прогулку.

В ванной Рольф вытряхнул окурки из мыльницы, ополоснул ее и снова укрепил на стене. Расставил по местам кресла, поправил скатерть и следом за Хольцпуке спустился вниз. Дождь лил по-прежнему, часовой кивнул, как нахохлившаяся птица. Мокрые яблоки в траве, стук падающих яблок о землю; когда они вошли в теплый дом, часы били восемь. Идиллия: теплая печка, коричневые разводы какао на детских подбородках, выеденные скорлупки яиц, женщины, обе с сигаретами, чему-то смеются, перед каждой чашка кофе.

— Придется сегодня остаться в зале,— сказала Катарина.— Сабина мне поможет, она ведь так хорошо поет и рисовать умеет. Начнем готовиться к дню святого Мартина.

При виде Хольцпуке Сабина покраснела, кивнула и сказала:

— Мне очень жаль, на сей раз все так неожиданно вышло... Какие-нибудь возражения против моей новой деятельности?

— Да,— ответил Хольцпуке.— Да. Вы знаете, я не могу ничего вам запретить, я могу только посоветовать; так вот, советую вам не выходить из дома, а тем более и ни под каким видом — из сада, и, конечно, еще я хотел бы знать, просто обязан знать ради вашего же блага, как долго вы намерены здесь оставаться. Все мои мероприятия, вы же понимаете, прошу вас, мы же так прекрасно сотрудничали...

— Не знаю,— сказала Сабина,— честное слово, не знаю.— Она вздохнула.— Одно я знаю совершенно точно: в Блорр я не вернусь, так что там, что касается меня и дочки, никакие мероприятия больше не нужны, а муж уехал, и, наверно, надолго. А у родителей — понимаете, Кит здесь лучше, но сколько я здесь пробуду... Мне правда нельзя с Катариной в детский сад?

— Можно... Придется временно снять обоих часовых отсюда и направить туда. Не могу же я вам отказать.

— А если я пошлю Кит одну?

— Тогда, пока не прибыло подкрепление, одного оставим здесь, а другого там.

— Тогда я пока останусь, за печкой послежу, обед приготовлю и буду думать о нашей вилле под Малагой, где всегда пустуют двенадцать комнат, и за месяц не успеваешь разогнать тоску, которая там скапливается за год, это как пыль, скапливается и скапливается, представляете?

Хольцпуке глянул на нее как-то смущенно, достал сигарету, Рольф поднес ему спичку, он благодарно кивнул.

— Тоска,— продолжала Сабина,— честное слово, она там скапливается, ложится слоями, плотная, густая, чуть было не сказала — осязаемая. Вот и вычерпываешь ее, с утра до вечера, горсть за горстью, комната за комнатой, и испанские полицейские в форме, и немецкие у дверей, в штатском, море шумит, ну и пальмы, они, надо полагать, колышутся. Нет, останусь тут, буду сидеть у печки и жарить каштаны.

Катарина уже оделась, Хольгер тоже.

— Мне пора,— сказала она,— дети, наверно, уже заждались, да и мамашам некогда. А разговоров сегодня будет из-за Ройклера! Еще нас во всем обвинят, вот увидишь, так и будет, ты идешь, Рольф?

— Да, я вас провожу. А потом к Хальстерам пойду, просили подсобить, у них все вверх дном, тоже затеяли модернизацию. Обещали мне двойную плату и весь старый хлам в придачу. Ну, привет, сестренка. К обеду будем дома, а где книги и игрушки, сама знаешь.

А телефон вот: может, маме позвонишь или брату, не скучай и не бойся.

Кит расплакалась, со злостью глядя на Хольцпуке, который все еще мешкал уходить. К счастью, девочка плакала тихо, не в голос, почти про себя, и он, откашлявшись, хрипло произнес:

— Есть еще кое-что, о чем мне нужно с вами переговорить, желательно наедине.

— Я знаю,— ответила Сабина, но и не подумала встать, ласково гладя по головке дочку, уткнувшуюся ей в колени.— Я знаю: злосчастные три месяца лишили вас покоя, а быть может, даже и сна.

— Да,— подтвердил он,— поскольку дело касается возможной бреши в системе безопасности.

— Никакой бреши нет. Имени я не назову, ни вам, ни кому-либо еще, но бреши никакой не было. То есть, в моей-то душе была брешь, но теперь она закрылась. Это останется между нами, между им и мной, но вам не в чем себя упрекнуть. Совершенно не в чем — вы честно выполняли свой долг, и выполняли его вежливо и со всей возможной деликатностью... У меня к вам только одна просьба: моя соседка, госпожа Бройер...

— С ней ничего не будет, больше ничего, и с ее... с ее другом тоже, она, кстати, возможно, вскоре снова станет вашей соседкой, здесь, если вы здесь останетесь, так что, очень может быть, вы скоро ее встретите, когда пойдете за молоком. Ведь ее девичья фамилия Гермес — вы не знали? Да, она из Хубрайхена и, видимо, скоро сюда вернется... А с господином Шублером — понимаете, я не мог этому помешать, мы просто обязаны были его проверить, точно так же, как обязаны были навести справки о здешнем священнике.

— О господине Ройклере? А это еще зачем?

— Видите ли, в современной теологии есть очень странные течения, а симпатии господина Ройклера к вашему брату, энергия и настойчивость, с которыми он за него вступился и, можно сказать, адаптировал его здесь,— все это требовало проверки. Но заверяю вас — он был и остается совершенно вне подозрений.— Он подошел к Кит, робко потрепал девочку по волосам и тихо спросил: — Ну что, Кит, все еще на меня дуешься?

Но Кит не ответила, только пнула его ножонкой, и он медленно побрел к двери, на прощанье еще раз кивнул Сабине и вышел в сад. «Колеса,— думал он устало.— Господи, как же мне проверить все эти миллионы велосипедов и велосипедистов. Взвешивать,— пришло ему в голову,— их можно взвешивать и по разнице в весе установить, с начинкой они или нет. Велосипеды с начинкой...»

XI

В иные дни он совсем уж было собирался позвонить Тольмам — поговорить, наконец, по душам, может, их пригласить или к ним съездить, даже угостить чаем, на худой конец и самому выпить чаю. Пора кое-что прояснить, устранить предубеждения, высказать окончательные суждения — предубеждения, которые шлейфом тянутся вот уже тридцать три года, взаимные, разумеется, суждения, от которых, сколь бы сурово они ни прозвучали, всем станет легче: пора Тольму распрощаться с «Листком», пора лишить его последних иллюзий. Старик все, решительно все вконец запустил, да и сам распустился, «Листок» для него давно уже все равно что темный лес, вечно он только «что-то предчувствует» и ничего, решительно ничего не знает и не смыслит, нет уж, пусть тешится своими искусствоведческими игрушками — мадоннами или фламандцами; бесценный, можно считать, идеальный президент, который теперь еще бог весть почему возомнил, будто его хотят уничтожить, господи, да кому он нужен!

Наоборот, ему только желают долгих лет жизни, которую надо всячески хранить и беречь и окончательно избавить от «Листка», этого тяжелого и ненужного бремени. Пусть займется своими мадоннами или там соборами, ему это не только вполне заменит все его вздорные «предчувствия» относительно «Листка» и экономической ситуации, но, вероятно, еще и будет доставлять удовольствие, а президент, который разбирается в мадоннах и соборах и даже способен изрекать по этому поводу что-то вразумительное, да о таком президенте можно только мечтать, он поистине незаменим, и именно поэтому надо всемерно облегчить ему бремя президентства: представительство — да, речи — да, но больше ничего, решения — ни в коем случае; нет, тут мало одного Амплангера, мало и прежней референтуры, тут нужны по меньшей мере еще два новых помощника, которые его разгрузят, так сказать, будут расчищать ему путь, может, для этого сгодятся — хотя не рискованно ли? — Кольцхайм и Грольцер, но это надо еще обдумать. Какая жалость, что сын Тольма пошел — теперь уже иначе не скажешь — по кривой дорожке и, видимо, с этой дорожки его уже не сбить. Мальчик вполне мог бы стать новым Амплангером, а пожалуй, и получше Амплангера, в нем больше чувства, и юмора тоже, да и улыбка человеческая, тогда как над улыбкой Амплангера изощряются шутники («Заменяет любой нож: режет хлеб, сыр, ветчину, колбасы — пригласи Амплангера, и о ножах можешь не беспокоиться»). Молодой Тольм наверняка не был бы столь безупречен, столь до смешного «на уровне», как Амплангер, который неизменно в курсе не только новых, самых новых, но и наиновейших танцев и, к радости обожающих танцы дам, чьи мужья давно уже не слишком ретивые танцоры, отплясывает с ними только по самой последней моде. Есть что-то почти устрашающее в его манере пересказывать свеженькие передовицы из «Франкфуртер альгемайне» или из «Вельт», ловко выдавая их за собственные сокровенные мысли,— нет, Амплангер «в порядке», в своем роде незаменим, и все же ему недостает чего-то, что в этом Рольфе Тольме есть: личность, оригинальность, эта проклятая «изюминка». Это пресловутое «чуть-чуть», которому не научишься, которое не купишь ни за какие деньги, это поганое, почти мистически неуловимое и недосягаемое «нечто», что в избытке есть у его матери и, пусть в зачатке, есть у отца: обаяние. А кроме того, он, младший Тольм, понял то, чего никогда уже не усвоит папаша: борьба — вот их лозунг, а вовсе не примирение. Даже в ту пору, когда он швырялся камнями и поджигал машины, в нем все равно было обаяние, и сейчас есть, ничуть не утратилось. И конечно, он давно сообразил — а может, как и его старик, пока только «предчувствует», что есть лишь одна страна, где для него, вероятно, подыщется более стоящее занятие, чем собирать яблоки и ремонтировать крестьянские развалюхи: Куба. Вопреки всему, несмотря ни на что — опять эта проклятая Куба, эта огромная вошь в теплой заокеанской шкуре. Да, Хольцпуке успел ему нашептать: молодой Тольм учит испанский у какого-то чилийца, изучает и экономику Кубы, обложился справочниками и даже обзавелся учеником, крестьянским парнем из Хубрайхена. Что ж, он считай что отрезанный ломоть, его уже никогда, никогда не заполучить, не залучить обратно, даже если он, допустим, уедет, а потом вернется, вернуть его все равно нельзя. Даже если из кубинских планов ничего не выйдет — этот предпочтет и дальше собирать орехи, окучивать картошку и плодить детей со своей коммунистической полюбовницей, из одной только гордыни, из ледяного презрения к Цуммерлингу, хоть и не поджигает больше его машины; нет, этот никогда уже не подпалит ни одной машины, не поднимет с земли камень, будет торчать в своей дыре, пересчитывать груши, ремонтировать трактора, будет, как сотни и тысячи ему подобных, соблюдать все законы и хранить каменное презрение к системе. Жаль, что такой принц отпал от короны, а ведь был бы куда лучше

Амплангера; был бы. Расточительство: такой сильный ум, такие организаторские способности, да еще в сочетании с такой изобретательной фантазией, притом в удачном, выверенном сочетании. Даже странно — при таких родителях, при таком происхождении... Хотя что-то ведь в них есть; наверно, это и называется «стиль»: никогда, нигде, даже в этом своем замке, они не выглядели выскочками, никогда,— просто удивительно, на нем, Блямпе, а он примерно такого же происхождения, это прямо-таки написано и уже не стереть: грубая рожа, в которой все читают жестокость, хотя жестокости сначала и в помине не было, это потом — раз уж все равно постоянно приписывают — она прорезалась: кто, например, поверит, что по натуре он скорее трусоват? А он одинок, одинок и трусоват. Хильда — вот та верила, и не только верила, понимала. И угораздило же его с ней развестись, после чего и пошла полоса неудачных браков. Кэте Тольм, как всегда, права: его четвертая, Эдельгард,— просто «дура набитая»; у нее даже тело какое-то глупое, нескольких трюков, которые она где-то — где? — разучила, если не поднабралась случайно, хватило недели на три, не больше. Вся эта показушная страстность, сексапильный шепот — все подсмотрено в идиотских фильмах и не доставляет радости ни ему, ни ей; а с недавних пор еще и привычка напиваться, прямо с утра, и наигранная меланхолия, в которой ни на грош, ни на гран подлинности; и вечно одна и та же поза «несчастной женщины», которая ей самой прискучила, и вульгарность — вот она-то как раз чуточку слишком подлинная, чтобы выглядеть просто данью моде. Дура набитая, может, и просто нескладеха, но все равно дура, даже руки — и то глупые, и испорчена насквозь, вероятно, еще школьницей в залах ожидания и дешевых забегаловках пошла с колес, влипла во всю эту мерзость, гашиш и порно, а кроме того, это поколение, судя по всему, просто не способно жить без музыки, если, конечно, это можно назвать музыкой; с утра до вечера, и ночью тоже, если ей не спится,— музыка, музыка, все под музыку! Вероятно, это вполне потянет на уважительную причину для развода: в каждой комнате, даже в туалете,— всюду она понаставила этих проклятых магнитофонов и приемников, которые включает, как автомат, не успев даже отпустить дверную ручку; и в ванной, разумеется, и в спальне, во всех салонах и даже в подвале, когда ей взбредет в голову изображать хозяйку дома и заняться бельем и съестными припасами,— всюду музыка, всюду разбросаны кассеты. К счастью, скоро она, слава богу, уедет куда-то на Кампен или Нордерней, он не помнит точно, и, конечно, потащит за собой целую свиту охраны, ей это нравится, она уже стала завидовать Тольмам, у которых «охрана еще шикарней»,— это ее последнее увлечение, вроде спорта: по многочисленности охраны определять собственный «ранг» и подсчитывать, на каком она месте — на втором, третьем или четвертом...

Значит, скоро придется с ней расстаться — хорошо бы без особых каверз с ее стороны. Родителей ее жалко, они милые, славные, простые люди, эти Кёлерсы, зачем-то держат наперекор всякому экономическому смыслу свою лавочку, и ничего им не надо, вкалывают по восемнадцать часов в сутки, имеют с этого, наверно, марку восемьдесят — от силы две марки в час, и если все подсчитать — свой дом, за жилье, значит, не платят, хотя проценты с капитала за дом наверняка в расчет не берут, плюс еда и все прочее по оптовым ценам,— набежит что-то около — но это при более чем сточасовой рабочей неделе на каждого, да еще трясись за сроки хранения молока и всего остального,— да, набежит тыщи две с половиной — три в месяц, и они еще убеждены, что «прилично» зарабатывают, хотя в среднем-то за час получают меньше любого турка, а сам-то он эти три тыщи, больше трех, играючи делает за день. Но им, конечно, об этих подсчетах говорить не стоит, такие милые, скромные трудяги, зачем их расстраивать? Живут себе в своем захолустье, их там все уважают, в

церковь ходят, в хоре поют, хорошие люди, в своем роде даже культурные. И потом — у них есть стиль: когда пригласили на обед, как все было обставлено, как стол накрыт, и сам старик помогал на кухне, а она, подавая очередное блюдо, всякий раз снимала передник и вешала на стул — да, в этом был стиль. И вино было отличное, и кофе отменный, а домашние эклеры — наверно, старик делал, он когда-то вроде на пекаря учился — вообще объеденье. Конечно, они сдержанные немножко, но не робкие, нет, ни намека на робость перед всесильным, богатым, известным зятем, про которого в газетах пишут и который одной своей охраной переполошил всю деревню — там часовые, тут часовые, прямо государственный визит. А ему все это напомнило детство, родителей, у них, пожалуй, было еще поскромней, ну, и по-протестантски, здесь-то все католики — скромней-то скромней, но если сравнивать, надо бы еще знать, каково жилось Кёлерсам лет сорок-пятьдесят назад, пока родители не померли и не отказали им лавочку. Славные люди, они не слишком-то верили в карьеру своей беспутной дочери, и правильно делали, а потом, когда подали кофе и ликер, заставили ее «что-нибудь сыграть», и она сыграла со скучливо-капризной гримаской, в которую вложила все презрение к так называемой классической музыке: надругалась над Шубертом, Шопена исхитрилась испоганить до неузнаваемости, да еще посмела что-то вякнуть насчет «музыкального десерта»; нет, Кэте Тольм права, его четвертая — просто дура набитая; про Кэте ему Ампланжер доложил — ему иногда удается перехватить кое-что интересное, наверно и по телефону тоже.

Пусть едет в Нордерней, пусть ошеломляет там всех своими формами сколько душе угодно. А он позвонит Тольмам, съездит к ним на чай или позовет на чай к себе, на худой конец и сам выпьет; давно пора кое-что прояснить. Да, конечно, это он «зафиндилил» Тольма, но вовсе не для того, чтобы уничтожить, наоборот — чтобы разгрузить, чтобы окончательно избавить от «Листка». Ведь это «Листок» сидит у него в костях, наливает свинцом ноги, по его же, кстати, вине — не надо было все так запускать. Вот и пусть насладится покоем, отдохнет, получит помимо Ампланжера и штаба референтуры еще двух помощников, пусть живет и здравствует. Ну и, конечно, предубеждения, что тянутся шлейфом вот уже больше тридцати лет, еще из лагеря. Разумеется, он вовсе не был там «милягой», этаким кротким агнцем, но и не прикидывался «кротким», никогда не выставлял напоказ свою кротость наподобие герба, однако не надо и передергивать, путать невольную суровость с жестокостью, сеять легенды, будто он с детства жил на всем готовом.

На чем готовом? Может, на «доходах» от жалкой текстильной лавчонки в Доберахе, где мать зимой скрюченными от мороза пальцами перебирала грошовый хлам, продавая пуговицы и нитки, в хороший день — в лучшем случае — моток резинки, чтобы подлатать трико или кальсоны, где, бывало, покупали одну, в скобках прописью — одну иголку, редко-редко пару носков, и где шла тайная, но беспощадная битва за каждый пфенниг, когда приближался день конфирмации: поднять цены, еще чуть-чуть поднять — да пропади оно все пропадом! Ну и конечно, он рано записался в штурмовые отряды, в СА, а как же иначе, хотя бы ради отцовских заказов, которые после действительно обеспечили им более или менее вольготную жизнь, почти процветание, потому что папа получил что-то вроде монополии на форменные рубашки и кителя, брюки и галстуки, а потом и на сапоги, но и на вечные склоки с сапожниками и владельцами обувных магазинов, шляпных дел мастерами и владельцами шляпных салонов, потому что помимо сапог папа получил еще и монополию на фуражки, но кто, кто в ту пору помышлял об убийствах? Кто? Даже добренький старый пастор Штермиш, принявший его в лоно церкви, и тот попался на удочку, тоже подпевал, тоже сюсюкал что-то нацио-

нальное и антисемитское, а отцу во время ариизации прямо посоветовал «не слишком усердствовать в милосердии». Штермиш за счет общины направил его в университет, ну, а диссертацию и докторский диплом — это уже отец смог финансировать и сам, «Проблемы текстильного производства в периоды сырьевых кризисов» на опыте первой мировой войны — тема, пришедшаяся «в масть», когда и впрямь разразилась вторая мировая война. Тут он уж точно был — и остается — незаменим, ему предоставили все возможности применять, совершенствовать, подправлять и развивать свою теорию, рук он не запятнал ни кровью, ни взятками, но когда американцы его посадили, что ж, это было логично, даже как бы почетно,— ведь они приняли его за куда более важную шишку, чем он сам о себе когда-либо мог возомнить. Об этом — чтобы он не слишком о себе возомнил — Хильда позаботилась, его жена, про которую сейчас с оттенком почтительности говорят «его первая»: вот уж кого никак не назовешь «дурой набитой», чего нет, того нет, ни в чем, даже по хозяйству, бережлива — да, но не скаредничала, скупала земли, абсолютно легально, все как у людей, и даже успокаивала его, когда груды кровавого, спекшегося, изодранного, изрешеченного «вторичного» текстиля — штатской и военной одежды — мало-помалу начали действовать ему на нервы, ведь там были детские вещи. Такое было время, такие законы: одежда расстрелянных и повешенных, из тюрем и с плацев, доставлялась на фабрики и шла в «переработку», не говоря уж о «вражеском текстиле», под которым подразумевался отнюдь не только готовый трофейный текстиль, но и детская одежда — а у него ведь у самого дети, Мартин и Роберт,— тут поневоле станешь суровым, а иногда, быть может, и жестоким, может быть. Но Хильда была с ним, хорошая, умная жена, и по хозяйству, и в делах, и даже по музыкальной части — и сыграет так душевно, и сама же споет, да, она была ему хорошей женой, и в готовке, и вообще во всем.

Да вот беда: после войны, когда он вышел из лагеря и по настоянию Бэнгорса снова стал текстиль-уполномоченным,— они ведь ничего, ни единой капли пролитой крови, не смогли ему предъявить ничего!— у него не получалось, он не мог с ней спать, не находил подступа, не находил доступа к ней. Со шлюхами, к которым его иногда брал с собой Бэнгорс, получалось, даже и потом, после той жуткой истории в банке, о которой он до сих пор так ни с кем и словом не обмолвился, даже с Бэнгорсом, хоть тот и был свидетелем, безмолвным свидетелем: ночью, когда они в государственном банке буквально лопатами гребли деньги и содержимое сейфов, гребли и загружали в мешки, вдруг, откуда ни возьмись, женщина, молодая, в одеяле, бог знает, какая нелегкая ее принесла, видно пряталась,— ну, он хватанул автомат Бэнгорса и уложил ее на месте. Он вообще тогда первый раз в жизни стрелял, первый и последний, а та женщина, распластавшись на куче денег, превратила их в «кровные» деньги, кровные в буквальном смысле слова. Они так все и оставили, и тело, и деньги, только одеяло набросили, деньгами присыпали,— и прочь, скорее прочь, в машину и в лагерное казино, напиться, напиться, и больше ни слова об этом, никогда ни слова! Потом он еще долго со страхом изучал газеты, все ждал заметку про труп, потом про скелет, обнаруженный в подвале государственного банка,— нигде ничего, ни строчки. Может, ему все только привиделось, может, это был сон, призрак? Но видение преследует его всю жизнь, неотвязно, оно вставало перед глазами, едва он обнимал Хильду, вставало, когда Мартин и Роберт приходили целовать его перед сном,— суровые, мучительные годы, когда он сколачивал свою империю, текстиль с Фишерами, которые в политическом смысле абсолютно вне подозрений, недвижимость с помощью Хильды, потом бумага — это уже с Кортшеде — и печать с Цуммерлингом, он поднимал целину, надо было спешить, покуда матерые волки снова не вышли из своих клеток. Нет, ему ничто не до-

сталось даром, ничто не свалилось прямо в руки, отцовское дело не в счет, это так, хлам, жалкая лавчонка, где после войны долго еще истлевали несколько сотен форменных коричневых рубашек СА, они даже в перекраску не годились.

С Хильдой в конце концов все же пришлось разойтись. Но он прилично ее обеспечил, она до сих пор его соправительница. Мартин стал учителем, очень славный малый, честный, прямой, а Роберт — даже трогательно — пастором, оба от него далеки, оба, как и их жены, бывают слегка смущены, когда он вдруг нагрянет в гости. Другая, совсем чужая жизнь, как слайды, которые снимали без тебя,— а ведь это его дети, сынки, родная кровь, но оба совершенно непригодны к тому, к чему пригоден, мог бы быть пригоден Рольф Тольм; и, конечно, он навещает Хильду — та поселилась в глуши, в горах, но, несмотря на возраст, сумела выучиться на налогового инспектора: воспоминания, которых уже не оживить, застывшие, как под стеклом, и здесь и не здесь, легкая волна былой теплоты, когда он склоняется пожать ей руки, и все тот же, все тот же немой вопрос в ее глазах: «Почему?» И ничего не объяснишь, не скажешь про кошмар, который преследует тебя неотвязно, гонит и гонит из попойки в попойку, из борделя в бордель, из одной мечты о счастливом браке в другую, хотя все они рушатся.

Нет, баста, «пятого номера» не будет. В шестьдесят пять не зазорно и отказаться от брачных иллюзий. Но почему, черт возьми, подобными кошмарами вовсе не мучится Тольм, а он, судя по всему, вовсе не мучится, этот лощеный эстет, скользкий как угорь, этот размазня и болтун, который как-никак целой батареей командовал и жахал в русских почем зря, сколько народу, небось, в клочки разнес, в том числе, наверно, женщин и детей, когда обстреливал несчастные мирные деревни, а при отступлении просто приказывал палить куда попало. Вообще, эти армейские хлыщи, которые так много воображают о себе и о своей вонючей офицерской чести,— а на чьей, позвольте спросить, совести все это кровавое, ссохшееся, изрешеченное пулями тряпье? Нет-нет, разумеется, эти господа на войне не «наживались». Он, что ли, наживался? Да кому были нужны эти ворохами сваленные деньги, давно списанные со всех счетов, эти бумажки, которых было бог весть сколько миллиардов и которые каждый тогда считал мусором? Так почему бы не купить на них дома и участки, на законных основаниях, корректно, почему не дать денег тем, кто срочно в них нуждался, и притом далеко не рыночную, не официальную цену, а много больше? Кому и какой от этого вред? Вон Тольм — конечно, всего лишь мелкая рыбешка, обер-лейтенант артиллерии, чьими вероятными преступлениями никто и не подумал поинтересоваться, его и выпустили сразу, через каких-нибудь восемь месяцев, да еще преподнесли в подарок «Листок», из которого он ничего, абсолютно ничего путного не сумел сделать, — разве он ничего не выгадал на войне?

А недавно Бэнгорс пожаловал, уже на пенсии, весь седой, конечно, благообразный, дослужился до генерала — Корея, Вьетнам, ну и прочее. Пришлось отужинать с ним в «Эксельсиоре» и с Эдельгард, конечно, от нее не отделаешься,— милый вечер, так это, кажется, называется, действительно милая жена Бэнгорса, которая даже могла себе позволить деликатно шепнуть на ушко Эдельгард несколько тактичных советов по части хороших манер. «Да, — похвастался Бэнгорс, — это и есть Мэри, моя первая и единственная». Сам — спортивный, подтянутый, но без этой омерзительной моложавой «стройности», к которой столь упорно — и тщетно — стремится Эдельгард, так до сих пор и не усвоившая, что от пьянства тоже толстеют, а тем более от сладостей, если поглощать их беспрерывно, расхаживая из комнаты в комнату и всюду включая эту свою чертову музыку. А вообще — ничего, милые, эти Бэнгорсы, она милее, чем он, но он тоже,

что называется, джентльмен, хоть рисуй — а ведь своими ногами подгребал тогда деньги к трупу, там, в подвале банка, подгребал, как листья в лесу, когда набредешь на какую-нибудь падаль, а потом, сощурясь, понюхал ствол автомата — и прочь, прочь. И ни слова об этом, ни намека, даже не подмигнул ни разу, когда ужинали в «Эксельсиоре», и потом, в баре, где пили кофе с коньяком, а дамы воздавали должное ликерам,— тоже ни гугу. И все равно — вечно этот кошмар, этот ужас, перехвативший горло, когда Кортшеде в свое время его спросил: «Подумай, Блямп, хорошенько подумай, ведь они переворошат всю твою жизнь, — не спрятан ли у тебя труп в подвале?» Спросил, конечно, в переносном смысле, но он-то мог ответить и в буквальном: да, спрятан, спрятан труп в подвале государственного банка в Доберахе. Он, наверно, сразу сам побледнел не хуже мертвеца, потому что Кортшеде потрепал его по плечу и сказал: «Ну-ну, спокойно, спокойно, я же не о том, что записано в твоем денацификационном деле, — может, что по молодости, партия или еще что-нибудь, мало ли что могут раскопать...» Нет, ничего, только труп в подвале. Но труп так и не раскопали, а свидетелей не было, вернее, был один, но он за это время, вероятно, повидал, а может быть, и взял на душу столько трупов, что о том, давнишнем, начисто позабыл. Кофе и коньяк, дамы за ликером и даже там, в баре, опять эта проклятая, вездесущая музыка, там, правда, хоть танцевали.

С Маргарет, его второй женой, об этом тоже нечего было и заикаться: нет, не то чтобы совсем дура набитая, но все же порядком с придурью, одна из его секретарш, вообще-то даже ничего, но трех лет ему хватило за глаза; Маргарет была помешана на культуре, Флоренция и Венеция, Джотто, Мантенья и все такое, к тому же — «Господи, Ассизи, ради чего же еще приезжать в Ассизи!» — перешла в католичество, окружила себя любомудрыми монахами, основала журнал, ну ладно, непременно хотела квартиру на Пьяцца Навона, ладно, все лучше, чем эта телка с музыкой, его четвертая, но потом все-таки зашла слишком далеко, дальше, чем он даже в мыслях мог бы ей позволить, закрутила с модным итальянским леваком, — правда, красавчик, ничего не скажешь,— и не просто там шашни, а всерьез, и все обнаружилось, стало достоянием гласности, а уж это никуда не годится, то есть, пока все ограничивалось слухами, безвредной и даже лестной светской болтовней — это еще куда ни шло, но когда всплыли фотографии, где она с этим мозгляком на пляже в чем мать родила, нет, увольте. Было в ней, в Маргарет, что-то от декоративного украшения, да и сама она умела украшать себе жизнь. Флоренция, Венеция, Джотто, Мантенья, Ассизи — разве он против? Но это уж ни в какие ворота, даже друзья и те советовали развестись, а особенно настойчиво Цуммерлинг, именно он, который первым опубликовал фотографии: и хотя вина однозначно была на ней, на Маргарет, он проявил великодушие: пусть оставит себе и дом во Фьезоле, и машину, и еще кое-что в придачу, пусть выходит за своего итальяшку, может, у них и вправду любовь, которой он так никогда и не встретил, пусть, ему не жалко,— они даже обвенчались в церкви, все по закону, чин чином, как у людей, она до сих пор шлет ему иногда открытки, в конце всегда чудна́я приписка: «Я тебе все простила, все». Умора, да и только — не иначе как это она о пощечине, которую он ей влепил, когда однажды за завтраком она вдруг ни с того ни с сего буквально взвыла в голос, и все потому, что какой-то псих где-то расцарапал какого-то Рембрандта. Нет, столько культуры — это уж правда не для его нервов, вот он и вмазал. А она, значит, простила. Ну ладно.

С третьей он сам, что называется, не по чину хватил: эта деревенская девочка с модильяниевским лицом и вправду была не про его честь; тут он пал жертвой предрассудков, о которых сегодня пря-

мо-таки смешно говорить, но она, Элизабет, вовсе их таковыми не считала. И не потому, что работала уборщицей — а она действительно однажды вечером, когда он засиделся в кабинете, предстала перед ним с ведром, совком и веником, — нет, в наши дни уборкой добывает себе хлеб множество женщин, которые отнюдь уборщицами не являются, беженки, безработные всех мастей, нет, тут другое: она действительно была уборщицей, самой настоящей, эта деревенская девочка из Истрии, и заполучить ее он смог только после свадьбы; ну, и настали тяжкие времена, он сделался всеобщим посмешищем, как-никак ему было уже к шестидесяти, а ей двадцать четыре. «Блямп влюбился, подумать только, это ж надо — Блямп». Издевались все кому не лень, пожалуй, только Кэте да еще Фриц Тольм не участвовали, они, наверно, тихо дивились про себя, что на сей раз он действительно влип. Для прессы это было самое настоящее пиршество, и он щедро подбрасывал прессе кусок за куском: еще бы, он вместе с Элизабет, тестем и тещей на пороге жалкой крестьянской лачуги, сельская свадьба с таким обилием плясок, какое ему при всем желании уже не потянуть, и тут же нелады, затруднения из-за того, что он разведенный, а Элизабет католичка, сетования родителей, их горестный отказ от церковного венчания, который и сама Элизабет приняла очень тяжело, — а в итоге продержался совсем недолго, этот третий его брак, меньше всех остальных, не устоял, и не столько перед видением, которое по-прежнему его не отпускало, сколько перед неколебимым достоинством Элизабет — господи, какой-то уборщицы! Лишь с очень немногими людьми его круга она согласна была общаться, а меньше всего с Фишерами, которым он по текстильной линии и по «Пчелиному улью» все-таки многим обязан, и тут не помогли даже многократные напоминания, что Фишеры — действительно католики, самые настоящие, и что это не только доказуемо, но и доказано, даже удостоверено вполне серьезными церковными инстанциями; все бесполезно. К Фишерам ее нельзя было затащить никакими силами, к Тольмам — сколько угодно, но те сами от него нос воротят. Как ни удивительно, ей понравился Кортшеде и даже Плифгер. Но всех остальных она считала «скверной компанией, очень скверной», а про многих говорила, что «они воняют, ты просто не чувствуешь», а когда он едва-едва начал пестовать нечто вроде дружбы между ней и Сабиной Фишер, было уже слишком поздно, брак рухнул, она уехала в Югославию; под конец она до того дошла, что и правительственных бонз высокого, а то и высшего полета тоже стала называть «вонючками». «Они все воняют, вы просто не чувствуете». А потом призналась ему, что и он тоже воняет, «не всегда, но часто», твердила это даже в интимные минуты, когда он забывал с ней и свое жуткое видение, и всех своих шлюх, а просьбы объяснить, в чем именно и как вонь проявляется, ответом не удостаивала. Под конец с ней стало просто опасно появляться на людях: сморщив носик, она обнюхивала всех подряд, бросала лаконичное «воняет», «не воняет», причем вовсе не в каком-то там моральном смысле, а прямо и вовсеуслышанье говорила о «вонючей немецкой чистоплотности». Пришлось ее спровадить обратно в Истрию, он дал ей денег на маленький, но шикарный отель, где ей, надо надеяться, не понадобится принимать других вонючих немцев, но все еще мечтает, тоскует о ней, тоскует о Хильде, о своих милых и честных сыновьях, а теперь вот с содроганием думает об ответном приглашении, которое он Бэнгорсам задолжал: все-таки была — или почудилось? — у Бэнгорса этакая нехорошая искорка в глазах, хитроватый огонек сообщничества, но ничего он не сделает, не станет же себя топить. В конце концов, тот труп в подвале не за ним одним числится. Видно, кто-то уже после них прибрал к рукам «кровные денежки», а заодно прибрал и труп.

Да, от Эдельгард так легко не отделаешься. Вздорная баба и, как последняя идиотка, обожает роскошь, к которой бог весть почему относит еще и охрану; а охрану у нее, конечно, либо вовсе снимут, либо очень сильно сократят. Добро бы, в ней самой хоть что-то было, так нет, а все равно — роскошь ей подавай: просиживает целыми днями в дорогих отелях, листает журналы, слушает свою проклятую музыку, доводит полицейских до белого каления и упивается своим «протокольным рангом», дурит голову мужикам, вот только ни один так и не захотел попользоваться, ни один всерьез не клюнул, но ей, похоже, и не больно надо. Нет, эта хуже всякой шлюхи, испорчена на корню, еще с малолетства, на вокзалах, в дешевых закусочных, а вот его окрутила, сперва прикинулась, будто так по нему и сохнет, а потом запела про честь, девственность и даже родителей не постыдилась вовлечь в этот могучий хорал, хотя сама небось еще в двенадцать, а в тринадцать-то уж точно приняла «боевое крещение». И ведь знала, когда подступиться — Элизабет только-только уехала, потаскухами он был сыт по горло, вот и балдел допоздна в своем кабинете, а она тут как тут со своими дешевыми трюками: свеженький кофеек, и ручку невзначай на плечо, и, конечно же, эти бездарные груди, щедро разложенные в вырезе платья. Ну, а потом крик, слезы, честь, девственность, родители и снова свадьба, четвертая. Нет, от нее так легко не отделаешься, а уж дешево и подавно. Все, баста, пятой не будет. Спутница жизни, вот кто ему нужен, вроде Кэте Тольм, которая даже глупости и те совершает очаровательно. Хольцпуке намекнул ему, что она со своим сыночком Гербертом, у которого не поймешь, что на уме, видимо, все-таки помогала деньгами этой Веронике. У Кэте даже набожность и то без обмана, нет, такая женщина — это чистое золото, как и ее дочь, Сабина, которая и на коне, и с младенцем на руках, и в церкви, и на танцах, даже у плиты, — всюду диво как хороша, нет, такое не купишь, пришлось однажды с глазу на глаз, по-мужски так и объяснить молодому Фишеру, чтобы не очень-то дурил, не вздумал обижать девочку ни словом, ни действием, ни, чего доброго, в спальне, а то он тоже в последнее время малость сдвинулся, так сказать, на порнопочве. Малютка Тольм — это же драгоценность, гораздо более хрупкая, чем кажется на вид, тут надо тонко, с душой, и уж ни в коем разе не с обезьяньими плейбойскими ухватками, которыми этот балбес, судя по всему, ее замучил, — нет, нельзя допустить, чтобы такая девочка зачахла или, еще того хуже, отбилась от рук и сбежала куда-нибудь, нет, он не даст в обиду ни ее, ни ее прелестную, ангельскую дочурку. И старика поддержать надо. Остается, правда, еще Герберт, которого никому, включая полицию, не удалось раскусить. Философией занимается, а это не к добру; надо, обязательно надо при случае обсудить все эти вопросы с Дольмером, а то и со Стабски, тут ведь затронуты не одни только интересы объединения, тут дело государственное.

Но сперва неплохо бы выяснить, как там эти молодцы, Кольцхайм и Грольцер, — перебесились наконец или до сих пор дурят? Эти-то в свое время и впрямь отбились от рук, обрыдло им петь и подпевать с чужого голоса, обрыдла стальная улыбка Амплангера, вот и пустились во все тяжкие, запили по-черному, спутались с бабами, да еще как-то неудачно спутались, без толку, подлые попались твари: и квартиру им, и меха, и вообще купай их в шампанском. А потом, видно совсем уж с тоски, стали баловаться новомодными извращениями: втроем, вчетвером, а то и дюжиной. В общем, хватили через край, и из кассы тоже: командировочные, представительские, короче — финансовые злоупотребления. Ну, а уж тут пеняй на себя, и никакой пощады — на фронт, на передовую; поставили их перед выбором: либо суд, либо «испытание огнем», и не в штабах — в око-

пах. Либо три-четыре годика за решеткой, либо разжалование; они выбрали второе, ну, их и упекли в супермаркет, и не в обычный, а куда подальше, в глубинку, — пусть покопаются в грязи, узнают, каково воевать за повышение оборота, школить продавщиц, орать на уборщиц, всучивать покупателям пожухлый салат, ломать голову над уценкой, каждое утро точнехонько, минута в минуту, являться на работу в белом, но слегка заляпанном халате и каждый вечер снимать кассу. Там, в глубинке, если охота не пропала, могут и поразвлечься: вступить в местный туристический клуб, отплясывать на карнавалах и стрелковых праздниках, вместе с клубом в соответствующей экипировке — красные гетры, посох, рюкзак — ходить в походы «по полям, по лесам», а по части секса сколько угодно доказывать свою моральную стойкость на провинциальных вечеринках. Да, уже года три-четыре как они на передовой. Надо бы узнать, насколько успешно идет боевая закалка, удалось ли им продвинуться — без посторонней помощи, в рамках скромных возможностей окопного героизма. Хорошие были ассистенты, эти Кольцхайм и Грольцер, образованные, с дипломами, и шустрые социологи, владевшие левацкой терминологией и правой аргументацией. Жаль, если они совсем пропадут, погрязнут в пучках салата и жалких интрижках с продавщицами. Надо бы запросить у Амплангера рапорт, и надо, надо позвонить Тольмам, пора наконец поговорить по-людски, тридцать три года они таскают за собой предубеждения, как вериги. Может, и Хильде стоит позвонить, попросить ее вернуться — если не спутницей жизни, то хотя бы экономкой; сколько можно выглядеть этаким чурбаном, надоело, да и без надобности уже, а от баб он устал, даже от шлюх. Но первым делом надо внушить Тольму: никто и не думает его уничтожить. Наоборот, его хотят охранить и уберечь, и пусть, наконец, сколько душе угодно цацкается со своими мадоннами, соборами и распятиями, пусть живет и здравствует — чем дольше, тем лучше, а если Кольцхайм и Грольцер образумились, пройдя очистительное горнило, то лучших помощников не сыскать: ребята молодые, элегантные, с юмором и после трех-четырех лет закалки уж точно не избалованные. Наверно, Кэте Тольм — единственная живая душа, кому он смог бы рассказать про труп в подвале, про свое одиночество.

XII

После завтрака, подумать только, и в самом деле пожаловала депутация от «Листка», с цветами и увеличенной, наклеенной на лист картона первой страницей утреннего выпуска, посвященного его избранию. Очень трогательно, он и в самом деле не на шутку расчувствовался, тем более что делегировали всего троих: старика Тёниса, формально он все еще главный редактор, из старой эмигрантской гвардии, которую подобрал тогда майор Уэллер, ведь от одной лицензии да бумаги проку мало; благодаря Тёнису и коммунисту Шрётеру, что потом столь бесследно исчез, он хоть что-то понял в журналистике, они беспрестанно жужжали ему это словечко «жур, жур, жур» — день, днем, ради дня. Понять-то понял, а вот освоить не сумел, о чем бы ни писал, так и не смог избавиться от академической обстоятельности и многословия. И Блёрля прислали, одного из первых наборщиков, и его секретаршу Биргит Цатгер, тоже далеко не первой молодости, все из старой гвардии, давно привязаны к нему, а он к ним,— и он и они это знают. Тёнис и вправду где-то раскопал его диссертацию, «Развитие прирейнской сельской архитектуры XIX века» — об этих угрюмых, чопорных, холодных домах с их неизменным глухим квадратом подворья, скукота... Одна надежда, что эту не слишком лестную диссертацию, где так много со-

поставлений с северной и южнонемецкой сельской архитектурой, никто так и не удосужился прочесть. Чем-то эти нудные фасады неизменно напоминали ему исповедальни, ну а уж тут он бессилен...

Старые фотографии: вот он, мальчишкой, на велосипеде на фоне замка, потом студент, а вот и после войны, возвращенец; про Кэте тоже не забыли — молодая жена с Рольфом на руках, во главе стола в гостях у Цуммерлинга; а вот опять он сам — в послевоенных орденах, в окружении улыбчивых министров. «Состоявшаяся жизнь, счастливая жизнь». Он и правда пустил слезу, когда чокался с Тёнисом, Блёрлем, секретаршей и Кэте — та хоть и не плакала, но глаза тоже на мокром месте. Шампанское, сигары, обещание предстать перед сотрудниками редакции, которые тоже чувствуют себя совиновниками торжества, для поздравлений, а он еще во внезапном порыве чувств зачем-то предложил Тёнису перейти на «ты», это после тридцати трех лет совместной работы, мучительно пытался припомнить его имя, понимая, что ситуация неловкая, момент выбран неудачный; Тёнис смутился, никак не отваживался назвать его Фрицем, а тут его наконец, но слишком поздно, осенило, что Тёниса зовут Генрих, а сам все время думал о Сабине, ее будущем, думал о пророчестве Кортшеде, о новом, неизбежном изгнании — куда? куда?

Да, в душе он уже прощался с замком и вдруг понял, что дети никогда особенно не любили сюда приезжать, даже Сабина. Замок остался для них чужим, они тоскуют по Айкельхофу, это их потерянный рай, хотя какой там рай: огромный, сырой, полусгнивший склеп, ремонтировать — напрасный труд, а все попытки возродить здесь, в замке айкельхофские обычаи и привычки потерпели полный крах. Иногда он всерьез подумывал, не снять ли апартаменты в одном из кёльнских отелей, специально для встреч с детьми, но Кэте отвергла этот план как «совсем уж дикость». И все-таки это гораздо проще, чем всякий раз, отправляясь к детям, тащить за собой всю свиту охранников; может, и надо бы купить часть отеля в Кёльне. Тем более что Кёльн-то они уж вряд ли станут сносить. Хотя город наверняка тоже стоит на «буром золоте», а современной технике, несомненно, вполне по зубам разобрать Кёльнский собор и поставить его где-нибудь в другом месте.

Когда Кэте, еще бледнее, чем вчера, явно напуганная, позвала его к телефону, он первым делом подумал о Рольфе, потом о Цуммерлинге. С таким же вот белым от испуга лицом она передала ему трубку, когда арестовали Рольфа, и когда Вероника с Беверло и Хольгером исчезли — тоже; и оба раза горевестником был Цуммерлинг, который не только сообщал ему новость, но и с церемонными извинениями уведомлял, что не в состоянии помешать ее публичной огласке. Его не удивило, что это опять Цуммерлинг: как-никак у того самая оперативная служба информации, повсюду ищейки, и только тут ему пришло в голову, что это, может быть, что-нибудь с Гербертом, у которого хватит ума не только придумать, но и наделать глупостей. У него достало присутствия духа, уже с трубкой в руке, махнуть на прощание Тёнису, которому Блуртмель как раз подавал пальто в прихожей. Кэте сняла параллельную трубку и кивнула. Только тогда он произнес:

— Слушаю.

— На сей раз, мой дорогой Тольм,— начал Цуммерлинг своим теплым, приятным баритоном,— чтобы вы не слишком пугались, сразу скажу: вашей семьи это не касается. Но новость достаточно тяжелая: Кортшеде застрелился, в своей машине, в лесу под Троллъшайдом. Вы меня слышите, дорогой Тольм?

— Да-да, слышу... просто... я... как-то в голове не укладывается...

— Обезображен до ужаса, а в кармане письмо — вам. Хольцпуке, а может, сам Дольмер скоро вам его вручат. Это бомба, а не

письмо, Тольм, и оно никогда, ни в коем случае не должно стать достоянием гласности, вы меня слышите?

— Письмо, адресованное мне, которое я еще не прочел, и содержание которого вы, как я понимаю, уже знаете,— вам не кажется, что это несколько странно? Кортшеде был моим другом, настоящим другом, одним из немногих моих друзей...

— Конверт нашли у него в кармане, он не был надписан. Пришлось вскрыть. Из обращения «Дорогой Фриц» и из дальнейшего явствует, что письмо вам. Разумеется, конверт вам тоже вручат. Письмо, кстати, все равно пришлось бы вскрыть, оно ведь могло содержать указания на убийцу или сообщников,— там, кстати, есть крайне щекотливые пассажи, связанные с этим мальчишкой, которого он называет Пташечкой. И вообще — это документ, пронизанный неким эсхатологическим безумием. Так что я взываю к вам не только как к нашему новоизбранному президенту, но и как к владельцу «Листка» со всеми его ответвлениями... Дорогой Тольм, вы меня слышите?

— Да, я вас слышу. Неужели вы не понимаете, что я хотел бы сам прочесть письмо, прежде чем выслушивать от вас его конспективное изложение... и уж тогда, после того как я его прочту, мы бы, возможно, вместе подумали, что предпринять с адресованным мне письмом. Мне, к тому же, не вполне ясно, с какой стати меня информируете вы, а не Хольцпуке или Дольмер, ведь вы, прошу прощения, сколько мне известно, лицо не уполномоченное.

Цуммерлинг рассмеялся:

— Так ведь Дольмер меня и попросил поговорить с вами, прежде чем сам с вами побеседует и, возможно, вручит вам письмо...

— Возможно? Письмо, принадлежащее мне?

— Видите ли, это настолько взрывоопасная штука, что — поверьте, я тут совершенно ни при чем — Дольмер решил сперва позвонить мне, не исключено, что даже Стабски уже в курсе. Тут такое дело, дорогой Тольм, что вряд ли следует быть излишне щепетильным, тем более что вам и без того предстоят семейные неприятности... Вы слушаете, Тольм? Алло...

— Да-да, я слушаю. Значит, ваши специалисты по беременности и зачатиям все-таки не утерпели?

— Ах ты, господи, Тольм... Возможные шалости вашей дочери у меня лично вызывают скорее симпатию, беда в том, что ваш зять рвет и мечет. И вовсе не из-за возможных шалостей, о которых он, по-видимому, не желает догадываться, а из-за окружения, в котором соизволит пребывать ваша дочь.

— Со вчерашнего вечера.

— Да, со вчерашнего вечера, но, вероятно, еще не на один вечер и не на один день: вашей дочери, судя по всему, там очень нравится. А ваш зять, по слухам, крайне опасается, что его дочери там тоже может понравиться, слишком понравиться, и, видимо, уже готовит иск, а точнее — отшлифовывает с помощью своих адвокатов формулировки иска. Нашему представителю в Ванкувере...

— Где?

— В Ванкувере, это в Канаде, он заявил нашему представителю, что он — цитирую дословно — этого дела так не оставит и предъявит иск в ущемлении его родительских прав; но вернемся к Кортшеде: вынужденная изоляция, синдром тюрьмы, психоз, а потом разлука с этим мальчишкой, которому все-таки намотали пять лет,— тут все сошлось. И конечно, Тольм, вам как его другу и коллеге, в вашем новом качестве надо бы произнести надгробную речь, не забывайте, чьей жертвой он, в сущности, пал... А что касается вашей дочери, то мы, разумеется, обеспечим полнейшую снисходительность. Наш человек в Ванкувере...

Тут Кэте включилась в разговор и спокойно произнесла:

— Кортшеде был его другом, даже близким другом, и он произнесет надгробную речь, и мы, конечно же, будем терпеливо ждать письмо, которое когда-нибудь, вероятно, даже сможем прочесть, хоть оно и адресовано Фрицу. Что же до нашей семьи, то вашим заверениям я не верю и никакой снисходительности не жду, нет, благодарю, пожалуйста, не надо. Кстати, у нас ведь, кажется, свобода прессы, или я ошибаюсь? Вот и обеспечьте прессе полнейшую свободу.

— Не плачь, Тольм,— спокойно сказала она, кивнув Тёнису, который испуганно ретировался вместе с Блёрлем и секретаршей.— Пошли, давай-ка выглянем на террасу.

— Так ведь дождь.

— От дождя, я слышала, укрываются под зонтиком, а кроме того, Рольф мне объяснил, что зонтик спасает и еще кое от чего,— она усмехнулась,— так сказать, от всепроникающего любопытства.— Она прошла в спальню, вернулась с большущим желтым зонтиком от солнца, очень глубоким, открыла дверь на террасу и потянула его за собой. Ему было зябко, он колебался, но она твердо взяла его под локоть и раскрыла зонтик.— Вообще-то надо было отломать или отпилить спицы,— прошептала она,— но я все не решусь, потому что тогда он, по-моему, не будет раскрываться. Рольф мне говорил, что под таким вот глубоким зонтиком — пусть даже со всеми этими спицами и железяками — они почти ничего не могут услышать. А теперь скажи-ка: ты знал про этого Пташечку, или как его там?

— Да, и давно, Кортшеде поверял мне и это, он поверял мне много всего, о чем я не имею права рассказать — печальные семейные тайны. Да, я знал, что он такой, и про мальчишку этого он мне говорил, и про то, как с его ведома их подслушивали, потому что мальчишка-то преступник. Но любить преступников, по-моему, не преступление. Как ты считаешь? Даже преступников-сыновей.

— А преступниц-невесток?

— Нет, Веронику я не люблю, я был к ней привязан, это верно. И все-таки мне немного жутко: Блямп и в самом деле пригласил нас на чай, как они могли об этом узнать, заранее, понимаешь? Он сегодня с утра позвонил, у него был такой... теплый голос.

— Может, его четвертая много болтает в барах, а кто-нибудь слушает. В конце концов, стены имеют уши, а свои люди, наверно, есть и у тех.

— Судя по всему, у него исповедальный зуд — это я о Блямпе,— что-то я за ним такого не припомню. И чая он, по-моему, сроду не пил, я, во всяком случае, не видел. Да и она не похожа на завзятую чаевницу. Впрочем, он сказал, что ее не будет.

— Она пьет джин с тоником, с утра, и чистый виски. Кроме того, она помешана на туфлях. Верно, что она была продавщицей в обувном магазине? Ты замерз? Принести тебе плед?

— Нет, спасибо. А что, отличное изобретение: прятаться под зонтиком на собственной террасе и шептаться с собственной женой в надежде, что вас не подслушают. Хотя, по мне, пусть слушают. Нет, продавщицей она не была.

— Знаешь, как подумаю о туфлях, всегда вспоминаю Генриха Беверло.

— Он — и туфли?

— Ну да. Он знал толк в женских ножках.

— В чем, в чем?

— В женских ножках, я же сказала. А почему бы преступнику, даже особо опасному, не знать толк в женских ножках? В Айкельхофе он мне всегда помогал выбирать туфли. Ты же знаешь, я до сих пор верна Кутшхеберу, может из сентиментальности или из благодарности: ведь раньше, когда у меня было туго с деньгами, он всегда продавал мне со скидкой, ах, господи, «всегда» — раз, от си-

лы два раза в год,— сейчас я покупаю чаще, плачу дороже и только наличными, но все равно храню ему верность. Так вот, когда мы жили в Айкельхофе, Кутшхебер присылал мне обувь на дом, у меня же свободной минутки не было: трое детей на руках, всякий день гости. Вот тогда-то и нашелся у меня отличный консультант — Беверло. Да, он знал толк в женских ножках. Он чувствовал грань между удобством и элегантностью и знал, где ее можно переступить, а где нельзя. И всегда порицал меня за мою слабость к слишком удобной обуви, он, кстати, и Веронику тоже консультировал, уже тогда, как сейчас, не знаю. А ты в ту пору и дома-то почти не бывал, вот и не помнишь. Он считал,что мои ноги обидно уродовать «какими-то шлепанцами». И из дюжины пар безошибочно выхватывал то, что надо: и удобно и элегантно. А если два эти требования — удобство и элегантность — вступали в конфликт, всегда решал в пользу элегантности. Он, кстати, и варенье варит замечательно, а его ежевичное вообще было вне конкуренции — ты, между прочим, частенько едал и нахваливал. Да знаю, знаю я, что он убийца, опасный преступник, но что он тонкий, интеллигентный и очень деликатный мальчик — это тоже факт.

— Ты еще скажи «милый»...

— И милый тоже, но не это в нем главное, это так, сбоку припека,— а вот что испорченный, это да, до мозга костей. И нечего на меня так смотреть — еще бы не испорченный! Слишком много позволяли ему возиться с деньгами, с деньгами и больше ни с чем, как и Рольфу, которого эта банковская белиберда и довела до ручки. Но Рольф-то хоть образумился, а вот Беверло нет, он все считает, считает, считает без конца, и не ради выгоды, а ради идеи — тут недолго свихнуться. Тольм, может, все-таки принести плед? Зато наконец-то можно поболтать вволю.

Он только качнул головой, улыбнулся, поцеловал ее руку, сжавшую рукоять зонта, и обвел глазами парк, пожалев, что совсем не видно птиц.

— Пусть Фишер подает в суд, то-то газетчики отведут душу на заголовках. Мне сейчас совсем не до того, даже не любопытно, я все думаю о надгробной речи: наверно, буду говорить о любви, а почему бы и нет? И еще я думаю о том человеке, с которым Сабина, от которого у Сабины... может, он тоже знает толк в женских ножках?

— Фишер, во всяком случае, ничего в этом не смыслит.

— А я?

— Ты... Ты мог бы смыслить, если б захотел. Ты даже в газетных делах мог бы смыслить, если б хоть чуточку ими интересовался. Старик Амплангер прекрасно умел пользоваться твоей ленью, твоим безразличием, все стращал тебя Цуммерлингом, хотя и сам человек Цуммерлинга, а может, именно поэтому. А потом вы начали покупать и стращать, стращать и покупать, покуда тебе самому не стало стыдно заглядывать в собственную газету. Ведь больше всего ты любил читать «Гербсдорфский вестник», верно?

— Да. А теперь, когда он перешел в мои руки, я его читать не буду. Все потонет в спорте и вонючей трепотне, плюс местные сплетни, плюс развлекалочка. Сыновья мой «Листок» в руки взять брезгуют — никакой информации, что ж, они правы. А еще я тревожусь о дочери, которая вдруг, как гром среди ясного неба — или оно было не такое уж ясное? — как бы это сказать: связалась с другим...

— Брось, какая она прелюбодейка, ей на роду не написано, и никто ее прелюбодейкой не сделает. О воспитании я вообще не говорю, от него проку мало, считай что почти никакого,— просто, видно, такая уж это штука, таинство брака, что иной раз начинаешь верить в него, лишь преступив. Ну-ну, не красней, мой старичок, ты тоже не уродился грешником, не вышел из тебя прелюбодей —

забудь, тебе нечего стыдиться и хватит краснеть. К тому же у тебя достало и вкуса и такта, перестань, забудь, это не позор. Я вот тоже не сподобилась, и соблазна не было, даже от скуки; всякое бывало, сам знаешь, и Айкельхоф, и «Листок», и вообще — но скучать я никогда не скучала... Да, женские ножки, Кутшхебер ведь даже предлагал мальчику заведовать секцией женской обуви. Сколько способностей, даже странно, при таком-то отце,— не потому, что он был почтальоном, но зануда страшный, да и мать тоже, дальше своего Блюкховена ничего не видела. А старик, конечно, нас теперь ненавидит, сам знаешь: дескать, это мы, богачи, во всем виноваты, поманили сыночка сладкой жизнью, университетом, который ты ему оплатил, стажировкой в Америке. Он-то предпочел бы видеть сына почтальоном в Хетциграте, ну, а уж как предел мечтаний — почтовым инспектором в Блюкховене. Возможно, не так уж он и неправ. Меня даже в дом не пускает, только на порог ступлю — крик, проклятья, под ноги мне плюет. Ну он-то хоть не нацист, это точно, мой отец хорошо его знал....

— Как, ты тоже... ходила к нему? Разве ты раньше его знала?

— Людвига Беверло? А как же! И сестру его, Гертруду, мы с ней со школы на «ты», она в магистрате работает; ох, и натерпелась она из-за своей фамилии, она ведь не замужем. Она же в Айкельхофе часто у нас бывала, неужто не помнишь? Хоть тебя ведь никогда не было дома.

— Не любил я этот гроб: помесь необарокко с неоренессансом, плесень, гниль, запустение, сырость... А ломать да переделывать — нет, это не по мне. Одно я знаю точно: твой знаток женских ножек уложил бы меня на месте, если б мог.

— Не может, да и сомневаюсь, хочет ли: Вероника будет против. Может, все-таки войдем в дом, я сварю тебе кофе?

— Нет, лучше останемся: так приятно стоять с тобой под зонтиком, мерзнуть под ноябрьским дождичком, ждать птиц и размышлять о том, что мои сыновья и друзья моих сыновей брезгуют взять в руки мою газету и не любят ездить к нам в замок. Ты права, конечно: никогда меня не интересовали газеты, только ты, дети, их друзья, а еще мадонны, архитектура, деревья и птицы. Хотя нет, ты— это совсем другое, ты слишком часть меня, чтобы можно было сказать «интересуешь». А у меня всегда замок был на уме, Айкельхоф никогда не любил, а «Листок» все-таки солидная газета, которую, если взять все издания, читают или, во всяком случае, выписывают миллионы читателей,— но для детей это пустой звук и для их приятелей тоже. Информация, если она исходит от системы, сама механика этой информации никого из них не занимает, вероятно даже Сабину. И Фишера лишь тогда, когда упоминается он сам или его лавочка. Герберт интересуется еще меньше, чем Рольф. Каждый заголовок в «Листке» вызывает у него какой-то изумленный, радостный смешок — не злой и не циничный, а именно радостный: так дети радуются лопающемуся мыльному пузырю. И они будут смеяться — нет, не над смертью Кортшеде, они его любили, не над его изувеченным лицом, не над забрызганной кровью машиной,— они будут смеяться над пышными, помпезными похоронами, на которые, конечно же, непремено пожалуют Дольмер и Стабски: еще бы, чуть ли не государственное событие, почести по высшему разряду, охрана — тут уж меньше чем полком не обойтись и вертолеты прикрытия с воздуха. А мне говорить речь, моя первая официальная миссия. Ты ведь пойдешь?

— Конечно, я пойду, но только если тебе к тому времени дадут ознакомиться с письмом. Кстати, ты не находишь, что это вполне убедительный повод уйти в отставку: сокрытие от тебя письма, которое тебе адресовано? Не волнуйся, я пойду и, что называется, буду соответствовать: пожму руку госпоже Кортшеде и даже выкажу

скорбь, к тому же неподдельную. Мне он правда нравился, среди них попадаются действительно милые, Плифгер и Поттзикер, вероятно даже и Блямп. Кстати, как с ним быть, идти к нему на чай или, может, к себе позовем? Видно, что-то у него на сердце, если у него вообще есть сердце.

— Конечно, у него есть сердце, иначе он бы не был так щедр ко всем своим женам. По-моему, с четвертой, с этой Эдельгард, у него тоже все кончено,— наверно, он потому такой бабник, что у него нет хорошей жены. Пусть лучше приходит к нам. Может, он сумеет нам помочь, если Фишер и впрямь начнет дурить — один день ребенок провел у Рольфа, а этот псих уже испугался заразы. Неужели их, то есть наша, система столь малоубедительна, что им страшно подвергнуть ее даже тени сомнения. Тогда пусть защищают систему, наши убеждения и перспективы от этих проникающих влияний. Ведь посылают же Рольф и его друзья своих детей в наши капиталистические школы, у них нет выбора, и ничего, не боятся, уверены в своих силах. Помнишь сборище, которое устроил Кортшеде еще до того, как его дочь покончила с собой. Всех пригласил: дочь и друзей дочери, Рольфа и друзей Рольфа, Фишера и друзей Фишера, он лелеял мечту о примирении, ему горько было видеть эти два, а то и три враждующих лагеря, вот он и устроил вечер — танцы, иллюминация в саду, пунш, холодные закуски, коммунисты танцевали с дочками миллионеров, миллионеры с анархистками, это было еще до эпохи великой безопасности. Так и вижу их всех: Сабина с одним из приятелей Герберта, Фишер с какой-то подружкой Катарины. Пока танцевали, все шло гладко, но едва дело дошло до разговоров, тут-то и началось: сытая практика против голодной теории, аргументация против преуспеяния, и эти три гордыни, что сшибались, как бильярдные шары, гордыня друзей Герберта, гордыня друзей Рольфа и эта барская гордыня друзей Фишера, которым нечем было козырять, кроме своих прибылей...

— А еще якобы трудолюбия и даже мужества. Да, кошмарный был вечер, какое там примирение, стенка на стенку, чуть до драки не дошло.

— Да, поставщики сырья против потребителей сырья, Куба против Америки. Я тоже считаю, что за кофе и чай мы платим слишком мало, а за бананы вообще гроши. Что меня тогда поразило: друзей Герберта друзья Фишера желали понимать еще меньше, чем друзей Рольфа,— три совершенно разных мира.

— А еще есть четвертый, которого мы не знаем, мир равнодушных, и пятый — мир алкоголиков и наркоманов.

— И еще один, который потихонечку загнивает сам по себе — таких, как граф Хольгер фон Тольм. И Эва Кленш — тоже совсем особый мир. Ума не приложу, куда ее отнести. Мы не нашли и не найдем с ними общего языка, не готовились и не готовы к контакту, все они прошли мимо и живут помимо нас, а еще есть ведь эти паломники в страну Востока, вроде дочери Кортшеде, которую потом бросил тот студент и она покончила с собой, там, в Индии, в отеле,— Кортшеде лично ездил, чтобы забрать тело. Ах, это незабываемое кладбище под Хорнаукеном, прямо в лесу, где каждая вторая могила — могила Кортшеде, все они там лежат, любых разрядов и достоинств: поденщики и мелкие лавочники, купцы и крестьяне, и нынешние великие Кортшеде тоже, те самые кузнецы своего счастья, что разбогатели на бумаге, стали и угле,— все они из этого рода-племени застенчивых белокурых мечтателей с грустными глазами. Священник-северянин, напирая на согласные — вместо «т» у него получалось «д»,— говорил о господе: «двой жезл и двой посох». А теперь, значит, мне там говорить — в кольце охраны, конная полиция в лесу, танки на аллеях, вертолеты над головой, и наверня-

ка тот же священник снова будет твердить: «двой жезл и двой посох».

— У тебя хватит мужества огласить письмо Кортшеде? Ведь это наверняка в своем роде завещание.

— Нет, Кэте, у меня не хватит мужества. Я это знаю, даже не прочитав письмо. У меня никогда не хватало мужества, даже той крупицы мужества, которая требовалась, чтобы не позволить сделать из «Листка» бульварный листок; крупицы мужества, чтобы обуздать старика Амплангера или избавиться от присмотра его сыночка. Я только глядел — или проглядел,— как они вырезали всю мою старую гвардию и всегда мне подсовывали один и тот же аргумент: публика, читатели, которые якобы от нас отвернутся, если мы не будем «на уровне». Конечно, меня манили деньги, ведь успех оправдывал Амплангера и иже с ним, вот я и шел навстречу. Кому? Да самому себе, пока не стал таким, как читатели «Листка». Чего ради? Чем я рисковал? Да ничем. На жизнь, на нормальную жизнь мне бы всегда хватило, и, наверно, было куда лучше сразу отдаться на съедение Цуммерлингу, за соответствующую мзду, разумеется, чем самому заглатывать других, которым «Листок» казался чуточку либеральней, а сам я — немножечко симпатичней. А теперь что уж, я сброшу с себя «Листок», останусь только в наблюдательном совете, тогда Цуммерлингу даже не понадобится меня глотать, ведь он и так давно внедрил к нам Амплангера. Нет, правы сыновья: мне не удалось обмануть систему, система обманула меня.

— Сбросишь с себя «Листок»? Это что-то новенькое.

— Смысла нет и дальше прикрывать его своим именем, а значит, и флером либеральности. Надеюсь, что они нас все-таки засекли — тогда, быть может, я все-таки получу письмо, несмотря на то что оно адресовано мне. Пойдем в дом, выпьем кофейку, отогреемся и поедем в Кёльн: я слышал, там опять выставили мадонн, хочется взглянуть. Кстати, не пригласить ли нам с собой эту Кленш? Может, мне удастся ликвидировать кое-какие пробелы в ее образовании, как тогда со второй женой Блямпа. Заодно могли бы и пообедать с Гербертом, только не в этом омерзительном доме, который нам принадлежит. Вдруг у Герберта тоже есть кое-что интересное, о чем можно сообщить под зонтиком.— И он шепнул так тихо, что ей пришлось подставить ему ухо: — Скажи-ка, ты часом не приложила руку, а точнее, деньги к этой анти-автомобильной-акции?

Она прильнула губами к его уху, нежно его чмокнула и прошептала:

— Мне удалось их отговорить. Они даже вернули мне сдачу — ну то, что осталось. У них был ужасно простой, вернее — ужасный и простой — план: в разных городах, причем довольно далеко друг от друга, они взяли напрокат контейнеровозы — здоровенные такие махины, метров по пятнадцать в длину, а то и по двадцать, если не все тридцать. Этими фургонами, строго по графику, который, между прочим, по минутам был расписан твоим сыном Гербертом, они хотели перекрыть все мосты, все выезды из города, все главные перекрестки, просто поставить эти штуковины поперек дороги, по-моему так, и на четверть часа превратить город в автомобильный ад. Забрать ключи и смыться. Но я им объяснила, сколько будет обмороков, нервных срывов, инфарктов, даже смертей, ведь «скорая помощь» тоже не сможет проехать, ну, и так далее и тому подобное. Нельзя ратовать за жизнь чужими смертями — словом, отговорила. Фирмам им, конечно, пришлось заплатить, кому только первый взнос, кому еще и неустойку, а остальные деньги я у них забрала от греха подальше, и все равно, когда Цуммерлинг позвонил...

— Ты решила, что они все-таки это провернули, и нас ждет новый скандал, теперь уже с Гербертом?

— Ну да, денег им мог дать кто угодно, да они бы и сами раз-

добыли. Знаешь, одно время я прямо тряслась перед каждым выпуском новостей. Я не скандала боялась, а самой затеи. А придумал все Вильгельм Поль, помнишь, красавчик такой, ну прямо ангел во плоти.

— И Пташечка, любовь Кортшеде, еще один ангел во плоти. Он мне показывал фото.

— Ну вот, найдется о чем подумать, пока ты будешь показывать мне своих мадонн. У них тоже почти у всех ангельский вид. Нет, правда, Тольм, я как могла постаралась им внушить, что может произойти, если они внезапно и надолго заблокируют центр города: человеческие жертвы, психические расстройства, драки... Нет, страшен не скандал, но впутываться в затею, последствия которой совершенно непредсказуемы,— это, право, нехорошо. И все равно тех, кого следует, этим не проймешь: у каждого небось вертолет во дворе или на крыше. В конце концов, Рольф поджигал только те машины, в которых точно никого не было. Да, это неплохая мысль, пообедать с Гербертом и лишний раз удостовериться. Но, знаешь, они были настолько благородны, что не взяли у меня чек с подписью, только наличные. Значит, я приглашаю Блямпа на чай и заказываю на сегодня столик на пятерых, у Гецлозера, в кабинет, он приготовит нам что-нибудь вкусненькое. Блуртмеля тоже, конечно, надо пригласить. Бедные мадонны: надеюсь, их ангельские лики не передернутся при виде стольких автоматов. Неужели тебе в самом деле так приспичило в музей, непременно сегодня, после вчерашних выборов, и опять вся эта кутерьма?

— Не могу же я потребовать доставить все сто двадцать мадонн ко мне на дом. А взглянуть хочется. Так что предупреди Хольцпуке. Кстати, знаешь, было очень приятно с тобой под зонтиком. Прямо как запретное свидание.

— Так оно и есть.

XIII

Мальчика доставил турецкий инженер, прибывший рейсом из Стамбула и сразу после посадки во франкфуртском аэропорту передавший его полиции, которую командир корабля заранее вызвал по рации. Семилетний ребенок, который вполне мог бы сойти за маленького турчонка, черноволосый, смуглый, худой, в джинсах, сандалиях, накидке типа пончо и круглой соломенной шляпе — вид не то чтобы слишком экзотический, но достаточно «восточный»; спокойный мальчик, который даже улыбнулся, когда турецкий инженер, передавая его полиции, заявил:

— По-моему, это очень взрывоопасный ребенок. Меня попросили провезти его по моему паспорту, у меня тоже сын, восьми лет, но он остался в Турции. Попросила женщина — я бы даже сказал, дама,— в Стамбуле, в аэропорту, она вручила мне билет, пятьсот марок и вот это письмо, письмо, по ее словам, чрезвычайно важное и адресовано вам, полиции. Вот письмо, вот пятьсот марок, гонорар за столь ничтожную услугу мне не нужен. Позволю себе добавить, что дама очень плакала.

— Это была моя мама,— сказал мальчик. Больше он ничего не сказал, даже когда в отделении, сразу после ухода турка, оставившего свой домашний адрес, поднялся сперва легкий, а затем и нешуточный переполох. Затрезвонили телефоны, сдергивались и нервно швырялись трубки, забегали люди — полицейские в форме, полицейские в штатском, а потом и мужчины в штатском, вовсе не похожие на полицейских. В конце концов мальчик согласился принять из рук какой-то доброй тети стакан молока и пирожное, хотя у него и были с собой в полиэтиленовом пакете (непрозрачном) бутерброды и бутылка апельсинового сока.

— Господи, деточка,— шепнула тетя,— ты, наверно, и по-арабски говоришь?

На что он с вежливой улыбкой только покачал головой, не спуская глаз с двери, ведь Вероника ему сказала: «Если вдруг появятся фотографы — прячься, в крайнем случае закройся пакетом», но фотографы не появлялись, хотя полицейских в штатском было уже явно больше, чем полицейских в форме. Потом один из тех, что в форме, подвел его к телефону, и он взял трубку и сказал:

— Да?

— Хольгер, это Рольф. Ты еще меня помнишь? Голос мой узнал? Берлин помнишь? Франкфурт? Хольгер, мальчик мой!

— Да, Рольф. И дедушку — утки в пруду, замок. И бабушку Паулу — варенье. И бабушку Кэте — печенье. Берлин, да... Как ты?

— Хорошо, хорошо, все хорошо. Я рад, что ты вернулся. Вероника — хотя нет, можешь не говорить.

— Я и не скажу. Ты приедешь за мной?

— Конечно, ведь никто не должен знать, что ты здесь. Тебе об этом сказали?

— Да.

— Тебя сейчас на вертолете отвезут к дедушке, сядете в парке, ничего, у него в парке часто садятся вертолеты, никто и внимания не обратит, а уж там я тебя заберу, часа через полтора. Хольгер! Я ужасно рад, мы устроим большой костер, у нас теперь сад огромный, а Катарина... Ты знаешь, кто такая Катарина?

— Нет. То есть... у меня ведь есть брат... братик...

— Ну да, его тоже зовут Хольгер. Придется что-то придумать, чтобы вы не перепутались. Ну ладно, ты только приезжай, иди сейчас с полицейскими дядями, они тебя отвезут. У тебя все в порядке? Ответь мне!

— Да. Я пойду с ними. У меня все в порядке. Мне сразу надо будет в школу?

— Да нет. Это не к спеху. Не бойся, приезжай скорее. Ну пока!

— До свиданья, Рольф.

Полицейские дяди впоследствии утверждали, что мальчик вел себя не просто спокойно, а прямо-таки хладнокровно. Строго придерживаясь инструкции, они «ни о чем таком» с ним не говорили: показывали ему сверху автостраду, Рейн, впадение Мозеля и Лана, и он вроде бы очень живо всем интересовался — внимательный, можно сказать, даже смышленый мальчик, про каждый мост спрашивал, как называется, жевал между делом свои бутерброды — хлеб, кстати, явно восточной выпечки, вроде лаваша, но колбаса вполне обычная, типа салями,— и даже сказал, что так лететь гораздо интереснее, чем «совсем высоко», потому что «почти все видно, даже как курицы крыльями хлопают». Нет, бутылка с соком самая обыкновенная, ничего особенного, никаких особых примет. Мальчик даже угостил пилота, и тот отхлебнул из бутылки пару глотков: сок как сок, нет, не самодельный, самый обычный, какой можно попить в любом супермаркете — ну, а уж супермаркеты, наверно, в Стамбуле есть, как и киоски с соками, нет, в соке тоже ничего особенного. Тем не менее ни пакет, ни бутылку мальчик оставить не пожелал, забрал с собой, да и что там, на той бутылке, обнаружишь,— известно ведь, кто собрал его в дорогу, и то коротенькое письмецо они все читали: «Вы горько пожалеете, если сообщите прессе о возвращении Хольгера и если попытаетесь его расспрашивать. Доставьте его к его отцу. Телефон прилагается. И без фокусов! Бев.» Даже не на машинке, а самым наглым образом написано от руки, на стандартной почтовой бумаге, какая стопками валяется во всех отелях, с недавних пор даже в дешевых.

Милый мальчик, нисколько не агрессивный, но и не общительный; любознательный, сообразительный, пытливый — да, но доверчивости — никакой; слушает хорошо, и Нидервальдский монумент[1], и крепость Эренбрайтштайн, мосты, замки и даже малые притоки вроде Ара и Вида — все ему было интересно, но на самые невинные вопросы вроде: «Что, там-то небось жарко было, а?» — не отвечал. Вернее, отвечал, но, так сказать, с многозначительной улыбкой: «Ой, я так потел. Но и снег тоже был, и дождь...»

В одежде — на основании поверхностного осмотра, а всякий иной им же строго-настрого запретили — тоже ничего определенного не выявлено: джинсы — ну, это уж действительно ширпотреб, продается всюду, рубашка — желтая, европейского покроя, но на востоке тоже научились такие делать, сандалии — самые заурядные, носки — недвусмысленно домашней вязки, если и куплены, то с рук, у какой-нибудь старушенции, так что интерес представляли разве что пончо и шляпа. Пончо — не настоящее, явно не латиноамериканского производства, так, барахло, подделка, впрочем, чистый хлопок — им удалось незаметно выдернуть пару ниточек. Но и такого добра сейчас везде навалом: в галантереях, в сувенирных киосках, даже в солидных универмагах. Оставалась еще шляпа, в которой, впрочем, тоже не было ну совершенно ничего арабского, на вид довольно дешевая, из тех соломенных нахлобучек, какие повсюду норовят всучить иностранным туристам,— с равным успехом она могла быть куплена на Крите и в какой-нибудь дыре вроде Вальцпорхайма. Наконец, сам мальчишка: все-таки скорее хладнокровный, чем просто спокойный, явно какой-то замороженный, вероятно, даже специально натасканный, чтобы не проговориться; был неизменно вежлив, приветлив, но, увы, неприступен, выболтал, а вернее, сказал только, что он потел от жары, но потеть от жары можно в любом месте южнее Афин и Сиракуз. В карманах, судя по всему, кроме нескольких смятых бумажных носовых платков, тоже ничего. Некие чувства он обнаружил, только когда увидел сверху Кёльнский собор, сказав: «Сразу видно, какой он большой и какой маленький!» — засмеялся, когда они медленно подлетали к замку, закричал: «А вот и утки, утки!» — и заплакал, когда отец стиснул его в объятиях, но только тогда. Из него ничего нельзя было выжать, но плакал он по-настоящему, и отец тоже: как и было приказано, они приземлились возле самой оранжереи, так что мальчик, никем не замеченный, на крыльце оранжереи был с рук на руки передан отцу, через оранжерею отведен в замок, тут же, во дворе, усажен в отцовскую машину — и был таков. Стариков, слава богу, решили не извещать, оставили их любоваться мадоннами. И правильно, они бы непременно что-нибудь учудили, они ведь «без фокусов» не могут.

XIV

Имелось семь фотографий, на которых можно было разглядеть обувь Вероники Тольм, в общей сложности четыре пары, обладавшие, впрочем, одним несомненным сходством: все туфли были дорогие, в равной мере солидные и элегантные, для бунтарки весьма буржуазная обувка, к тому же фирменная, а снимки сделаны в разное время на протяжении пяти лет, из чего нетрудно было заключить, что она сохранила стойкую привязанность к туфлям одной фирмы, ну, а уж после этого оказалось достаточно одного телефонного звонка, чтобы установить, где именно в Стамбуле можно приобрести обувные изделия данной фирмы: в пяти магазинах и ни на

[1] Монумент на берегу Рейна в честь победы немецких войск в франко-прусской войне 1870—1871 годов, возведен в 1883 году по проекту Й. Шиллинга.

одном из базаров, разве что без ведома фирмы, ибо только богу известно, что и как попадает на базар,— да, 38-й размер, едва ли не самый ходовой, так что в одном из этих пяти магазинов дама наверняка найдет то, что ей нужно.

Самолет с мальчишкой совершил посадку в 10.35, а у турецкого инженера, слава богу, хватило ума не полагаться на бдительность паспортного контроля, незадолго до посадки он проинформировал первого пилота, тот, в свою очередь, уведомил полицию, так что примерно в 10.50 им уже все было известно о «нежном грузе» из Стамбула, о письме и предупреждении; остальное, как говорится, было делом техники, между коим делом он, Хольцпуке, потом целый день насвистывал мелодию песенки, застрявшей в памяти еще с двадцатых годов: «Вечерком под зонтиком», но поскольку он только насвистывал мелодию, так сказать, без слов, мысленно, ничуть не погрешив против мелодии, он слегка переиначил текст на свой лад: «Утречком под зонтиком», при этом блаженно улыбаясь, а иногда и посмеиваясь: ну и чудачка же эта Кэте Тольм, ну и наивная душа, неужели она и вправду могла подумать, будто он ничего не знал о подготовке достославной анти-автомобильной-акции! Как будто интерес любой группы лиц к такому количеству контейнеровозов мог остаться вне их поля зрения! Да они бы мигом порушили все эти шалости, и сидеть бы тогда парнишке за решеткой! Ну и хорошо, что она это пресекла: он тоже не хочет скандалов, вот только почему-то она не шепнула на ушко своему благоверному, что в свое время финансировала изрядную партию молотовских коктейлей, которые потом градом сыпались на крыши машин, а иногда залетали и в салоны. Конечно, деньги не бог весть какие, но все-таки — нет, за ней надо присматривать, больно щедрая у нее рука,— впрочем, не только на противозаконные цели, это надо признать. Она многих поддерживает — стариков Цельгеров, к примеру, да и старику Беверло пыталась подбросить деньжат, правда без успеха. Но неужто это ее сыночек Рольф дал ей совет насчет зонтика? Быть не может, уж он-то должен разбираться; наверно, он советовал ей как раз наоборот, мол, никогда не секретничай под зонтиком, а старушка перепутала, ну конечно, так оно и было! Совсем нелишне знать и о том, что старик начал пошаливать, поздновато, конечно, но тут не до шуток, с него станется, он на похоронах такого может нагородить, а если бы он еще видел письмо! Кстати, письмо, наверно, придется ему отдать — как-никак последняя весточка от лучшего друга, но это еще денек-другой потерпит. Да, «утречком под зонтиком» старик со старухой — ну точно влюбленная парочка! — много всего друг другу нашептали. Дольмер после телефонного разговора Цуммерлинга с Тольмом — наверно, все из-за того же письма Кортшеде — объявил «всеобщую мобилизацию»; и то правда — старик взбунтовался, возвращение мальчишки, видимо, означает, что «те» тоже изготовились к походу, ну, а раз так, совсем не исключено, что его разлюбезной мамаше в дорогу потребуются новые туфли. Ведь они— это уж почти наверняка — долго, может годами, обретались в таких краях, где совсем не просто раздобыть фирменную обувь, тем более определенной марки.

Было уже без чего-то двенадцать, когда он, наконец, разыскал своего человека в Стамбуле — он там как рыба в воде, город вдоль и поперек знает, уж сколько лет мыкается с хипарями да гашишниками, к тому же у него там целая команда отлично сработавшихся людей, включая и женщин, которые иногда, надо полагать, покупают себе дорогие туфли и знают, где таковые — в том числе и определенной марки — имеются в продаже. Уж они-то излазили все ходы-выходы, все углы и закоулки, от самых шикарных и дорогих отелей до трущобных лачуг, необходимый фотоматериал и документация у них тоже есть, так, на всякий случай, хотя Турция по этому

делу прежде не слишком-то принималась в расчет. Объяснить человеку в Стамбуле все нюансы проблемы «знает толк в женских ножках» оказалось непросто: тот счел, что все это «малость жидковато», и к идее постоянного наблюдения за пятью магазинами поначалу отнесся как-то кисло, без должного энтузиазма; пожалуй, только перспектива поймать крупную, быть может самую крупную, рыбу отчасти, да и то под конец, его убедила, но все равно пришлось не только пригрозить ему Дольмером, но и непосредственно подключить Дольмера, дабы расшевелить его неповоротливое стамбульское воображение. Дольмер, так и быть, снизошел — и тоже лишь после неоднократных и энергичных упоминаний о «большой рыбе» — до телефонного разговора с Турцией, сообщив инициативам стамбульского агента достаточный заряд расторопности, а заодно и распорядившись обеспечить поддержку местной полиции. В конце концов, не бог весть какая трудоемкая задача — прощупать пять обувных магазинов в Стамбуле, ну и, может быть, еще парочку в Анкаре или Искендеруне, где, судя по всему, тоже успели оценить достоинства европейской обуви данного фасона. А что до трудоемкости — да это ж курам на смех! С кучей людей они угробили несколько месяцев — а результат? Какой-то жалкий Шублер, любовник этой Бройер, со своим пугачом образца 1912 года. Здесь же, конечно, нужно подкрепление: обувные магазины не связаны обязательством содействия полиции, да и «те» небось уже не в Стамбуле, куда теперь из-за мальчишки потянулся след.

Турок-инженер опознал Веронику Тольм без особой уверенности, утверждение мальчишки («Это моя мама») еще ни о чем не говорит, могли подучить, как и слезам «понарошке», так что, вполне возможно, все это блеф, и они просто-напросто переправили его через ливанскую границу с какой-нибудь сообщницей. Взять бы мальчишку как следует в оборот, но нет, рискованно, он, как видно, и в самом деле крепкий орешек.

Тесновато станет в Хубрайхене, мальчишку там вряд ли удастся спрятать, да и происхождение не скроешь: просто поразительное сходство с отцом, а люди в деревне тоже не слепые, приметят, задумаются, начнут вопросы задавать, ну а уж газетчики не заставят себя долго ждать и налетят со всех сторон как воронье. Вывод: с идиллией в Хубрайхене надо кончать, пора распустить этот сельский рай, тем более что еще и Фишер, убоявшись «нездоровых влияний», с минуты на минуту может напакостить. Качает, видите ли, свои «родительские права».

Только пригрозив нашествием людей Цуммерлинга, он подвигнул Дольмера на энергичные шаги в «обувном деле» и даже на запрос о сотрудничестве с турецкой полицией. Нет, это не пустая трата времени и сил, да и не бог весть какой труд: обойти в общей сложности четырнадцать магазинов в трех городах, расспросить о покупательницах обуви тридцать восьмого размера, показать фотокарточку и установить наблюдение. В конце концов, турецкая полиция всегда охотно с ними сотрудничает, на отношениях ФРГ с Турцией столь скромная услуга никак не отразится, тем более что и лавры успеха будут поделены честно.

На богоматерном фронте, как он про себя окрестил поход к мадоннам, было спокойно, все шло чинно, гладко, из зала в зал. Эва Кленш, похоже, слегка нежилась в лучах всеобщего внимания, пока ее нареченный читал в кофейне газету, а наивная зонтопоклонница, милая старушка Кэте, выслушивала пояснения своего Фрица, который по такому случаю, судя по всему, впал в раж,— впрочем, вероятно, не без влияния все той же Кленш, не спускавшей со старичка зачарованных глаз и даже не выпускавшей его руки,— трогательная картина, которая, в свою очередь,— продолжал распинаться Гробмёлер, чья бригада специализируется у них по музеям, галереям,

концертам, вернисажам и т. п.— слегка забавляла его супругу, милейшую госпожу Тольм. Вероятно, многочисленные посетители, окружившие чету Тольмов и почтительно следовавшие за ней по пятам, наподобие свиты, или, по выражению Гробмёлера, «гроздью», принимали смазливую Кленш за их дочку или невестку. Впрочем, Вишенка — конспиративная кличка Кленш — держалась настоящей пай-девочкой. Словом, на богоматерном фронте без перемен, а кабинет в кафе Гецлозера — это уж дело техники, тут хватит как обычно, четырех человек: двое при кухне, один на входе и еще один во дворике.

И в Хубрайхене не то чтобы совсем спокойно, но ничего тревожного: там молодой отец Тольм, по имени Рольф, поговорив по телефону со своим хладнокровным сыночком, побросал малярные кисти, срочно отпросился с работы и уже успел незаметно забрать сына из Тольмсховена; как ни странно, при встрече оба расплакались, впрочем, плакала и Катарина Шрётер, и Сабина Фишер, которая — без малейшего успеха — пыталась расспросить мальчишку о Веронке.

— Но ты же должен знать, где твоя мама, что с ней, как хоть она выглядит?! И потом — как она обходится без своих туфель? Все время по песку да по камням — там же все мгновенно снашивается!

Ребенок — хотя и более сердечно, чем недавно с полицейскими,— отвечал ей с прежней непроницаемостью:

— У нее все хорошо, а туфли у нее пока есть. Босиком я ее, во всяком случае, не видел. Бев к ней очень добр.

— Кто?

— Бев.— О «Беве» никто ничего не спросил, видимо, все оцепенели от страха. По своей же воле, без понукания, мальчишка, судя по всему, ничего говорить не хотел. Даже за едой — суп, гуляш, салат, хлеб — на расспросы о том, как его кормили и где вкусней, он ответил только, что сыт был всегда, а когда спросили, всегда ли было вкусно, честно сказал, нет, не всегда, но и здесь, мол, ему раньше тоже не все нравилось; на вопросы, с кем и во что играл, отвечал спокойно и уклончиво, как, впрочем, и на все остальные, пока отец— не то чтобы разъярившись, но весьма решительно — не потребовал «оставить его в покое: сразу столько событий — это вам не шутки». За столом обсуждались и планировались также предстоящие встречи с бабушками-дедушками, с Цельгерами и Тольмами. В это он, Хольцпуке, встревать не намерен, в конце концов, это их личное дело. Уложить мальчика сперва было решено на кухне, посчитав, что епископские покои ему не подойдут, однако, осмотрев последние, этот юный принц милостиво согласился там обосноваться на первых порах, «пока все не образуется», как заявил его отец. который около 15.30 как ни в чем не бывало снова отправился на работу к Хальстерам. Оставалось ждать и надеяться: может, теперь, в присутствии женщин и детей, мальчишка разговорится. Вплоть до 17.30 ничего похожего не зарегистрировано, даже «Бев» больше не упоминался; потом последовали телефонные переговоры с Хетцигратом и Тольмсховеном, взрыв ликования у всех четверых стариков, несколько омраченный, правда, скудостью новостей о Веронике. Да, конечно, утки в замковом пруду, и ежевичное варенье в Хетциграте, и сова, как же, конечно, он помнит и очень рад,— а у них, да-да, разумеется, все хорошо; настоятельные просьбы обеих женщин не приезжать, нет-нет, не сегодня, для мальчика и так слишком много всего сразу, а старику Беверло они, разумеется, позвонить не могли. у того нет, да и отродясь не было телефона. И тишина. По-видимому, вязанье, игры на полу, треск каштанов на огне, потом пение, вернее, тихий напев, слов не разобрать, но на слух что-то религиозное.

Обед у Гецлозера протекал без особых происшествий. Разговор о христианстве в его католической разновидности, Кленш и молодой

Герберт Тольм попеременно задавали тон беседе, причем единство было достигнуто лишь в вопросе об уникальности Иисуса, все остальное Вишенка ревностно отстаивала, а Герберт подвергал сомнению: причастие и богослужение, обет безбрачия и священнослужители как таковые, но ничего, что представляло бы хоть малейший интерес для расследования, даже ни намека на бесславно лопнувшую анти-автомобильную-акцию; вообще-то прелюбопытная компания: любезная, к тому же новообращенная Вишенка, ее суженый, тихоня, о котором, впрочем, известно, что он обожает народную музыку, танцы, даже сам поет под гитару — народные песни, не какую-нибудь там поп-дрянь,— и этот Герберт, в сущности милый парень, малость с заумью, конечно, в Христа он, видите ли, верит, а вот в новомодное «пробуждение Христа» — нет, его спор с Кленш даже любопытно было послушать, но для расследования — ничего, абсолютно ничего интересного.

Экспертиза почтовой бумаги ничего нового не дала: разумеется, отпечатки пальцев Беверло — это, конечно, наглость, но не сюрприз, тем более что почерк его они и так знают, что же до самой бумаги, то тут ни малейшей зацепки: ширпотреб, лежит навалом во всех отелях и в писчебумажных магазинах, в Турции, на Ближнем, Среднем и даже Дальнем Востоке...

В Хорнаукен, для непосредственной, ближайшей охраны, так сказать, вокруг могилы, он, будь его воля, конечно, послал бы Гробмёлера с его «бригадой по культуре»: люди все интеллигентные, приученные к хорошим манерам, ни на одном из вернисажей не испортили погоды, никому не бросились в глаза, и, в конце концов, похороны тоже можно считать событием культурной жизни. Местность там трудная: вокруг лесопарк, тропинки, осушительные каналы, велосипедные дорожки, палаточный городок, детские площадки, поляны для пикников — словом, излюбленная зона отдыха их ближайших голландских соседей. Еще два-три дня — а «колеса», быть может, уже катятся. По счастью, есть там небольшая укромная гостиница «Чтобы мама не узнала» — охотничий ресторанчик, уютные комнаты, и если удастся выкроить часа три, а лучше бы полдня, вполне можно все продумать, разметить по карте дислокацию постов и пунктов наблюдения, сверить с местностью и самому за всем проследить. Весь «цвет» там будет, ни один не упустит такого случая, хорошо еще, Кортшеде протестант, обойдется без католических вельмож. Хотя наперед никогда нельзя знать: вдруг кардиналам по протоколу тоже «положено»? А уж эти-то свое урвут — явятся, презрев любой риск, не щадя живота: иной раз кажется, что у них прямо похотливый зуд, так манит их атмосфера публичных торжеств и щекотка опасности. Жаль, конечно, что он отпустил Цурмака, Люлера и Тёргаша. Ни за что не отправил бы их на сборы, если б знал, сколько тут всего навалится. Но отзывать их сейчас обратно — нет, не годится. Они, наверно, уже пакуют чемоданы, и потом, в конце концов, Хорнаукен вообще не в их земельном подчинении.

В Хубрайхене, судя по сводкам, Бройер со своим любовником все еще ходит по домам, ищет жилье и работу; в остальном там тоже все спокойно. Правда, судя по тем же сводкам, вернулся блудный священник, хочет говорить с приходским советом и вообще со всей паствой. Что ж, это даже к лучшему, хотя бы на время отвлечет внимание от хладнокровного барчука, который, судя по сводкам, пока что не нарушает запрет выходить за ограду,— впрочем, ему, наверно, к подобным запретам не привыкать.

Когда он позвонил Дольмеру, чтобы сообщить о своем отъезде в Хорнаукен, в голосе начальника ему послышались вальяжно-покровительственные нотки, которые его сразу бы должны были насторожить. Дольмер был сама любезность, с милым смешком заметил:

— Операция «Турецкий мед» продолжается! — с удовлетворением выслушал его отчет о спокойном развитии событий на богоматерном фронте, еще раз энергично отсоветовал брать мальчишку в оборот, а в ответ на опасения по поводу ожидаемого нашествия в Хубрайхене хмыкнул и пошутил: — В конце концов, придется подыскать для всей этой честной компании какой-нибудь монастырь. Тогда даже Фишер не посмеет заикнуться про «нездоровое окружение». Ну что ж, счастливого пути и постарайтесь, если получится, хоть немного отдохнуть.

В Блорре тоже без перемен. Там тишина. Мертвая тишина.

XV

В этот день, глядя на мальчика, она с каждой минутой пугалась все больше: какой-то препарированный, неживой, будто заводная игрушка или робот, и так все время — за столом, на прогулке в парке, на балконе и даже когда бегал по коридорам и во дворе. «Замороженный внук» — так она его назвала. Ни о чем не рассказывал, ничего от него не добиться. Где он жил эти два с половиной года, как? Ничего. Еще больше похорошел, но эти глаза, серо-голубые, напоминали ей поверхность застывшей лавы — ледышки. («Глаза у него твои»,— утверждал Тольм.) Утки исторгли из его груди странный смешок, почему-то они показались ему «фаршированными». Но когда она спросила, ел ли он там фаршированных уток, он только засмеялся и стал рассказывать про варенье бабушки Паулы, а еще про вертолет: перечислил все притоки Рейна, все памятники, церкви, соборы, мосты — не память, а какая-то застывшая географическая карта. И забавлялся тем, что с разбегу бодал дедушку головой в живот, снова и снова, беспрерывно. Нет, не в сердце, пока что нет, но все равно как баран, самый настоящий баран. А тут еще проклятый телефон, на котором она провисела, можно сказать, полдня: Дольмер явно от нее прятался, Стабски заявил, что он не в курсе, заместитель Дольмера — что некомпетентен, Хольцпуке якобы уехал организовывать кордон безопасности на похоронах Кортшеде, а эти двое, Кульгреве и Ампланжер, в один голос, будто сговорившись, беспрерывно твердили свое «к сожалению» — никому не дозвониться. Тольм сперва нервничал, потом разозлился и в конце концов накричал на Ампланжера: «Где мое письмо? Отдайте мне письмо!» В такой ярости она его еще не видывала за все тридцать пять лет: разгневанный, прямо-таки яростный Тольм — это что-то новенькое. Он отменил ежедневную ванну, отказался вызвать Гребницера, курил, жестом велел Блуртмелю заняться мальчиком: не иначе как тоже стал побаиваться своего родного внука, по которому так тосковал. А этот совершенно чужой ребенок невозмутимо таскал с кухни эклеры, решительно не хотел пить чай, вытребовал лимонад, как заведенный, носился по коридорам и нервировал охранников, целясь в них из воображаемого автомата, стрекот которого воспроизводил с поразительным правдоподобием. Охранников теперь было уже восемь: трое на дверях, двое на лестнице и еще трое во дворе, только одного из них она знала в лицо, он был с ними утром в музее, спокойный, сосредоточенный мужчина, который при виде хладнокровных проделок Хольгера I с большим трудом сохранял самообладание и выражение застывшей вежливости на лице. Именно он возник как из-под земли, укоризненно покачивая головой, когда Эва Кленш из-

влекла из багажника лук, стрелы и мишень и предложила мальчику пойти с ней в оранжерею поупражняться в стрельбе. Но она состоит в стрелковом клубе, сказала Кленш, и всегда возит с собой лук, она любит потренироваться в дороге, делает это при малейшей возможности, а мальчик все «обычные игры» отверг, зато стрельбу из лука приветствовал с крайним воодушевлением. Подчиненный Хольцпуке потрогал тетиву, убедился в невероятной силе натяжения, тщательно изучил стрелы, особенно металлическую окантовку наконечников, выразил холодное удивление по поводу того, как это Кленш вообще удалось «проскользнуть» через контроль с таким багажом, заявил, что разрешать или не разрешать подобные забавы только в компетенции начальства, отошел в сторону, не забыв прихватить с собой весь пучок стрел, и начал длительные переговоры по рации. С кем же он говорит? Значит, Хольцпуке все-таки где-то поблизости и они что-то замышляют? Тогда что? Лица у всех охранников разом посерьезнели, почти застыли, а Кленш, эта очаровательная и энергичная хохотушка, которая так мило помогала ей печь эклеры и взбивать сливки, стояла с таким растерянным, даже оскорбленным видом, что на нее больно было смотреть.

— Господи,— горячилась она,— пусть это и стрельба, но ведь без малейшего шума.— И с упоением стала рассказывать о почти бесшумном, свистящем полете стрелы, о том, как трепетно она дрожит, вонзаясь в мишень, вообще о необычайной «духовности» стрельбы из лука, лишь с трудом сохранила выдержку, когда охранник объявил ей, что, как ни прискорбно, он вынужден «временно эту вещь конфисковать, мало ли что дети могут натворить, как-никак это все-таки оружие». Эва Кленш не то чтобы язвительно, но весьма надменно настаивала на слове «спортинвентарь». Охранник с таким определением согласился, но со своей стороны уточнил, что иной спортинвентарь может оказаться и оружием, либо использоваться в качестве оружия: копье, молот, хоккейные клюшки и даже мячи в зависимости от их твердости.

— А у нас здесь район повышенного риска — так что сожалею, но... Когда будете уезжать — разумеется...

В голосе Кленш уже почти не было иронии, только звонкая дрожь, когда она спросила, не должна ли сообщить свои анкетные данные, место жительства и род занятий. На что охранник уже почти ласково ответил:

— Нет, не нужно, это и так известно, и мне тоже.

На секунду показалось, что Кленш убьет его на месте, но она разревелась, бросившись Кэте на шею и шепча сквозь слезы:

— Ну что за жизнь!.. Ах, вы... Никуда от них не деться...

Блуртмель, не выказавший на протяжении этой сцены никаких личных чувств, и сейчас сохранил полное спокойствие, даже улыбнулся и сказал:

— Тогда, наверно, я лучше отвезу молодого господина обратно в Хубрайхен, тем более что вы — извините за напоминание — ждете гостей.

Да, только сейчас она вспомнила, для кого пекла пирожные: для Блямпа, который в ответ на вопрос, что он любит к чаю, может, эклеры? — сыто пробасил: «Эклеры к чаю? С удовольствием!»

Она удержала Кленш, когда Блуртмель с мальчиком направились к машине:

— Останьтесь, прошу вас. У нас сегодня тяжелый день, а будет еще тяжелее.

Тольм застыл у окна, наверно, ждет своих птиц, сову-то уж точно, но она так рано не полетит; ее не обманет ни насупленное небо, ни пригорюнившийся парк — сова вылетает в сумерки, а до сумерек

еще час, если не два. Разве что ворона какая пролетит, для ласточек уже не время. Он не обернулся, у него была какая-то сухая, почти сердитая спина, когда он, едва повернув голову, сказал:

— Я ему дозвонился. Дольмеру. Я не получу письмо. Никто не получит. Это, видите ли, динамит.

— Тогда, значит, никаких похорон, никакой речи?

— Никакой речи, нет, но похороны — не в Хорнаукене, нет, другие, в Хетциграте... да, Кэте.— Тут он наконец обернулся, обнял ее, припал к плечу, слабо улыбнулся Кленш и сказал: — Они его подловили. Он покупал туфли в Стамбуле. Убит. Сказали, что застрелился. Вероника — нет, она исчезла, скрылась, ее там не было.

— Туфли,— выдохнула она,— тогда... под зонтиком... Тольм, я отрежу себе язык. У меня даже слез нет. Эва, пожалуйста, заварите чаю, самого крепкого и побольше.

— Придется общаться, как тогда, в московской гостинице: писать записки и спускать их в унитаз. Но они, наверно, изобретут специальные отстойники, чтобы вылавливать бумажки, отмывать их от дерьма и склеивать. Подожди, мне нужно тебе кое-что сообщить.— Он отпрянул от нее, подошел к столу, оторвал клочок бумаги от листа, что-то написал и принес ей. Она прочла: «Я люблю тебя, всегда любил, и детей тоже, и даже его, молчи».

Она поцеловала его, порвала записку, пошла в ванную и спустила клочки в унитаз.

— Его тут похоронят?

— Да, я оплатил перевозку, я настоял, чтобы его похоронили здесь; его отца они вынуждены были упрятать. Дольмер назвал свою цену: ни слова о письме. Молчи, Кэте, молчи, давай-ка снова привыкать к запискам. Кстати, дом священника в Хубрайхене как раз освободился и, быть может, навсегда. Места всем хватит — и Герберту, и Блуртмелю. И перестраивать почти ничего не надо, а для охраны и слежки он идеально подходит. А старые деревья...

— Совы на колокольне, сычи на сеновале... Как подумаю — аж трясет.

— А здесь не трясет?

— Да. Но меня и в Хубрайхене теперь будет трясти, всюду. Я... — Она выхватила ручку из его жилетного кармана, подошла к столу, оторвала клочок от того же листа и написала с краешка: «Никогда в жизни не смогу больше купить себе туфли, никогда. К счастью, у Сабины тот же размер, да много туфель мне уже и не понадобится. Кому угодно, только не мне».

Блямп явился минута в минуту, с роскошным букетом: белая сирень, алые розы и легкая пена — или брызги, так ей подумалось,— желтых мимоз. Он внес букет собственноручно, сам освободил его от бумаги, и она даже удивилась, какое серьезное, почти задумчивое у него лицо. Будто подменили — как и Тольма, как и мальчика; день великих перемен, день замороженного внука, расшевелившегося Тольма, задумчивого Блямпа, который даже — что было уже не совсем комильфо — помог ей поставить цветы в большую вазу. Она впервые обратила внимание на его руки и снова удивилась: сильные, ловкие, они совсем не вязались с его и правда грубым лицом, шишковатой картофелиной носа и абсолютно голой лысиной, обтянувшей отнюдь не красивый череп. Он с нескрываемым интересом оглядел Эву Кленш, которая подала чай и свежие эклеры на фарфоровом, с розами, блюде.

— Я правда буду пить чай,— сказал он и, кивнув им, тихо добавил: — Слышал, все слышал и о перемене кладбищ тоже. Сам знаешь, это будет стоить тебе головы.

— Да,— ответил Тольм,— знаю и рад от нее избавиться, от такой головы.

— Стабски просил меня еще раз с тобой поговорить. Но я знаю, это бесполезно — или?

— Бесполезно, Блямп, не трудись.

— Странно, почему-то я был уверен, что ты заупрямишься, хотя из всех, кого знаю, ты самый покладистый человек. Но сегодня, сам не пойму отчего, я уверен, что ты не уступишь. Я рад за тебя — не за нас, нет, не за нас, и, конечно, не из-за того, что все так быстро. Хотя, конечно, президент на один день — что уж тут хорошего, но дело даже не в этом: ты нам очень подходил, и у меня никогда, никогда в мыслях не было тебя уничтожать. Я только всегда хотел пробудить в тебе стойкость, ну, воспитать, что ли...

— Как видишь, тебе это удалось... Не слишком-то на эклеры налегай, куда тебе толстеть. Может, все-таки виски?

— Нет, потом, я хочу поговорить с вами на трезвую голову. — Он с неприкрытым вожделением проводил глазами Эву Кленш, которая подала молоко, лимон, сахар и снова вышла. — Кто эта женщина?

— Забудь, она уже занята. Подруга Блуртмеля.

— Я бы с ходу на ней женился.

— Ты... — Кэте покраснела и принялась разливать чай.

— Слишком часто женился с ходу? Ты это хотела сказать?

— Примерно. Не совсем, но... И прошу тебя, Блямп, ее не трогай, пожалуйста.

— Я никогда в жизни не уводил чужих жен и чужих женщин, никогда, ясно вам? У меня уводили — этот левак, эстет несчастный, «Боттичелли! Боттичелли!» — вот он, да.

— Ты все еще тоскуешь по Маргарет?

— Я? Ни капельки. Уже нет. Можете смеяться, но я всегда уважал чужие чувства, так что не бойтесь: пусть ваш массажист держит сей редкостный цветок при себе. — Было странно, почти жутко видеть его слезы, он разревелся, грубая, столь зверская с виду физиономия вдруг расползлась, под тяжелой верхней губой неожиданно обнаружилась нижняя, тонкая и беззащитная, все лицо дергалось от нахлынувшей обиды и боли. — Кортшеде,— всхлипывал он,— а теперь еще и этот проклятый мальчишка, и если бы вы знали, что у меня в подвале, у меня в подвале такое... — Нет, было не смешно, совсем не смешно видеть, как он, весь в слезах, только кивнул, когда Тольм вопросительно поднес бутылку виски к его стакану. — Вот черт, вы хоть знаете, как этот жуткий мальчишка, этот математический гений себя угрохал, нет? Что, вам такие тайны не рассказывают? Дольмер для этой штуки уже и название придумал: самострельная машина марки «Руки вверх!». Что, не дошло? Он жилетку себе смастерил, которая по команде «Руки вверх!» сразу стреляет. Одна пола вовнутрь, другая, левая — от себя: что-то вроде портативной «катюши», под пиджаком совсем незаметно, как спасательный жилет, но потоньше. Они до сих пор изучают, что там к чему. Турка-полицейского наповал, другого, немца, тяжело ранил, ну, и сам — можете представить, во что он себя превратил. Чистое безумие — хотя на Дольмера он страху нагнал. Попробуй, покричи теперь «Руки вверх!». А тут еще письмо Кортшеде, видно и вправду скверное.

— Ты его читал?

— Нет. Его никто не читал, только Дольмер, Стабски, Хольцпуке и те двое полицейских, которые Кортшеде нашли. Засекречено под самым грозным грифом. Кстати, Цуммерлинг тоже не читал.

— И адресовано мне?

— Ну да, начинается как будто: «Мой дорогой Фриц!». А дальше, конечно, мрачные пророчества — насчет окружающей среды, атомной энергии, прирост, экспансия, банки, промышленность — словом, мрачней некуда. Адресовано тебе, и ты вправе его получить. Сам смотри, как тебе дорваться до своих прав, и имейте в виду: никто,

слышите, никто не должен узнать про похороны в Хетциграте. В Хорнаукене, наверно, придется выступить мне. Ты не возражаешь, если мы объявим, что ты болен — тяжело болен? Других родственников у него, по-моему, нет? На отца-то пришлось буквально надеть смирительную рубашку.

— Есть еще тетя... Надо бы...

— Не надо... — Он говорил совсем тихо, и снова со слезами на глазах. — Забудьте про тетю, не надо никого звать! Даже детям не говорите, пожалуйста, прошу вас, умоляю, не надо шума, не надо столпотворения. Сабина, если только она... — Он сам налил себе чаю и взял еще один эклер.

— Да,— сказал Тольм,— Сабина может и пойти.

— Фишер возвращается, он из-за Кортшеде прервал поездку. Так что в Хорнаукен она вряд ли поедет. А вам он еще устроит, после похорон тем более, и ему есть чем козырять: такой дядя, да еще с такой подружкой, плюс теперь и бабушка с дедушкой туда же! Дать Сабине уйти — какой позор! Господи, вот идиот-то, такую женщину — и оставлять одну! Да я бы с такой женщины глаз не спускал, я и Хильду-то никогда не оставлял одну, если бы не этот подвал, куда я не мог брать ее с собой — я был один в этом подвале, один как перст, и никто ничего не заметил, столько страха, и никто ничего... И вот что странно: сегодня, когда я поговорил с Дольмером, а потом Стабски мне позвонил, когда я узнал, как этот жуткий тип среди картонок с обувью пустил в ход свою мини-катюшу марки «Руки вверх!» — там было полно дамских туфель тридцать восьмого размера, он велел доставить их в отель,— я вдруг понял, что могу наконец выбраться из подвала, и я ревел, все утро ревел, ревел и радовался, что этой девочки — вашей Вероники — там не было... радовался, можно сказать, наперекор убеждениям, и надеюсь, что она отыщется где-нибудь, живая и невредимая, надеюсь наперекор убеждениям, вопреки всем моим принципам. Вам будет очень одиноко после этих похорон, очень — хоть это-то вы понимаете?

— Да,— ответила она. — Собственно, мы всегда были одиноки, просто не знали, не хотели замечать.

Она налила ему еще виски, но он как-то дернул головой, даже весь передернулся, не таясь отер платком слезы, потом взял чашку, поднял ее, поставил, даже не пригубив, оглянулся на дверь, за которой исчезла Эва Кленш. Господи, сколько же в нем горя, и что это за подвал, где он так долго сидел, а теперь будто бы выбрался? И кто его просил с налету жениться на всех подряд, детей ни от одной, только от Хильды, от первой, которая все-таки самая милая из всех, даже милее третьей, чей крестьянский гонор даже она, Кэте, переносила с трудом; под конец эта сельская красавица презирала все и вся, кроме себя, конечно, да и продалась совсем недешево.

Тольм по-прежнему держался недоверчиво, почти холодно, слезы Блямпа были ему явно противны; вид у него был, как никогда, решительный.

— Ладно,— сказал он спокойно,— можете объявить меня больным, формулировку придумаете сами. И мы забудем про тетю. Только мы двое — и могильщики.

— Без священника?

— Без. Он был бы против, и я считаю, это надо уважить. А кроме того, тамошний священник на могиле Беверло,— он рассмеялся,— да он, чего доброго, помрет со страху. Нет уж, не надо, Кэте справит молитву, тут, думаю, он не стал бы возражать. Может, Вероника объявится или позвонит. Я уверен: Кортшеде понял бы меня.

Тридцать три года, думала она, и не сказали друг другу ни единого путного слова, ни единого, все только банальности, анекдоты, шутливое соперничество из-за нее да еще — как там это у них называется? — «баланс взаимных интересов». Доллар, видите ли, упал в

цене, а золото поднялось, потому что где-то путч, кто-то кого-то сбросил, даже неясно, кто и кого, она редко заглядывает в «Листок», и то лишь в экономический раздел, да и какая разница, если потом доллар поднимется, а золото упадет, потому что будет новый путч и опять кто-то кого-то сбросит, не важно кто, не важно кого.

— Можешь поужинать с нами,— сказала она,— можешь, разумеется, и заночевать, если хочешь: комната твоя свободна, Кульгреве уже навел порядок.

— Нет-нет,— ответил Блямп,— спасибо, но нет. Вы даже представить не можете, что вы натворили с этими похоронами, какой переполох подняли, по меньшей мере сотню полицейских вы лишаете отпуска или выходных, Дольмера и Стабски лишаете сна, а Хольцпуке вас просто проклянет, у него и в Хорнаукене дел по горло. Это безрассудство, Тольм, то, что ты затеял, чистейшее безрассудство,— может, я тебя еще отговорю, а? Или тебя, Кэте, а ты его?

— Нет. Ты для этого приехал, или потому... потому, что выбрался из своего подвала?

— Я приехал повидать вас, поговорить с вами, мы условились еще до того, ты же знаешь, но потом Стабски и Дольмер настоятельно меня просили воспользоваться случаем... Ты даже вообразить себе не можешь... это безрассудство, Тольм. Даже если администрация кладбища не проболтается и могильщики тоже — из ста полицейских хотя бы один проболтается наверняка.

— Ты, видимо, не вполне меня понял. В данном случае меня совершенно не волнует ни сохранение тайны, ни ее огласка. Я просто иду на похороны. Я всего лишь хочу предать мальчика земле, из которой он вышел и из которой я вышел тоже, вот и все. Никаких демонстративных намерений — ни таких, ни сяких; кроме того, я знаю, что Кортшеде написал мне письмо в расчете, что я его получу, прочту и, возможно, сделаю выводы из прочитанного. Так что теперь я могу почтить его память и посмертную волю, только не поехав в Хорнаукен. А Генриха мы как-никак знали еще мальчиком, ребенком, нет, меня ты не переубедишь — может, тебя, Кэте?

— Нет, я бы, если позволите, даже сказала: меня и подавно. Я все равно бы пошла на эти похороны, даже без тебя. Лучше, конечно, с тобой.

— Учтите, это будет превратно истолковано, в корне превратно, вольно или невольно, все равно. Через три дня после выборов! А если, допустим, ты получишь письмо, тогда передумаешь?

— Может, оно у тебя в кармане?

— Да не злись ты так! Нет, у меня его нет, и я его не читал. Просто я прикидываю варианты. Ты в Хорнаукен, Кэте в Хетциграт — что ж, ради бога, по мне, так пусть. Думаете, я, что ли, люблю эти пышные похороны?

— Поздно, Блямп, слишком поздно. Письмо так и так мое, но даже если бы мне его отдали, нет, я решился...

— Все-таки в Хорнаукене тебе надо быть по долгу службы...

— Которым я пренебрегу, что, как ты сказал, будет стоить мне головы. Брось, Блямп, хватит, пошли, поужинай, выпей с нами, отметим подвал, из которого мы оба выбрались, ты и я. Я знаю, меня объявят маразматиком. Да перестань, я не собираюсь чинить вам никаких затруднений с моей отставкой, дайте, наконец, Ампланге ру дорваться. Я рад, что ты пришел, останься еще немного, может картишки организуем? Я бы совсем не прочь.

— Нет, спасибо, мне пора. Надо еще с Хильдой поговорить,— кстати, у меня просьба. Ты не могла бы замолвить за меня словечко, Кэте?

— Могла бы, но не стану. Тебе это не поможет, а Хильду только обидит. Пора тебе понять: никто, кроме нее самой, это не решит. И

кроме тебя. Потом, если придете к согласию, пожалуйста, а сейчас нет. Не забудешь к нам дорожку? Я имею в виду: после похорон.

— И ты еще спрашиваешь? Нет, ты правда сомневаешься?

— Уже нет. Теперь нет. Только не пытайся снова нас отговаривать.

— А я как раз хотел.

Она поцеловала его на прощанье, и они оба проводили его по лестнице до двора, где он сел в машину. Напоследок еще раз махнул рукой. Она подивилась, как бодро, почти не касаясь перил, Тольм одолевает лестницу.

— А теперь звони своему епископу,— сказала она и в ответ на его озадаченный взгляд добавила: — Насчет дома в Хубрайхене. Здесь нам оставаться нельзя.

XVI

Через час после сообщения о гибели Беверло, которое они выслушали по радио, разразилось нашествие: были усилены караулы, нагрянули журналисты. Часовые оцепили стену со всех сторон, с каждой стороны по трое, и он тотчас же позвал детей из сада, где они собирали орехи и яблоки, обратно в дом. Ясное дело, они охотятся за мальчиком, а может, думают, что Вероника объявится, и ждут, ждут — чего? Незадолго до этого пришла Эрна Бройер со своим любовником. Он сразу узнал ее по внешнему сходству с матерью и братом — несчастная, растерянная женщина, которая жаловалась на этот проклятый шум, шум, шум в городе и закрылась вместе со своим другом и Сабиной в спальне, откуда теперь доносились шепот и причитания. Он посоветовал ей пока что не выходить, переждать — на крайний случай в доме священника: ее вместе с другом мигом «отщелкают», вспомнят о ее деле, и она, хоть и совершенно ни при чем, угодит в такой переплет, из которого в жизни не выберется. После долгих и безуспешных попыток удалось наконец дозвониться до Ройклера, который разрешил в случае чего разместить нескольких гостей у себя в доме.

— Лучше я сам приеду и приму ваших гостей. Ну конечно, я знаю Эрну Гермес, разумеется, она может жить у меня, и друг ее тоже. Я скоро приеду, не волнуйтесь. Вам всем лучше из дома не выходить. Нет, Анну я не беру.

Катарина предложила позвонить Гермесам и попросить, чтобы прислали молоко с кем-нибудь из внуков. Он на это не согласился. Нет, он пойдет сам, даже если его зафотографируют до смерти. Пойдет хотя бы ради того, чтобы разведать настроения в деревне, а может, и ради того, чтобы высунуть им язык или, вскинув кулак, крикнуть: «Социализм победит!» С четырехлитровой молочной посудиной в руке.

Мальчик сообщение о гибели Беверло сперва не понял, потом задал очень странный вопрос:

— Сам? — И когда он кивнул, разрыдался, спросил про маму и, вцепившись в него, сквозь слезы прокричал: — Рольф! Рольф! Ты же мой папа!

— Да, я твой папа, и я останусь с тобой, и никуда не уйду. Вероника жива. Ты с ней скоро сможешь поговорить... Бев, он хотел, чтобы все так вышло. Поверь мне, он сам так хотел. А сейчас можешь пойти с господином Шублером наколоть дров, печку всю ночь придется топить.

Звонки, звонки. Отец, мать, Герберт, он всех успокаивал и умолял не приезжать.

— Нет, прошу тебя, Герберт, пожалуйста. Ты только угодишь под обстрел фотовспышек.

«Не волнуйтесь». Легко сказать, когда в довершение всего позвонил еще и Фишер, на которого напоролась Катарина. Он слышал, как она тихо сказала:

— Да, Эрвин, она у нас, сейчас я тебе ее дам,— и по ее лицу сразу понял, что Фишер сморозил какую-то глупость. — Ну, конечно, *господин* Фишер, если вы сами не тыкаете коммунистам и тем более не позволите, чтобы коммунисты тыкали вам, в таком случае, *господин* Фишер, я вам сейчас ее дам.— Но Сабина протестующе подняла руку, затрясла головой, и Катарина сказала: — Но ваша госпожа супруга не желает говорить с вами. Да, я ей передам: вы озабочены, родительские права.

В конце концов он распорядился печь пончики, ставить кофе, строго-настрого приказал никому не выходить из дома, схватил бидон, не показал язык, не вскинул кулак, только выбросил навстречу орудийным разрывам фотовспышек красную эмалированную посудину и двинулся в путь, к Гермесам. Было темно, холодно и сыро, сеялся мелкий дождь, он забыл куртку и торопился. Но все равно опоздал, пришлось идти к Гермесам на кухню, чтобы кого-нибудь вызвать, он остановился в дверях, смущенно усмехнулся, покачал бидоном. Ему было неловко нарушать их трапезу — так дружно-весело расположились они за столом перед тарелками и кастрюлями, и он не понял толком, что — недоверие, любопытство или изумление — отразилось на их лицах. И испытал облегчение, когда молодой Гермес поднялся, кивнул и направился вместе с ним в молочную кухню.

— Надо бы вам сперва обогреться,— сказал он, когда они шли по двору.

— Да нет, я спешу. Они там все напуганы. Ждут.

— Скажите моей сестре, если хочет к нам — всегда пожалуйста, будем рады. У вас-то, наверно, тесновато.

— Я не хочу, чтобы ее сфотографировали и впутали в эту историю. От таких снимков потом век не отмоешься. Пусть переждет, пока вся свора не уберется — завтра, послезавтра. Священник обещал нам помочь.

— Он что, вернется?

— Да, хочет с вами со всеми поговорить — ради вас и приезжает.

— А тот — ну, этот, он был ваш друг?

— Да. Семь лет назад. В одном классе учились, потом в армии вместе, в артиллерии, потом в университете. Да, я его хорошо знал.

— А его жена?

— Была моей женой, раньше. Мы разошлись.

Он был рад, что Гермес вот так, в лоб, его расспрашивает, и не стал спорить, когда тот отмахнулся от денег за молоко и сказал:

— Сегодня нет. Скажите сестре, это для нее... и для ее дружка. Все обойдется, день-другой — и они отстанут. Вы-то знаете, что это за народ.

— Да, пришлось познакомиться, даже два раза. Я только за вашу сестру боюсь, за господина Шублера и за сына. Они там все время на изготовку, того и гляди калитку разломают или стену снесут — и все из-за мальчика. Спасибо вам, и от вашей сестры тоже. Ее, бедную, совсем допек шум, только и твердит: шум, шум, шум.

— Если совсем припрет, я скажу мальцам, чтоб носили вам молоко.

На сей раз, ныряя под фотообстрел, он даже не стал закрываться бидоном. На секунду остановился, так его ослепило — перед глазами только силуэты, вспышки,— потом, почти наугад, рывком, распахнул калитку.

Шублер и Хольгер I в углу у печки укладывали дрова, Эрна Бройер пекла пончики, неужто и правда у нее такое блаженное лицо

или это просто от жары? Сабина и Катарина вязали, Кит и Хольгер II ползали по полу со своими зверями и кубиками, кофе уже стоял на столе, а он, усаживаясь между двумя женщинами, подумал о деньгах. Никого, судя по всему, финансовая сторона не волнует, но ведь прокормить столько ртов будет непросто: сперва пятеро вместо троих, потом шестеро, теперь вот уже все восемь, а ведь он никогда не брал денег у Кэте и отца, сколько ни предлагали. У Сабины, ясное дело, ничего нет, она из тех, кто вообще живет без наличных, а от Фишера, это уж как пить дать, она и гроша не получит, разве что ежемесячное пособие на ребенка, если этот болван не выколотит свои родительские права. Пожалуй, Сабина все-таки слишком наивна, слишком не от мира сего. Есть тысяча способов и трюков, чтобы с ней разделаться — и с помощью «общественного мнения», и через суд, а Хольгер I, как ни крути, действительно «выкормыш террористов». Никак он не пробьется к мальчику, они на славу его обработали, да и застращали, наверно, а уж Веронике-то точно пришлось выдержать настоящий бой за его освобождение. Ни звука, ни слова из него не вытянешь, мальчик держится с безупречной, но холодной вежливостью, говорит «спасибо» и «пожалуйста», с гордостью продемонстрировал, что уже умеет писать по-немецки, и только однажды, в ответ на какой-то случайный вопрос о Беве, сказал: «Он всегда был такой добрый, и...» — и тут же прикусил язык. Может, теперь, когда все накрылось из-за этих проклятых туфель, перестанет отмалчиваться. Странно, что Хольцпуке не появляется и не звонит. В конце концов, сейчас ведь под угрозой безопасность ребенка, а он один просто не в состоянии ее гарантировать. В окружении Бева и Вероники наверняка найдется группа психов, которые с самого начала не соглашались возвращать мальчика. И «колеса» наверняка уже крутятся, а Хольцпуке, вероятно, тешит себя иллюзией, что операция «колеса» не состоится. Хотя хорнаукенское кладбище расположено в самом центре зоны отдыха, где велосипедисты кишмя кишат, и голландская граница рядом. Они прикатят и в холод, и в ноябрьский дождь, там и финские домики, и крытые палаточные городки, и спортплощадки, и костровые поляны, а велосипедные прогулки под дождем сейчас стали чем-то вроде модного спорта — он же сам видел целые орды велосипедистов на похоронах Верены Кортшеде; он с ней в Берлине познакомился, вместе с Вероникой они иногда забегали к ней на чашку чаю. Хорошая девчонка, но втрескалась в модного левака и наложила на себя руки, когда выяснилось, что тот нацелился только на ее деньги. Мерзкий тип, прихлебатель вонючий, бросил эту тихую, грустную белокурую девчонку в Индии, оставил на бобах, когда понял, что совсем не так уж много у нее монет; а она губной помадой на гостиничном зеркале написала: «Социализм все равно победит!» — и приняла яд.

Сабина сдержалась, не заплакала, когда услышала о смерти Бева, только притянула к себе Хольгера I и прошептала:

— Вероника жива. Жива и вернется.

Шублер с Хольгером, как видно, отлично поладили, принесли еще дров, женщины совершенно спокойно сидели с ним рядом, дети возились на полу. Эрна крикнула от плиты:

— Дюжина готова, можем начинать! Каждому по полтора. С сиропом!

Снова стало уютно. Он помог Эрне разрезать пончики и разложить по тарелкам, передал ей привет от брата, рассказал о подаренном молоке и о «всегда пожалуйста».

— И Петер? — спросила она.

— Молоко предназначалось и ему.

— А «всегда пожалуйста»? Нет, правда?! Кстати, он вас знает, по Берлину, он тогда тоже швырялся камнями и помидорами.

— Да, я читал в газете. Именно поэтому ни ему, ни вам нельзя

подходить даже к двери, пока эти щелкунчики не убрались. Там ведь не одни журналисты.

— Что же нам делать?

— Лучше провести ночь здесь на стуле, чем завтра утром красоваться в газете. Пойдемте на кровать сядем. Тарелок хватает, а вот со стульями проблема.

Сабина уступила Шублеру свое место на кухне, а сама подсела к Эрне Бройер и тихо спросила:

— Так это правда? Вы уверены?

— Да, я специально так долго ждала, чтобы уж наверняка, и только вчера пошла к врачу. Все совершенно точно — четвертый месяц. Получается, Бройер и тут меня надул: это не я, это из-за него. Интересно знать, откуда брались дети у его первой жены. Наверно, он ей тоже много чего позволял, «терпел», видите ли. Выходит, наш брак вроде как недействительный, может теперь и отец с матерью подобреют. Я так хочу здесь остаться, не могу больше в эту квартиру, я там просто не выдержу.

— Найдется, найдется для вас и угол и работа. А я — я, наверно, и в самом деле уеду в Париж. Мне так жаль, так горько, что с вами все так получилось.

— Я сейчас по-другому об этом думаю, наверно все это к лучшему. Неприятно, конечно, было, особенно Петеру. Но зато и для него кое-что прояснилось, и мы оба рады. Чудно, даже вслух сказать боязно, но ведь в конечном счете мы за все должны благодарить этих психов, преступников этих сумасшедших. Как подумаю — просто голова кругом,— а я все равно думаю: да, их, а еще полицию, это ж смех. Скорей бы только кончилась эта осада.

Но тут грянули колокола, выхватилась из темноты ярко освещенная церковь, в доме священника одно за другим позажигались все окна, даже в саду разом стало светло; все, как по команде, отодвинули тарелки, поставили чашки, кинулись в прихожую, Шублер распахнул дверь, дождь стало не только слышно, но и видно — и постового между домом священника и часовней.

— Не выходить и не высовываться! — резко крикнул Рольф, оттаскивая Шублера от двери. — Они же на стену залезли, только и ждут, чтобы кого-нибудь увековечить. Если кому и можно выходить, так это мне — мой портрет у них уже имеется. Это Ройклер вернулся, завтра будет произносить свою — уж не знаю — речь или проповедь. А вы,— он повернулся к Эрне,— выспитесь сегодня на широченной постели. В тишине и полном покое.

Когда Эрна спросила, нет ли какой игры — такой, чтобы всем сыграть,— он предложил «монополию». Она глянула на него с изумлением, смутилась, спросила:

— Как? «Монополия»? У вас?

Катарина, которая уже достала игру с полки и раскладывала на столе, засмеялась:

— Нам-то в первую очередь надо знать «монополию» и играть, играть без пощады, для детей это лучший вводный курс в ужасы капитализма. А то в школе они только ужасы социализма проходят.

Обычно серьезный Шублер улыбнулся, сказал, что пойдет взглянуть, как там дрова, не надо ли еще наколоть, на что Хольгер I огорченно заметил:

— Тогда придется тебе идти без меня, я буду играть, мы часто играли там, в... — Осекся, покраснел и, увидев, что все вопросительно на него смотрят, пояснил: — Ну, там, где я был, мы в это играли...

Сабине во что бы то ни стало приспичило «выйти на воздух», и она, невзирая на его неодобрительный взгляд и покачивание головой,

все равно пошла; он отодвинул занавеску, приоткрыл изнутри ставень, и все увидели, как зарево фотовспышек полыхнуло поверх садовой ограды. Сабина приостановилась, потом двинулась дальше, к часовне, но, немного не доходя, свернула к стене и показала фоторепортерам язык. Хорошо еще, подумал он, не вскинула кулак, это повлекло бы за собой ряд недоразумений,— впрочем, не столь уж крупных. Так или иначе, она все равно попадет на первые полосы, густой сад, ярко освещенная церковь, охранник на посту,— красивый будет кадр. Катарина, уже с игральными костями в руках, сказала:

— Ну, давайте бросим, кому начинать.

XVII

Нет, он не ограничился обычным инструктажем по карте, он сам, лично провел разводящих по маршрутам, с каждым подробно обсудил выбор постов, проверил поле обзора, шагами промерил перекрестки велосипедных дорожек, палаточные городки, костровые площадки. Дождь, конечно, многих велосипедистов удержит дома, многих, но не всех — некоторые, по сведениям, уже в пути. Он приказал проверять всех без исключения. Его предложение перекрыть вплоть до окончания похорон всю зону отдыха, к сожалению, не прошло. Дольмер посмеялся над его «турусами на колесах» и после разговора со Стабски отказал окончательно: будут, мол, неприятности с Голландией, плохая пресса, «чокнутые немцы» и все такое. Он же определил дислокацию двух бронетранспортеров: один в лесу за кладбищенской часовней, другой — там, где сразу несколько велосипедных дорожек выходят на проселок. Гробмёлер прибудет только завтра, в день похорон, ему с его людьми поручается охрана часовни изнутри, путь к могиле и сама могила. Кроме того, кто-то, по выражению Дольмера, «опять затянул экуменическую волынку», так что без католиков не обойтись, вероятно, и епископ пожалует, а уж он-то своего не упустит и наверняка скажет несколько слов — ведь телевидение будет обязательно; и конечно же — он уже несколько раз имел удовольствие такое слушать,— будет говорить «об участии в страданиях», как всегда без понятия. Он-то уж точно знать не знает о Пташечке, видеть не видел изувеченного лица, слыхом не слыхивал про кошмарное письмо, которое уже стало чем-то вроде высшей государственной тайны. Все, кто знает о Пташечке, об изуродованном лице, о существовании письма, но не о его содержании — хотя он уверен, что те двое полицейских проболтались, своим-то сослуживцам уж точно,— все, кто хоть что-то об этом слышал, в очередной раз испытают чувство неловкости. Жертвенная жизнь, жертвенная смерть... Нет, такие вещи никак не укрепляют моральный дух его подчиненных, от этого только ненужные сомнения, стыд и цинизм.

Он чертыхнулся, он чуть не лопнул от злости, когда, и не от кого-нибудь, а — это надо же — от хозяйки гостиницы, узнал, что они и вправду взяли Беверло в Стамбуле и что ему велено срочно звонить Дольмеру, который, разумеется, уже успел провести без него пресс-конференцию; хозяйка слушала пресс-конференцию по радио и запомнила что-то вроде «благодаря сведениям о некоторых традиционных покупках, которыми мы располагаем из собственных информационных источников».

Черт возьми, ведь есть же рация, есть вертолеты, но Дольмер, ясное дело, не пожелал ни с кем делиться таким жирным куском, а ведь смеялся, когда выслушал его гипотезу относительно этих самых «традиционных покупок». И уж вовсе он не выдержал, чертыхался

громко и от души, когда Дольмер рассказал ему о безумной затее старого Тольма: не меньше полусотни полицейских придется согнать в эту вонючую угольную дыру! Ведь там, чего доброго, соберется вся орава, будет столпотворение, а если еще и двое старикашек заявятся, это будет — да, скандал, а милых старичков это просто доконает.

— Этого нельзя допустить, господин Дольмер,— сказал он.— В крайнем случае силой: перекрыть проезд, подстроить легкую аварию, как угодно, но этого нельзя допустить. Если уж вы не в состоянии убедить его разумными доводами...

— Может, прикажете мне его арестовать?! — взвился Дольмер.

— Да нет, я же говорю: перекройте проезд, инсценируйте парочку аварий, несколько обгорелых колымаг поперек проезжей части — и все в ажуре.

— Он пойдет пешком.

— Не успеет — похороны кончатся. Мне и так придется отменить все сборы, отозвать людей из отпусков, но дело даже не в наших служебных затруднениях, нам не впервой, тут надо думать о политических последствиях.

— Ну, все-таки они знали этого Беверло чуть ли не с пеленок, он был им почти как сын, во всяком случае долгие годы. Вы кое о чем забываете, милейший Хольцпуке... вы меня слышите? Вы забываете о письме! Какое из политических зол для нас хуже: если он получит и опубликует письмо или если он, скажем так, в меланхолическом помутнении рассудка отправится не на те похороны? Письмо, если он его напечатает — а он его напечатает,— это крышка всем нам, всем, кто ни на есть, а не те похороны — это крышка только ему. Стабски совершенно со мной согласен, мы уж тут думали-гадали и так и эдак крутили, а письмо, стоит хоть кому-то разнюхать, что оно вообще существует, тут же будет предано огласке. Ну, что скажете?

— И все равно я бы притащил со свалки несколько ржавых колымаг и побросал на всех подъездах к кладбищу. Разумеется, привинтив свежие номера. На всякий случай я все равно прикрываю сборы. А как вам понравились туфельки тридцать восьмого размера?

— Великолепно, почти гениально! Этот факт не пройдет бесследно для вашей карьеры. Но от одной заботы, полагаю, мы теперь избавлены: операция «колеса» не состоится.

— Вот в этом я не совсем уверен. Она-то ведь улизнула, и не забудем: есть еще сообщники, окружение.

Он много раз порывался позвонить в замок, то и дело вздыхал, снимал и снова клал трубку, пока, наконец, собравшись с духом, буквально не заставил себя набрать номер и обмер от ужаса, услышав ее голос, сказавший:

— Да? — Он все еще медлил, и она повторила: — Да? Я слушаю! Кто это?

Он робко назвал себя и торопливо добавил:

— Не пугайтесь. Хотя вы, наверно, догадываетесь, зачем я звоню.

— Да, я догадываюсь. Но на сей раз даже вам со всем вашим шармом не удастся нас отговорить. Нет, дорогой Хольцпуке, нет, мой славный боевой товарищ, меня другое интересует: когда я получу вознаграждение? Вы же знаете, за туфли, благодаря которым в конечном счете... да, странно, я оплакиваю его смерть, но не скорблю с том, что он умер, понимаете? Ну, а уж туфли, вознаграждение — так я могу рассчитывать?

Черт подери, думал он, только не плакать. Он еле сдержал слезы, ведь он все слышал, все, о чем тогда, точно влюбленная парочка, шептались старики: прелюбодеяние и таинство, мадонны и дети, все. Хотя все, буквально все резоны, даже те, которые принято называть человеческими, были на его стороне. Он тоже до конца дней не забудет эти туфли, тридцать восьмой размер, да и потом — он просто полюбил этих стариков, его, пожалуй, даже больше, чем ее, и если от-

бросить политические и служебные соображения, получается, что это правильно, просто замечательно, что они идут на эти похороны. Он уже раскаивался, что подбросил Дольмеру идею насчет аварии. С того станется, он, чего доброго, и вправду воспользуется этим трюком, а потом не постыдится — перед Стабски или еще кем — приписать себе авторство. Хотя ведь и дураку ясно, что все это пустой номер: старик тогда вытребует письмо, а там такое понаписано — атомные станции, круговая порука, взятки, прибыли, прирост, «прогнозы», экспансия,— это если не полный крах, то уж наверняка начало краха. А старик, как ни крути, все еще владелец «Листка». Ну, а «Листок» — это полторы дюжины влиятельных газет, которые — чего не бывает? — вдруг да и тиснут разок что-то крамольное, как знать.

— Вы меня слушаете? Или вам слишком стыдно?

— Мне очень стыдно, дорогая госпожа Тольм, и я не стану, хотя и мог бы, докучать вам дежурными оправданиями: мол, так было надо,— нет, не стану. Мне очень стыдно, а насчет вознаграждения — вознаграждение полагается за добровольное содействие, а не за невольное, увы...

— Так вы завтра у нас будете?

— Нет, я не могу отсюда отлучиться. Но послезавтра мы обязательно увидимся. Я не стану от вас прятаться, и... простите меня.

— Могу я просить вас об одном одолжении?

— Да, разумеется.

— Позвоните в Хубрайхен. Пусть никто не выходит из дома, никто, слышите, и гости тоже. Цуммерлинг готов открыть огонь в любую минуту.

XVIII

В кафе, когда он помогал ей снять пальто, Хельга взяла его за руку и сказала:

— Это хорошо, что мы пока на три недели расстанемся. Эти сборы в Штрюдербекене тебе только на пользу, да и мне тоже. Я уже все уложила.

— Придется, родная моя, все распаковать обратно. Плакали сборы. Ты же слышала новости?

Он заказал кофе и чай, попросил меню, взял у нее из рук зажигалку, дал ей прикурить, выудил сигарету из ее пачки.

— Раз уж ты опять начинаешь курить, плохо твое дело, а новости я, конечно, слышала. Они взяли этого Беверло, он убит, а она сбежала. Вот только что с мальчиком?

— Мальчика они вернули. А она вскоре объявится. Так что не миновать очередной акции, Хельга, ведь это не просто два человека, это целая разветвленная сеть, огромный лабиринт со своими потайными ходами, лазейками и ловушками. Надеюсь, они отменят сборы сразу, уже сегодня, чтобы не поднимать нас, как тогда, среди ночи.— Он умолк, пережидал, пока официантка поставит кофе и чай.— Да, немножко кросса, футбол, стрельба, теория — отдохнуть мне бы, наверно, сейчас не помешало. Но в эту пору в Штрюдербекене не больно-то весело: в лесу холодно, мокро, голо. И вообще, по мне, лучше бы настоящий отпуск: никуда не уезжать, посидеть дома. Отоспаться, поговорить по душам с Бернхардом, в кино прошвырнуться, с Карлом подискутировать... с тобой поговорить. Что ты имела в виду, когда сказала, что мои сборы и тебе на пользу?

— Просто расстаться с тобой по-настоящему, а не как сейчас, когда ты и здесь и не здесь, а где-то далеко-далеко, чуть ли не в Африке. Не говорить — просто так, без конца, ни о чем. Не знаю, зачем тебе это: ведь она в тебе, а ты в ней, я это не о ребенке, которого она ждет, и потом, если бы не мальчик, если бы не Бернхард,

ты бы давно к ней ушел, разве нет? Меня одну быстро сбросили со счетов, очень быстро. Нет, лучше я пока обожду распаковывать твои вещи, может, они тебе пригодятся... когда ты надумаешь к ней уйти.

Она улыбнулась, он придавил в пепельнице недокуренную сигарету. Потом передал ей меню.

— Будешь что-нибудь есть?

— Нет, спасибо, а ты?

— Нет.— Он взял у нее меню и положил возле своего стакана.— Расстаться, говоришь?

— Да. Может, тебе надо какое-то время пожить с ней, чтобы понять, что с ней ты жить не сможешь. Ты ведь мечтаешь только об одном: быть с ней.

— Да,— ответил он,— да,— вспомнил Сабину, ее мокрые волосы, когда она ночью принесла ему поесть и поцеловала его, а потом еще раз и еще, уже после, когда он, перед тем как сменяться, поставил пустую мисочку на ее подоконник.— Да, но — ты можешь смеяться — у меня сердце разрывается, когда я думаю о тебе, когда я думаю о Бернхарде... и еще о том, что придется оставить службу.

— А я и не думаю смеяться, уж немножечко-то я тебя знаю, но в одном я уверена: ты уйдешь с ней, уйдешь за ней.

— Может, ты уверена и в том, что я вернусь?

— Нет, не уверена, хотя, конечно, надеюсь, да. Да, я надеюсь. А тебе, наверно, страшно — вот так, решиться?

— Да, страшно, но я решусь. Меня только заботят... ну, практические вещи: наши долги и еще — как мне быть, если придется бросить службу, уйти из полиции?

— Что ж, в одном можешь быть уверен и не сердись, что я так говорю: тогда тебе, наверно, не придется платить алименты. Странно, у меня на нее совсем нет зла, у нее такой приятный голос, и она так счастлива со своей дочуркой. Пойду работать, поживу сперва у Монки, у нее и работа для меня найдется, и Бернхарду будет хорошо. А ты — нет, из полиции ты не уйдешь. Я к Хольцпуке пойду, к Дольмеру, если надо — к Стабски прорвусь, в конце концов, торчать целыми днями у бассейнов, на приемах, по обувным магазинам таскаться, нет, тут не только твоя вина, если это вообще твоя вина. Нет уж. В конце концов, я вышла замуж за полицейского, и когда он ко мне вернется, если он ко мне вернется,— пусть полицейским и останется. Пусть засунут тебя в какое-нибудь акулье отделение, я имею в виду — где ловят тех финансовых акул, которые и нас облапошили. Только прошу тебя, Хуберт, уходи поскорей.

— Да,— ответил он.— Сегодня же. Отправлюсь прямо туда и увезу ее, ведь пока что я ее телохранитель. Машину оставлю в Хубрайхене, ты потом заберешь.

Он оставил машину у ворот, помог Хельге отнести покупки. Навстречу выбежал Бернхард с запиской в руке:

— Папа, тебе нужно позвонить по этому номеру.

Он потащил сына с собой к телефону и, набирая номер, обнял его за плечи.

Это был домашний телефон Люлера, он вспомнил, хотя почти не общался с ним вне службы, да и не хотел общаться.

— Ты, конечно, уже в курсе? — спросил Люлер.

— Догадываюсь,— ответил он.— Сборов не будет.

— Точно. Кладбище, и не в Хорнаукене, а в Хетциграте. Нам поручено закупорить эту дыру. Совершенно секретные похороны с участием абсолютно засекреченных лиц включая покойника. Ради такого случая даже в форме. Сбор в 7.30 возле выезда на Тольмсховен. Хольцпуке шлет привет. Командовать парадом будет Дольмер собственной персоной, незримо, разумеется, наверно с ратуши, а то и с вертолета. Весьма важный покойник, и отважный, я тебе скажу,—

не в гробу, разумеется, а при жизни. Так что до завтра. А сборы не отменены — откладываются.

— Меня не будет... я буду уже далеко... я...

— То есть как? Заболел, что ли?

— Нет. Я уезжаю.

— С Хельгой и парнем?

— Нет.

— Один?

— Нет. Скажи Хольцпуке, пусть ищет мне замену.

Хельга уже вынесла к машине чемодан и сумки, открыла багажник.

— Форма тоже там,— сказала она.— Я не стала вытаскивать,— она улыбнулась,— вдруг понадобится, мало ли что, наперед не угадаешь. Ну, а теперь тебе больше всего на свете хотелось бы остаться, верно?

— Да, но я поеду.

— Только с Бернхардом не слишком торжественно прощайся, не так серьезно, ладно? Я ему скажу, что у тебя особое задание, что-нибудь секретное.

— Ну да, пока газеты не пронюхают и не раззвонят, какое это «особое задание». Нет уж, что-нибудь другое придумай, без этих слов, ладно?

Он посмотрел ей прямо в глаза, не узнавая этого голоса, в котором перемешались горечь, грусть и бодрое напускное безразличие.

— Не забывай,— сказала Хельга,— ей тоже нелегко, ей совсем не так просто.

Он только махнул мальчику, который как раз вышел на крыльцо, вскочил в машину, завел мотор и рванул с места.

XIX

Не отрываясь, она смотрела на газетную фотографию, а слез все не было. Сперва ей бросились в глаза обувные картонки, много, целая куча коробок, некоторые прострелены, а на одной она отчетливо разглядела проштампованную цифру 38; сотрудник безопасности, явно немец, стоял за этой грудой картонок, склонившись над чем-то, и этим чем-то был Бев. С самого начала она твердо решила неукоснительно выполнить все, все пункты инструкции, кроме самого последнего, и вот теперь спрашивала себя, имеет ли право, порядочно ли это — сейчас, почти у цели, пойти на попятный; не в том ли теперь ее долг, чтобы отдать Беву последние почести, последнюю дань верности, доказав ему, доказав на краю его могилы, что его план осуществим во всех пунктах, от начала и до конца, что никакая мышиная возня с безопасностью им не поможет, не помогла бы, если бы она заранее не решила самый последний пункт инструкции не выполнять: сунуть им бомбу — заряженный велосипед — прямо под дверь, а уж после объявить отбой.

Дождь нудно барабанил по пластиковой крышке киоска-закусочной на восточной окраине Энсхеде; она заказала еще порцию биточков, попросила хлеба, взяла себе горчицу, заказала еще кока-колы. Всего десять километров до Хорнаукена, а ей не дает покоя одна мысль: кого из полицейских — голландца или немца — осчастливить славой ее ареста или ее добровольной сдачи? Бывают случаи, она сама читала, когда такая слава отнюдь не приносит счастья: человек совсем теряет голову — кутежи, скандалы, порно, развод. К тому

же она не вполне уверена, сумеет ли объяснить голландскому полицейскому всю опасность велосипеда. Еще примут ее за сумасшедшую, а с этой штуковиной шутки плохи; немцы же, наверно, все-таки получили ее сигнал насчет «колес» и быстрее сообразят, что к чему.

Пока все шло по плану: велосипед, как и было условлено, с нежно-голубым бантом у седла, в самом деле стоял в Энсхеде перед зданием главпочтамта; чем-то жутким, даже потусторонним дохнуло на нее при мысли, что у него столько тайных помощников и он со всеми поддерживал связь. Бев настойчиво вбивал ей в голову, что велосипед «начинили не голландцы, а именно немцы». «Это на тот случай, если тебя сцапают и ты расколешься. Так что запомни: немцы! Чтобы они не вздумали затеять экспорт своей вонючей безопасности». Ее паспорт не вызвал ни малейших подозрений, а в голубой ушанке искусственного меха, в круглых очках и желтой нейлоновой куртке она и впрямь запросто сойдет за голландскую учительницу или студентку. Ее завораживала игра, но и верность его безупречному плану, хоть сам он и не позаботился вовремя отослать обувные коробки обратно в магазин. В Хорнаукене ей надо как ни в чем не бывало ехать напрямик к кладбищу и требовать, чтобы ее пропустили. В конце концов, у нее паспорт на имя Кордулы Кортшеде, она родственница по голландской линии и приехала навестить могилу бабушки. Уж там видно будет, хватит ли у них жестокосердия запретить скорбящей внучке доступ к могиле любимой бабушки, но если жестокосердия у них все-таки хватит, она должна закатить сцену и спокойно дать себя увести. Главное было не это, главное — приткнуть велосипед под буками между воротами и часовней, а самое главное — не забыть сперва освободить фиксаторы на ручках руля и до отказа закрутить обе ручки вовнутрь, левую направо, правую налево. Он дал ей слово, что ничего, абсолютно ничего не случится, пока фиксаторы не сдвинуты и ручки не закручены вовнутрь до отказа, да и тогда лишь через сорок пять минут.

Главное было — независимо от того, пропустят ее или нет,— что в предполагаемом столпотворении на велосипед никто не обратит внимания. Она удостоверилась, что фиксаторы на месте, но, конечно, она и не подумает их сдвигать, ни за что Просто уж больно заманчиво и в самом деле доехать до кладбища и только там потребовать к себе главного полицейского босса; заманчиво и в самом деле навестить могилу Верены Кортшеде, но это наверняка не пройдет, она ведь лежит в семейной могиле, куда сегодня положат и ее отца. Она вспомнила о тех похоронах, на которые они все тогда поехали, все, и Бев тоже, и Рольф, и Катарина,— солнечный день, роща,— наверно, это с того раза он так четко запомнил кладбище, что даже описал ей местонахождение могилы ее мнимой бабушки: «В правом углу, в сторону леса, предпоследний ряд, так что прямо туда и иди, а потом ныряй в лес».

Еще заманчивей телефонная будка возле закусочной: надо срочно позвонить Рольфу или Катарине, объяснить, что мальчик, ее сын, Хольгер I — это живая бомба; он стал ей совсем чужой, наверно, даже своим родителям и родителям мужа она не кажется настолько чужой, слово «от-чуждение» воплотилось в нем и вошло в ее жизнь каким-то совсем новым смыслом. Будто они — только кто? кто? кто? наверно, и Бев тоже — нашпиговали его чем-то, что гораздо опасней вещества, из которого мастерят бомбы. Хольгера надо срочно — да, лечить, приручать. Как, кому — это уж пусть Рольф думает, может, Катарина ему посоветует. Ведь обронил же кто-то «бомба в мозгу»,

тут не нужны ни динамит, ни взрыватели, и, должно быть, у мальчика в мозгу бомба, которую обязательно надо — но как? как? как? — обезвредить. При-ручать — не слова, только руки, наверно, способны его исцелить.

Но на этом расстоянии ее, видимо, сразу запеленгуют, а она не даст себя схватить, она явится сама, она им докажет, как просто было докатить колеса досюда и как просто было бы докатить их до самого кладбища. Наверно, все-таки лучше последнюю партию этой игры даже не начинать, да, отказаться от последней подачи — ведь это может затянуться не на один час, а то и не на один день. Лучше всего, наверно, сдаться на границе, на немецкой стороне. А так хотелось зайти напоследок на могилу к Верене Кортшеде. Жалко, жалко ее до слез — и все из-за этого поганого псевдолевака, который подобрал ее и снова бросил, как только выяснилось, что совсем не так много у нее денег. Ах, этот неизменный жиденький чай у Верены Кортшеде, тогда в Берлине,— и это при том, что ее отец, по слухам, один из крупнейших чайных магнатов; ее с детства держали в черном теле, у них в доме скупились не из скупости, а из принципа, это так похоже на ее желчно-бледного папашу, которого сегодня хоронят. А Тольм, наверно, произнесет замечательную речь. Нет, последнюю партию играть не стоит, она выходит из игры.

Она пристроилась к группе из четырех велосипедистов, которые дружно катили по направлению к границе. Дождь, как видно, был им только в удовольствие, они даже пели, крутя педалями. На голландской границе их пропустили небрежным взмахом руки, на немецкой остановили и подвергли строжайшей проверке: удостоверения личности, багаж, даже велосипеды. Нет, это были не только пограничники, но и полиция, с мотоциклами. Рация, переговорные устройства. Она отделилась от группы и подошла к полицейскому, который стоял в сторонке с мотоциклетным шлемом в руках и наблюдал за проверкой. Сбросила капюшон, сняла очки, ушанку и сказала:

— Я та, кого вы ищете. Дело серьезное и очень срочное, свяжитесь с вашим шефом и скажите ему: колеса прибыли, Вероника Тольм доставила их до самой границы.

— Бросьте эти шутки,— ответил полицейский.

— Это не шутка,— сказала она.— И пожалуйста, осторожней с моим велосипедом, он заряжен. Пожалуйста, свяжитесь...— Он все еще колебался, и она тихо добавила: — Ну, смелей, вы не опозоритесь. Честное слово. Это правда я.

Тогда он наконец взял переговорное устройство и произнес в микрофон:

— Я Вернер-восемь, Орхидею-один срочно.— Голландцы тем временем проехали, ее обступили остальные полицейские. Она услышала, как он докладывает.— Тут одна женщина, молодая, уверяет, будто она Вероника Тольм, и просит вам передать: колеса прибыли, она доставила их до самой границы.— Он протянул ей прибор и сказал: — Говорите.

— Алло,— услышала она голос,— с вами говорит Хольцпуке, вам теперь часто придется иметь со мной дело. Что с велосипедом?

— Он заряжен, не знаю как, я умею только снимать предохранитель. Прикажите его забрать, и пусть никто ничего не крутит.

— Я буду через несколько минут. Полагаю, вам нужно позвонить. Я узнал вас по голосу.

— Да, я хочу позвонить, если вы позволите.

— Разумеется. Дайте-ка мне еще разок нашего сотрудника.

Она вернула прибор полицейскому, услышала, как ему что-то приказали, потом полицейский тронул ее за плечо и произнес:

— Пойдемте, я провожу вас к телефону... Остальное потом...

XX

Она повернула ключ, вынула его из замка, опустила в карман и только тут услышала тишину. Охранников нет, фотографы и журналисты тоже куда-то подевались, и Хольгера-старшего не видать — не слыхать, как, впрочем, и Сабины, и Кит, и Бройер с ее другом,— вообще ни души. Рольф с Хольгером-младшим отправился к врачу, потом за покупками, раньше часа они не вернутся. По-прежнему шел дождь, правда, уже не такой сильный, и она на миг замерла, прислушиваясь: ни звука, даже яблоко не упадет с ветки, орех не стукнет по цементу дорожки; откуда-то издали, казалось бог весть откуда, слабо доносились голоса двойняшек Польктов, мать уводила их домой, и они что-то радостно щебетали. Она зачем-то еще раз проверила, заперта ли дверь зала в доме священника, и почувствовала, что ей страшно — страшно пройти эти сто двадцать шагов через сад. С опаской, как по тонкому льду, она двинулась по садовой дорожке, а в голове сами собой уже прокручивались нехитрые логические комбинации: раз нет охранников — значит, нет и Сабины, а раз нет фотографов — значит, нет и Хольгера-старшего, а раз... Она вздрогнула, когда из лачуги навстречу ей вышел Ройклер, и ей почему-то сразу подумалось: «горевестник». Он и вправду как-то вымученно улыбнулся, подойдя к ней и беря ее за руку; вид у него был изможденный и от него пахло сигарой.

— Да,— сказал он,— не волнуйтесь. Тут много всего произошло.— И стал рассказывать: сперва о том, как отправился с Бройер к ее родителям и о том, что «блудным дочерям приходится куда тяжелее, чем блудным сынам»; поведал — еле слышно, почти шепотом — о том, что Вероника сдалась полиции и уже звонила, умоляла глаз не спускать с Хольгера-старшего, но слишком поздно, мальчонка к тому времени, сразу после ухода Рольфа, успел улизнуть и, словом — ну да, сумасшедший дом,— упросил какого-то фотокорреспондента отвезти его в Тольмсховен, а там, ну, словом, устроил поджог, пока господин Тольм с женой хоронят в Хетциграте Беверло.

— Много всего произошло,— сказал Ройклер,— но ни с кем ничего не случилось.— А в довершение всего ее невестку с дочкой увез какой-то полицейский в форме, охранники приветливо с ним поздоровались, явно признав в нем сослуживца и даже не спросив, какое у него задание, а сейчас как раз выяснилось, что это если не похищение, то, во всяком случае, несколько сомнительная акция, не то чтобы уголовно наказуемая, но сомнительная, и «степень ее наказуемости в дисциплинарно-правовом отношении сейчас уточняется». Ройклер улыбнулся и повторил: — Да, произошло много всего, но ни с кем ничего не случилось. Правда, дома вас поджидает гость, который не имеет ни малейшего отношения ко всему, что произошло, но с ним-то как раз кое-что случилось: это ваш приятель Генрих Шмерген. А самое главное: ваша невестка Сабина очень хотела вас за все поблагодарить и попрощаться, но обстоятельства не позволили — все было очень спешно. Она,— он снова улыбнулся,— просила меня непременно вас дождаться, все вам объяснить и передать, что она очень надеется на скорую встречу. Кстати, если вы еще не догадались: этот полицейский — ее любовник, отец ее будущего ребенка. Ну что, немножко много всего, да?

— Да,— согласилась она,— пожалуй, многовато.

Придерживая под руку, он повел ее к дому, поведав по пути о долгом телефонном разговоре с большим полицейским начальником, который охарактеризовал «этого господина Тёргаша» как особенно надежного сотрудника, известного своей набожностью, снискавшей ему как насмешки, так и уважение. Потом Ройклер как бы ненароком поразмышлял вслух о том примечательном обстоятельстве, что все четверо действующих лиц, замешанных в этой истории, или, ска-

жем так, причастных к ней «в таком странном сочетании — ваши родители, ваша невестка и этот молодой полицейский,— теперь, надо полагать, вне опасности».

— Ну, а сейчас мне пора домой, к жене. А вы позаботьтесь о молодом человеке, он давно вас ждет.

Сидя перед полной пепельницей и пустой кофейной чашкой, Генрих Шмерген, заикаясь, рассказывал, как он ехал в автобусе из Кёльна в Хубрайхен и читал книгу под названием «Путь Кастро»; сидел, никому не мешал и совершенно не обратил внимания, что все вокруг читают сегодняшние газеты с сообщением о гибели Беверло; и вдруг, на подъезде к Хурбельхайму, его поразила мертвая тишина в автобусе, он поднял глаза и увидел, что все безмолвно и враждебно уставились на него и на его книгу — молча, угрюмо, тяжело, «будто готовы удавить меня на месте», и он испугался, по-настоящему испугался, нет, честно, он со страху чуть в штаны не наложил, в Хурбельхайме сразу же вылез и остаток пути прошел пешком, а теперь хочет только одного: уехать, просто уехать, все равно куда.

— Куда-нибудь, где можно читать книги, даже в автобусе, не пугаясь вот так, до смерти. Я все понимаю: можно спорить, можно ругаться, можно — ну я не знаю что,— но хоть как-то аргументировать! Но эти молчаливые взгляды... о, господи! Катарина, по-моему, вы обманываетесь, мы все обманываемся, нет, уеду, хотел только вот попрощаться, поблагодарить и, если можно, попросить немножко денег. Буду искать страну, где каждый может читать в автобусе что ему заблагорассудится.

— Куба? — вырвалось у нее, и она чуть не прикусила язык от досады: вопрос получился подлый.

— Нет,— ответил он.— Может, Испания. Не знаю — лишь бы прочь, прочь отсюда. Немедленно. Сегодня же, сию же минуту, я даже домой не зайду проститься. Передай привет Долорес и Рольфу, и одолжи мне немного денег, на первые дни, я сперва в Голландию поеду, а уж там я готов до конца дней делать самую черную работу, по мне, так и дерьмо возить, но я тебе все вышлю.

Она достала из сумки кошелек, положила рядом с его чашкой, раскрыла и сказала:

— Бери половину.— А когда он сконфуженно потупился, подбодрила: — Ну, живо, нечего стесняться, давай,— потом сама вынула деньги, вытряхнула мелочь на стол, быстро, одним пальцем отсортировала направо и налево одинаковые бумажки и монеты, поделила полсотни, ткнув купюру в одну кучку и переправив оттуда двадцать пять марок в другую, подсчитала — по шестьдесят восемь на брата — и придвинула к нему оставшиеся медяки, тринадцать грошей.— Это тоже тебе, пригодится, глядишь, чашка кофе, а может, и буханка хлеба или десяток сигарет, я не знаю, почем в Голландии сигареты, и спички, много спичек, бери.— И поскольку он все еще смущенно жался, сунула все ему в карман и сказала: — Умеешь просить — умей и брать. Ничего, еще научишься, как и многому другому. Жаль, мы тебя очень полюбили. Может, вернешься еще...

И заплакала, увидев, как он под дождем понуро бредет к калитке в нелепо сплющенной шапчонке, спрятав голову в воротник куртки. Книгу — «Путь Кастро» — он забыл, она лежала на столе подле кофейной чашки.

Сабина все-таки успела напоследок порезать овощи для супа и почистить картошку, ей осталось только поставить кастрюли на огонь

и вынуть сардельки из холодильника. Когда Рольф с малышом показался у калитки, она все еще плакала.

XXI

Со стороны казалось, что население Хетциграта срочно эвакуировано и обезлюдевшая деревня взята под строжайший контроль: на всех углах полицейские, в форме и без, на подступах к кладбищу — конная полиция, и даже школьный двор, что на полпути от церкви к кладбищу, будто вымер. Вероятно, по такому случаю в школе отменили занятия. За оконными стеклами черно, ни шевеления, ни звука; на рыночной площади только несколько полицейских с рациями. И тишина. Очевидно, здесь готовились встретить нашествие, которое не состоялось: орды длинноволосых юнцов, девиц в длинных плащах, так называемое «окружение» — но страхи явно не подтвердились. Он был совершенно спокоен, Кэте — с венком на коленях — нервничала. И Блуртмель был сам не свой: на всех перекрестках озирался по сторонам, направо, налево, будто все ждал чего-то, удивляясь, почему ничего не происходит. За витринным стеклом мясной лавки Брайлига промелькнул сам Брайлиг, один из его школьных друзей; рядом с Брайлигом — покупательница.

— Надо было тебе пальто надеть,— беспокоилась Кэте.— Вон холод какой, да и сырость.

— На пальто ордена не нацепишь, а я подумал: сегодня как раз подходящий случай покрасоваться в орденах.

Блуртмель, большой дока в вопросах протокола, сказал ему, что, разумеется, вообще-то на похороны можно надевать ордена, но на такие похороны — это уж не по его части. Вот орденские ленты, сказал Блуртмель, ни в коем случае, ленты и Кэте отсоветовала, зато решение надеть ордена одобрила.

— Я просто диву даюсь, Тольм, сколько прекрасных идей родилось у тебя за эти два дня,— сказала она.— А идти там, слава богу, недалеко, от покойницкой до могилы Беверло всего метров тридцать, от силы пятьдесят. Там рядом и мои родители лежат, и родители родителей, и родители тех родителей, а предков Беверло там лежит не меньше, чем Шмицов, это ведь один из старейших родов в деревне, они тоже из крестьян.

Вертолет сперва кружил, потом завис над ними, когда Блуртмель помог им выйти из машины. Все-таки ордена — довольно громоздкие штуковины, золото с красным, а один, какой-то иностранный, вообще пестрый, почти с блюдце величиной. Вопреки правилам он снял их с лент и попросил Блуртмеля приколоть английскими булавками.

Она не захотела отдать ему венок — сирень и желтые розы, без ленты,— но когда один из могильщиков пристроил венок на голую, без единого цветка, повозку с гробом, возражать не стала. Дальше все пошло опрометью, они едва поспевали за повозкой, и вот уже могильщики, приподняв гроб на заранее приготовленных канатах, опустили его в землю. Вертолет висел точно над ними. Тольм шепнул:

— Твори молитву, Кэте.

И она вполголоса прочла «Отче наш», а вслед за ним еще и «Аве», маленькой лопаткой бросила в могилу первые комья земли, передала лопатку Тольму, посмотрела на надгробный камень. Большинство надписей закрыл холмик свежевырытой земли, и только самую верхнюю строчку можно было разобрать: «Ульрих Беверло, крестьянин из Айкельхофа, 1801—1869».

— Пойдем,— позвала она, но Тольм не двинулся с места. Он заглянул в могилу, посмотрел на небо, потом оглянулся на Блуртмеля, который о чем-то тихо беседовал с полицейским у часовни.

— Кэте,— произнес он,— мне надо тебе кое-что сказать.

— Да?

— Ты знаешь, я всегда тебя любил. Так вот, ты должна знать еще кое-что.

— Что именно?

— Что социализм победит, какой-нибудь социализм победит обязательно...

Вертолет улетел, едва они дошли до часовни. Блуртмель бросил своего полицейского — Тольм теперь признал в нем молодого Людера, которого в свое время представил ему Хольцпуке. Но он видел его только в штатском, в форме тот выглядел моложе.

— Ты забыл отблагодарить могильщиков,— сказала Кэте.

Он снова пошел к могиле, достал бумажник и протянул одному из парней сотенную.

— Это вам на двоих.

Он успел заметить, как вертолет приземляется на школьном дворе. Но едва он обернулся, как из часовни выскочил нахальный мальчишка-фотограф. Должно быть, он там прятался, не иначе как с санкции Хольцпуке, а то и Дольмера. Тот самый шкет, который совсем недавно, в день выборов, отщелкал его с сигаретой в зубах, ну, а уж сейчас он, Тольм, считай что нарвался на прямое попадание: с цилиндром в руке, вся грудь в орденах, за спиной — надгробья и могила, на которой явственно можно прочесть фамилию Беверло. Мальчишка не улыбался, не гримасничал, он хладнокровно отстрелял свою серию, потом отщелкал его еще раз, теперь уже вместе с Кэте, когда они подходили к машине,— щелкал, щелкал, щелкал...

— Этот сделает карьеру,— сказал он Кэте и Блуртмелю.— Этот далеко пойдет.

По-настоящему он испугался, только увидев возле машины Дольмера рядом с Блуртмелем, который приготовился открыть им дверцу. Вид у Дольмера был потрепанный, изрядно потрепанный. На секунду он замешкался, не зная, к кому подойти — к нему или к Кэте, выбрал Кэте, подошел и сказал:

— День плохих вестей, дорогая госпожа Тольм. Мало того, что ваша дочь, так сказать, в пожарном порядке удрала с одним из наших сотрудников, ваш внук — словом, пожар, замок горит,— как-то он исхитрился прошмыгнуть мимо охраны.

— Кто-нибудь ранен или в опасности?

— Нет.

— В таком случае я знавала вести и похуже,— сказала она, садясь в машину.— А что касается дочери, так эта весть и вовсе не из плохих.

И все же она не ожидала, что Тольм рассмеется.

■

ГЕОРГИОС МОЛЕСКИС

Перевод с греческого ЕВГЕНИЯ ДОЛМАТОВСКОГО

Георгиос Молескис родился в 1946 году на Кипре, бывшем тогда колонией Великобритании. Более двадцати лет выходят книги его стихов, в которых интересно сочетаются лирика и публицистика, страстно утверждается независимость и единство Республики Кипр.

Молескис в 1982 году защитил в Московском университете кандидатскую диссертацию «Восприятие творчества Владимира Маяковского в Греции и его традиции в современной греческой поэзии», публикует в Никосии переводы стихов советских поэтов.

Я познакомился с ним на Кипре, он подарил мне свои последние книги «Проходящая весна», «Хранилище любовей», «Картинки Ларнаки». При помощи автора, терпеливо объяснявшего мне премудрости греческого текста, я перевел несколько стихотворений своего нового друга и предлагаю их вниманию читателя.

* * *

Рассыпаются мысли...
Я хочу их собрать воедино:
Один разоренный дом,
Один разрушенный город,
Одна разорванная страна...
Одно сожженное дерево,
Тысяча мертвых деревьев,
Один загубленный лес...
Один убитый,
Тысяча зверски убитых,
Один несчастный народ...
Все сначала:
Один возведенный дом,
Один восстановленный город,
Одна возрождающаяся страна...
Одно подросшее дерево,
Тысяча новых деревьев,
Один оживающий лес...
Рождается один человек,
Тысяча человек,
Поднимается целый народ...
И теперь собираются мысли,
Их уже не рассыпать,
И думаю я об одном и о каждом,
Собирая их всех воедино.

Оставь окно открытым

Если палачи придут за мной,
Оставь окно открытым,
Не позволь им его захлопнуть:
Это окно — наша связь с миром,
Это путь к спасенью и возвращению,
Можно сказать «добрый день» соседу,
Выкрикнуть лозунг — товарищ услышит...
Можно выставить флаг и взмахнуть им призывно —
Много значат и многое могут раскрытые окна.
Вот почему нам велят задраить окна и ставни:

Они боятся встретиться с нами взглядом,
Им страшны наши гневные очи,
Отражается в наших зрачках их ничтожество,
Мелочность, низость,
Им страшны наши гневные окна.
Не посмеют они с нами встретиться взглядом —
Окна держат презренных врагов на прицеле.
Если буду убит,
Посади меня на подоконник.
Не отдавай мое тело,
Скажи палачам и убийцам,
Что сквозь это окно солнце мертвые волосы гладит,
Что сквозь это окно жизнь течет в мое честное сердце,
Что с окном поутру поравняются добрые люди,
И внизу на асфальте играть будут малые дети.

А потом похоронят меня
Без речей и рыданий,
А окно —
Пусть оно навсегда остается открытым
Для прохожих, бойцов и детей,
Для живых и погибших,
Пусть окно навсегда остается открытым, как сердце,
И презренным убийцам в глаза ненавистные смотрит.

* * *

Если меня расстреляют,
Сначала пронзят мое сердце,
Мозг поразят второю пулей —
Лишь так им удастся расправиться со мною.
Так — в две пули — они меня оценили,
Таким они меня страшатся...
И когда я буду лежать на асфальте,
Белым платком накрой мое лицо
И в душе сохрани мой образ
Для меня, для себя и для наших друзей.
А потом сотри мою кровь с тротуара,
Чтоб ее не заметили.
Не осквернили,
Написав на стене моей кровью слова предательства.

Крик женщины

Вставай... За тобою пришли...
Слышишь гомон и топот...
Наши ночи теперь повторятся не скоро...
Бьют они в наши двери тяжелым прикладом.
Бьют... А солнце лучом бьет в холодную землю.
Бьют ключи ледяные в подпочвенных жилах.
О, как холодно крови моей!
Дверь взломают они,
И тебя поведут тупиками.
Ты их знаешь давно —
Тех, стучащихся в двери прикладом —
За тобою они приходили и раньше,
Только спящим ты им не достался,
Ты готов был к отпору,
А теперь тебя сонного взяли.
Поднимайся. Пришли за тобой.
Поднимись, непокорный,

Обними это дерево,
Нежно приникни к ребенку,
Приласкай мою грудь,
Чтоб услышать, как сердце трепещет...
Не согнись, не позволь им расправиться, милый, с собою!

Любовь, путешествующая сквозь время

Что случилось с той любовью,
Безрассудной, безумной, дикой,
Что сама подрубала ветку,
На которой цвела и держалась?

Что осталось от глаз, что мерцали
Словно угли в каморке темной,
Потолок пронзали и кровлю
И планет легко достигали?

Что осталось теперь от потоков
Крови, бурной почти как магма,
Что бурлит под земной корою,
В самых тайных ее глубинах?

Где торчавшие остро груди,
Словно рыцарские доспехи,
Где прекрасные ноги, которым
Поклонялся я больше, чем богу?
Как к Евангелию, ладони
Возлагались на дивное тело!

Что осталось от всех признаний,
Извергавшихся жаркой лавой
На события и расстоянья,
На века и на годы жизни.
Что осталось от мифов, песен,
От легенд, сказаний и сказок?

Что случилось? Куда исчезли
Эти мифы, эти легенды,
Песни, вызванные любовью,
В честь любви звучавшие звонко.

Я считаю, они не исчезли,
Существуют при нас и с нами,
Но теперь это наши дети,
Дети наши! Я так считаю.
Неужели мы стали беднее
И душа ужаснулась жизни
И уже ни во что не верит?

Не скудеет богатство наше,
Все, что узнано и пережито —
Поцелуи на диких скалах,
И объятья в пучинах моря,
И мечты, и дороги, и песни.

Я считаю, все это наше
В созреванье и измененье,
В путешествии через время,
Через вечность живого мира.

■

ПАТРИК МОДИАНО

Смягчение приговора

■

Перевод с французского Т. ВОРСАНОВОЙ

Посвящается Доминик

Вряд ли сыщется семейство, прослеживающее не менее четырех своих поколений, которое не имело бы притязаний на какой-нибудь полумифический титул, какой-нибудь замок или поместье; притязания эти не стал бы рассматривать ни один суд, зато они льстят воображению и скрашивают часы безделья. Притязания человека на собственное прошлое еще более сомнительны.

Р. Л. Стивенсон. «Глава о снах»

С театральными гастролями тогда ездили не только по Франции, Швейцарии и Бельгии, но и по Северной Африке. Мне было десять лет. Мама уехала со своим спектаклем на гастроли, и мы, я и мой брат, жили за городом, у ее подруг под Парижем.

Двухэтажный домик, увитый плющом. Большое окно выступом, как говорят англичане — bow-window, словно удлиняло гостиную. За домом сад террасами поднимался вверх. В самой глубине первой террасы пряталась заросшая лютиками могила доктора Гильотена. Жил ли он в этом доме? Может, именно здесь он и придумал свою машину для отрезания голов? И совсем наверху росли две яблони и груша.

На эмалевых пластинках, прикрепленных серебряными цепочками к графинам с ликерами в гостиной, значилось: «Изарра», «Шерри», «Кюрасао». Колодец посреди дворика перед садом утопал в жимолости. У окна в гостиной на круглом одноногом столике стоял телефон.

Решетчатый забор будто прикрывал фасад дома, стоявшего чуть в глубине улицы Доктора Дордена. Однажды забор перекрасили, покрыв его сначала суриком. А может, это и не сурик был, тот грунт оранжевого цвета, так живо памятный мне до сих пор? Улица Доктора Дордена походила на сельскую, особенно в конце: богадельня, ферма, где мы брали молоко, и еще дальше замок. Если бы вы пошли вниз по правой стороне улицы, ваш путь лежал бы мимо почты, слева на том же уровне вы бы разглядели теплицы цветовода, его сын был моим соседом по парте. Немного дальше, за почтой,— стена школы Жанны д'Арк, ее почти не видно из-за буйной листвы платана.

Прямо против дома отлого спускалась улочка. На правой ее стороне — протестантская церквушка, и дальше лесок, однажды там, в колючем кустарнике, мы нашли немецкую каску; слева — длинное белое здание с фронтоном, при доме сад, а в саду — плакучая ива. Еще ниже, сразу за домом,— трактирчик «Робин Гуд».

Улочка, спускаясь, упиралась в дорогу. Направо — всегда пустынная вокзальная площадь, там мы научились кататься на велосипеде.

© Editions du Seuil, 1988.

Повесть войдет в сборник П. Модиано, готовящийся издательством «Радуга».

Напротив вдоль дороги протянулся парк. Налево — дом с бетонной галереей; за лавочкой продавца газет — кино и аптека. Сын аптекаря учился со мной в одном классе, однажды ночью его отец покончил с собой, повесившись на галерее. Говорят, летом люди вешаются. В другое время года они предпочитают топиться в реках. Так мэр нашего городка сказал продавцу газет.

Ну, а дальше, на пустыре, по пятницам бывал рынок. Несколько раз там раскидывал свой шатер цирк шапито и вырастали палатки ярмарок.

А вот и мэрия, и железнодорожный переезд. Перейдя его, вы оказывались на главной улице, поднимавшейся вверх к площади перед церковью и к памятнику погибшим. Однажды на Рождество мы с братом, вместе с другими мальчиками, пели в хоре этой церкви.

В доме, где мы жили, были одни женщины.

Маленькая Элен была брюнеткой лет сорока, скуластая, с высоким лбом. Маленький рост как бы сближал ее с нами. Она слегка хромала из-за своей травмы. Когда-то она была наездницей, затем акробаткой и в наших глазах была окружена особым ореолом. Цирк мы с братом открыли для себя как-то днем в Медрано — и с тех пор мечтали быть циркачами. Она рассказала нам, что давно уже не работает, и показала альбом, где она была снята в костюмах наездницы и акробатки и куда были вклеены программки мюзик-холла, на которых мелькало ее имя: Элен Тош. Я часто просил у нее этот альбом и листал его перед сном в постели.

Они составляли забавное трио, она, Анни и мать Анни, Матильда Ф. Анни была блондинкой, волосы коротко острижены, нос прямой, глаза светлые, лицо милое и нежное. Но что-то резкое в ней плохо сочеталось с ее нежным лицом. Может, это из-за куртки, мужской старой коричневой кожаной куртки, которую она носила с очень узкими черными брюками, и ходила в ней целый день. Вечером она часто надевала голубое платье, стянутое широким черным поясом, и так она мне нравилась гораздо больше.

Мать Анни была совершенно на нее не похожа. Да и была ли она на самом деле ее матерью? Анни звала ее Матильдой. Седые волосы, пучок. Строгое лицо. Одета всегда во все темное. Она наводила на меня страх. И казалась мне старухой, а ведь Анни тогда было двадцать шесть, значит, матери — около пятидесяти. Я вспоминаю камеи, которыми она закалывала блузку. У нее был южный акцент, позже я встречал такой у уроженцев Нима. А вот у Анни этого акцента не было, у нее, как и у нас с братом, был парижский выговор.

Всякий раз, обращаясь ко мне, Матильда называла меня «дурачишкой». Однажды утром, когда я спускался вниз к завтраку из своей комнаты, она, как обычно, сказала мне:

— Добрый день, дурачишка.

И я ей сказал:

— Добрый день, мадам.

И спустя многие годы я и сейчас слышу ее резкий голос и нимский выговор:

— Мадам?.. Можешь называть меня Матильдой, дурачишка...

Маленькая Элен при всей своей мягкости была, должно быть, женщиной с железным характером.

Позже я узнал, что Элен познакомилась с Анни, когда той было девятнадцать. Маленькая Элен так очаровала Анни и Матильду Ф., что они решили поселиться вместе с ней, оставив мсье Ф.

В один прекрасный день цирк, в котором она выступала, конечно же, остановился в провинциальном городке, где жили Анни с матерью.

Анни сидела возле оркестра, и вот фанфары возвестили о появлении маленькой Элен, гарцующей на черной лошади в серебряной попоне. Или, может быть, и я вполне представляю себе это, она — наверху, на трапеции, готовится к опасному тройному прыжку.

А после спектакля Анни заходит к ней в вагончик, где маленькая Элен обитает вместе с женщиной-змеей.

Одна из приятельниц Анни Ф. часто бывала в доме. Звали ее Фреде. Сейчас мне, взрослому, она кажется всего-навсего хозяйкой ночного кабачка пятидесятых годов на улице Понтье. В ту пору она выглядела ровесницей Анни, но была постарше, лет тридцати пяти. Коротко стриженная тоненькая брюнетка с бледным лицом. Она носила мужские куртки до талии, и мне казалось, что такие куртки носят наездницы.

Как-то у букиниста я листал старый номер «Парижской недели», датированный июлем 1939 года: программы кино, театров, мюзик-холлов и кабаре. Я был удивлен, когда обнаружил там крохотную фотографию Фреде: в двадцать лет она уже открыла ночное кабаре. Эту программку я купил, вроде бы добыл вещественное доказательство, осязаемое свидетельство, что все это мне не приснилось.

Вот что в ней написано:

СИЛУЭТ
улица Нотр-Дам-де-Лоретт, 58
Монмартр. ТРИ 64-72
с 22 часов до рассвета
Ф Р Е Д Е приглашает в свой кабаре-дансинг для женщин
Из Швеции вернулся
ДОН МАРИО
знаменитый оркестр
Гитарист Исидор Ланглуа
Betty and the nice boys [1]

И я на минуту вспоминаю тогдашнюю Фреде, какую мы с братом, возвращаясь из школы, видели в саду: она была циркачка, как и маленькая Элен, а мир цирка светился тайной. У нас не было и тени сомнения, что Фреде была хозяйкой цирка в Париже, поменьше, чем цирк Медрано, но все же цирка с полосатым красно-белым куполом, который назывался «Кэрролл'з». Это словечко частенько слетало с губ у Анни и Фреде; «Кэрролл'з» — кабаре на улице Понтье,— но у меня перед глазами был красно-белый цирк шапито, дрессированные животные, и Фреде, изящная в своей ладной курточке,— их укротительница.

Иногда по четвергам она приезжала со своим племянником, мальчиком нашего возраста. И мы вместе играли после обеда. Про «Кэрролл'з» он знал куда больше нашего. Я помню одно его таинственное высказывание, оно и сейчас звучит у меня в ушах:

— Анни всю ночь проплакала в «Кэрролл'з».

Он, верно, повторял тетину фразу, не понимая ее. Когда он приезжал один, без тети, мы с братом ходили встречать его на станцию, сразу после обеда. По имени мы его никогда не называли, да попросту его и не знали. Мы звали его «племянник Фреде».

Чтобы кто-то забирал меня из школы и вообще занимался нами, была нанята молодая девушка. В доме жила она рядом с нами, в соседней комнате. Черные волосы она укладывала в тугой пучок, а глаза у нее были зеленые и настолько светлые, что казались какими-то

[1] Бетти и милые мальчики *(англ.). (Здесь и далее прим. перев.)*

прозрачными. Она почти не разговаривала. Мы испытывали робость из-за этого ее молчания и прозрачных глаз. Маленькая Элен, Фреде и даже Анни, конечно, имели отношение к цирку, а эта тихая девушка с черным пучком и светлыми глазами казалась нам персонажем из сказки. Мы ее звали Белоснежкой.

Во мне живо воспоминание о наших обедах, когда все собирались в комнате, служившей нам столовой, от гостиной ее отделяла прихожая. Белоснежка сидела в конце стола, брат — справа от нее, а я — слева. Рядом со мной была Анни, напротив — маленькая Элен, и на другом конце стола — Матильда. Однажды вечером не было света, комнату освещала лишь керосиновая лампа, поставленная на каминную полку, и наши лица словно выплывали из тьмы.

Все остальные тоже звали ее Белоснежкой, а иногда «ласточкой». Они ей говорили «ты». И довольно скоро они очень сблизились, потому что она тоже была с ними на «ты».

Я думаю, они этот дом снимали. Если только он не был собственностью маленькой Элен, потому что все лавочники в деревне хорошо ее знали. Впрочем, дом мог принадлежать и Фреде. Я помню, Фреде получала много писем на улицу Доктора Дордена. А письма из почтового ящика каждое утро перед школой доставал я.

Чуть не каждый день Анни в своей бежевой малолитражке ездила в Париж. Возвращалась она очень поздно, а иногда только на следующий день. Часто с ней уезжала и маленькая Элен. Матильда дом не оставляла. Она ходила за покупками. И покупала журнал, который назывался «Нуар э блан»[1]; номера этого журнала валялись повсюду в столовой. Я листал их по четвергам, после обеда, если шел дождь, и мы слушали детскую радиопередачу. Матильда вырывала «Нуар э блан» у меня из рук.

— Не смотри ты их, дурачишка. Это тебе не по возрасту...

У выхода из школы меня встречали Белоснежка и брат, которому было еще рано учиться. Анни записала меня в школу Жанны д'Арк, в самом конце улицы Доктора Дордена. Директриса спросила ее, не мать ли она мне, и Анни ответила: «Да».

Мы вместе сидели у стола директрисы. Анни была в своей старой кожаной курточке и линялых брюках-джинсах, привезенных ей из Америки одной из приятельниц — Зиной Рашевски, иногда заходившей к нам. Джинсы тогда во Франции были в диковинку.

Директриса сурово оглядела нас:

— В школу ваш сын должен ходить в серой курточке,— сказала она.— Как и все его юные сверстники.

Возвращаясь домой по улице Доктора Дордена, мы шли рядышком, Анни положила мне руку на плечо.

— Я ей сказала, что я — твоя мама, потому что все объяснять было бы слишком сложно. Ты не против, а, Патош?

Меня в эту минуту больше интересовало, что же это за серая курточка, которую я, как и все мои юные сверстники, должен буду носить.

Долго учиться в школе Жанны д'Арк мне не привелось. Двор, где мы гуляли на переменках, был заасфальтирован. Этот черный цвет очень красиво выглядел рядом со стволами и листвой платанов.

Как-то утром, во время перемены, директриса подошла ко мне и сказала:

— Я хочу видеть твою мать. Попроси ее прийти сегодня после обеда, до уроков.

---

[1] «Черное и белое» *(франц.)*.

Она говорила со мной, как обычно, резко. Она меня не любила. И что я ей сделал?

У дверей школы меня ждали Белоснежка и брат.

— Странный у тебя вид,— сказала Белоснежка.— Что-нибудь не так?

Я спросил ее, дома ли Анни. Боялся я только одного, что она не вернулась ночью из Парижа.

К счастью, она вернулась, но очень поздно. И сейчас еще спала в той комнате в самом конце коридора, где окна выходили в сад.

— Иди разбуди ее,— сказала мне маленькая Элен, когда я объяснил ей, что директриса хочет видеть мою мать.

Я постучал в дверь. Она не ответила. Я вспомнил таинственную фразу племянника Фреде: «Анни всю ночь проплакала в «Кэрролл'з». Да, в полдень она еще спала, потому что всю ночь проплакала в «Кэрролл'з».

Я нажал на ручку двери и медленно приоткрыл ее. В комнате было светло. Анни не задернула занавески. Вытянувшись, она лежала на самом краю широкой кровати и в любую секунду могла с нее свалиться. Почему она не легла на середину? Она спала, обхватив плечо рукой, будто замерзла, хотя была одета. Она не сняла даже туфель, и старая кожаная курточка тоже была на ней. Я осторожно тронул ее за плечо. Она открыла глаза, глянула на меня и нахмурилась:

— А... это ты, Патош...

Анни прохаживалась с директрисой под платанами во дворе школы Жанны д'Арк. Директриса велела мне ждать во дворе, пока они поговорят. Без пяти два ребята по звонку вернулись в класс, и я смотрел на них с улицы сквозь стекло, смотрел, как они сидят там, за своими партами, без меня. Я пытался расслышать, о чем разговаривала Анни с директрисой, но не смел приблизиться к ним. На Анни была старая кожаная курточка и мужская рубашка.

А потом она оставила директрису и подошла ко мне. Мы вышли через маленькую дверь в стене, прямо на улицу Доктора Дордена.

— Бедный мой Патош... Они тебя выгнали...

Мне хотелось плакать, но, подняв голову, я увидел, что она улыбается, и это успокоило меня.

— Ты плохой ученик... как и я...

Да, я был спокоен, что она не будет ругать меня, но все же немного удивлен, что событие, казавшееся мне очень серьезным, у нее вызвало улыбку.

— Не волнуйся, старина Патош... Будешь ходить в другую школу.

Не думаю, что я был хуже любого другого ученика. Директриса школы Жанны д'Арк, бесспорно, навела справки о моей семье. Выяснила, что Анни мне не мать. Анни, маленькая Элен, Матильда и даже Белоснежка — странное семейство... Она боялась, что я буду дурно влиять на своих одноклассников. В чем нас можно было заподозрить? Прежде всего Анни солгала. Это и насторожило директрису: Анни выглядела моложе своих лет, и лучше бы она сказала, что она моя старшая сестра... Ну, и курточка ее кожаная, а особенно линялые джинсы, бывшие тогда большой редкостью... Матильду заподозрить было вовсе не в чем. Пожилая дама, такая же, как и все, и носит все темное, блузки закалывает камеями, и акцент у нее нимский... А вот маленькая Элен порой одевалась очень странно, когда водила нас к мессе или шла к местным лавочникам: брюки, которые носят наездницы, сапожки, блузки с буфами и узкими манжетами, а то черные лыжные брюки или даже болеро, расшитое перламутром... В общем, легко можно было угадать, кем она была раньше... Однако и продавец газет, и

булочник, кажется, любили ее и всегда разговаривали с ней очень вежливо.

— Добрый день, мадемуазель Тош... До свиданья, мадемуазель Тош... Что бы вы хотели, мадемуазель Тош?...

А в чем можно было заподозрить Белоснежку? Ее молчаливость, пучок и светлые глаза внушали уважение. Директриса наверняка удивлялась, что в школу за мной приходит эта девушка, а не мать; и почему я сам не иду домой, как все мои юные сверстники? Она, должно быть, думала, что мы богатые.

Как знать? Достаточно было директрисе увидеть Анни, чтобы она поняла, что с нами надо быть начеку. Я сам однажды вечером случайно услышал обрывки разговора Матильды с маленькой Элен. Анни еще не вернулась на своей малолитражке из Парижа, и Матильда беспокоилась.

— Она способна на все что угодно,— задумчиво произнесла Матильда.— Вы же, Лину, знаете, Анни — сорвиголова.

— Ну, ничего особенно серьезного она не устроит,— возразила маленькая Элен.

Матильда помолчала немного, а потом сказала:

— Понимаете, Лину, у вас все же такие странные знакомства...

Черты лица у маленькой Элен вдруг стали жесткими.

— Странные знакомства? Что вы, собственно, хотите этим сказать, Тильда?

Голос у нее был резкий, я и не знал, что он у нее может быть таким.

— Не сердитесь, Лину,— покорно и жалобно попросила Матильда.

Это была уже совсем не та женщина, которая дразнила меня, называя «дурачишкой».

С тех пор, когда Анни не бывало дома, я больше не думал, что она только и делает, что плачет все ночи напролет в «Кэрролл'з». Она, верно, устраивала что-то серьезное. Позже, когда я спросил, случилось ли что-нибудь, мне ответили: «Да, и это очень серьезно»; фраза прозвучала для меня отголоском той, которую я однажды уже слышал. Но в тот вечер меня страшно заинтриговало слово «сорвиголова». Сколько бы я ни заглядывал Анни в лицо, я видел только нежность. Значит, за этими ясными глазами и этой улыбкой скрывалась сорвиголова?

Я стал учиться в местной сельской школе. Она была чуть подальше школы Жанны д'Арк. Надо было дойти до конца улицы Доктора Дордена, перейти дорогу, спускавшуюся к мэрии и железнодорожному переезду. Огромные железные ворота открывались прямо в школьный двор.

Там мы тоже ходили в одинаковых серых куртках, но двор не был покрыт асфальтом. Там просто-напросто была земля. Учитель относился ко мне хорошо и каждое утро просил прочесть классу стихотворение. Однажды Белоснежки не было и за мной пришла маленькая Элен. На ней были брюки как у наездницы, сапожки и курточка, которую я про себя прозвал «ковбойской». Она пожала руку учителю и сказала ему, что она — моя тетя.

— Ваш племянник прекрасно читает стихи,— сказал учитель.

Я всегда читал одно и то же стихотворение, которое мы с братом знали наизусть: «О, сколько моряков, о, сколько капитанов...»

В этом классе у меня были хорошие друзья: сын цветочника с улицы Доктора Дордена, сын аптекаря, я помню то утро, когда мы узнали, что его отец повесился... сын булочника с хутора Метс, у его сестры, моей ровесницы, были вьющиеся золотые волосы, доходившие ей почти до пяток.

Белоснежка часто не приходила за мной: она знала, что я вернусь с сыном цветочника — они были нашими соседями. После школы, если на дом уроков не задавали, мы всей ватагой шли далеко-далеко, за замок и за вокзал, к водяной мельнице на Бьевре. Хотя мельница всегда работала, казалась она ветхой и заброшенной. По четвергам, если к нам не приезжал племянник Фреде, я вел туда брата. Это было приключение, которое полагалось хранить в тайне. Мы проскальзывали сквозь дыру в стене и усаживались рядышком, прямо на землю. Большое мельничное колесо вертелось. Мы слушали рычание мотора и рев обрушивающейся вниз воды. Здесь было прохладно, и мы вдыхали запахи воды и мокрой травы. Большое колесо, мерцающее в сумеречном освещении, нас немного пугало, но мы не в силах были оторваться от этого зрелища и сидели скрестив руки на коленях и все смотрели, как оно крутится.

Между двумя своими поездками в Браззавиль нас навещал отец. Поскольку машину он не водил, кто-то должен был довозить его из Парижа до нас, и вот друзья, все по очереди, сопровождали его: Аннет Бадель, Саша Гордин, Роберт Флай, Жак Будо-Ламотт, Жорж Джорджини, Геза Пельмонт, толстый Люсьен П., который всегда садился в кресло, стоявшее в гостиной, а мы боялись, что оно сломается или провалится под ним; Степа де Д., носивший монокль и венгерку, отороченную мехом, волосы его были так обильно напомажены, что на спинке дивана и на стенах, которых он касался головой, оставались пятна.

Приезжали они обычно по четвергам, и отец вел нас обедать в трактир «Робин Гуд». Анни и маленькой Элен по этим дням не бывало. Матильда оставалась дома. С нами ходила только Белоснежка. И раз-другой — племянник Фреде.

Мой отец когда-то давно бывал здесь. Они с Гезой Пельмонтом вспоминали об этом как-то за обедом, а я слушал их разговор.

— Помнишь?.. — спросил Пельмонт.— Мы приходили сюда с Элиотом Зальтером...

— А замок-то разрушается,— сказал отец.

Замок стоял в конце улицы Доктора Дордена, напротив школы Жанны д'Арк. На приоткрытых решетчатых воротах висела полусгнившая доска, на которой с грехом пополам можно было прочесть: «Поместье реквизировано Американской армией и передано в распоряжение генерала Фрэнка Аллена». В четверг мы пролезали между створками ворот. Лужайка перед домом так заросла травой, что мы утопали в ней по пояс. В глубине вырисовывался замок в стиле Людовика XIII, по обоим краям фасада выступали вперед два флигеля. Позже я узнал, что построен был замок в конце XIX века. Мы запускали воздушного змея на лужайке, это был красно-голубой змей-самолет. Нам пришлось здорово помучиться, прежде чем он у нас взлетел. Справа от замка — холм, заросший соснами, с каменной скамьей, там любила сидеть Белоснежка... Она читала «Нуар э блан» или вязала, пока мы лазали на сосны. Но у нас с братом кружилась голова, и только племянник Фреде добирался до верхушек деревьев.

Под вечер мы вместе с Белоснежкой шли по тропинке, спускавшейся с холма, и забирались глубоко в лес. Мы доходили до хутора Метс. Осенью собирали каштаны. Булочник в Метсе был отцом моего одноклассника, и каждый раз, когда мы входили в булочную, там оказывалась его сестра, и я любовался ее длинными золотыми локонами, доходившими ей почти до пяток. А потом той же дорогой мы возвращались. В сумерках фасад замка с выступающими вперед флигелями выглядел зловещим, и у нас с братом сильно колотились сердца.

— Замок пойдем смотреть?

Отец произносил эту фразу всякий раз, когда мы кончали обедать. И, как и каждый четверг, мы шли по улице Доктора Дордена, а потом пролезали в приоткрытые створки ворот на лужайку. Правда, в эти дни с нами шел отец и кто-нибудь из его друзей: Бадель, Гордин, Степа или Роберт Флай.

Белоснежка садилась на каменную скамейку среди сосен, на свое привычное место. Отец подходил к замку и разглядывал фасад, смотрел на высокие замурованные окна. Он толкал входную дверь, и мы оказывались в холле, где под грудами мусора и опавших листьев просматривался выложенный плиткой пол. В глубине холла виднелась клеть лифта.

— Да, я был знаком с хозяином этого замка,— говорил отец.

Он прекрасно понимал, что нам с братом это было очень интересно. И потому рассказывал историю Элиота Зальтера, маркиза де Коссада, который в первую мировую войну, в свои двадцать лет, стал героем-авиатором. Потом он женился на аргентинке и стал арманьячным королем.

— Арманьяк,— сказал отец,— это спиртное, которое Зальтер, маркиз де Коссад, производил, разливал в очень красивые бутылки и продавал целыми грузовиками. Я помогал ему разгружать грузовики,— рассказывал отец.— А потом мы с ним считали вырученные деньги. Он купил этот замок. В конце войны он вместе с женой исчез, но он не умер и непременно однажды вернется.

Отец осторожно сорвал маленькое объявление, приклеенное на внутренней стороне входной двери. И отдал его мне. Я и сейчас без запинки могу сказать наизусть все, что там было написано:

Конфискация незаконных доходов.
Вторник, 23 июля в 14 часов,
на хуторе Метс.
Роскошное поместье
с замком и 300 гектарами леса.

— Хорошенько следите за замком, дети,— говаривал отец.— Маркиз вернется раньше, чем все думают...

И прежде чем сесть в машину приятеля, который в этот день был его шофером, он рассеянно махал нам рукой, и мы долго еще видели, как он слабо помахивал ею в окошке, когда машина была уже на пути в Париж.

Мы с братом решили пойти в замок ночью. Надо было дождаться, пока все в доме уснут. Матильда спала в крохотном флигеле в глубине двора: никакого риска, что мы на нее налетим. Спальня маленькой Элен была на втором этаже, в другом конце коридора, а комната Белоснежки рядом с нами. Паркет в коридоре слегка поскрипывал, но нам надо было только спуститься по лестнице, а уж там — бояться нечего, дорога свободна. Анни ложилась спать очень поздно, поэтому мы выбрали ночь, когда она не ночевала дома, ночь, когда Анни плакала в «Кэрролл'з».

В кухонном шкафу мы взяли большой электрический фонарь, посеребренный, светивший желтым светом. Оделись. Свитерки надели прямо на пижамы. Чтобы не заснуть, мы разговаривали об Элиоте Зальтере, маркизе де Коссаде. По очереди придумывали самые невероятные про него истории. Брат считал, что в те ночи, когда маркиз бывал в замке, он приезжал из Парижа последним поездом; в раскрытое окно нашей комнаты мы могли слышать мерный рокот этого поезда, прибывавшего на станцию в половине двенадцатого. Внимания к себе Элиот Зальтер старался не привлекать, потому и не оставлял у ворот замка автомобиль: это ведь вызвало бы подозре-

ния. И, как обычный человек, вышедший прогуляться, он шел ночью в свое поместье.

В одном мы были убеждены оба: Элиот Зальтер, маркиз де Коссад, по ночам бывал в холле замка. Перед его приходом мусор и сухие листья выметали, а потом, после его ухода, их приносили обратно, чтобы не оставалось никаких следов. А готовился так к приходу своего хозяина егерь Метса. Он жил в лесу, между хутором и аэродромом Виллакублэ. Мы его часто встречали, гуляя с Белоснежкой. У сына булочника мы узнали, что этого верного слугу, который так умел хранить тайну, звали Гроклод.

Жил он там, конечно, не случайно. В лесочке возле аэродрома мы обнаружили заброшенную взлетную полосу и большой ангар. Маркизу эта полоса нужна была ночью, чтобы улетать, разумеется, куда-нибудь очень далеко — на один из островов в Южных морях. Спустя некоторое время он оттуда возвращался. И в эти ночи Гроклод размечал полосу сигнальными огоньками, чтобы он мог приземлиться здесь без особого труда.

И вот маркиз сидит в кресле из зеленого бархата возле огромного камина, разожженного Гроклодом. За спиной маркиза накрыт стол: серебряные подсвечники, кружевные салфетки, хрусталь. Мы с братом входим в холл. Свет идет только от камина и горящих свечей. Гроклод первым замечает нас. На нем сапоги и брюки для верховой езды.

— Вы что здесь делаете?

Голос у него угрожающий. И по шее он вот-вот даст, и выставит вон. И потому лучше уж сразу, войдя в холл, сразу обращаться к маркизу де Коссаду. Надо было заранее обдумать, что мы ему скажем.

— Мы пришли повидать вас, потому что вы — друг моего отца.

Это я произношу первую фразу. А потом мы по очереди говорим ему:

— Добрый вечер, господин маркиз.

И еще я добавляю:

— Мы знаем, что вы — король арманьяка.

И только одно не давало мне покоя: что будет, когда маркиз Элиот Зальтер де Коссад повернет к нам голову. Отец рассказывал, что в первую мировую войну в воздушном бою у него было сильно обожжено лицо и он замазывал этот ожог желтоватыми румянами. В холле при свете свечей и горящих в камине дров это, наверное, будет выглядеть страшновато. Но я вспомнил, как отец говорил про маркиза, что он был сорвиголова: быть может, когда Элиот Зальтер повернется к нам, я наконец увижу то, что так тщетно пытаюсь разглядеть за улыбкой и светлыми глазами Анни — сорвиголову.

На цыпочках мы спускались по лестнице, держа туфли в руках. Будильник на кухне показывал двадцать пять минут двенадцатого. Мы осторожно закрывали за собой входную дверь и зарешеченную калитку, выходившую на улицу Доктора Дордена. Сидя на краю тротуара, зашнуровывали туфли. Рокот поезда становился все громче. Через несколько минут он подойдет к станции и оставит на перроне только одного пассажира: Элиота Зальтера, маркиза де Коссада и короля арманьяка.

Ночи мы выбирали светлые, лунные и звездные. Шнурки завязаны, фонарь спрятан между пижамной курточкой и свитером, теперь надо идти к замку. Пустынная в лунном свете улица, полная тишина и ощущение, что мы навсегда покинули дом, все это заставляло нас потихоньку замедлять шаг. Пройдя метров пятьдесят, мы поворачивали назад.

Теперь мы расшнуровывали туфли и закрывали за собой входную дверь. Будильник на кухне показывал без двадцати двенадцать. Я клал фонарь обратно в кухонный шкаф, и мы на цыпочках поднимались по лестнице.

Наши кровати стояли рядышком, и, забравшись в постель, мы испытывали некоторое облегчение. Мы тихо разговаривали о маркизе, и этот сюжет обрастал все новыми и новыми подробностями. Было уже за полночь, и там, в холле, Гроклод подавал ему ужин. В следующий раз, прежде чем повернуть обратно, мы пройдем чуть дальше, чем сегодня по улице Доктора Дордена. Дойдем до приюта. А в следующий раз — еще дальше, до фермы и парикмахерской. А в следующий раз — еще дальше. И так каждую ночь — все дальше и дальше. И останется нам пройти метров сорок, вот-вот и подойдем к решетчатым воротам замка. В следующий раз... В конце концов мы засыпали.

Очень скоро я заметил, что к Анни и маленькой Элен приходили люди, не менее загадочные и интересные, чем Элиот Зальтер, маркиз де Коссад.

Были ли это друзья Анни? Или маленькой Элен? Наверное, обеих. Вот Матильда вела себя с ними довольно сдержанно, часто вообще уходила в свой флигель. Может, она испытывала неловкость в их обществе, а может, они ей просто не нравились.

Сейчас я пытаюсь представить себе все лица, которые я тогда видел, у крыльца или в гостиной,— и больше половины для меня уже безымянны. Ничего не поделаешь. Но если бы мне удалось десятку этих лиц, всплывающих в воспоминаниях, дать имена, некоторых людей, и сейчас живых,— это смутило бы. Им пришлось бы припомнить, что у них были дурные знакомства.

Вот кого я прекрасно представляю себе, так это Роже Венсана, Жана Д. и Андре К., про которую говорили, что она «жена великого лекаря». Бывали они у нас два-три раза в неделю. Обедали с Анни и маленькой Элен в «Робин Гуде», а потом ненадолго заходили к нам и сидели в нашей гостиной. Или обедали у нас дома.

Иногда Жан Д. приезжал один. Анни привозила его из Парижа на своей малолитражке. Он, кажется, был ее самым близким другом, и, конечно, это он познакомил ее с Роже Венсаном и Андре К. Жан Д. и Анни были ровесниками. Когда Жан Д. приходил к нам в гости с Роже Венсаном, они всегда приезжали на большой, с открытым верхом, американской машине Роже Венсана. Время от времени с ними появлялась и Андре К., она сидела на переднем сиденье этой американской машины, рядом с Роже Венсаном, а сзади был Жан Д. Роже Венсану было в то время около сорока пяти лет, а Андре К.— тридцать пять.

Я помню, как мы в первый раз увидели американский автомобиль Роже Венсана перед своим домом. Дело шло к полудню, это было после уроков. Меня тогда еще не выгнали из школы Жанны д'Арк. Огромная машина с открытым верхом, бежевый кузов которой и красные кожаные сиденья издали поблескивали на солнце, изумила нас с братом так, словно на углу, за поворотом, мы столкнулись с самим маркизом де Коссадом. Впрочем, в эту минуту, как выяснилось позже, мы с братом подумали одно и то же: автомобиль принадлежит маркизу де Коссаду, он, стало быть, вернулся после всех своих приключений и по просьбе отца приехал к нам с визитом.

Я спросил у Белоснежки:

— Это чей же автомобиль?

— Одного из друзей твоей крестной.

Она всегда называла Анни моей крестной, так и было на самом деле — год назад нас окрестили в церкви святого Мартина в Биаррице, и мама попросила Анни быть моей крестной матерью.

Когда мы вошли в дом, дверь в гостиную была открыта, а на диванчике перед нашим bow-window сидел Роже Венсан.

— Идите поздоровайтесь,— сказала маленькая Элен.

Она только что разлила ликер по рюмкам и закрывала пробкой один из графинов с эмалевой табличкой. Анни разговаривала по телефону.

Роже Венсан встал с дивана. Он показался мне очень высоким. На нем был костюм в крупную клетку. Волосы у него были красиво подстрижены и зачесаны назад, они были совершенно седые, но старым он не казался. Он наклонился к нам. И улыбнулся:

— Здравствуйте, дети...

Он пожал нам по очереди руки. Чтобы пожать ему руку, я поставил портфель на пол. Я был в своей серой курточке.

— Ты пришел из школы?

Я сказал:

— Да.

— Ну, и как школа, все в порядке?

— Да.

Анни положила трубку и подошла к нам вместе с маленькой Элен, поставившей поднос с ликерами на низенький столик у дивана. Она протянула рюмку Роже Венсану.

— Патош с братом живут здесь,— сказала Анни.

— Тогда за здоровье Патоша и его брата,— сказал Роже Венсан, поднимая рюмку и широко улыбаясь.

Больше всего у Роже Венсана мне запомнилась его улыбка: она словно порхала у него на губах. Роже Венсан купался в ней, это была не жизнерадостная, а какая-то отстраненная, мечтательная улыбка, словно окутывавшая его легкой дымкой таинственности. Что-то мягкое было в его улыбке, голосе и манере поведения. Он все делал бесшумно. Вы и не слышали, как он пришел, а обернулись — он уже у вас за спиной. Из нашего окна мы несколько раз видели, как он подъезжал на своей американской машине. Она тихо останавливалась перед нашим домом, так прибой бесшумно выносит на берег сторожевой катер с выключенным мотором. Роже Венсан неторопливо выходил из машины, на губах его, как всегда, блуждала улыбка. Дверцей он никогда не хлопал, а тихо прикрывал ее.

В то утро мы уже пообедали на кухне с Белоснежкой, а они все еще сидели в гостиной. Матильда возилась в саду с большим розовым кустом, она посадила его на первой террасе, возле могилы доктора Гильотена.

В руках у меня был портфель, и Белоснежка собиралась проводить меня в школу Жанны д'Арк на послеобеденные уроки; в дверях появилась Анни и сказала мне:

— Хорошенько занимайся, Патош...

За ее спиной я видел маленькую Элен и Роже Венсана с его неизменной улыбкой. Они, конечно же, шли обедать в трактир «Робин Гуд».

— Ты ходишь в школу пешком? — спросил Роже Венсан.

— Да.

Даже разговаривая, он продолжал улыбаться.

— Если хочешь, я отвезу тебя на машине...

— Ты видел машину Роже Венсана? — спросила Анни.

— Да.

Она всегда называла его «Роже Венсаном», с почтительной нежностью, так, будто имя и фамилия его были связаны неразрывно. Я слышал, как она говорила с ним по телефону: «Алло, Роже Венсан... Добрый день, Роже Венсан...» Она была с ним на «вы». Анни и Жан Д. его просто обожали. Жан Д. тоже называл его «Роже Венсаном». Анни и Жан Д. говорили о нем так, будто рассказывали друг другу «истории из жизни Роже Венсана», как рассказывают старин-

ные легенды. Андре К., «жена великого лекаря», звала его просто «Роже» и была с ним на «ты».

— Тебе ведь доставит удовольствие прокатиться на этой машине до школы? — спросил меня Роже Венсан.

Он угадал, чего нам больше всего хотелось, мне и брату. Мы оба сели на переднее сиденье, рядом с ним.

Он дал задний ход и, величественно съехав по наклонной улочке, развернулся и покатил по улице Доктора Дордена. Мы скользили, будто по морю в штиль.. Я даже не слышал шума мотора. Так мы с братом впервые оказались в машине с открывающимся верхом. Она была такая огромная, эта машина, что занимала всю проезжую часть улицы.

— Вот она, моя школа...

Он остановил машину и, протянув руку к дверце, сам открыл ее, чтобы я мог выйти.

— Ну, давай, Патош.

Я был горд, что он зовет меня «Патош», будто знает меня давным-давно. Брат сидел теперь один рядом с ним и казался еще меньше на этом большом краснокожаном сиденье. Прежде чем войти во двор школы Жанны д'Арк, я обернулся. Роже Венсан махал мне рукой. И улыбался.

У Жана Д. не было американского автомобиля, зато у него были огромные часы, показывавшие секунды и минуты, часы и дни, месяцы и даже годы. Он объяснил нам сложный механизм этих часов с многочисленными винтиками. Вел себя с нами он запросто, не так, как Роже Венсан. И был намного моложе его.

Ходил он в замшевой куртке, спортивных свитерах под горло, а туфли носил на каучуковой подошве... Он тоже был худым и высоким. Черноволосый, с правильными чертами лица. Когда он смотрел на нас, его карие глаза светились какой-то лукавостью и грустью одновременно. Глаза округлялись, будто он всему удивлялся. Я завидовал его прическе, у него, как и у меня, была стрижка бобриком, но у него волосы были довольно длинные, а меня парикмахер стриг два раза в месяц, и так коротко, что этот ежик кололся, если я проводил рукой по затылку или вискам. Но что я мог поделать! Парикмахер брал свою машинку для стрижки волос и не спрашивал, нравится мне это или нет.

Жан Д. приходил к нам чаще других. Анни привозила его с собой в своей малолитражке. Он обедал с нами в столовой, сидя рядом с Анни за большим столом. Матильда звала его «малыш Жан», и той настороженности, которую она выказывала по отношению к остальным гостям, здесь не было и в помине. Он называл маленькую Элен «Лину», так же, как Матильда. И всегда говорил ей: «Ну как дела, Лину?», а меня он звал «Патош», как Анни.

Он дал нам с братом поносить свои часы. Целую неделю мы носили их по очереди. Кожаный ремешок был слишком велик для нас, и он проделал дырочку, чтобы часы не болтались на наших тонких запястьях. Я брал эти часы с собой в школу Жанны д'Арк и показывал их своим одноклассникам во время перемены, когда они обступили меня. Может быть, и директриса заметила эти огромные часы у меня на руке, а может, она видела из своего окна, как я приехал на американском автомобиле Роже Венсана... Вот она и подумала, что хватит с нее, и что мне не место в школе Жанны д'Арк.

— А что ты читаешь, какие книги? — спросил меня однажды Жан Д.

Они все пили кофе в гостиной после обеда: Анни, Матильда,

маленькая Элен и Белоснежка. Это был четверг. Мы ждали Фреде, которая должна была приехать со своим племянником. Мы решили, что после обеда пойдем к замку и обязательно войдем в него, как тогда с отцом. Рядом с племянником Фреде мы должны были стать храбрее и отважиться на такой шаг.

— Патош много читает,— ответила Анни.— Правда, Белоснежка?

— Он слишком много читает для своего возраста,— сказала Белоснежка.

Мы с братом обмакнули по кусочку сахара в чашку Анни и, как того требовала церемония гадания на кофейной гуще, надкусили сахар. Потом, когда они допьют кофе, Матильда прочтет в пустых чашках будущее, «прочтет кофейную гущу», как она говорила.

— А что ты читаешь? — спросил меня Жан Д.

Я ответил, что читаю «Зеленую библиотеку»: Жюля Верна, «Последнего из могикан»... но мне больше нравились «Три мушкетера», потому что там на плече у Миледи была выжжена лилия.

— Тебе надо читать «Черную серию»,— сказал Жан Д.

— Ты с ума сошел, Жан...— смеясь, сказала Анни.— Патош еще слишком мал для «Черной серии».

— Успеет он еще начитаться «Черной серии»,— сказала маленькая Элен.

По всей видимости, ни Матильда, ни Белоснежка не знали, что такое «Черная серия». Они молчали.

Через несколько дней он снова приехал на малолитражке с Анни. Дело было к ужину, шел дождь, на Жане Д. была куртка-канадка. Мы с братом в столовой слушали радиопередачу; увидев, что он входит вместе с Анни, мы привстали, чтобы поздороваться с ним.

— Знаешь,— сказал мне Жан Д.,— а я принес тебе «Черную серию».

Он вынул из кармана куртки черно-желтую книжку и протянул ее мне.

— Не верь ему, Патош...— сказала Анни.— Он шутит. Эта книга — не для тебя...

Жан Д. смотрел на меня слегка расширенными глазами, взгляд его был нежным и грустным. В какие-то минуты мне начинало казаться, что он — ребенок, такой же, как мы. Анни частенько разговаривала с ним так же, как с нами.

— Да нет...— сказал Жан Д.— Я уверен, что эта книга тебе понравится.

Чтобы не огорчать его, я взял ее, и по сей день, когда я вижу черно-желтую бумажную обложку, во мне эхом отзывается низкий, немного тягучий голос, голос Жана Д., повторявшего нам с братом название книги, которую он принес: «Башли не брать».

Было ли это в тот самый день? Шел дождь. Мы с Белоснежкой отправились за конвертами и бумагой для писем. Когда мы выходили из дома, Анни и Жан Д. сидели вдвоем в малолитражке, стоявшей у наших дверей. Они что-то обсуждали и были так увлечены разговором, что нас не увидели. Я все-таки помахал им рукой. Жан Д. поднял воротник своей куртки. Когда мы вернулись, они все еще сидели в машине. Я подошел к ним, но они меня даже не заметили. Они разговаривали и были чем-то озабочены.

Маленькая Элен раскладывала в столовой пасьянс и слушала радио. Матильда, должно быть, ушла к себе. Мы с братом поднялись в свою комнату. Я смотрел из окна на малолитражку под дождем. Они так и просидели в машине, проговорив до самого ужина. И что за секреты у них были?

Роже Венсан и Жан Д. часто приезжали к нам ужинать вместе с Андре К. Остальные гости появлялись после ужина. В эти вечера

все они допоздна засиживались в гостиной. В нашу комнату долетали взрывы смеха и громкие голоса. И звонки телефона. И еще звонки в дверь. Мы ужинали с Белоснежкой в половине восьмого на кухне. А в гостиной уже был накрыт стол для Роже Венсана, Жана Д., Андре К., Анни, Матильды и маленькой Элен. Готовила для них маленькая Элен, и все они в один голос говорили, что она была «отличная повариха».

Перед тем как идти наверх спать, мы заходили в гостиную сказать всем «спокойной ночи». На нас поверх пижам были надеты халатики — два халатика из шотландки нам подарила Анни.

Остальные гости съезжались постепенно в течение всего вечера. Я не мог удержаться от того, чтобы не смотреть на них сквозь прорези в ставнях, как только Белоснежка говорила нам «спокойной ночи» и гасила свет. Все они по очереди звонили в дверь. Я хорошо видел их лица — на крыльце горела яркая лампочка. Некоторые из них остались в памяти навсегда. И мне странно, что полицейские меня не допрашивали: дети ведь смотрят. И слушают.

— У вас очень красивые халатики,— говорил Роже Венсан.

И улыбался. Сначала мы здоровались за руку с Андре К., она всегда сидела в кресле в цветочек, возле телефона. Ей без конца звонили к нам. Маленькая Элен, снимавшая трубку, говорила:

— Андре, это тебя...

Андре К. непринужденно протягивала нам руку. Она тоже улыбалась, но улыбка мгновенно исчезала с ее лица, не то что у Роже Венсана.

— Спокойной ночи, дети.

Это была веснушчатая, зеленоглазая, скуластая шатенка с челкой на лбу. Она много курила.

Мы пожимали руку всегда улыбающемуся Роже Венсану. Потом Жану Д. Целовали Анни и маленькую Элен. Когда мы уходили из гостиной с Белоснежкой, Роже Венсан еще раз говорил, какие у нас элегантные халаты.

Мы уже подходили к лестнице, когда Жан Д. выглядывал из гостиной, приоткрыв дверь.

— Приятных сновидений.

Он смотрел на нас своими нежными, слегка расширенными глазами. Потом подмигивал и тихим голосом, словно речь шла о какой-то нашей общей тайне, говорил:

— Башли не брать.

Однажды в четверг у Белоснежки был выходной. Она хотела навестить кого-то из родственников в Париже и после обеда уехала с Анни и Матильдой на малолитражке. Мы остались одни под присмотром маленькой Элен. Играли в саду, ставили палатку, которую подарила мне на день рождения Анни. Под вечер приехал Роже Венсан, один. Они с маленькой Элен разговаривали во дворике перед домом, но я не слышал, о чем они говорили. Маленькая Элен сказала, что у них есть дела в Версале, и попросила нас составить им компанию.

Мы были рады, что снова поедем в американском автомобиле Роже Венсана. Это было в апреле, во время пасхальных каникул. Маленькая Элен села впереди. На ней были ее всегдашние брюки и ковбойская курточка. Мы с братом сидели на огромном заднем сиденье, и ноги у нас не доставали до низу.

Роже Венсан вел машину медленно. Он обернулся к нам и с улыбкой спросил:

— Хотите, я включу радио?

Радио? В этой машине, значит, и радио слушать можно? Он нажал кнопку из слоновой кости на приборной доске, и сразу же зазвучала музыка.

— Громче или тише, дети? — спросил он.

Мы не осмелились ответить ему. Мы слушали музыку, идущую из приборной доски. А потом какая-то женщина запела сиплым голосом.

— Это поет Эдит, дети,— сказал Роже Венсан.— Наша приятельница...

— Ты видишься с Эдит? — спросил он у маленькой Элен.

— Да. Иногда,— ответила маленькая Элен.

Мы ехали по очень длинному проспекту и прибыли в Версаль. Машина остановилась у светофора, и мы с восторгом рассматривали слева на лужайке огромные часы с цифрами, выложенными из цветов.

— Как-нибудь я поведу вас смотреть дворец,— сказала маленькая Элен.

Она попросила Роже Венсана остановиться у магазина, где продавали старую мебель.

— А вы, дети, останетесь в машине,— сказал Роже Венсан.— Присматривайте за ней хорошенько...

Мы, гордые таким важным поручением, следили за всеми прохожими, идущими мимо нас по тротуару. В оконном стекле магазина Роже Венсан и маленькая Элен разговаривали с усатым брюнетом в плаще. Они очень долго разговаривали. Они забыли о нас.

Потом они вышли из магазина. У Роже Венсана в руках был кожаный чемодан, который он положил в багажник. Он сел за руль, а маленькая Элен рядом с ним. Он обернулся ко мне:

— Никаких происшествий?

— Нет... Никаких...— сказал я.

— Ну что ж, тем лучше,— сказал Роже Венсан.

Обратно из Версаля мы ехали по улице, в конце которой виднелась кирпичная церковь. Рядом на пустыре вокруг сверкающей площадки-автодрома раскинулись ярмарочные палатки.

— Поведем их на автомобильчиках покататься, а, один разочек? — спросила маленькая Элен.

Все четверо мы ждали у бортика. Из громкоговорителей неслась слишком громкая музыка. Только в трех автомобильчиках сидели люди, двое наскакивали на третьего, толкая его с двух сторон одновременно, раздавались крики и взрывы хохота. Штанги машинок оставляли искрящиеся дорожки на потолке автодрома. Но больше всего меня пленили цвета автомобильчиков: бирюзовый, бледно-зеленый, желтый, фиолетовый, ярко-красный, сиреневый, розовый, темно-синий...

Они остановились, и их пассажиры покинули площадку. Брат сел с Роже Венсаном в желтый, а я с маленькой Элен — в бирюзовый.

Кроме нас, на площадке никого не было, а мы друг друга не толкали. За рулем сидели Роже Венсан и маленькая Элен. Катались по кругу, мы с маленькой Элен ехали за машиной Роже Венсана и брата. Вычерчивая зигзаги, проскальзывали между пустыми, замершими на площадке автомобильчиками. Музыка звучала потише, и человек, продавший нам билеты, стоял у бортика и грустно смотрел на нас, словно мы были его последними клиентами.

Уже совсем стемнело. Мы остановились у края площадки. Я еще раз оглядел все эти яркие машины. Потом мы с братом, когда легли, долго говорили о них. И решили завтра же устроить такой автодром у нас во дворе, взяв из гаража старые доски. Конечно, достать

автомобильчик будет трудно, но, может, удастся раздобыть какие-нибудь старые, уже негодные. Нам казалось, что самое важное — цвет: я выбирал между сиреневым и бирюзовым; брату очень нравился бледно-зеленый.

Было тепло, и Роже Венсан не поднимал верх машины. Он что-то говорил маленькой Элен, а я замечтался, думая об увиденных впервые в жизни маленьких автомобилях, и мне было не до взрослых разговоров. Мы ехали мимо аэродрома, скоро — поворот налево, а там — дорога ведет вниз, к нам. Вдруг они заговорили громче. Они не ссорились, они просто говорили об Андре К.

— Ну да...— сказал Роже Венсан.— Андре была связана с шайкой с улицы Лористон...

«Андре была связана с шайкой с улицы Лористон». Эта фраза потрясла меня. У нас в школе тоже была своя шайка: сын цветочника, сын парикмахера, еще двое или трое ребят, я их уже не помню, но они тоже жили на улице Доктора Дордена. Нас так и звали: «Шайка с улицы Доктора Дордена». И Андре К. была из шайки, как и мы, только с другой улицы. Эта женщина, в присутствии которой нам с братом всегда становилось не по себе, зеленоглазая и веснушчатая, с неизменной сигаретой во рту и таинственными звонками по телефону, эта женщина показалась мне более близкой. Похоже было, что и Роже Венсан, и маленькая Элен тоже хорошо знали «шайку с улицы Лористон». Я не раз слышал эти слова в их разговоре и даже привык к их звонкому звучанию. А несколько лет спустя лористонскую шайку упомянул отец, но я никак не предполагал, что она так долго и неотвязно будет преследовать меня.

Когда мы приехали на улицу Доктора Дордена, малолитражка Анни уже была на месте. За ней стоял большой мотоцикл. В прихожей Жан Д. сказал нам, что мотоцикл этот его собственный и что он доехал на нем до нашего дома от самого Парижа. Он не успел еще снять свою куртку. И пообещал потом покатать нас по очереди на мотоцикле, но сказал, что сегодня уже слишком поздно. Белоснежка должна была вернуться завтра утром. Матильда уже отправилась спать, Анни попросила и нас на минутку подняться к себе в комнату, чтобы они могли спокойно поговорить. В гостиной, с кожаным чемоданом в руке, появился Роже Венсан. Маленькая Элен, Анни и Жан Д. вошли вслед за ним и закрыли за собой дверь. Я смотрел на это с верхней ступеньки лестницы. О чем же они могли говорить там, в гостиной? И еще я услышал, как зазвонил телефон.

Через какое-то время Анни позвала нас. Мы ужинали все вместе в столовой: Анни, маленькая Элен, Жан Д., Роже Венсан и мы. В этот вечер за ужином мы были не в халатах, как обычно, а в своей дневной одежде. Готовила маленькая Элен — ведь она была «отличной поварихой».

На улице Доктора Дордена мы прожили больше года. В моих воспоминаниях осень, зима, весна и лето быстро сменяют друг друга. Зимой на Рождество мы пели в хоре нашей церкви. Анни, маленькая Элен и Матильда тоже пошли к мессе. Белоснежка праздновала Рождество в своей семье. Когда мы вернулись, дома был Роже Венсан, он сказал, что кое-кто ждет нас в гостиной. Мы с братом вошли и увидели в кресле в цветочек, возле телефона, деда-мороза. Он ничего не сказал. Молча протянул нам по блестящему серебристому свертку. Развернуть их мы не успели. Дед-мороз встал и сделал нам знак следовать за ним. Они с Роже Венсаном увлекли нас к застекленной двери, выходившей во двор. Роже Венсан включил

свет на крыльце. Бледно-зеленый автомобильчик — именно такой больше всего нравился моему брату — стоял на устроенном нами настиле из досок. Потом мы вместе ужинали. К нам присоединился и Жан Д. Он был точно такого же роста, что и дед-мороз, и жесты у него были совсем такие же. И часы.

Во дворе школы — снег. И еще идет дождь, мартовский, со снегом. Я вычислил, что он бывает через два дня на третий, и мог предсказывать погоду. И никогда не ошибался. Впервые в жизни мы пошли в кино. С Белоснежкой. Фильм был с участием Лорела и Харди [1]. В саду снова зацвели яблони. И опять вместе с шайкой с улицы Доктора Дордена мы ходили к мельнице, где все еще крутилось большое колесо. Снова начали запускать змея перед замком. Мы с братом больше не боялись входить в холл и бродить там, наступая на мусор и сухие листья. Мы забирались в самую глубину, в лифт с двумя зарешеченными створками, отделанный светлым деревом, обшитый панелями, и устраивались там на красном кожаном сиденье. Потолка не было, свет шел сверху, сквозь целую еще стеклянную крышу. Мы нажимали на кнопки, воображая, что поднимаемся на разные этажи, где нас, быть может, ждет маркиз Элиот Зальтер де Коссад.

Но он в тот год так и не появился. Было очень жарко. Мухи попадались на липучку, висевшую в кухне на стене. Мы с Белоснежкой и племянником Фреде устроили в лесу пикник. Хотя нам с братом больше хотелось попробовать, как наш автомобильчик будет скользить по старым доскам — позже мы узнали, что маленькой Элен удалось найти его благодаря одному знакомому ее друзей, который устраивал ярмарки.

Четырнадцатого июля Роже Венсан пригласил нас на ужин в трактир «Робин Гуд». Он приехал из Парижа с Жаном Д. и Андре К. Мы заняли столик в саду, среди статуй и кустов. Все были там: Анни, маленькая Элен, Белоснежка и даже Матильда. Анни была в своем голубом платье, черный пояс перетягивал ее талию. Я сидел рядом с Андре К., и мне хотелось расспросить ее про лористонскую шайку, с которой она была связана, но я не решился.

А осенью... Мы ходили с Белоснежкой в лес за каштанами. От родителей давно не было никаких известий. Последнюю открытку мама прислала из Туниса — вид города с птичьего полета. Отец написал нам из Браззавиля. Потом из Банги. И больше — ничего. Пришла пора сесть за парты. После утренней гимнастики учитель заставлял нас граблями собирать листья в школьном дворе. Дома мы этого не делали, листья становились со временем какими-то ржавыми, и бледно-зеленый автомобильчик теперь выделялся на их фоне. Он, казалось, был обречен до скончания века остаться здесь, среди сухих листьев. Мы с братом садились в него, и я брался за руль... Завтра мы придумаем, как можно кататься на этом автомобиле. Завтра... Всегда завтра, как и с нашими бесконечными еженощными походами в замок маркиза де Коссада.

Как-то опять не было света, и мы ужинали при керосиновой лампе. Вечером в субботу Матильда и Белоснежка разжигали камин в столовой и включали для нас радиоприемник. Несколько раз мы слушали, как пела Эдит, приятельница Роже Венсана и маленькой Элен. Вечером, перед сном, я листал альбом маленькой Элен, где она была снята вместе с другими цирковыми артистами. Двое из них меня просто потрясли: американец Честер Кингстон, «человек-резина», так выкручивавший себя, что его называли «человеком без костей». И Альфредо Кордона, воздушный гимнаст, учитель маленькой Элен, о котором она нам часто рассказывала. Мир цирка и мюзик-холлов — только в этом мире мы с братом хотели бы жить, когда вы-

[1] Знаменитый голливудский комический дуэт.

растем, может быть, потому, что мама водила нас, маленьких, в ложи и за кулисы театров.

Все по-прежнему приходили к нам. Роже Венсан, Жан Д., Андре К. ...и все остальные, по вечерам звонившие в дверь, за кем я шпионил, сквозь щели в ставнях рассматривая их лица, освещенные лампочкой на крыльце. Голоса, смех, телефонные звонки. И Анни с Жаном Д. в малолитражке под дождем.

Никого из них я никогда потом не видел, только Жана Д., и то однажды. Мне было двадцать лет. Я жил в комнате на улице Кусту, возле площади Бланш. Я писал свою первую книгу. Приятель пригласил меня поужинать в ресторанчике неподалеку. Когда я пришел, за его столиком было еще двое сотрапезников: Жан Д. и девушка, которая была с ним.

Он почти не постарел. Виски слегка тронуты сединой, тот же ежик. У глаз — маленькие морщинки. Вместо куртки-канадки — весьма элегантный серый костюм. Я подумал, что мы с ним здорово изменились. За все время обеда ни он, ни я о прошлом не обмолвились. Он спросил, чем я занимаюсь. Обращался ко мне на «ты», звал меня «Патрик». И наверняка сказал тем двоим, что давно знает меня.

Мне о нем было известно немного больше, чем во времена детства. В тот год газеты только и писали о похищении марокканского политического деятеля[1]. Один из замешанных в этой истории умер у себя дома, на улице Де Ренод, при загадочных обстоятельствах в ту самую минуту, когда полиция высаживала дверь в его квартиру. Жан Д. был другом этого человека и последним, кто видел его живым. Он подтвердил это в суде, и газеты писали об этом. Но в статьях были и другие подробности: Жан Д. некогда отсидел семь лет в тюрьме. В чем там было дело, не уточнялось, но, судя по всему, неприятности у него начались именно в те времена.

Мы и слова не произнесли о тех статьях. Я его просто спросил, живет ли он в Париже.

— У меня своя контора, на улице Фобур Сент-Оноре. Надо бы тебе зайти ко мне...

После ужина приятель мой куда-то исчез. Я остался один с Жаном Д. и девушкой, брюнеткой лет на десять моложе его.

— Я тебя подвезу куда-нибудь?

Он открыл дверцу «ягуара», стоявшего у входа в ресторан. Из газет я знал, что в определенных кругах его называли Длинным на «ягуаре». С самого начала обеда я все пытался завязать такой разговор, чтобы можно было порасспросить его о прошлом, до сих пор для меня загадочном.

— Это из-за этой машины тебя прозвали Длинным на «ягуаре»? — спросил я.

Но он пожал плечами и ничего не ответил.

Он решил зайти ко мне, на улицу Кусту. Они вскарабкались вслед за мной по узенькой лестнице, потертая красная дорожка на ней чем-то пахла. Они вошли в мою комнату, и девушка села на единственное сиденье — плетеное кресло. Жан Д. остался стоять.

Странно было видеть его в этой комнате, в элегантном сером костюме и темном шелковом галстуке. Девушка оглядывалась по сторонам и, похоже, была не в восторге от убранства комнаты.

— Ты пишешь? И у тебя получается?

Склонившись над ломберным столиком, он рассматривал листы бумаги, которые я изо дня в день пытался заполнить.

— Дерзаешь, с пером наперевес?

Он улыбнулся мне.

---

[1] Намек на знаменитое дело Бен Барки (1920—1965), лидера партии «Национальный союз народных сил».

— Здесь не топят?

— Нет.

— И ты как-то обходишься?

Что я мог ему ответить? Я понятия не имел, как заплатить в конце месяца пятьсот франков за жилье. Мы, конечно, очень давно знакомы, но это же не повод жаловаться на жизнь.

— Обхожусь.

— Что-то непохоже.

На какую-то минуту мы с ним оказались лицом к лицу в оконном проеме. И хотя его называли Длинный на «ягуаре», я теперь был чуть выше его. Он ласково и открыто посмотрел на меня, совсем как во времена улицы Доктора Дордена. Жан Д. провел языком по губам, и я вспомнил, что он делал это часто у нас дома, когда задумывался. Его манеру вот так водить языком по губам и так пропадать где-то глубоко в своих мыслях я встречал позже у другого, совсем не похожего на него человека — Эмманюэля Берля [1]. И это меня потрясло.

Он молчал. Я тоже. Его приятельница по-прежнему сидела в кресле и листала журнал, валявшийся на кровати,— она подобрала его, проходя к креслу. Хорошо, что здесь была эта девушка, а то мы бы завели разговор с Жаном Д. Это было нелегко, я прочел это в его взгляде. С первыми же словами мы превратились бы в подобия фигурных мишеней в тире: задетые пулей, они тут же падают. Анни, маленькая Элен и Роже Венсан наверняка кончили тюрьмой... Я потерял брата. Ниточка разорвалась. Тонкая ниточка паутинки. От всего этого не осталось ничего...

Он повернулся к своей приятельнице и сказал ей:

— Отсюда прекрасный вид... Прямо Лазурный Берег...

Окно выходило на узкую пустынную улочку Пюже. На углу — сине-зеленый бар, бывшие «Сыры и вина», перед баром несла караул одинокая девица. Всегда одна и та же. И всегда напрасно.

— Прекрасный вид, правда?

Жан Д. разглядывал комнату, кровать, ломберный столик, за которым я писал каждый день. Он стоял спиной ко мне. Его приятельница, упершись лбом в оконное стекло, глядела на улицу Пюже.

Они распрощались, пожелав мне удачи. Чуть позже я обнаружил на ломберном столике четыре аккуратно сложенные пятисотфранковые бумажки. Я пытался найти его контору на улице Фобур Сент-Оноре. Пустые хлопоты. Я никогда больше не видел Длинного на «ягуаре».

По четвергам и субботам, когда не было Белоснежки, Анни брала нас с собой в Париж. Маршрут был всегда один и тот же, и, несколько напрягая память, я его восстановил. Мы ехали по Западному шоссе, затем туннелем Сен-Клу. Переезжали по мосту Сену, ехали по набережным Булони и Нёйи. Я помню роскошные дома, стоявшие на этих набережных, защищенные решетками и листвой; баржи и плавучие виллы, к которым спускались по деревянным лестницам: у общего спуска висели почтовые ящики, на каждом из них было написано название.

— Куплю я баржу,— говорила Анни,— и мы все будем жить здесь на ней.

Мы подъезжали к Порт-Майо. Я легко вспомнил это место по маленьким вагончикам, ездившим по Ботаническому саду. Однажды после обеда Анни повела нас покататься на этом поезде. Вот тут неподалеку и заканчивалось наше путешествие, в квартале, где слились до неразличимости Нёйи, Леваллуа и Париж.

[1] Герой книги П. Модиано «Эмманюэль Берль. Допрос».

На той улице кроны деревьев, росших по обеим ее сторонам, образовывали свод. Домов не было. Только сараи и гаражи. Мы останавливались возле самого большого и самого современного гаража, светло-коричневый фасад его украшал фронтон.

Внутри была комната, огороженная стеклом. Там нас ждал блондин с вьющимися волосами, он сидел в кожаном кресле за металлическим бюро. Лет ему было столько же, сколько и Анни. Они говорили друг другу «ты». Как и Жан Д., он носил клетчатую рубашку, замшевую куртку, а зимой — канадку и туфли на каучуке. Мы с братом между собой звали его «Бак Дэнни», потому что мне казалось, что он похож на персонажа из детского журнальчика, который я тогда читал.

Что могли рассказывать друг другу Анни и Бак Дэнни? И что они могли делать, когда дверь закрывалась изнутри на ключ, а за стеклами опускались оранжевые шторы? Мы с братом гуляли по гаражу, еще более таинственному, чем холл замка, брошенного Элиотом Зальтером, маркизом де Кассадом. Рассматривали автомобили, все по очереди; у одного не хватало крыла, у другого — капота, у третьего — шины; человек в спецовке лежал под кабриолетом и что-то чинил там с помощью разводного ключа; другой, со шлангом в руке, заправлял бензином бак грузовика, только что с ужасающим ревом подъехавшего. А однажды мы узнали американский автомобиль Роже Венсана с открытым верхом и решили, что они с Баком Дэнни — друзья.

Несколько раз мы заезжали за Баком Дэнни к нему домой, там вдоль бульвара стояло много похожих зданий, мне сейчас кажется, что это был бульвар Бертье. Мы ждали Анни на тротуаре. Она выходила к нам вместе с Баком Дэнни. Мы оставляли нашу малолитражку возле его дома и все вчетвером шли пешком в его гараж маленькими улочками, обсаженными деревьями, застроенными сараями.

В гараже было прохладно, и запах бензина был гораздо сильнее того запаха мокрой травы и воды, который мы вдыхали, когда, застыв, сидели у мельницы. А вот полумрак здесь был такой же, особенно по углам, где дремали брошенные автомобили. Их кузовы поблескивали в этом полумраке, и я не мог оторвать глаз от металлической таблички на стене, желтой таблички, на которой читал название из семи букв, выгравированных черным: КАСТРОЛ; начертание этого слова и звучность его и сегодня как-то волнуют меня.

Однажды в четверг Анни взяла меня с собой одного. Брат с маленькой Элен поехал в Версаль за покупками. Мы остановились перед домами, в одном из которых жил Бак Дэнни. Но на этот раз она вернулась без него.

В гараже, на месте, его тоже не было. Мы снова сели в малолитражку. Ездили по маленьким улочкам всего квартала. Кружили среди улочек, похожих одна на другую и деревьями, и сараями.

В конце концов она остановилась возле кирпичного особнячка, я думаю сейчас, не был ли этот дом в Нёйи заставой, где когда-то брали ввозную пошлину? Но к чему отыскивать те места? Анни обернулась и протянула руку, чтобы взять с заднего сиденья план Парижа и какую-то вещь непонятного мне назначения: это был портсигар из коричневой крокодиловой кожи.

— Держи, Патош... Я тебе его дарю... Он позже пригодится тебе.

Я рассматривал крокодиловый портсигар. Он был окантован металлом, внутри лежали две чудесно пахнувшие сигареты светлого табака. Я вынул их из портсигара и в ту минуту, когда хотел поблагодарить за подарок и отдать Анни сигареты, вдруг увидел в профиль ее лицо. Она смотрела прямо перед собой. По щеке ее стекала слеза. Я не осмелился ничего сказать, и в голове прозвучала фраза племянника Фреде: «Анни всю ночь проплакала в «Кэрролл'з».

Я крутил в руках портсигар. Ждал. Она повернулась ко мне. Она мне улыбалась.

— Тебе нравится?

И резко тронула машину. У нее все жесты были резкими. Она всегда носила куртки и мужские брюки. Только вечером переодевалась. Ее светлые волосы были очень коротко острижены. Но в ней было столько женской мягкости и какая-то удивительная хрупкость... По дороге домой я все время вспоминал, какое у нее было серьезное лицо, когда они сидели вдвоем с Жаном Д. под дождем в малолитражке.

Я вернулся в этот квартал двадцать лет назад, примерно тогда я и встретил снова Жана Д. В июле и августе я жил рядом со сквером Грезиводан, в крохотной мансарде. Кровать стояла вплотную к умывальнику. Здесь же была и дверь, и чтобы войти в комнату, надо было перевалиться через кровать. Я пытался закончить свою первую книжку. И гулял где-то на границе XVII округа, Нёйи и Леваллуа, там, куда Анни возила нас с братом в свободные от школы дни. Гулял по всем этим местам, про которые трудно было сказать, Париж это или уже пригород, тем более что с карты города к этому времени все улочки в связи со строительством окружной дороги уже исчезли, а вместе с ними и гаражи с их тайнами.

Живя в том самом квартале, который мы так часто объезжали вместе с Анни, я о ней ни разу не вспомнил. Меня тогда преследовало более далекое прошлое, связанное с отцом.

Его арестовали февральским вечером в ресторане на улице Мариньян. Документов при нем не было. Полиция ввела проверку документов в связи с новым немецким распоряжением: евреям в общественных местах после двадцати ноль-ноль появляться запрещено. Воспользовавшись темнотой и минутой, когда подъехал «черный ворон» и полицейские на мгновение потеряли бдительность, отец убежал.

На следующий год его схватили дома. Отвезли в камеру предварительного заключения, затем в одну из пристроек концлагеря Дранси в Париже, на Вокзальной набережной, где был устроен гигантский склад товаров: там собралось все добро, награбленное немцами у евреев: мебель, посуда, белье, игрушки, ковры и произведения искусства, расставленные по полкам на разных этажах, словно в «Галери Лафайет». Интернированных заставляли разгружать прибывавшие машины и загружать те, которые отправлялись в Германию.

Однажды ночью кто-то подъехал на автомобиле к Вокзальной набережной и освободил отца. Я считал — верно ли, неверно,— что этот кто-то был Луи Паньон, известный как «Эдди»; его вместе со всей лористонской шайкой расстреляли после Освобождения.

Да, кто-то вытащил моего отца из «дыры», так он сам однажды выразился, когда мы сидели с ним вдвоем; мне тогда было пятнадцать, и он позволил себе пуститься в откровения. В тот вечер я почувствовал, что ему хотелось передать мне свой жизненный опыт, но он не нашел для этого слов. Так Паньон или кто-то другой? Мне позарез нужен был ответ на мучившие меня вопросы. Что связывало этого человека с моим отцом? Может, они воевали в одном полку? Или случайно встретились еще до войны? В пору, когда я жил возле сквера Грезиводан, я пробовал разрешить эту загадку, пытаясь отыскать следы Паньона. Я получил доступ к старым архивам. Паньон родился в Париже, в X округе, между площадью Республики и каналом Сен-Мартен. Отец мой тоже провел детство в X округе, но чуть дальше, почти в районе Отвилля. Может, они познакомились в школе? В 1932 году Паньон был приговорен уголовным судом к легкому наказанию за «содержание игорного дома». С 1937 по 1939 год служил в гараже XVII округа. Был знаком с неким Анри, агентом

по продаже автомобилей «симка», жившим у Порт-де-Лила, и с одним человеком, которого звали Эдмон Делей, он руководил мастерской на фирме «Савари», изготовлявшей кузова в Обервилье. Все трое часто встречались, все занимались автомобилями. Пришла война, оккупация. Анри организовал своеобразный офис «черного рынка» — контору по сбыту товара, Эдмон Делей был у него секретарем, Паньон — шофером. Они вместе с другими подозрительными типами поселились в гостинице на улице Лористон, неподалеку от площади Звезды. Эти подонки — так сказал про них мой отец — скатывались все ниже и ниже, от крупных афер на черном рынке они дошли до сотрудничества с немецкой полицией.

Паньон был замешан в одной спекулятивной афере, которая в следственных материалах именовалась «делом о покрышках из Биаррица».

Речь шла об огромном количестве покрышек, которые Паньон скупил у контрабандистов всей области. Он дюжинами связывал их и свозил куда-то к Байонскому вокзалу. Ими уже были забиты шесть вагонов. В Париже, опустошенном оккупацией, Паньон гонял на автомобиле, купил себе скаковую лошадь, жил в роскошных апартаментах на улице Бель-Фёй, а в любовницах у него была жена какого-то маркиза. Вместе с ней он бывал в манежах Нёйи, Барбизоне и в ресторанчике «Запретный плод» в Буживале... Когда же отец познакомился с Паньоном? В пору истории с покрышками из Биаррица? Поди знай. В 1939 году, как-то под вечер, мой отец остановился возле гаража в XVII округе, чтобы сменить колесо у своего «форда», и там оказался Паньон. Они разговорились, и Паньон, быть может, о чем-то посоветовался с ним или попросил о какой-нибудь услуге, они пошли в соседнее кафе выпить по стаканчику вместе с Анри и Эдмоном Делеем... Бывают же странные в жизни встречи.

Я болтался в районе Порт-де-Лила, надеясь, что там еще помнят агента по продаже автомобилей «симка», жившего где-то неподалеку в 1939 году. Некоего Анри. Но нет. Это имя никому ничего не говорило. В Обервилье, на улице Жана Жореса, мастерских Савари по изготовлению кузовов, где работал Эдмон Делей, давным-давно уже не было. А тот гараж XVII округа, в котором работал Паньон? Если б мне повезло и я нашел бы его, бывший механик рассказал бы мне о Паньоне, а главное, я ведь очень на это надеялся, об отце. И я знал бы все, что мне надо было знать, все, что знал мой отец.

Я составил список гаражей XVII округа, особо выделяя те, которые располагались на границе с другими округами. Интуиция подсказывала мне, что Паньон работал в одном из них:

Гараж у водохранилища,
Бывшее акционерное общество гаражей — «Авто-стар»,
Ван Зон,
Викар и К°,
Вилла «Авто»,
Гараж «Лазурный Берег»,
Гараж «Каролина»,
Шампере — «Марли-автомобили»,
«Хрустальный гараж»,
«Де Корсак»,
Гараж «Эдем»,
«Северная Звезда»,
«Автоспорт гараж»,
Франко-американский гараж,
С. О. К. О. В. А.,
Автомобили «мажестик»,
Гараж «Виллы»,
Авто-люкс,

Гараж святого Петра,
Гараж «Кометы»,
Голубой гараж,
Автомобили «мэтфорд»,
Диак,
Гараж Корского леса,
Гараж Ас,
Диксмуд — Палас-авто,
Транспорт-Буффало,
Дювивье (Р) С. А. Р. Л.,
Авто-Ремиз,
Братья Лансьен,
Гараж доков Жонкьера.

Теперь я думаю, что гараж, куда возила нас с братом Анни, конечно же, был одним из них. Может, даже тот самый, в котором работал Паньон. Я вспоминаю пышную листву деревьев на улице, бежевый фасад с фронтоном... Его снесли вместе с другими, и для меня все эти годы — не что иное, как долгие и тщетные поиски утраченного гаража.

С Анни я бывал еще в одном квартале Парижа, который потом без труда узнал: Монмартр, улица Жюно. Анни останавливала малолитражку перед белым домиком со стеклянной дверью в кованой оплетке. Она просила подождать ее. Она ненадолго. И входила в дом.

Я гулял по улице. Быть может, именно с тех пор я так люблю этот квартал. Крутая лестница соединяла улицу Жюно с другой, ниже уровнем, и мне очень нравилось спускаться этой лестницей. По улице Коленкур я проходил всего несколько метров, не решаясь двигаться дальше. Я быстро поднимался по лестнице в страхе, что Анни уедет и оставит меня одного.

Но я всегда появлялся раньше, и мне еще приходилось ждать ее, как ждали мы ее в гараже, когда за стеклянными стенами служебной комнаты Бака Дэнни опускались оранжевые шторы. Она выходила из подъезда вместе с Роже Венсаном. Он улыбался мне. И делал вид, что мы встретились случайно.

— Надо же... И что ты тут делаешь?

А назавтра говорил Андре К., Жану Д. или маленькой Элен:

— Забавно... Я встретил Патоша на Монмартре... Не понимаю, что он мог там делать...— И поворачивался ко мне: — Ничего им не говори. Вообще, чем меньше рассказывать, тем лучше.

На улице Жюно Анни его целовала. Она звала его «Роже Венсан», говорила ему «вы», но целовала его.

— Когда-нибудь я позову тебя к себе в гости,— говорил мне Роже Венсан.— Я здесь живу...

И он показывал на дверь в кованой оплетке.

Мы втроем шли по улице. Его американской машины перед домом не было, и я спросил его почему.

— Я ставлю ее в гараж напротив...

Мы проходили мимо отеля «Альсина», неподалеку от лестницы. Однажды Анни сказала:

— А первое время мы жили здесь, с маленькой Элен и Матильдой... Видели бы вы, какое лицо было у Матильды...

Роже Венсан улыбался. А я, не отдавая себе в этом отчета, слушал все, что они говорили, и каждое сказанное ими слово отпечатывалось в моей памяти.

Много позже, женившись, я несколько лет жил в этом квартале. Почти каждый день я поднимался на улицу Жюно. Однажды после

обеда меня вдруг словно повело: я толкнул стеклянную дверь белого домика. Позвонил к консьержке. Рыжеволосый человек высунул голову в приоткрытую дверь.

— Что вам угодно?

— Я хотел бы узнать кое-что о человеке, который двадцать лет назад жил в этом доме...

— Но меня еще тогда здесь не было, мсье...

— А вы не могли бы мне сказать, где навести о нем справки?

— Обратитесь в гараж напротив. Они там всех на свете знали.

Но я не обратился в гараж напротив. Я столько дней искал в Париже гаражи и не находил их, что совсем в них разуверился.

Летом дни становились длиннее, и Анни, менее строгая, чем Белоснежка, разрешала нам играть вечерами на пологой улочке, напротив дома. В эти вечера мы халатиков не надевали. После ужина Анни провожала нас до двери и вручала мне свои часы-браслет:

— Можете играть до половины десятого... В половине десятого вы идете домой... Следи за временем, Патош... Я на тебя полагаюсь...

Если Жан Д. был у нас в гостях, он доверял мне свои огромные часы. Он что-то заводил там, и в девять тридцать — точнехонько — звенел звоночек, как у будильника, и мы знали, что нам пора домой.

Мы спускались вниз к дороге, где изредка еще проезжали машины. Справа в сотне метров — вокзал, старинный фахверковый домик похож был на виллу у моря. Перед ним — пустынная эспланада, обсаженная деревьями, рядом расположилось ВОКЗАЛЬНОЕ КАФЕ.

Однажды в четверг отец приехал не на машине одного из друзей, а на поезде. И после обеда мы вдвоем провожали его на вокзал. Мы пришли раньше времени, и он повел нас на террасу вокзального кафе. Мы с братом пили кока-колу, а он — коньяк с водой.

Заплатив по счету, он поднялся, и мы пошли к поезду. На прощанье он сказал:

— Не забудьте... Если увидите вдруг в замке маркиза де Коссада, передайте ему привет от Альбера...

С угла улицы и дороги, надежно защищенные от чужих глаз зарослями жасмина, мы наблюдали за жизнью вокзала. Время от времени оттуда появлялись приехавшие пассажиры и тут же рассеивались кто куда: кто в деревню, кто к мельнице в Бьевре, а кто и на хутор Метс. Прибывавших становилось все меньше и меньше. А скоро эспланаду пересечет одинокий и единственный пассажир. Маркиз де Коссад? Нет, в самом деле, сегодня же ночью мы решимся на великое приключение и пойдем в замок. Но мы прекрасно знали, что экспедиция эта будет бесконечно откладываться на завтра.

Мы надолго замирали у изгороди трактира «Робин Гуд». Слушали разговоры тех, кто обедал за столиками в саду. За изгородью мы их не видели, но совсем рядом слышали их голоса. Слышали позвякивание приборов, скрип гравия под ногами официантов. Запахи некоторых блюд смешивались с ароматом жасмина. Но жасмином пахло больше. Вся улица им благоухала.

А наверху зажигалось bow-window нашей гостиной. Возле дома стояла машина Роже Венсана. В тот вечер он приехал с Андре К., «женой великого лекаря», той, которая была связана с шайкой с улицы Лористон и говорила «ты» Роже Венсану. Половины десятого еще не было, но Анни уже вышла из дома в своем голубом платье, перехваченном черным поясом. Мы снова, пригибаясь, бежали через улицу, прячась за кустами лесочка, протянувшегося за протестантской церквушкой. Анни приближалась. Ее светлые волосы белели пятнышком в гуще сумерек. Мы слышали ее шаги. Она искала нас. Это у нас с ней была такая игра. Каждый раз мы прятались в новом месте на пустыре, заросшем деревьями, кустами и высокой тра-

вой. В конце концов Анни находила нас, потому что мы не выдерживали и, когда она оказывалась слишком близко, начинали дико хохотать. Все втроем мы возвращались домой. Она была ребенком, как и мы.

Какие-то фразы врезаются в память навсегда. Однажды под вечер во дворе протестантской церквушки, которая была напротив нашего дома, устроили что-то вроде ярмарки. Сверху, из окна нашей комнаты, хорошо были видны маленькие прилавки, вокруг которых толпились дети и их родители. За обедом Матильда спросила меня:

— Тебе хотелось бы пойти в церковь, на праздник, а, дурачишка?

Она привела нас туда. Мы взяли один лотерейный билет и выиграли две коробки пирожных. На обратном пути Матильда сказала мне:

— Вам позволили участвовать в этом празднике потому, что я протестантка, вот так, дурачишка!

Она была сурова, как обычно, и ее всегдашнее черное платье было заколото камеей.

— И заруби себе на носу: протестанты видят все! От них ничего не скроешь! У них не по два глаза, как у всех! У них есть еще один на затылке! Понял?

Она показала мне пальцем на свой пучок.

— Понял, дурачишка? Глаз на затылке!

С тех пор мы с братом чувствовали себя при ней очень неуютно, особенно оказываясь за ее спиной. Прошло много времени, пока я понял, что протестанты — такие же люди, как и все прочие, и перестал, встречая их, переходить на другую сторону тротуара.

Никогда больше ни одна сказанная фраза не произведет на нас такого впечатления. Вроде как улыбка Роже Венсана. Я никогда больше ни у кого не видел похожей улыбки. Даже когда Роже Венсана не было, улыбка его порхала в воздухе. Еще я иногда вспоминаю фразу, которую сказал мне Жан Д. Однажды утром он прокатил меня на мотоцикле до дороги на Версаль. Ехал он не слишком быстро, и я держался за его куртку. На обратном пути мы остановились у дверей «Робин Гуда». Он хотел купить сигарет. Кроме хозяйки, в баре не оказалось никого; это была молодая, очень красивая блондинка, конечно, не та, которую знавал мой отец, когда он обедал в этом трактирчике с Элиотом Зальтером, маркизом де Коссадом, а может, и с Эдди Паньоном.

— Пачку «Балто»,— попросил Жан Д.

Хозяйка протянула ему пачку сигарет, улыбнувшись нам обоим. Когда мы вышли, Жан Д. серьезным голосом сказал мне:

— Знаешь ли, старина... Женщины... Издали они кажутся восхитительными... Но вблизи... С ними надо быть начеку...

И он вдруг погрустнел.

Однажды в четверг мы играли на пригорке возле замка. Маленькая Элен со скамеечки, где обычно сидела Белоснежка, наблюдала за нами. Мы лазали по соснам. Я забрался слишком высоко и, карабкаясь с ветки на ветку, едва не сорвался. Когда я спустился с дерева, маленькая Элен была белая как мел. В тот день на ней были брюки как у наездницы и болеро, расшитое перламутром.

— Это очень глупо... Ты же мог убиться...

Я никогда не слышал, чтобы она говорила таким резким тоном.

— Чтоб ты больше не смел...

Я так не привык видеть ее рассерженной, что готов был заплакать.

— Мне пришлось оставить цирк из-за такой вот глупости...

Она взяла меня за плечо и потащила к каменной скамье под деревьями. Усадила меня. Вынула из внутреннего кармана своего болеро крокодиловый бумажник — того же цвета, что и портсигар, подаренный мне Анни, наверное, из одного магазина. И вот из этого бумажника она достала листочек и протянула его мне.

— Читать умеешь?

Это была заметка из газеты, с фотографией. Я прочел то, что было написано большими буквами: «ВОЗДУШНАЯ ГИМНАСТКА ЭЛЕН ТОШ ПОЛУЧИЛА СЕРЬЕЗНУЮ ТРАВМУ. МУСТАФА АМАР У ПОСТЕЛИ БОЛЬНОЙ». Маленькая Элен взяла у меня заметку и положила ее обратно в бумажник.

— Это ведь в одну минуту случается, несчастье... Я была как и ты... Я не знала... Была уверена...

Казалось, она пожалела, что разговаривает со мной как со взрослым:

— Приглашаю вас полакомиться... Идем в кондитерскую есть пирожные...

Вдоль всей улицы Доктора Дордена я шел за ней и смотрел, как шла она. Она слегка хромала, а ведь до тех пор мне и в голову не приходило, что не всегда же она хромала. Итак, в жизни случаются несчастные случаи. Это открытие меня сильно взволновало.

В тот день, когда я один ездил с Анни в Париж и она подарила мне портсигар из крокодиловой кожи, мы с ней в конце концов нашли дорогу, выбравшись из маленьких, теперь разрушенных, улочек XVII округа. Ехали, как всегда, вдоль набережных Сены. Ненадолго остановились, постояли на берегу в Нёйи, у острова Пюто. А потом смотрели с высоты деревянных лестниц, спускавшихся к светлым понтонам, на плавучие виллы и баржи, превращенные в жилье.

— Хорошо бы нам скорее переехать, Патош.. И мне бы хотелось жить именно здесь...

Она уже говорила нам об этом, и много раз. Нас несколько смущало, что мы должны уехать из дома. Но жить на одной из этих барж... День за днем мы ждали, когда же начнется наше новое приключение.

— У вас будет каюта на двоих... С иллюминаторами... Там будет большой салон и бар...

Она мечтала вслух. Мы опять сели в машину. После туннеля Сен-Клу, на автостраде, она обернулась ко мне. Ее светлый взгляд тепло обволакивал меня.

— Знаешь, что тебе надо делать? Каждый вечер ты должен записывать все, что делал днем... Я куплю тебе для этого тетрадь...

Это была хорошая мысль. Я сунул руку в карман, чтобы убедиться, что портсигар на месте, как всегда.

Некоторые вещи исчезают из твоей жизни, как только позволишь себе на минуту быть невнимательным к ним, но этот портсигар был мне верен. Я знал, что он всегда у меня под рукой, в ящике ночного столика, на полке в шкафу, в глубине парты или внутреннем кармане куртки. Я был так уверен в нем, в том, что он есть, что в конце концов забывал про него. Но не в те часы, когда мне было тоскливо. Тогда я рассматривал его со всех сторон и со всех точек зрения. Это было единственное осязаемое свидетельство того периода моей жизни, о котором я не мог ни с кем говорить, и порой даже задумывался: а было ли это все со мной на самом деле.

И все-таки однажды я чуть его не потерял. Я учился в коллеже,

собственно говоря, ждал, пока пройдет время и мне исполнится семнадцать. Мой портсигар был предметом вожделения двух братьев-близнецов из весьма состоятельного буржуазного семейства. Многочисленные родственники этих братьев учились в других классах коллежа, а про их отца говорили, что он «первое ружье Франции». Если бы они все объединились против меня, я бы защититься не смог.

Надо было, чтобы меня выставили из этого коллежа, и как можно скорее,— другого способа избавиться от них я не видел. Однажды утром я убежал с занятий и воспользовался этим, чтобы побывать в Шантийи, Мортфонтене, Эрменонвиле и Шаалисском аббатстве. В коллеж я вернулся к обеду. Директор объявил мне, что я исключен, но что с моими родителями ему связаться не удалось. Отец уже несколько месяцев как был в Колумбии, искал золотоносный участок, о котором ему рассказал приятель; мама была на гастролях в Швейцарии, где-то возле Ла-Шо-де-Фон. Меня изолировали от всех и поселили в медпункте до тех пор, пока за мной кто-нибудь не приедет. Мне было запрещено ходить на занятия и есть вместе с ребятами. Этот вид дипломатической неприкосновенности полностью гарантировал мне безопасность, ни братья, ни родственники, ни «первое ружье Франции» мне больше не угрожали. Каждый вечер, ложась спать, я проверял, лежит ли у меня под подушкой мой крокодиловый портсигар.

В последний раз он привлек к себе внимание несколько лет спустя. В конце концов я все-таки последовал совету Анни писать каждый день в тетради: как раз тогда я только что закончил свою первую книгу. Я сидел за стойкой бара в кафе на улице Ваграм. Возле меня стоял человек лет шестидесяти, черноволосый, в очках, оправа изысканная, костюм безупречный, руки ухожены. Несколько минут я смотрел на него, не понимая, кем он мог быть, что мог делать в этой жизни.

Он попросил официанта принести ему пачку сигарет, но их здесь не продавали. Я протянул ему свой крокодиловый портсигар.

— Большое спасибо, мсье.

Он вытащил сигарету. Взгляд его был прикован к портсигару.

— Вы позволите?

Он взял его у меня. Нахмурив брови, долго вертел в руках.

— У меня был точно такой же.

Он вернул мне портсигар и очень внимательно посмотрел на меня.

— Эта вещь — из тех, что у нас украли, всю партию. И потом мы таких больше не продавали. Вы — обладатель очень редкого, коллекционного экземпляра, мсье...

Он улыбался мне. В прошлом он был директором большого магазина-салона кожаных изделий на Елисейских Полях, а сейчас на пенсии.

— И портсигаров этих им было мало. Они весь магазин ограбили, подчистую.

Он склонился ко мне, все так же улыбаясь.

— Не подумайте, что я хоть на минуту вас заподозрил... Вы тогда были слишком молоды...

— Это было давно? — спросил я.

— Лет пятнадцать назад.

— И их арестовали?

— Не всех. Эти люди совершали преступления куда более серьезные, чем та кража....

Более серьезные. Я уже знал это слово. Воздушная гимнастка Элен Тош получила СЕРЬЕЗНУЮ ТРАВМУ. И молодой человек с большими голубыми глазами тоже сказал мне потом: ДА, И ЭТО ОЧЕНЬ СЕРЬЕЗНО.

Выйдя из кафе, я шел по улице Ваграм в каком-то странно-возбужденном состоянии. За долгое время я впервые ощутил присутствие Анни. В тот вечер она шла за мной. Роже Венсан и маленькая Элен тоже были где-то в этом городе. На самом деле они не оставляли меня никогда.

Белоснежка ушла от нас и даже не предупредила. За обедом Матильда сказала мне:

— Она ушла, потому что не хотела больше возиться с тобой, дурачишка!

Анни пожала плечами и подмигнула мне.

— Ты, мама, глупости говоришь! Она ушла, потому что ей надо было вернуться в свою семью.

Матильда сощурила глаза и сердито посмотрела на дочь.

— Так при детях с матерью не говорят!

Анни притворилась, что не слышит ее. Она улыбалась нам.

— Ты слышала? — спросила Матильда у дочери.— Ты плохо кончишь! Как и дурачишка!

Анни снова пожала плечами.

— Успокойтесь, Тильда,— сказала маленькая Элен.

Матильда пальцем показала мне на свой пучок на затылке.

— Ты знаешь, что все это означает, а? Теперь, когда Белоснежки здесь нет, тобой, дурачишка, буду заниматься я!

Анни провожала меня в школу. Она, как обычно, положила руку мне на плечо:

— Не обращай внимания на то, что мама говорит... Она старая... А старые говорят бог знает что...

Мы пришли раньше времени. И ждали перед железными воротами школьного двора.

— Вы с братом одну или две ночи переночуете в доме напротив... ну, знаешь, белый дом... А к нам приедут гости на несколько дней...

Она, конечно, поняла, что я встревожился.

— Но в любом случае я буду с вами... Вот увидишь, вам будет даже интересно там....

В школе я не слушал, о чем говорили учителя. Я думал о другом. Белоснежка уехала, а мы будем жить в доме напротив.

После школы Анни повела нас с братом в этот дом напротив. Она позвонила в маленькую дверь, выходившую на улицу Доктора Дордена. Довольно полная брюнетка во всем черном открыла нам. Это была экономка, хозяева здесь не жили никогда.

— Комната готова,— сказала она.

Мы поднялись по лестнице, где горела лампочка. Все ставни в доме были закрыты. Мы прошли по коридору. Экономка открыла дверь. Комната была больше нашей, там стояли две кровати со спинками из медных прутьев, две кровати для взрослых. Стены были оклеены голубыми обоями в цветочек. Окно выходило на улицу Доктора Дордена. Ставни в этой комнате были открыты.

— Дети, вам здесь будет очень хорошо,— сказала Анни.

Экономка улыбалась нам. Она сказала:

— Утром я вам приготовлю завтрак.

Мы спустились по лестнице, и экономка показала нам первый этаж. В большой гостиной с закрытыми ставнями две люстры поблескивали всеми своими подвесками, ослепляя нас великолепием. Вся мебель была закрыта чехлами из прозрачной ткани. Кроме пианино.

После ужина мы вышли вместе с Анни. На нас были пижамы и халатики. Стоял теплый весенний вечер. Было забавно оказаться на улице в халатах, и мы прогулялись с Анни до «Робин Гуда». Нам ужасно хотелось встретить хоть кого-нибудь, чтобы он увидел, как мы гуляем в халатах по улице.

Мы позвонили в дверь дома напротив, и экономка снова открыла нам и проводила в нашу комнату. Мы легли в кровати со спинками из медных прутьев. Экономка сказала нам, что спит в комнате рядом с гостиной и что если нам что-нибудь понадобится, то ее можно позвать.

— В любом случае я тут рядом, Патош...— сказала Анни.

Она поцеловала нас по очереди в лоб. Зубы мы почистили после ужина в своей теперешней комнате. Экономка закрыла ставни, погасила свет, и они обе ушли.

В ту первую ночь мы с братом долго разговаривали. Нам очень хотелось спуститься вниз, на первый этаж, в гостиную, и посмотреть на люстры, мебель под чехлами и на пианино, но мы боялись, что деревянная лестница заскрипит и экономка будет ругаться.

На следующий день был четверг. В школу мне идти не надо было[1]. Экономка принесла нам в комнату завтрак на подносе. Мы поблагодарили ее.

Племянник Фреде в тот четверг не приехал. Мы остались играть в большом саду перед домом, где всюду были закрыты ставни. Там росла плакучая ива, а в конце сада была бамбуковая изгородь, сквозь которую просматривалась терраса ресторанчика «Робин Гуд» и столы, на которых официанты расставляли приборы для ужина. А мы днем ели бутерброды. Их для нас приготовила экономка. Мы ели бутерброды, сидя на садовых стульях, прямо как на пикнике. Вечером была прекрасная погода, и ужинали мы опять в саду. Экономка снова приготовила нам бутерброды с ветчиной и сыром. И дала по куску яблочного пирога на десерт. И еще кока-колу.

После ужина пришла Анни. Мы надели пижамы и халаты. И вышли с ней погулять. На этот раз мы даже перешли внизу на другую сторону дороги. Возле парка встретили каких-то людей, и они были изумлены, что на нас — халаты. Анни была в своей старой кожаной курточке и джинсах. Мы прошлись перед вокзалом. Я подумал, что мы могли бы вот так, в халатах, сесть в поезд и доехать до Парижа.

Когда мы вернулись, Анни поцеловала нас в саду перед белым домом и дала нам по губной гармошке.

Среди ночи я проснулся. Я услышал шум мотора. Встал и подошел к окну. Экономка ставни не закрывала, она просто опустила красные шторы.

Прямо передо мной светилось bow-window нашей гостиной. Машина Роже Венсана с опущенным черным верхом стояла перед домом. Малолитражка Анни тоже была на месте. Тарахтел мотор грузовичка с брезентовой крышей, остановившегося по другую сторону улицы, у стены протестантской церкви. Мотор заглох. С грузовика сошли двое. Я узнал Жана Д. и Бака Дэнни; оба вошли в дом. Время от времени чей-нибудь силуэт мелькал в bow-window гостиной. Мне очень хотелось спать. Наутро экономка разбудила нас, принеся поднос с завтраком. Она и брат проводили меня в школу. На улице Доктора Дордена уже не было ни грузовика, ни машины Роже Венсана. Зато малолитражка Анни стояла на месте, перед домом.

[1] Раньше во Франции по четвергам дети не учились.

У дверей школы меня ждал брат, он был один.

— У нас в доме никого нет.

Брат рассказал мне, что экономка только что отвела его домой. Малолитражка стояла на месте, а никого не было. Экономке нужно было съездить за покупками в Версаль, и она собиралась пробыть там до вечера, поэтому оставила брата в нашем доме, объяснив ему, что Анни скоро вернется, раз ее машина здесь. И брат сидел и ждал в пустом доме.

Когда он увидел меня, ему сразу полегчало. Он даже засмеялся, как человек, который натерпелся страха, а теперь совершенно успокоился.

— Они уехали в Париж,— сказал я ему.— Не беспокойся.

Мы прошли по улице Доктора Дордена. Малолитражка Анни стояла на месте.

В столовой — никого, в кухне тоже. И в гостиной. На втором этаже — комната Анни пуста. Комната маленькой Элен тоже. И Матильды, там, в глубине двора. Мы вошли в комнату Белоснежки, вдруг она взяла и вернулась. Нет. Будто бы никто никогда и не жил в этих комнатах. Из окна нашей спальни я смотрел вниз на малолитражку Анни.

Тишина в доме наводила на нас страх. Я включил радио, мы съели два яблока и два банана, оставшихся в корзинке на буфете. Я открыл дверь в сад. Маленький зеленый автмобильчик по-прежнему стоял посреди двора.

— Подождем их,— сказал я брату.

Время шло. Стрелки часов кухонного будильника показывали без двадцати два. Мне пора было возвращаться в школу. Но я не мог оставить брата одного. Мы сидели друг против друга за нашим обеденным столом. И слушали радио.

Мы вышли из дома. Малолитражка Анни была на месте. Я открыл дверцу и сел на переднее сиденье, на свое обычное место. Посмотрел, что лежит в ящике для перчаток, и обыскал заднее сиденье, Ничего. Только пустая пачка из-под сигарет.

— Пойдем прогуляемся до замка,— сказал я брату.

Было ветрено. Мы шли по улице Доктора Дордена. Мои одноклассники уже сели за парты, и учитель заметил мое отсутствие. Мы шли, и тишина вокруг нас становилась все плотнее и плотнее. В ярком солнечном свете и улица, и дома на ней казались покинутыми.

Ветер тихо шевелил высокую траву на лужайке. Мы вдвоем сюда никогда не приходили. Замурованные окна замка сейчас, как и вечерами, когда мы возвращались из леса с Белоснежкой, вселили в меня ту же тревогу. Тогда фасад замка казался нам мрачным и угрожающим. Как и сейчас, в самый разгар дня.

Мы сели на каменную скамью, ту самую, где сидела Белоснежка и маленькая Элен, когда мы штурмовали сосны. Обступившая нас тишина была невыносимой, и я попытался сыграть что-нибудь на губной гармошке, подаренной Анни.

Еще издали мы увидели на улице Доктора Дордена черный автомобиль, припаркованный у нашего дома. За рулем сидел какой-то человек; высунув ногу из открытой дверцы, он читал газету. Перед нашей входной дверью навытяжку стоял полицейский, без головного убора. Он был молод, белокурые волосы его были коротко острижены, а большие голубые глаза смотрели в пространство.

Он вздрогнул и, вытаращив глаза, посмотрел на нас с братом.

— Что это вы тут делаете?

— Это мой дом,— ответил я ему. — Что-нибудь случилось?

— Да, и это очень серьезно.

Я испугался. Но у него голос тоже немного дрожал. Из-за угла улицы выполз грузовичок с крюком. Полицейские спрыгнули на землю и подцепили малолитражку Анни. Потом грузовичок тронулся и медленно поехал по улице Доктора Дордена, потащив за собой малолитражку Анни. Именно это больше всего потрясло и ранило меня.

— Это очень серьезно,— сказал он.— Входить вам нельзя.

Но мы вошли. Кто-то звонил по телефону в гостиной. В столовой смуглый человек в габардиновом плаще сидел на краю обеденного стола. Он увидел нас с братом. Подошел к нам.

— А... Это вы... дети? — И повторил: — Так это вы — дети?

Он повел нас в гостиную. Человек, говоривший по телефону, положил трубку. Он был маленького роста, широкоплечий, в черной кожаной куртке. Как и тот, другой, он проговорил:

— А... Это дети...— И сказал человеку в габардиновом плаще: — Тебе придется отвезти их в комиссариат Версаля... Париж не отвечает...

Это очень серьезно, сказал полицейский с большими голубыми глазами. Я вспоминал листочек, который маленькая Элен хранила в своем бумажнике: «ВОЗДУШНАЯ ГИМНАСТКА ЭЛЕН ТОШ ПОЛУЧИЛА СЕРЬЕЗНУЮ ТРАВМУ». Я пошел за ней, чтобы увидеть, как она ходит. Она не всегда так хромала.

— Где ваши родители? — спросил смуглый человек в габардиновом плаще.

Я думал, что ему ответить. Слишком сложно было все объяснять. Именно это и сказала мне Анни в тот день, когда мы вместе были у директрисы школы Жанны д'Арк и она назвалась моей матерью.

— Ты не знаешь, где ваши родители?

Мама гастролировала со своей пьесой где-то в Северной Африке. Отец был в Браззавиле или в Банги, а может быть, и еще дальше. Это было слишком сложно.

— Они умерли,— сказал я ему.

Он вздрогнул. Нахмурив брови, он посмотрел на меня. Похоже было, что он вдруг меня испугался. Человечек в кожаной куртке тоже уставился на меня с открытым ртом и недоумением в глазах. В гостиную вошли двое полицейских.

— Продолжаем обыскивать дом? — спросил один из них у смуглого человека в габардиновом плаще.

— Да... да... Продолжайте...

Они ушли. Смуглый в габардиновом плаще наклонился к нам.

— Идите играть в сад...— сказал он очень мягко.— Я сейчас к вам приду.

Он взял нас за руки и вывел из дому. Зелененький автомобильчик стоял на месте. Он показал рукой на сад:

— Идите играйте... Я скоро...

И он вернулся в дом.

Мы поднялись по каменной лестнице на нижнюю террасу сада, туда, где в лютиках пряталась могила доктора Гильотена и где Матильда посадила розовый куст. Окно комнаты Анни было широко распахнуто, мы стояли почти на высоте ее окна, и я прекрасно видел, как они все перерыли в ее комнате.

Внизу человечек в черной кожаной куртке шел через двор с электрическим фонариком в руке. Он наклонился над колодцем, раздвинул заросли жимолости и старался что-то высмотреть в глубине, светя фонарем. Другие полицейские продолжали обыскивать комнату Анни. Их стало еще больше, прибыли и жандармы, и люди в штатском. Они рылись повсюду, даже в нашем автомобильчике, ходили по двору, высовывались из окон дома, громко переговаривались. А мы с братом делали вид, что играем в саду и ждем, когда за нами кто-нибудь придет.

■

Из французской поэзии

Наши гости из «Аксьон поэтик»

Как стих спасти от поэтов?

Во Франции поэтических журналов, альманахов, журнальчиков — великое множество. Наши соотечественники могли бы позавидовать таким возможностям — печатайся сколько душе угодно. Количество страниц, отдаваемых ежемесячно поэзии,— огромно, но тиражи мизерны. Французские поэты сами себе вовсе не завидуют. Почти все эти издания безгонорарны. Как, впрочем, и часть солидных общественно-литературных журналов типа «старейшины» среди них, хорошо у нас известного,— «Эроп».

Сначала мы (советские критики, интересующиеся французской поэзией) этому удивлялись, но давно уже привыкли. Печатать свои стихи — вовсе не значит получать плату; бросать имеющуюся работу (преподавателя, администратора в театре, библиотекаря, музейного работника — перечисляю профессии, которые «кормят» и авторов предлагаемой вашему вниманию подборки) — опасно. Лишь немногие мэтры могут позволить себе собирать «мед» только со своих книг.

После того взрыва интереса к поэзии, которым отмечены были годы Сопротивления и первые послевоенные, давно уже стала привычной и жалоба наших французских коллег-поэтов на равнодушие публики. Не станем сейчас размышлять, виноваты ли в этом сами поэты, но факт остается фактом: поэтические журнальчики вспархивают, как разноцветные бабочки, и быстро гибнут; на смену им, на помощь им летят новые энтузиасты, не жалея энергии, сил, темперамента, договариваются с небольшими типографиями или сами становятся к типографскому станку, устраивают поэтические вечера, чтения в культурном Центре Бобур, в Доме поэзии, недавно созданном на субсидии мэрии города Парижа, в вестибюлях метрополитена, располагают «бюро» редакции прямо у себя дома (не арендовать же отдельное помещение!), где встречаются, обсуждают состав номера, готовят эскизы, отбирают фотоматериал...

Несмотря на такую самоотверженность, в большинстве случаев энтузиасты вскоре бывают вынуждены расстаться со своей мечтой. В Национальной библиотеке Парижа хранятся сотни журналов, имеющих всего по 3—4 номера. Изданий выстоявших, продержавшихся — совсем немного.

С двумя из них — журналами «Сюд»[1] и «Аксьон поэтик» — Союз писателей СССР плодотворно сотрудничает последние годы. В ноябре 1987 года во Франции в десяти городах с большим успехом прошли Дни советской поэзии, организованные Союзом писателей СССР, журналом «Аксьон поэтик» и Литературным центром «Ройамон». В апреле этого года наш Союз писателей организовал Дни французской поэзии в СССР. В Москве, Ташкенте и Кишиневе выступали французские поэты — представители разных поколений.

Сегодня «ИЛ» дает слово поэтам журнала «Аксьон поэтик» (в русском переводе — «Поэтическое действие»).

Возник он в начале 50-х годов в г. Марселе, потом перебрался в Париж, активно участвовал в майских событиях 1968 года, поддерживая оппозиционные требования молодежи. Все талантливые поэты нового поколения (вернее, новых поколений!), представляющие современную поэзию Франции, увидели свои стихи на страницах «Аксьон поэтик» — Жак Рубо и Мишель Деги, Бернар Ноэль и Шарль Добжинский, Лионель Рей и Жак Реда, Бернар Варгафтиг и Морис Реньо, Жан-Пьер Фай и Ален Ланс[2].

Журнал проявил необычайный интерес к поэзии разных стран. Были выпущены специальные номера, открывшие французскому читателю новейшую поэзию Испании и Ирана, Португалии и Вьетнама, США и Чили, Польши и Венгрии, ГДР и Чехословакии... К проблемам советской литературы журнал обращался многократно, выпустив и специальный номер, целиком отданный советской поэзии.

Благодаря пристрастию редколлегии «Аксьон поэтик» к теоретическим аспектам литературного развития подготовлены обстоятельные материалы, затрагивающие спорные вопросы ЛЕФа и социалистического реализма, футуризма и психоанализа, структурализма и литературного авангарда. Не очень обычно для современной литературной ситуации и подчеркнутое внимание журнала к дальним традициям, истокам — фольклорным мотивам, национальной специфике (номера о литературе барокко, о поэзии трубадуров и т. п.).

Разнообразие интересов, широта диапазона и непрекращающийся поиск новой поэтической выразительности — все это принесло журналу «Аксьон поэтик» добрую

[1] О журнале «Сюд» см. в «ИЛ», 1981, № 2. Стихи главного редактора «Сюд» Ива Бруссара печатались по-русски в «ИЛ», 1984, № 12.

[2] В русском переводе см. кн.: «Новые голоса». М., «Прогресс», 1981.

славу, помогает прочно держаться на изменчивых волнах издательского бизнеса и иметь свою, достаточно большую (по масштабам западных стран) аудиторию подписчиков.

Какова же программа поэтов, группирующихся вокруг «Аксьон поэтик»? Если попытаться «проговорить» ее совсем кратко и потому схематично — «спасти стих» от поэтической темноты, излишней литературности, впустить в него живую реальность, отказавшись от метафорического языка. В виде стихотворного манифеста это стремление прямо выразил молодой поэт, только начинающий свой творческий путь, Оливье Кадьо:

писать
это вовсе не значит
выражать свои впечатления
ведь иначе
все сводится к стилю
а это вопрос слишком частный
попытка
изобрести небывалый язык
только свой и больше ничей
но анализ аэролитов
показал что они состоят
из железа никеля кобальта
и прочих земных металлов
в их составе не обнаружено
ни одного вещества
неизвестного на земле
я хочу всем этим сказать
что не стоит терять на метафоры время
и если бы было возможно
стих спасти от поэтов
он бы не оказался
в столь глубоком плену
у поэзии.

(Перевод И. Кузнецовой)

Стремление обозначено и приводит к столь неожиданной для современной западной поэзии полемике с сюрреализмом.

«Мое поколение, поколение шестидесятых годов,— поясняет главный редактор журнала, автор нескольких поэтических книг Анри Делюи,— должно было порвать с идеологией сюрреализма (явной или скрытой), с его противоречивой интерпретацией формальной стороны стиха, с его отношением к языку как к орудию мятежа, с его эстетикой словесного буйства и концепцией поэта как знаменосца, с его эстетикой безудержного нагромождения образов и смехотворным провозглашением общественной значимости самого процесса письма, эстетикой сплошной метафоризации реальности... вряд ли стоит продолжать этот перечень. Нам потребовалось на это долгое время — несмотря на работу, скажем, Андре дю Буше или Ива Бонфуа, которые уже с пятидесятых годов отошли от этой «революционной» традиции, прочно укоренившейся во французском культурном наследии. Утрата идеалов Сопротивления, колониальные войны, разоблачение культа личности на XX съезде КПСС, трудности революционного движения — все это явилось тяжким грузом. Потребовалась работа тех, кто был старше нас, а также все эти потрясения, вторжение в сферу стиля новых исследований (в лингвистике и психоанализе прежде всего)... чтобы выявился наш новый подход».

(Перевод Мориса Вакснахера)

После бурных споров вокруг наследия сюрреалистов, после обстоятельных исследований, анализировавших все аспекты воздействия сюрреализма на современную литературу, бунт «Аксьон поэтик» может показаться эпатажем, почти такого же свойства, как бунт сюрреалистов против классических традиций. Понять его природу помогает конкретно-исторический контекст последних десятилетий. Ведь обещание сюрреалистов изменить не только поэтику, но и стиль жизни, поведение человека было своеобразно проинтерпретировано в экстремистских эстетических программах 60-х годов, когда «революцию языка» некоторые считали достаточной для разрушения буржуазного строя. Анри Делюи, помня, что стихи настоящего поэта

«говорят всегда о тоске, о битвах, о любви и разуме, о смерти и о многих других чрезвычайно важных вещах»,

скромнее оценивает общественные возможности поэтического слова, считает, что лучше держаться подальше от иллюзии, будто поэт — «знаменосец», властитель дум, будто поэтическому слову принадлежит решающая роль в социальных процессах. И вместе с тем вся деятельность журнала направлена на пробуждение общественного сознания, на контакт с читателем.

Важен контекст последних лет и для объяснения, почему вдруг поэты хотят вырваться из плена... поэзии, почему ставят под сомнение самую суть ее — метафорический язык. Это тоже — реакция на феномен, более близкий по времени,— торжест-

во формалистических школ 60-х годов, почитавших темноту главным признаком искусства.

> «Поэзии как излияния чувств,— продолжает Анри Делюи,— как словаря, который специализировался на распределении эмоций, как склонности к разбуженному сновидению, как очарования легкой фантастичности — этой поэзии больше не существует».

Она должна уйти в прошлое вместе с «просодией, похожей на бараний копчик с рифмой на заду», вместе с «поэмой-докладом, небрежно вырезанной из некоей предшествующей прозы». Живые, взятые из реальности слова могут без всякой метафоризации благодаря «своей синтаксической организации, своему отношению к фразе, своей пунктуации, своим полям, своим пробелам» произвести не меньшее впечатление, чем сложная ассоциация.

> «Сегодняшняя просодия ставит перед собой ту же самую задачу, что и вчерашняя: неповторимость индивидуального лица, действенность. Просодия — версификация — это фабрика стиха в его натуральности, истинности. Я ищу эту истинность».

Читая манифесты Анри Делюи и его друзей, думаешь, что метафорам не найдется места в их стихах, но нас там встретит и «круглая жара», и «прилипшие к платанам слова», и «летний студень улиц», и «ветер, сжатый в кулак», и «глина света», и «платье катастрофы», и «железный парус» над языком-лодкой...

Не так-то легко (да и нужно ли?) совсем покинуть поле, обработанное поэтическими поколениями до тебя. В стихах поэтов «Аксьон поэтик» пробьется и «прозаический» диалог-хаос Аполлинера, и жесткая точность Гильвика, и лаконичная материальность Франсиса Понжа. Но это совсем не мешает развороту собственной индивидуальности.

Мари Этьен, театральный критик, сценарист, рвется из «плена поэтичности» на простор сцены, поддаваясь столь несвойственному поэзии искушению рассказать историю.

> «Повествовательность всегда — как бы это поточнее выразиться — всегда строила мне глазки. Даже когда мне казалось, что я совсем этого не желаю, я непременно рассказывала какую-нибудь историю. Однако рассказывать ее так, как это делает большинство романистов, было бы для меня скучно; через многие эпизоды мне хотелось бы перескочить. И, зная, чем все должно кончиться, я бы в какой-то момент спросила себя, зачем мне писать обо всем, что случилось до этого финала. Вот почему в моих текстах присутствуют клочки повествования, остатки какой-то забытой истории, которая всерьез никого не волнует, потому что ее все знают...
>
> Я с давних пор стремлюсь вырваться из тех клеток, которые сама же и создаю и которыми одаривают меня другие, стремлюсь избежать заточения... в одном виде искусства... в каком-то одном жанре. Не знаю, является ли поэзией то, что я пишу. Впрочем, мне неинтересно заранее знать об этом. Мне хочется, не оглядываясь на иерархию ценностей, писать решительно все: романы для чтения в поездах, песни, полицейские романы, комиксы... Но я еще не чувствую себя готовой стать женщиной-оркестром».
>
> *(Перевод Мориса Ваксмахера)*

Эмманюэль Окар, выступивший со своей первой книгой 10 лет назад и уже завоевавший несколько литературных премий, кажется, меньше других страшится метафоризации языка Но он тоже, как и его коллеги по «Аксьон поэтик», настаивает на необходимости искать «точное слово», не затемненное эмоциональным или «мистическим опытом».

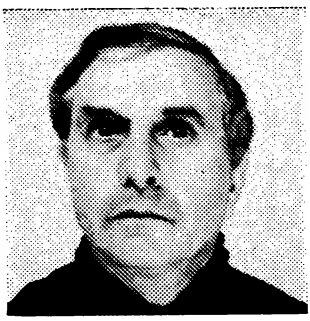
> «Для меня проблема поэтического письма — это проблема познания. Не познания рассудочного, как в философском мышлении, не познания эмоционального и индивидуального, обретаемого в любовном или мистическом опыте, но познания конкретного и логического.
>
> Я осознал свой труд поэта как работу по очищению языка и прояснению мысли. Этот труд очищения я продолжаю из книги в книгу, используя все жанры и смешивая их время от времени, пробуя формы старинные и формы современные, стремясь прежде всего к максимально возможной точности.
>
> Этот труд по уточнению и прояснению наталкивается часто на парадокс, что наиболее точное, изначально очищенное от риторических наслоений воспринимается как наиболее темное, необычное, искусственное».
>
> *(Перевод Н. Стрижевской)*

Эмманюэль Окар, Анри Делюи, Мари Этьен, Оливье Кадьо, выражая стремление пересмотреть опыт предшествующих поэтических поколений, одновременно, конечно, на него опираются, а главное, не мыслят своей деятельности вне взаимодействия с иными литературными группами, иными творческими индивидуальностями. В «Произвольной Антологии новой поэзии» (1983), составленной Анри Делюи,— более тридцати имен и еще больше названо в предисловии. Именно это богатство, освещенное влюбленностью в Поэзию, позволяет Анри Делюи утверждать: «Я рассматриваю

современную французскую поэзию (насколько позволяют мне судить мои знания, информация, которой я владею) как одно из самых значительных явлений сегодняшней мировой поэзии.

Его оценку можно оспорить. Но для этого надо хорошо знать всю поэтическую карту современности. Среди многих книг, выпущенных советскими издательствами, среди поэтических подборок «ИЛ», которые вели к такому знанию, звучат в этом номере и стихи поэтов «Аксьон поэтик».

ТАМАРА БАЛАШОВА



АНРИ ДЕЛЮИ

Из цикла «Двадцать четыре часа и море в саду»

1

Вторник. 14 часов

Гроза наваливается на молчанье птиц.
Тени деревьев налились свинцом
С угрюмой торопливостью.
Вся зелень, герани, травы,
Опавшая померзшая листва
Исходят разноцветным ароматом.
Багровый шар, оранжевато-ал,
Весь в белых точках.

.

Крошечная белка на ветке сливы.

2

Утру не хватает времени. Гроза
Совсем одна, обрывки бури
Остались в стороне.

.

Белые квадраты булыжных мостовых,
От них следы на пальцах остаются.
Лилии песка. Полегший папоротник.
Рой светлячков и море,
Идущее через дорогу.

13

Не забыть: морковку,
Зелень. Огурцы.
Капусту. Лук.
Редиску. Репу.
Горошек. Тмин.
Петрушку и венец
Творения: салат.

.

Не забывать: бороться с одиночеством.

Перевод НАТАЛЬИ СТРИЖЕВСКОЙ

© éditions ipomée, 1987

44

В саду, где нежность жизни обретает
Повадки тополя,
Еще осталось много бесхозных слов.

.

Ночь ластится
Под вечер к синеве.

Перевод МОРИСА ВАКСМАХЕРА

46

День приступил к работе умиранья.
Порозовело небо. Проступило
Родство горшков и черепиц.

.

Пейзаж по вечерам
Так мал: бегонии, корни,
Примула, бордюр.

.

Как поздно:
Только остается лечь
И закрыть глаза.

48

Запах герани сгущается до влаги.
Запах растений. Запах тела.
Слишком мясистых стеблей. Листьев.
Это не аромат цветов.

.

Былые страсти обживают новый интерьер.

Перевод НАТАЛЬИ СТРИЖЕВСКОЙ

56

Одни лишь цикады умеют молчать.
Они сливаются с тишиной, как расстрелянные.
До той минуты, когда, уже больше не в силах терпеть,
Принимаются снова бубнить свою фразу.

.

А гроза укрывается простынею.

57

Вторник, 10 часов 12 минут вечера.

Опускается ночь, и жара
Становится полностью круглой.
Несколько слов остаются висеть,
Прилипнув к платанам.

.

Тебе противен этот газон,
Где цветы не растут
И травы друг друга съедают.
Тебе противен тяжелый дух,
Идущий от вскопанной этой земли.
Ты не хочешь.

61

«У моря был цвет, какой увидишь нечасто,
цвет перемешанных вместе земли и песка».
Жалкая фраза. Я за ней наблюдаю.
Кручу ее этак и сяк. Пытаюсь ее
Вытолкнуть из нее же.

.

Все эти «как»
Громоздятся.
Как в басне мораль.

.

Как будто меня вовсе и не было.

65

Ветер кружится. И немного пониже
Застревает среди кипарисов.
Густеет туман, удобряя траву.
Лепестки, опавшие с розовых зябких кустов,
Покрыли все то, что осталось от роз.

.

Даже собранным вместе, лепесткам никогда
Не составить розу.
Ты так сказала. Ты смеешься. Сеется дождь.

Перевод МОРИСА ВАКСМАХЕРА

68

И вот уже ночь скрипит на зубах.
Жара не спадает. Ни зги.
Липа забилась в чащу
За спины деревьев.

.

Тебе в глаз попала ресница грозы.

Пейзаж

Голубой туман оставляет за собой
Дыхание холода. Один из стульев
Отодвинут. За стол у двери зацепилась
Кистями штора. Когда на море
Начался отлив, и облака исчезли.
Деревья заслоняли весь пейзаж.
Мы уже не знали, что изменилось
Так непоправимо
И где искать укрытья
В этот

Ледниковый период слов.

Перевод НАТАЛЬИ СТРИЖЕВСКОЙ

ЭММАНЮЭЛЬ ОКАР

Из книги «Город или остров». Письмо

Я

...младенческий язык
начала: осенние
полдня.

*

Нагроможденье красок
в заглавной букве
имени и дня.

*

Ткань так тонка, что можно разглядеть
изнанку. Ниспадает до земли.
Ты кончишь тем, что позабудешь
слова.

*

Она обернулась, «и мы
уже врозь». Акт III, сц. 5.

*

День каких много.
Шаг за шагом
по глине света.

от 9 октября

То, что вблизи,
дробится. Как вдали.
Нет времени.

*

Мертвый язык.
Лишь лодка взад-вперед
снует под парусом железным.

*

Твоя загадка:
городская тишина
как тишина на море иль в лесу.

*

Легкий облик на
маленькой делянке
света. Тень протоки.

© Hachette/P.O.L., 1981

*

Ни слова
стоя на краю.
На границе света.
На грани слез.

от 27 декабря

«В такую ночь, как эта»,
притяженье дали
неодолимо.

*

Между ними ни смерч,
ни гладь:
молчание и тьма.

На волос от абстракций.

*

Как пробка в звоне зноя.

Но не так страшно,
как пред нею спящей.

*

Когда все размалюет
свет,

предметы разделит пустота.

*

Нет ядра.
Такой уж день,
похожий на середину
ночи.

от 28 июня

Спиной к деревьям
тяжкая листва
лежит перед рассветом,
она спит среди льна.

*

Прямо в небе, над кронами
кирпичная стена. Уже
разрыв. Она спит.

*

Внутри блика отныне
теплится жизнь.

Все светло рушится
в тишину и разлуку.

•

Пустой день и ночь
с дрожью ветра
на кончиках листьев: любить.

Короткая роль на кромке небытья.

•

«Лес двинулся».

Ты спишь на земле,
мальчик, игравший в песке,
совсем посинел от холода.

Ты белизна полей листа

Облака. Ты далеко. Отмель
пространства. Мы вышли из
привычной колеи.

Утро, и тебе
знакома эта тень.

•

Из тьмы на солнцепек:
дверь на воду.

Сколько хватает глаз
ни облачка.

•

Речная отмель.
Эхо и цветы. Голубые
круги от шепота
бегут по тишине.

Ты в зное как в мраморе.

•

Слова. До середины ночи
скрип скрижалей. Отложены на завтра
на солнце простыни, крапива на тропе.

•

Теперь мы знаем историю.
Ты перебираешь осколки событий,
вереницы совпадений.

Игра, придуманная в бурю,
вдали от дали.

Перевод НАТАЛЬИ СТРИЖЕВСКОЙ

МАРИ ЭТЬЕН

Гамлет в своем дворце

Сцена представляет собою замкнутую перспективу, омытую серостью идущего снаружи света, серостью, перемежаемой белизною каменных блоков, из которых сложены стены. В узкой и черной глубине этой перспективы пространство вбирает в себя бесконечность, а когда спускается ночь, роль бесконечности обозначена также и небом в оконном проеме.

Он человек был в полном смысле слова.
Уж мне такого больше не видать!
Шекспир. «Гамлет»
(Перевод Бориса Пастернака)

Это было то место, к которому так хорошо прилепиться душою, может быть сон, только сон, еще один сон, замещенье войны. Как о нем рассказать — сегодня, отсюда? Ты входишь, выходишь, делая это с неукоснительной точностью — и вместе с тем совершенно случайно. Ибо тебе предназначено форму придать непредвиденному, возникающему как боль. И вот судьба нас проводит сквозь дрязги, и мы продираемся в дебрях того, о чем непременно нам нужно сказать, судьба нас ведет к высокой гармонии, творимой в эту минуту, судьба нас ведет, уклоняясь от грохота створок дверных и сопровождая наши шаги движением яви, покидая ее и одновременно не покидая.

Это было то совершенное место, что висело в штрихах поперечного света, просечка пространства, придуманный мир, дорога познания и разуменья. Взгляд с неожиданной радостью обегает эти прямые линии, эти белые переборки, устремляясь все дальше, туда, в глубину, в перспективу, и в далекой дали забывается. В осязаемо точном этом маршруте персонаж становится хрупкой и прочной фигурой, живым приключеньем, восстановленным заново в лоне этого места, заранее уготованного для него. О, что за жизнь, с каждым его шагом начинается снова и снова, и уже мы не можем покинуть его, иначе все это он будет без нас продолжать, и во всех направлениях радость кружится, витает великое чудо, хмельное, творимое театром.

Сын обнимается с мертвым отцом.

Помни меня.

О, я тебя помню, отец! Я охвачен волненьем, я плачу, одержимый единственной мыслью, ибо я загодя все оплатил — стены, место и голубей.

Клянись, говорит ему призрак.

© éditions ipomée, 1986

Да, говорит Гамлет, обнажая свой меч, я клянусь тебя не забыть. Мне помнится дом, где я тебя любил (ибо дом во всех наших снах — лишь обрамление наших видений, но обрамление это реально), солнце врывалось в наш дом, пересекая просторную залу, а снаружи стояли леса. Покрывало легко колыхалось в ритме движений, запечатленных на ткани желанием или бризом. Помню повсюду цветы: было, наверное, лето. Но от великой беды, мой отец, жилище мое опустело, стало диковинным местом внезапного разорения, я вижу лишь башни его, и большой его двор, и его тишину, и в мерцании света, долетевшего издалека, я ощущаю усталость.

К счастью, мне предстоит умереть, и вот что могу я себе в утешенье сказать: моя смерть — она только моя. И это радует сердце, наполняя его ни с чем не сравнимой отрадой.

Мы знаем прекрасно, все безнадежно погибло, у Гамлета в памяти остров остался, и Гамлет его подожжет. А пока в ожидании, когда это сбудется, он суров и к другим, и — еще больше — к себе, он живет ни от кого не завися, он во все горло хохочет (это особенно важно), хотя он и терпит при этом оскорбленья от всех, кто его окружает; он людей не боится, он весел, он рукою им делает знак, он к ним подходит, чтобы что-то сказать, и бросает в лицо им слова, и они обреченно немеют и какое-то время просто не могут ему ничего возразить.

Страсть и камни

Фрагмент

Кристиану

Люди разглядывали Святую Терезу Бернини:
они хотели увидеть вблизи то что обычно зовется грехом
(поклонение)

Комната в полумраке
В ней различаешь кусок стены или перегородки
С обеих сторон по кровати
На той которая слева кто-то лежит
Лицо представляется светлым пятном
Кровать которая справа как будто пуста

Предметы нагроможденные в кучу
Которая формой своей похожа на шляпу
Куча у основания широка
Потом она поднимается вверх
Вершина ее теряется в высоте

Силуэт это профиль
слегка наклоненный к двери которая прикрывает
источник света и он такой силы
что частица его сияния окружает полотнище
и заставляет его трепетать под жестким и легким своим давлением

Добрый человек дает женщине еду
другие тем временем облегчаются
Она влюблена в того
кого пред собою видит

Да конечно она безумна
Он делает жест словно что-то сыплет
на распростертое тело

Старуха протянула палец
Скажи мне чем тебя одарить
И он пятится в глубину комнаты
задник далек потолок высок и человек уходит во тьму

Прикрученное к лестнице тело
Сквозь решетку в слуховом окне
сочится свет
Это похоже на паука и на его паутину

Занимается пламя больше не чувствуешь
ничего

. . . . . .

Перевод МОРИСА ВАКСМАХЕРА

ОЛИВЬЕ КАДЬО

(n-1)

1

В книжном магазине больше книг, чем в книжном шкафу
В палисаднике меньше деревьев, чем во фруктовом саду
Много народу. Было очень много народу

2

Когда я был маленький, я вставал каждое утро в семь часов
Раньше мы каждое лето ездили к морю
Она не спала. Почему она не спала?
Какая широкая река! Какая холодная вода!
Как жаль, что вы не можете поехать с нами!
Как здесь жарко!
Сколько дыма!

3

Это самое высокое дерево, какое я видел
Это лучший человек из всех, кого я знаю. Не помню, как
его зовут
Осенью становится холоднее, дни делаются короче
Это самая сильная гроза, какую мне приходилось видеть
В саду кто-то есть. Есть кто-нибудь в саду?
Никого нет. Вы кого-нибудь видите? Я никого не вижу
Вы что-нибудь видите? Я ничего не вижу. Я совсем ничего
не вижу

© Hachette/P.O.L, 1981

4

Пусть он подождет меня в гостиной. Идите не так быстро
Сегодня еще холоднее, чем вчера
Что же вы стоите? Садитесь же!
Осталось еще немного молока и немного кофе
Сегодня меньше облаков и не так ветрено
Туман уже не такой густой, как вчера, зато стало холоднее

5

Они уже полчаса сидят у реки
Какое великолепное дерево! Наверно, оно самое высокое в этом лесу
Какая плохая погода! Не знаю, смогут ли они прийти
Какая холодная будет ночь! Какая грязная река!
Если бы не пошел дождь, народу было бы еще больше

6

На море стало меньше кораблей
Поезд опоздал, так как было много остановок из-за тумана
Зимой к нам приезжало мало народу, а летом много
Я больше с ним не вижусь. В прошлом году мы виделись два или три раза

7

У нас никогда не выпадало столько снега, сколько в этом году
У меня нет больше денег и нет больше друзей. Не шумите так!
Мне уже об этом говорили. Почему мне раньше этого не сказали?
Каждый на вашем месте поступил бы так же

8

Не шумите, она только что уснула
Она только что уснула. Она проснулась
Шел снег, и было тихо
Не ходите в ту комнату, там ремонт
Не думаю, чтобы мне удалось помешать ее отъезду
Каждый на вашем месте поступил бы так же

9

Эта комната самая большая в доме
Зима в этом году холоднее, чем в прошлом
Я думаю о ней уже два месяца, но до сих пор не написал ей
Ему не следовало никому говорить о своих планах

10

С ним был кто-то еще. С ним больше никого не было
В этой коробке есть что-нибудь? В ней ничего нет
Здесь еще жарче, чем в саду
Я хочу показать вам нечто другое
Вам следует уехать как можно скорее, начинает темнеть

11

Существует ли что-нибудь, что вам давно хотелось бы иметь?
У вас еще остались друзья? Нет, у меня их больше не осталось
Нам больше не хочется есть, но час назад очень хотелось
Снег идет уже больше получаса, снег идет сегодня с утра
Она спит со вчерашнего вечера. Она спит уже пятнадцать часов
Он не знал, сумеет ли привыкнуть к своей новой жизни

12

Она была такая печальная! Она не могла ни есть, ни спать
Полгода назад этот дом еще не был построен
Он написал нам, что вернется не раньше чем через несколько месяцев
Ему сказали, чтобы он меня подождал. Почему он меня не дождался?
Вы напрасно сняли пальто, вам будет холодно
Вы могли бы спать в саду, если бы не было дождя

13

Вам не следовало выходить, на улице очень холодно
Вам следовало бы надеть сегодня белую рубашку
Из нашего окна было видно море
Она недавно приехала в Париж и никого не знает
Возвращайтесь, как только сможете, я буду вас ждать. Когда вы вернетесь?

14

Дайте мне знать, когда он вернется
О чем вы думаете? О ком вы думаете?
Снег идет уже несколько дней
Он мог бы зайти навестить нас, если бы захотел

15

Собака вышла на улицу. Она потеряется
Вы давно меня ждете?
Скоро десять лет, как мы здесь живем
Она уснула всего несколько минут назад
Вы давно их ждете?
Вам не надоело ждать?

Перевод ИРИНЫ КУЗНЕЦОВОЙ

■

АКИЛЛЕ КАМПАНИЛЕ

Бедный Пьеро

КОМЕДИЯ В ТРЕХ ДЕЙСТВИЯХ С ПРОЛОГОМ

Перевод с итальянского Ф. М. ДВИН

Действующие лица

Пьéро.
Тереза — его жена.
Ионе — мать Терезы.
Маркантонио — отец Терезы.
Луиджи — ее брат.
Клелия — родственница Пьеро.
Анджéлика — служанка.
Служащий похоронного бюро.
Привратница.
Пáоло Демаджисти — друг Пьеро.
Лола — невеста Демаджисти.
Элизабетта — сестра Пьеро.
Панталеó — ее муж.
Синьор Пелáэс.
Синьора Пелáэс.
Рабочий.
Посыльный.
Друзья и знакомые.

Пролог

Голос. Хотя почти с полной уверенностью можно утверждать, что все люди рано или поздно должны покинуть земную юдоль — по крайней мере до сих пор, как известно, еще никому не удалось избежать сей участи, — стоит человеку умереть, как это событие становится поводом ко всеобщему удивлению, всем оно кажется невероятным, ну, просто-таки невозможным. Вот послушайте.

С разных сторон на сцену выходят Луиджи и Маркантонио.

Луиджи. Бедняга Пьеро умер.

Маркантонио. Да что ты?! Не может быть!

Луиджи. Увы.

Маркантонио. Невероятно!

Луиджи. Уверяю тебя, я сам не могу смириться с этой мыслью.

Продолжают разговарнвать, понизив голос.

Голос. Каждый человек, рассуждая о смерти другого, в глубине души уверен, что к нему лично это никакого отношения не имеет.

Луиджи. Он покинул нас навсегда!

Голос. Ну и Луиджи! Сам-то, небось, воображает, будто он, бедняжка, покинутый, бессмертен.

Маркантонио. Мы навеки сохраним светлую память о нем.

Голос. Посмотрите-ка на него: до того стар и немощен, что едва на ногах держится, и туда же — «навеки»!

Маркантонио и Луиджи уходят.

Голос *(продолжая)*. В доме умершего все, как правило, ходят с удивленными лицами, словно произошло нечто из ряда вон выходящее, нечто такое, чего еще никогда не бывало с самого сотворения мира.

Открывается занавес.

Гостиная в доме Пьеро. Тереза, Маркантонио, Ионе, Луиджи, Клелия, Анджелика — все поражены, растерянны.

Голос. Фразы, которые произносятся в подобных случаях, мы, при всей своей снисходительности, не можем не назвать бессмысленными.

Тереза. Скажите мне, что это неправда!

Голос. Обычно все почему-то уверены, что кто-нибудь из родственников усопшего обязательно должен либо умереть от горя, либо покончить жизнь самоубийством.

Клелия *(обращаясь к остальным и указывая на Маркантонио)*. Не спускайте с него глаз: в таком состоянии он способен совершить непоправимую глупость. Посмотрите, нет ли у него оружия.

Голос. Скажите пожалуйста! Оружие! Да он всегда его боялся как черт ладана.

Клелия. Меня пугает его лицо. Какой тупой взгляд.

Голос. Можно подумать, что он когда-нибудь был иным!

Клелия. По-моему, он ничего не понимает.

Голос. Что верно, то верно, хотя это обстоятельство никакого отношения к нашему печальному событию не имеет.

Клелия. Меня это положительно беспокоит. Он способен выброситься из окна.

Голос. Да он и на подоконник не способен вскарабкаться.

Клелия. Он готов биться головой об стену, смотрите за ним, он же может...

Голос. Стену проломить.

Клелия *(Маркантонио).* Ты только не наделай глупостей!

Маркантонио. Пока не собираюсь.

Голос. Как ни велико ваше сочувствие, давайте посмотрим, что бы произошло, если бы оставшиеся в живых действительно умирали с горя.

Тереза. Я не могу этого перенести. *(Падает замертво.)*

Ионе. Мы тоже.

Все падают. В том числе и Анджелика.

Луиджи *(приподнимаясь, Анджелике.)* А ты здесь при чем? Ты же прислуга.

Анджелика. Я тоже хочу умереть. *(Снова падает.)*

Голос. Вы скажете, что это уж слишком: в подобном случае смерть каждого из них повлекла бы за собой гибель новой группы людей, и мы глазом не успеем моргнуть, как всему миру придет конец. Ну, тогда давайте предположим, что эта участь уготована лишь самому узкому кругу людей, которые больше всех любили покойного: пусть даже только одному человеку. Итак, после смерти Пьеро от горя умирает вдова.

Все кроме Терезы, поднимаются.

Смерть Терезы в свою очередь вызывает смерть еще одного человека — ее матери.

Ионе падает замертво.

Теперь от горя умирает сын синьоры Ионе.

Луиджи мертв.

А эта смерть подкашивает убитого горем отца.

Маркантонио падает.

Анджелика. Ах!.. *(Падает тоже.)*

Луиджи *(приподнимаясь, Анджелике).* А ты-то при чем? Ты же прислуга.

Анджелика. Я тоже хочу умереть. *(Снова падает.)*

Голос. Теперь вы сами видите, что даже при такой ситуации цепочка смертей от горя дотянулась бы до каждого. Ведь действительно, если найдется хоть один человек, способный умереть от горя, то всегда найдется кто-то другой, кто может умереть из-за этого одного, а у этого другого найдется третий, и так — медленно, но верно из-за смерти бедняги Пьеро человечество могло бы навсегда исчезнуть с лица земли. *(Обращаясь к действующим лицам.)* Синьоры, вы можете воскреснуть.

Все встают.

Многие полагают, что со смертью дорогого им человека кончается и их собственная жизнь. Возможно. В исключительных случаях. С абсолютной же уверенностью можно утверждать, что существует лишь один человек на свете, чья смерть — это действительно конец.

Ионе. Мать!

Голос. Нет.

Маркантонио. Сын!

Голос. Нет!

Луиджи. Дядя!

Голос. Нет!

Анджелика. Прислуга!

Голос. Нет!

Все. Тогда кто же?

Голос. Он сам. И все-таки от родственников умершего требуется, чтобы они крепились, не падали духом, а уж чего посторонние совершенно не могут вынести, так это слез. *(Зовет.)* Синьора Тереза!

Тереза. Слушаю вас.

Голос. У вас умер муж?

Тереза. Увы, несколько минут тому назад.

Голос. Позвольте выразить вам мое соболезнование, синьора.

Тереза. Благодарю вас.

Голос. Не будете ли вы так любезны, синьора, поплакать немного?

Тереза. Охотно. *(Начинает рыдать.)*

Остальные окружают ее.

Ионе *(обнимая дочь).* Не нужно плакать Ну, утри слезы!

Клелия *(тоном, каким обычно говорят с детьми).* Ай-ай-ай! Что это еще такое! Ты забыла, что ты мне обещала?

Маркантонио. Ну вот опять. Ведь я же говорил тебе, что не выношу слез!

Голос Позвольте! Ведь у нее только что умер муж и, следовательно, для слез у нее есть все основания. Но остальные не хотят, чтобы она плакала. Правда, нигде не сказано, что их устроит, если она перестанет плакать. *(Зовет.)* Синьора Тереза!

Тереза *(сквозь слезы).* Я вас слушаю.

Голос. Не можете ли вы на минуточку перестать плакать?

Тереза. Охотно. *(Утирает слезы.)*

Клелия *(тихо, прислуге).* Ты обратила внимание на хозяйку? Ни единой слезинки. Какой цинизм! Хоть бы из приличия притворилась...

Ионе *(тихо Терезе).* Тереза, не надо быть такой безучастной. Поплачь хоть немного! Ну, сделай над собой усилие.

Голос. В некоторых случаях, правда, отсутствие слез является для окружающих причиной беспокойства.

Клелия *(тихо Маркантонио).* Больше всего меня пугает, что Тереза не плачет. Если бы она излила душу в слезах, ей стало бы легче.

Маркантонио. Да, конечно. А она просто окаменела от горя. Меня это тоже волнует.

Голос. Родственники и друзья произносят фразы, лишенные всякого смысла.

Маркантонио. Ну кто мог бы подумать!

Голос. Простите, синьор, что я вмешиваюсь в ваши дела, но разве Пьеро чем-то отличался от нормальных людей?

Маркантонио. Нисколько.

Голос. Тогда почему же вы не могли подумать, что однажды с ним случится то, что рано или поздно случится и со всеми нами?

Маркантонио. Но он не должен был умереть, вот что я имел в виду.

Голос. А-а! Так что же вы мне не сказали сразу? У бедняги Пьеро была, значит, особая гарантия.

Маркантонио. То есть как?

Голос. Гарантия от смерти.

Маркантонио. Что за чепуху вы говорите?

Голос. Простите, но ведь не я, а вы говорите, что он не должен был умереть. А я, наоборот, считаю, что он должен был умереть. Рано или поздно, как и все мы. И нечего там плевать через плечо, все равно не отвертитесь.

Маркантонио. Но я никак не могу привыкнуть к мысли, что такой человек, как Пьеро...

Голос. Вы слышите? Ну разве не верно я говорю, что все эти фразы имели бы смысл лишь в том случае, если бы люди столкнулись с фактом смерти впервые?

Между тем дом Пьеро наполняется людьми. восклицания, объятия, рукопожатия, вздохи, вперившиеся в пустоту взгляды, поцелуи, хотя большинство из пришедших никогда до сих пор друг друга не видело.

Маркантонио *(обнимает и целует только что вошедшего незнакомца)*. Вы родственник?

Незнакомец. Нет, я служащий похоронного бюро.

Голос. Вокруг гроба усопшего — кипение жизни. Никогда еще в этом доме не было столько шума, столько движения. В одной комнате все сидят. В другой — прохаживаются взад-вперед. В кухне — нашлась добрая душа — кто-то уже варит кофе, чтобы оставшиеся в живых могли подкрепить свои силы. Почтальоны то и дело приносят пачки телеграмм: известие об этом необычайном и странном событии облетело всех родных и знакомых. И все теперь выражают соболезнование и... удивление. С ума они, что ли, сошли? Удивление их было бы понятно, если бы вместо известия о том, что Пьеро мертв, на них как гром средь ясного неба свалилась весть о том, что он бессмертен. Вот тогда, пожалуй, можно было бы понять произносимые здесь фразы.

Голос. И кто мог бы подумать?!

Голос. Просто не верится!

Голос. Я до сих пор еще не верю!

Голос. Не может быть!

Голос. А между тем среди потрясенных посетителей и убитых горем родственников змейкой вьется смутное, еще неосознанное, предательское чувство физической радости оттого, что они-то еще живы... Итак — смятение и растерянность. Только сам усопший понял, что к чему, и упокоился в мире. Всего несколько часов, как этот человек умер, но посмотрите, как он вошел в роль... Все оставшиеся в живых суетятся и мечутся явно обнаруживая свою неподготовленность. Покойник же — воплощенное хладнокровие и невозмутимость. Можно подумать, будто он только и делал в своей жизни, что умирал...

Голос. Его уже ничто и никто не занимает. Его одевают, раздевают, кладут в гроб — ему это совершенно безразлично.

Голос. Захотят его оставить там, он останется.

Голос. Будут о нем молиться? Пусть молятся. Плакать? Пусть плачут.

Голос. Смотрите, как непринужденно он себя ведет, и учитесь. Оставшиеся в живых что-то там лепечут...

Голос. Но как?.. Но когда?..

Голос. А его это ничуть не беспокоит... Он уже готов вступить в вечность. Браво!

Все аплодируют. Покойный Пьеро приподнимается на постели и раскланивается в знак благодарности

Действие первое

Гостиная в доме Пьеро. Утро. На сцене в позах, отражающих различную степень скорби, — Маркантонио, Ионе и Тереза. Синьора Клелия возится с какой-то тумбочкой. Появляется Луиджи.

Маркантонио *(нетерпеливо)*. Ну что?

Луиджи. Ничего.

Клелия. И все-таки я не сдамся. Сколько раз бывало, что в таких вот штуках находили тайники. Достаточно нечаянно зацепить потайную пружинку...

Тереза. У тебя в голове одни детективы. Вот видишь, сломала планочку.

Клелия. Я думала, она полая. Помнишь книжку «Похищенный документ»?

Тереза. Но ведь там тайник в стене был.

Клелия. Потому-то я хочу проверить и стены. Почем знать...

Тереза. Да нет здесь никаких тайников.

Луиджи. Вот, пожалуйста, завещание *(читает)*: «Моя последняя воля».

Маркантонио. Что он оставил?

Луиджи. Оставил распоряжение, чтобы о его смерти официально сообщили только после похорон.

Маркантонио. И больше ничего?

Луиджи. А что, по-твоему, он должен был написать еще?

Маркантонио. Не написать, а оставить...

Луиджи. Ничего.

Маркантонио. Да, наследство, прямо скажем, скромное.

Луиджи. Тут есть еще небольшое примечаньице.

Маркантонио. А именно?

Луиджи. Ничего особенного: советы, наставления. Несколько добрых слов тебе, последнее прости — всем нам.

Маркантонио. Спасибо. А деньги?

Луиджи. Денег нет.

Маркантонио. Это уж совсем неосмотрительно: умереть и не оставить ни лиры.

Луиджи. А мне думается, что он как раз проявил осмотрительность, растратив все еще при жизни.

Тереза. Бедный Пьеро не сам дошел до этого. Другие его довели. Все чего-то требуют, всем что-то нужно, а кто давал ему?

Ионе. На что же хоронить?

Тереза. На похороны он оставил в отдельном конверте. Бедный мой муж, никогда ни у кого ничего не просил и никогда никто ничего не сделал для него.

Луиджи. Тереза, ну кто в нашем мире делает что-нибудь для других? Возьми хоть меня: кто-нибудь когда-нибудь что-нибудь для меня сделал?

Тереза. Потому-то он и не хотел, чтобы все тотчас узнали о его смерти. И правильно. Правильно! Никто ему не нужен.

(Неожиданно, впадая в истерику.) Нет! Скажите мне, что это неправда!

Ионе. Тереза, ну не надо. Если ты будешь так кричать, все сразу же узнают о том, что случилось.

Луиджи. Ну что ж, в наше время не остается места для сантиментов. Таковы уж люди: наспех посочувствуют и бегут дальше! Жизнь призывает нас исполнять свой долг. Жизнь не ждет. Вот, я, например, уже расчувствовался. *(К Маркантонио.)* А ты?

Маркантонио. Я тоже уже начал...

Луиджи. Но еще не кончил?

Маркантонио. Нет, мне хотелось бы попереживать еще немножко.

Луиджи. Я, к сожалению, не могу себе позволить такой роскоши. Приходится думать о делах практических, в том числе и о похоронах. Жизнь не дает передышек. Последнее прости тем, кто пал, и — дальше. Анджелика!

Анджелика *(крепкая девушка с всклокоченными волосами, распухшим от слез лицом и ртом, который от всхлипываний растягивается до ушей).* Слушаю, синьор.

Луиджи *(несколько ревниво).* А ты почему плачешь? Ты-то здесь при чем?

Анджелика. Ведь умер синьор Пьеро

Луиджи. Это очень любезно с твоей стороны, но мы тебя освобождаем от необходимости проявлять свою солидарность таким образом.

Ионе *(укоризненно).* Луиджи!

Луиджи. Мама, она действует мне на нервы своим ревом

Ионе. Бедняжка, она так преданна.

Луиджи. Еще чего, преданна! Без году неделя в нашем доме и туда же — преданна!

Ионе. А тебе-то что? Пусть поплачет.

Луиджи. Если увидят ее зареванную физиономию, могут догадаться, что Пьеро умер. Разве скроешь это, когда она ходит и извергает такие вот фонтаны? Была бы еще родственницей или жила бы у нас давно. *(Анджелике).* Понятно?

Анджелика. Да. И-и-и! *(Растягивает рот до ушей и снова разражается слезами.)*

Луиджи. О, господи! Прекрати же наконец и поди позови привратницу Ну?

Анджелика. Да. И-и-и... *(Уходит.)*

Маркантонио. Зачем тебе нужна привратница?

Луиджи. Чтобы никто не узнал, что Пьеро умер.

Маркантонио. Но если ты скажешь ей, все пропало!

Клелия. Да, вряд ли таким способом тебе удастся скрыть присутствие покойника в доме.

Луиджи. Я знаю, синьора. В полицейских романах используют другие приемы. Например сжигают труп Но все, что здесь происходит, — не полицейский роман, и привратнице сказать нужно. Она все равно увидит, когда будут выносить тело Пьеро, так что ей-то по крайней мере нельзя будет сообщить о его смерти после похорон. Необходимо сделать ее нашей соучастницей.

Анджелика *(вся в слезах).* Синьор!

Луиджи. Все еще ревешь? Кончится это когда-нибудь? Пойми, что тебя все это совершенно не касается!

Маркантонио. Она так преданна, бедняжка, так привязана.

Луиджи. Какое там преданна! Просто зануда. Перестань реветь, или я тебя сейчас стукну.

Маркантонио. Ради всего святого! Она же станет плакать еще громче.

Луиджи. Ну так я ее уволю.

Маркантонио. Тогда она будет плакать еще из-за этого и пойдет рассказывать, как все произошло.

Луиджи. Ах так, значит, все мы теперь в ее руках?

Маркантонио. Ну, милочка, утри же слезы. Так что ты хотела нам сказать?

Анджелика. Привратница пришла.

Привратница *(входя).* Здравствуйте.

Луиджи. Здравствуйте. Послушайте, дорогуша, синьор Пьеро, к великому сожалению, покинул нас.

Лицо привратницы остается безучастным.

Маркантонио *(кричит.)* Он умер!

Луиджи. Если ты будешь так орать, все узнают...

Маркантонио. Все, кроме него самого *(кричит).* Синьор Пьеро!..

Привратница. Да поняла, поняла. Я уже слышала. Что же вы от меня-то хотите? Пойду в знак траура прикрою парадную дверь

Луиджи. Нет! Вы не должны ничего прикрывать. Для того мы вас и позвали. В соответствии с последней волей синьора Пьеро нужно, чтобы о его смерти стало известно только после похорон. Поэтому никакой суеты, и никому ни слова.

Привратница. Насчет меня можете не сомневаться До свидания. *(Уходит.)*

Луиджи. Надо бы оповестить родственников.

Тереза. Он не хотел.

Луиджи. В похоронное бюро я уже сообщил. Их-то не известишь после похорон.

Звонок у входной двери. Присутствующие вздрагивают и растерянно переглядываются. Потом все взгляды сходятся на вошедшей Анджелике

Анджелика. Я посмотрела в глазок. Там какой-то синьор. Один

Луиджи. Должно быть, это он. Во всяком случае, вы уходите, уходите отсюда. *(Анджелике.)* Впусти его.

Все кроме Луиджи уходят. Анджелика пропускает служащего похоронного бюро.

Служащий похоронного бюро *(обращаясь к Луиджи).* Имею честь говорить с синьором, звонившим мне недавно по поводу события, о котором посторонние должны узнать лишь после совершения обряда, входящего в нашу компетенцию?

Луиджи. Вы...

Служащий похоронного бюро. Простите, что я улыбаюсь. Я делаю это для того, чтобы случайные свидетели, будучи не в курсе дела, о котором мы с вами говорим и которое по желанию виновника события, выраженному еще до того, как оно произошло, должно остаться втайне, не заподозрили, что в этом доме случилось нечто такое о чем пока говорить преждевременно...

Луиджи. Простите, я что-то плохо улавливаю...

Служащий похоронного бюро. Вы сами изволили мне сообщить по телефону, что лицо, из-за которого вы меня сюда вызвали, пожелало, чтобы известие о случае, о котором мы с вами беседовали, стало достоянием посторонних лиц лишь после выполнения операций, ради которых я имел честь явиться сюда. Каковой факт и объясняет то обстоятельство, что я выражаюсь иносказательно и при этом даже улыбаюсь

Луиджи. Но все домашние в курсе дела.

Служащий похоронного бюро. Тем лучше. В таком случае я могу придать своему лицу более соответствующее обстановке скорбное выражение.

Луиджи. Итак, поговорим о похоронах моего шурина.

Служащий похоронного бюро. С удовольствием... Простите, я хотел сказать, в общем...

Луиджи. Я понял. *(Оборачивается к двери, ведущей в другие комнаты.)* Тереза!

В гостиную входят Тереза, Ионе, Клелия и Маркантонио.

Тереза, этот синьор из похоронного бюро. Мы должны с ним все обсудить.

Тереза. Делайте что хотите. У меня уже нет никаких сил. Прошу только выполнить последнюю волю моего бедного мужа: о его смерти все должны узнать лишь после похорон.

Служащий похоронного бюро. Не тревожьтесь, синьора, это будет исполнено как надо. Только вы сами...

Луиджи. От нас не узнает никто.

Тереза. Воля моего бедного мужа священна.

Служащий похоронного бюро. Совершенно справедливо. *(Готовясь записывать.)* Итак, гроб.

Тереза. Самый дорогой. И катафалк тоже. Расходы меня не пугают. Бедняжка Пьеро.

Служащий похоронного бюро. Шестерка лошадей?

Тереза. А больше нельзя?

Служащий похоронного бюро. Больше не бывает, синьора. Но должен заметить, что и шестерки вполне достаточно.

Луиджи. Тереза, тебе не кажется, что шесть — это слишком много? Может, ограничиться четверкой? Или парой... Вообще, конечно, и одной лошади хватило бы, ведь бедный Пьеро так мало весил...

Тереза. Я сказала — шесть!

Луиджи. Можно подумать, что ты собираешься целый полк перевозить.

Тереза. Шесть.

Служащий похоронного бюро. Понимаю вас, синьора. Я тоже, будь у меня возможность, обеспечил бы своей жене самые пышные похороны. Но к сожалению, я скромный служащий и не могу позволить себе такую роскошь... А как насчет оформления последнего приюта усопшего? Вы уже что-нибудь решили? Вероятно, вы не хотите, чтобы мраморщик пришел сюда, ведь это бросилось бы в глаза... Если угодно... *(Приглядывается к Маркантонио.)*

Маркантонио. Простите, когда вы на меня так смотрите, я испытываю странное чувство. Так и кажется, что вы сейчас скажете: «Какой бы хороший покойничек из него получился!»

Служащий похоронного бюро. Ну что вы!

Маркантонио. Да-да. Вот и сейчас вы словно мерку с меня снимаете. И я чувствую себя так, будто виноват перед вами в том, что пока еще жив...

Луиджи. Что ты придумываешь, папа! *(Служащему похоронного бюро.)* Не обращайте, пожалуйста, внимания. Так вернемся же к нашему разговору. Вы что-то насчет оформления говорили...

Служащий похоронного бюро. Да, если вы хотите подобрать что-нибудь подходящее, я могу отвести вас к мраморщику.

Маркантонио. Сходить, конечно, можно.

Ионе. Идите, идите, вам будет полезно побыть немного на свежем воздухе.

Луиджи. Пошли. *(Обращаясь к женщинам.)* Прошу вас, постарайтесь, чтобы никто ни о чем не догадался...

Ионе. Можешь не беспокоиться.

Служащий похоронного бюро. Честь имею кланяться.

Маркантонио, Луиджи и служащий уходят. Оставшись одни в притихшем доме, женщины вздыхают.

Тереза. Ох!..

Ионе. Ох!..

Анджелика. Ох!..

Раздается звонок. Женщины растерянно переглядываются.

Клелия *(трагическим шепотом)*. Ни с места. Сейчас я посмотрю в глазок.

Уходит в переднюю на цыпочках. Остальные замирают в напряженном ожидании.

Клелия *(возвратившись, сообщает заговорщическим тоном)*. Это Демаджисти. А с ним какая-то девушка.

Тереза *(удивленно)*. Демаджисти?

Ионе. Что еще за Демаджисти?

Тереза. Это друг бедняжки Пьеро. Но он раньше никогда у нас не бывал.

Ионе. Значит, что-то узнал и явился со своими соболезнованиями.

Клелия. Не думаю. Кто бы мог ему сказать?

Ионе. Но он же пришел? А раньше не приходил.

Клелия. Он знал, что Пьеро болен?

Тереза. Ну да. Они же в больнице вместе лежали. Клелия, какое у него лицо?

Клелия. Обычное.

Тереза. Веселое, грустное?

Клелия. Я бы сказала, скорее веселое...

Ионе. Значит, знает.

Клелия. Но какое-то неестественно веселое.

Ионе. Значит, не знает.

Клелия. В руках у него цветы.

Ионе. Значит, знает.

Клелия. Флёрдоранж.

Ионе. Значит, не знает.

Тереза *(Анджелике)*. Скажи, что никого нет дома. Погоди, лучше вообще не открывай. Пусть думает, что мы уехали.

Клелия. По-моему, лучше их все-таки впустить.

Тереза. Но ты сама подумай: у нас много общих знакомых. Если он почует неладное, через полчаса всем будет все известно.

Клелия. Именно поэтому его и надо принять. Есть два варианта: либо он знает о случившемся, либо не знает. Если не знает, мы ему и не скажем. А если знает, то попросим, чтобы он никому ничего не говорил.

Тереза. Вот навязался на нашу голову, вечно он оказывается некстати. Пьеро не хотел, чтобы кто-нибудь знал о его болезни. Так надо было, чтобы Демаджисти попал в ту же больницу, да еще в его же палату. Нет, не желаю его видеть. Не открывайте дверь. И ни звука.

Клелия. Ну как хочешь. *(Лицо ее вдруг перекашивается.)*

Тереза. Что такое?

Клелия. Сейчас... чихну.

Ионе. Задержи дыхание.

Клелия. Не-е-е могу... *(Широко разевает рот и оглушительно чихает.)*

Сразу же раздается звонок у двери.

Тереза *(Анджелике)*. Ну что уж теперь. Иди открой.

Клелия. Вы ничего не говорите, пусть он первый начнет.

Анджелика вводит Демаджисти и Лолу. Тереза, Ионе и Клелия пытаются что-нибудь прочесть по их лицам.

Демаджисти. Нельзя скрывать от друзей дурные вести.

Женщины многозначительно переглядываются.

Я пришел сообщить вам, что... женюсь. А вот это *(указывает на Лолу)* жертва.

Клелия *(облегченно вздохнув)*. Какие молодцы. Поздравляем.

Лола. Свадьба завтра.

Ионе. Так быстро?

Демаджисти. Это, скажу я вам, презабавная история. Еще в больнице — Пьеро знает — я сказал себе: если я поправлюсь, женюсь на Лоле. И вот я поправился.

Лола. У нас уже и ребенок есть, мальчик, ему три годика...

Клелия. Вот как? Не рано ли?

Ионе. Сейчас это принято... Преждевременные роды.

Демаджисти. Нет, тут целая история получилась. Понимаете, однажды я сломал ногу, и мне ее должны были ампутировать. И тогда я сказал себе: если только ногу удастся спасти, я усыновлю ребенка. Нога, как видите, при мне. Да и как бы я обошелся...

Ионе. Без ребенка?

Демаджисти. Без ноги! Без нее мне было бы совсем худо. Дело в том, что однажды пароход, на котором я плыл, начал тонуть, и я дал обет: если только останусь в живых, буду ежедневно не меньше четырех километров проходить пешком. Представляете, что было бы, останься я без ноги?

Клелия. Значит, вы теперь каждый день совершаете такие дальние переходы?

Демаджисти. Недавно перестал. Ребенок заболел, и я сказал себе: если он выздоровеет, я откажусь от ежедневной пешей прогулки — своей единственной радости. Ребенок выздоровел. Но скоро я опять начну ходить. Я поклялся себе, что, если вся эта история с женитьбой кончится благополучно, я опять буду совершать пешие прогулки. Но что это я все о себе да о себе. Прежде чем изложить вам цель нашего визита, позвольте узнать, синьора Тереза, как себя чувствует Пьеро?

Тереза. Вы хотите знать правду?

Демаджисти. Правду, только правду!

Тереза. Что же, пожаловаться он не может.

Демаджисти. Очень рад. Главное, чтобы не было хуже.

Ионе. Это исключено.

Демаджисти. Не надо его тревожить. Пусть спит спокойно.

Ионе *(рассеянно)*. Аминь. То есть, я хотела сказать, конечно, пусть спит.

Демаджисти. Для людей, страдающих болезнью желудка, главное — покой. Покой и протеины. Это новый американский способ лечения. Он так и называется «два п.» — «peace and proteins». Наши врачи в больнице знают о нем, но только забыли, что означает второе «п», эти самые протеины. Поэтому они перепробовали на нас разные сочетания: «покой и паприка», «покой и помидоры», «покой и поросенок», «покой и паштет»...

Заплаканная Анджелика разносит чай.

Демаджисти *(Клелии, указывая на Анджелику)*. Она плачет?

Клелия. Анджелика лук резала на кухне...

Демаджисти *(встревоженно)*. Лук? В этом доме едят лук? Надеюсь, Пьеро вы не кормите луком?

Тереза. Нет-нет. Можете не беспокоиться.

Клелия. Сигарету?

Демаджисти. Благодарю.

Клелия. Я спрашиваю: нет ли у вас сигареты?

Демаджисти. К сожалению, не курю.

Лола. Но ты же всегда курил?

Демаджисти. Курил. Еще даже час назад. А теперь не курю.

Лола. Я не знала, что ты покончил с этим пороком.

Демаджисти. Ну, скажу я тебе, тут забавная история получилась. Ты же знаешь, у меня ужасно разболелся зуб, но я все никак не мог набраться храбрости и пойти к врачу. Сегодня утром я сказал себе: если я найду в себе силы на этот шаг, то брошу курить. И нашел.

Лола. Ты хотел сказать: потерял?

Демаджисти. Что?

Лола. Зуб. Но давай все-таки вернемся к цели нашего визита.

Демаджисти. Ах да. *(Обращаясь к Терезе.)* Мы ведь пришли пригласить вас к себе на свадьбу.

Тереза. Боюсь, что Пьеро не сможет...

Анджелика *(взволнованно)*. Синьора, там какой-то рабочий, он говорит, что ему обязательно нужно пройти в комнату, где отдыхает синьор Пьеро.

Рабочий *(входя в гостиную)*. Синьора, я тут по серьезному делу. У нас оборвался

провод высоковольтной линии, жизнь прохожих в опасности.

Тереза. О боже! Этого еще нам не хватало! Но при чем здесь комната моего мужа?

Рабочий. Там, снаружи, уже работает один монтер, а я должен ему помочь из окна.

Тереза. Силы небесные... Как же быть? В той комнате еще не убрано... Там... там такой беспорядок...

Рабочий. Да вы не беспокойтесь, я смотреть не буду. Только пройду через комнату, а на улицу спущусь через окно, по лестнице.

Клелия. Но там же человек спит.

Рабочий. Я тихонько, на цыпочках.

Анджелика *(входя)*. Синьора, можете его пустить. Я убрала.

Тереза *(оторопело смотрит на Анджелику)*. Ну, идите. *(Гостям.)* Простите, я сейчас.

Уходит с Анджеликой. Ионе и Клелией.

Демаджисти *(который, не заметив ничего странного в поведении хозяек, с удовольствием пьет чай и вдруг со стоном оборачивается к невесте)*. Лола.

Лола. Что, Паоло?

Демаджисти. Боюсь, что я не смогу на тебе жениться.

Лола. Почему?

Демаджисти. Ты же знаешь, я дал обет: если выздоровею...

Лола. То женишься И выздоровел.

Демаджисти. Оказывается, нет.

Лола. И вспомнил об этом только сейчас?

Демаджисти. Я только сейчас это почувствовал. Ой-ой!

Лола. Ну, не отчаивайся. В конце концов, нигде не сказано, что ты не выздоровел. Просто ты еще не совсем выздоровел. Но чем раньше ты выполнишь свой обет, тем скорее все наладится.

Демаджисти. А не будет ли похоже, что я бросаю вызов небу? Вдруг я так и не выздоровею до конца а женюсь, что тогда?

Лола. Наоборот так будет даже лучше Вместо того чтобы торговаться с небом, ты сможешь показать ему все свое благородство. Пусть оно не дало тебе того что ты просил, зато ты исполнишь все, что обещал.

Демаджисти. Слабое утешение. И чувствую я себя плохо Не надо было пить чай. Ой-ой! Мне нужно... немедленно отлучиться.

Лола. Так иди же.

Демаджисти. Неловко как-то. Я первый раз в этом доме

Лола. Я сама скажу синьоре Терезе...

Демаджисти. Ни в коем случае Я запрещаю. Дай-ка мне скорее авторучку.

Лола. Надеюсь, ты не собираешься писать заявление...

Демаджисти. Да скорее же! *(Хватает ручку, которую ему протягивает Лола.)*

Лола Ну вот. Теперь ты еще и пальцы испачкал. Кто же так ручку держит?

Демаджисти. Это я нарочно. Поняла? Они идут.

Тереза *(возвращается с Ионе и Клелией)*. Простите нас, дорогие друзья. Сегодня какой-то неудачный день. Сплошные неприятности.

Лола. Ничего, пустяки. Паоло собирался тут написать открытку и испачкался чернилами, такой неряха. Нельзя ли ему помыть руки?

Тереза *(зовет.)* Анджелика!

Анджелика. Да, синьора.

Тереза. Проводи синьора в туалет.

Анджелика. О, господи!

Тереза. Что еще случилось?

Анджелика. Туда нельзя... там... беспорядок.

Клелия. *(испуганно)*. И там тоже?

Тереза *(Анджелике)*. Ты что, перенесла этот... как его... беспорядок... в туалет?

Анджелика. А куда мне было его девать?

Тереза. Господи! Как же теперь быть? Синьору надо помыть руки.

Анджелика. Минутку. *(Уходит.)*

Тереза. Ты куда?

Анджелика. Сейчас, подождите.

Тереза. Что она собирается делать? Остановите ее ради всех святых, умоляю!

Клелия. Успокойся, Тереза, возьми себя в руки. Ты что-то слишком сегодня нервничаешь.

Тереза. Ты полагаешь, у меня нет для этого оснований?

Клелия. Я все понимаю, но Анджелика просто хочет немного убрать там.

Тереза. Этого я и боюсь!

Ионе *(выглядывая за дверь)*. Нет-нет, Анджелика гораздо сообразительнее, чем мы думали...

Анджелика вносит таз с водой.

Демаджисти *(при виде Анджелики с тазом лицо его искажает гримаса страдания)*. О-о-о!

Анджелика. Я и пемзу прихватила.

Ионе. Не стесняйтесь, чувствуйте себя как дома.

Демаджисти. Дома я в таких случаях пользуюсь туалетом...

Ионе. Мойте руки, мойте, ничего.

Демаджисти *(начинает мыть руки, корчась от боли. Наконец он не выдерживает)*. Синьора, насчет рук я все придумал. Мне немедленно, немедленно нужно...

Услышав это, Анджелика выбегает из комнаты

Тереза *(с трагическим видом загораживает дверь, готовая стоять до конца)*. Это невозможно. Там занято.

Демаджисти. Постучите. Взломайте, наконец, дверь. *(Чуть не складывается пополам от боли.)*

Ионе. Там беспорядок...

Демаджисти. Да плевать я хотел на ваш беспорядок. Пустите меня! Я требую!

Тереза. О! Анджелика... Анджелика! Куда ты запропастилась?

Анджелика *(входя, спокойно)*. Я здесь уже, здесь. Синьор может идти. Я убрала оттуда... этот... беспорядок... в общем... *(Подхватывает едва не потерявшую сознание Терезу.)*

Клелия *(Демаджисти)*. Ну, идите, идите же...

Демаджисти пулей вылетает из комнаты.

Лола. А я пока сбегаю в аптеку. *(Уходит.)*

Тереза *(слабым голосом, обращаясь к Анджелике).* Куда ты его дела?

Анджелика. Перенесла в спальню.

Клелия. Ну и силища у тебя...

Анджелика. У нас в деревне женщины и не такие тяжести на голове носят.

Тереза *(едва не падая в обморок.)* Ты тащила его на голове?!

Анджелика. Нет, это я так, к слову. Его я на руках перенесла.

Тереза. А рабочий. Он все видел?

Анджелика. Нет, он там что-то делал за окном. Синьора Пьеро я положила на кровать и прикрыла, вроде бы он спит.

Тереза. Молодец. Только больше не таскай его туда-сюда.

Анджелика. А мне что, мне нетрудно, у себя в деревне...

Тереза. Да-да, но это совсем другое дело. Бедный Пьеро! Его не оставляют в покое даже теперь. Таскают с места на место.

Анджелика. Но ведь спальня и туалет совсем рядом.

Ионе *(Терезе).* Сам виноват.

Тереза. И то правда.

Ионе. Все это светопреставление по его милости происходит. Кому нужны эти тайны! Все люди как люди, а ему обязательно надо отличиться. Всегда. Во всем. Подумаешь, сюрприз ему подавайте. Вечно оригинальничает. Сволочной все-таки характер был у нашего Пьеро, да простит меня бог.

Анджелика уходит.

Тереза. Мама, он умер, а ты так про него говоришь.

Ионе. Я же ничего плохого не сказала, Тереза. В конце концов, характер у него действительно был сволочной...

Анджелика *(входит, бледная от испуга).* Синьора...

Тереза. Что там еще?

Анджелика. Синьора, такая беда... Сказать не могу...

Тереза. О господи! У меня сейчас разрыв сердца будет. Говори же.

Анджелика. Я боюсь.

Тереза. Да говори же ты, наконец.

Анджелика. А вы не испугаетесь?

Тереза. Ради бога не тяни.

Анджелика. Он пропал.

Тереза. Кто?

Анджелика. Синьор Пьеро. Я пошла посмотреть, хорошо ли он укрыт, а его там нет.

Тереза. Ты с ума сошла! Посмотри хорошенько. Это же невозможно!

Анджелика. Вот честное слово! Я очень хорошо смотрела.

Тереза. Не прикидывайся дурочкой. Куда ты его дела?

Анджелика. Я же говорю — положила на кровать, укрыла.

Тереза. А теперь?

Анджелика. А теперь его там нет. Пропал.

Тереза. Не мели чепухи. Под кровать ты заглядывала?

Анджелика. Первым делом. И там нет. А... как он туда попал бы?

Тереза. Ты его, наверное, в туалете оставила.

Анджелика. Это же не тряпка какая-нибудь.

Тереза. Но ты уверена, что не ошиблась? Может, ты его в коридоре забыла?

Анджелика. Да я ж говорю — нет. Сначала я его отнесла в туалет. Потом, когда синьор Демаджисти стал туда рваться, я перенесла его в спальню и накрыла его так, будто он спит.

Тереза. Но ты уверена, что не оставила его в каком-нибудь другом месте? Может, ты потеряла его, проклятая девчонка? Ты же вечно все теряешь... Это ужасно. Не мог же он сам уйти. А что, если его рабочий унес? Хотя, зачем он ему?

Анджелика. Рабочий уже давно ушел. Я выглянула из окна — там никого нет.

Тереза. А как же он ушел?

Анджелика. Спустился по лестнице, снаружи.

Тереза. Неужели он унес Пьеро с собой?

Анджелика. Вы думаете так?

Тереза. А как еще? Где-то он сейчас, наш дорогой покойник? О господи! Поди посмотри, может, другие рабочие там еще остались. Постарайся узнать, не видел ли кто чего.

Анджелика уходит.

Тереза *(зовет).* Мама, Клелия, идите на минутку сюда. Произошло нечто невероятное.

Ионе. Что такое?

Тереза. Пропал бедный Пьеро.

Клелия. Да ну тебя!

Тереза. Анджелика перенесла его в спальню, а теперь его там нет.

Ионе. Что ты городишь?

Тереза. Наверное, его унес рабочий.

Клелия. Зачем он ему нужен?

Тереза. А я откуда знаю? Послушаешь, что люди рассказывают, так и не такое узнаешь... Я послала Анджелику за рабочим... Не мог же Пьеро вознестись на небо!

Клелия. Точно такой случай описывается в «Пропавшем трупе».

Тереза *(с интересом).* А ты не помнишь, куда он там девался?

Клелия. Его растворили в специальной жидкости: следа даже не осталось.

Ионе. Нет, этот случай не подходит.

Анджелика *(возвращаясь).* Никого нет.

Клелия. А мебель ты отодвигала?

Анджелика. Первым делом. Только... кто бы его туда засунул?

Клелия. Тогда остается одно.

Ионе. Что же?

Клелия. Анджелика врет.

Анджелика. Да я клянусь...

Клелия. Отпираться бесполезно.

Анджелика. Но я же не виновата...

Клелия. Возможно. В таком случае мы имеем дело с особым заболеванием — мифоманией. Просто поразительно! Именно такой случай описан в «Воображаемом преступлении»: вся нью-йоркская полиция была поднята на ноги из-за больной фантазии служанки.

Ионе. Клелия, умоляю тебя, оставь в покое свои полицейские романы. При чем здесь эта, как ты говоришь... мифомания? Что это значит?

Клелия. А это значит, что Анджелика ошибается и является жертвой своего больного воображения. У нервных людей так бы-

вает. То ли от испуга, то ли из привычки лгать, она сама начинает верить, что перенесла бедного Пьеро в спальню, а в действительности — оставила его в туалете.

Тереза. Помилуй! Но там же Демаджисти. Если он наткнется на Пьеро, с ним может бог знает что приключиться!

Клелия. Этого еще нам не хватало. Нужно проверить.

Женщины подходят к двери туалета, Клелия, приложив ухо к замочной скважине и затаив дыхание, некоторое время прислушивается.

Ионе *(шепотом)*. Ну?

Клелия *(также шепотом)*. Никаких признаков жизни.

Ионе. Может, он и вправду наткнулся на покойника и от страху умер?

Клелия. А вот это мы сейчас выясним. Подобный случай описан в «Окровавленной ванне». Бедняге полковнику пришлось немало повозиться, чтобы распутать этот узелок. Он чуть в сумасшедший дом не попал. Такой душка!

Ионе. Кто?

Клелия. Полковник, конечно.

Ионе. Да при чем здесь полковник! Меня беспокоит Демаджисти. Что с ним там случилось?

Клелия *(снова приложив ухо к скважине)*. Я начинаю думать, что он действительно умер и что... *(Отскакивает от двери.)* Нет, не умер. Но я нисколько не удивлюсь, если это с ним случилось сию минуту. *(Вновь прислушивается и наконец решается тихонько постучать.)*

Голос Демаджисти. Занято.

Клелия. Простите, синьор Демаджисти, занято только вами или еще кем-нибудь?

Демаджисти *(раздраженно)*. Я не понимаю вашего вопроса.

Клелия. Я говорю, нет ли кого-нибудь там с вами?

Голос Демаджисти. Черт побери, кто же еще здесь может быть? Я один.

Анджелика. Вот видите! Там его нет. Я же знаю.

Клелия *(пристально глядя в глаза Анджелике)*. Анджелика, куда ты спрятала едкую жидкость, в которой растворился труп бедного Пьеро?

Анджелика. Какую... жидкость?

Ионе *(Клелии)*. Да зачем ей нужно было его растворять?

Клелия. Чтобы замести следы. Это же не первый случай. Проверенный прием.

Ионе. Послушай, сделай такую милость, оставь в покое полицейские романы.

Клелия. Но ты не можешь не согласиться, что ситуация заимствована именно из них. *(Энергично.)* Мы должны найти Пьеро! А пока пусть Анджелика сбегает к привратнице и спросит, не заметила ли та чего-нибудь подозрительного в поведении рабочего. Не было ли при нем каких-нибудь свертков и тому подобного и не волок ли он с собой пьяного приятеля. Подобный случай...

Ионе. Да перестань ты со своими случаями!

Клелия *(Анджелике)*. А ты не вздумай сбежать, деточка. Это бесполезно.

Анджелика уходит.

Что-то подозрительно долго Демаджисти не выходит оттуда. *(Тихонько стучит в дверь туалетной комнаты.)* Синьор Демаджисти!

Голос Демаджисти *(страдальчески)*. Ну что еще?

Клелия. Простите, что я опять вас беспокою. Не посылайте меня к черту, я только хотела спросить одну вещь. Скажите мне откровенно: почему вы так долго там сидите?

Голос Демаджисти *(со стоном)*. Синьора, я прошу вас, умоляю, оставьте меня в покое. Если я задерживаюсь здесь, очевидно, у меня для этого есть основания.

Клелия. Простите, простите, простите.

Все отходят от двери. Возвращается Анджелика.

Анджелика *(Терезе)*. Привратница видела, как рабочий уходил, но никаких свертков он не нес и был один.

Все женщины растерянно переглядываются.

Тереза. Ты, Анджелика, поищи хорошенько еще.

Лола *(возвращается из аптеки с лекарствами)*. А вот и я.

Одновременно появляется и Демаджисти.

Клелия. Ну как?

Демаджисти *(конфузясь)*. Что как?

Клелия. Там все в порядке?

Демаджисти. В каком смысле?

Клелия. Все нормально? Никаких неожиданностей?

Демаджисти *(сухо)*. Что за вопросы! Я чувствую себя хорошо, синьора. Спасибо. Беспокойтесь о своих делах.

Лола. Паоло, почему ты так резок?

Демаджисти. А пусть она не задает всяких вопросов.

Анджелика *(входит и обращается к Терезе)*. Нигде нет. Я по всему дому искала.

Тереза *(она обеспокоена, но, не желая подать виду, начинает нервно смеяться)*. Нигде нет... Ха-ха-ха...

Ионе, Клелия подыгрывают ей и Анджелике, все вчетвером истерически хохочут. Демаджисти и Лола удивленно смотрят на них.

Нигде нет, ха-ха-ха... Нигде нет... Поищем еще... ха-ха-ха...

Уходят.

Демаджисти. Лола!

Лола. Что?

Демаджисти *(хитро подмигивая)*. Они, кажется, что-то потеряли.

Действие второе

Та же сцена. Демаджисти и Лола в позах, в которых застал их конец первого действия. Демаджисти повторяет свои последние слова: «Они, кажется, что-то потеряли».

Голос Анджелики *(из прихожей)*. А я говорю вам, что синьор спит, а синьора никого не принимает.

Голос рабочего. Ну кто-нибудь из хозяев-то есть? У меня очень важное дело.

Анджелика *(вводя рабочего)*. Посидите здесь, я сейчас узнаю.

Рабочий *(очень взволнованно)*. Вы родственники?

Демаджисти. Нет, мы друзья. А что? Что-нибудь случилось?

Рабочий. Страшное дело. Никто, конечно, не виноват, все получилось случайно...

Демаджисти. Да что такое?

Рабочий. Ужасное несчастье. Не знаю, как я им скажу. Понимаете, я тут из окна поддерживал провод высоковольтной линии. И вдруг провод вырвался у меня из рук и одним концом угодил прямо в кровать. Ток был выключен, но, наверное, именно в ту самую минуту на станции его по ошибке снова включили. На одно какое-то мгновение. И этого было достаточно. Синьора, который там спал...

Демаджисти *(в ужасе)*. Нет!

Рабочий. Прямо на месте...

Демаджисти. О, бедный Пьеро!

Рабочий. Он умер во сне. Без единого стона. Как праведник. Поверьте, он совсем не мучился!

Демаджисти. О, бедный Пьеро!

Рабочий. Я так испугался, что засунул покойника в шкаф, а сам сбежал через окно.

Лола. И они ничего на знают!

Демаджисти. Теперь понятно, кого они искали. И до сих пор, наверное, не нашли, не то, знаешь, сколько крику было бы.

Лола. Давай уйдем, пока они не вернулись.

Рабочий. Я подожду на лестнице. *(Уходит.)*

Демаджисти *(Лоле)*. Надо что-то делать. Эти женщины так беспомощны. Первым делом нужно известить друзей. *(Садится за стол и пишет.)* Пусть все придут. Так, этот текст готов. Теперь составим извещение для родственников.

Лола. Еще и этим занимайся! Как все сложно. Нужно хорошо обдумать текст телеграммы.

Демаджисти. Разумеется, тут нельзя рубить сплеча.

Лола. В подобных случаях принято писать так: «Пьеро очень плох, немедленно выезжайте».

Демаджисти. Лола, ты милая девушка, но никогда не думаешь, что говоришь. Ведь это все равно что телеграфировать: «Пьеро умер».

Лола. Но нельзя же их пугать.

Демаджисти. Здесь слишком все прозрачно. Ты же сама сказала: «Так принято писать в подобных случаях». Они сразу догадаются, о чем речь.

Лола. Тогда давай напишем: «Пьеро не совсем хорошо, приезжайте немедленно».

Демаджисти. Ты думаешь, это годится? Если человеку настолько нехорошо, что потребовался немедленный приезд родственников, значит, он уже совсем плох. И родственники либо испугаются до смерти, либо примут нас за идиотов.

Лола. Ты прав. А может, так: «Связи легким недомоганием Пьеро требуется ваше присутствие». Или...

Демаджисти. Нет, не пойдет. Понимаешь, вся соль в этом самом «выезжайте немедленно»: оно все сразу объясняет. С другой стороны, не можем же мы написать: «Пьеро неважно, оставайтесь дома».

Лола. А если вместо «Пьеро очень плох» написать: «Филиппо очень плох, приезжайте скорее»?

Демаджисти. При чем здесь Филиппо, если умер Пьеро? И вообще кто такой этот Филиппо? Лола!.. Лола!..

Лола. Да я назвала просто первое попавшееся имя. Зато можно было бы спокойно написать что угодно: «Филиппо умер» или даже «Филиппо окочурился».

Демаджисти. Но что это даст? Прочтут и скажут: «Окочурился, тем хуже для него!»

Лола. Какой ты, Паоло, несговорчивый. Как подумаю, что мы скоро поженимся, так прямо уже сейчас хочется подать на развод.

Демаджисти. Нужно, чтобы было понятно и в то же время непонятно.

Лола. Тогда почему бы не написать так: «Случаю выигрыша лотерею приезжайте немедленно»? Примчатся сразу же. И в дороге не будут зря переживать.

Демаджисти. А что будет, когда они приедут, ты подумала? На них обрушатся два удара сразу...

Лола. Я настаиваю именно на этом варианте.

Демаджисти. А я его отвергаю.

Лола. Ах вот ты какой, оказывается. Я просто с ужасом думаю, что скоро...

Демаджисти. Ладно, пойдем, по пути что-нибудь придумаем. *(Вернувшемуся рабочему.)* Передайте, что мы ушли.

Демаджисти и Лола уходят, появляются Тереза, Ионе, Клелия.

Рабочий. Ваши гости ушли, синьора.

Тереза. А вам что угодно?

Рабочий. Что угодно мне? Очень это трудно сказать. Мне лично ничего не угодно...

Тереза. Не понимаю.

Рабочий. Прежде всего я должен сказать, что моей вины тут нет никакой.

Тереза. В чем дело, объясните.

Рабочий. Вы еще ничего не знаете?

Тереза. О чем?

Рабочий. Случилось большое несчастье. Я понимаю, конечно, будет следствие... Провод у меня из рук вырвался... Но он не страдал, уверяю вас, совершенно не страдал. Он даже вскрикнуть не успел. Хоть на станции и говорят, что тока не включали... Но я же сам видел...

Ионе *(испуганно Клелии)*. Он, кажется, сумасшедший!

Клелия. Точно такой случай описан в «Побеге из сумасшедшего дома».

Анджелика *(входя)*. Я нашла его. В шкафу.

Тереза *(потрясенная)*. В шкафу? Как он мог туда попасть?

Анджелика. Не знаю, тем более что шкаф был заперт снаружи.

Клелия. Я читала одну книгу — «Труп в сундуке», там точно такая же ситуация...

Рабочий. Простите, я, кажется, догадываюсь, о чем вы говорите. Это я его там запер. Сейчас я все объясню.

Ионе *(возмущенно)*. Как вы посмели!

Тереза. О бедный Пьеро!

Рабочий. Я понимаю, вы, конечно, правы. Но я не виноват. Я ведь не нарочно.

Клелия. Ах, вот как, значит, по-вашему, это несчастный случай!

Рабочий. Совершенно верно. Несчаст-

ный случай. Я сейчас объясню. Синьор умер...

Ионе. Говорите потише, никто не должен об этом узнать, пока он не будет похоронен.

Рабочий. Почему?

Ионе. Потому что он так велел.

Рабочий. Кто?

Ионе. Покойник.

Рабочий *(поражен)*. А он что, говорит?

Ионе. Кто?

Рабочий. Покойник.

Ионе. Вы с ума сошли.

Рабочий. Откуда же вы знаете, что он велел?

Ионе. Он все изложил на бумаге.

Рабочий. В шкафу?!

Ионе. Да нет же. В шкафу он уже был мертвый.

Рабочий. Это я знаю Но как же он тогда успел распорядиться, чтобы о его смерти сообщили только после похорон?

Ионе. Прошу вас, не кричите. Я же вам сказала: в соответствии с его желанием о его смерти мы должны сообщить только через два дня.

Рабочий. А может, вы его попросите, чтобы он позволил вообще об этом случае ничего не сообщать?

Ионе. Кого попросить?

Рабочий. Ну, вашего покойника. Если бы можно было так сделать, чтобы никто не узнал...

Клелия. Во всяком случае, в течение ближайших двух дней вы должны молчать Такова воля покойного.

Рабочий. Я и молчу.

Ионе. Не сказала бы. В общем, мы полагаемся на вас.

Рабочий. А я — на вас. Ведь его уже все равно не воскресишь. Такое несчастье.

Тереза. Да, большое несчастье.

Рабочий. Кому вы рассказываете. Если бы вы знали, какой это был для меня удар!

Тереза *(растроганно)*. Спасибо, спасибо... *(Пожимает ему руку.)*

Рабочий. Ну благодарить меня, может, и не стоит...

Тереза. Нет-нет. Все-таки это приятно...

Рабочий. Вы вдова?

Тереза. Да.

Рабочий. Рад за вас...

Клелия. В общем, договорились: вы держите язык за зубами.

Рабочий. И вы тоже. Вроде бы ничего не случилось. Но как же его будут отсюда выносить?

Клелия. Мы постараемся все это проделать осторожно.

Рабочий. Вот правильно Вы у меня сняли камень с души. До свидания. *(Направляется к двери.)* Да, простите. Забыл вам сказать, что у меня пятеро детей.

Ионе. Очень приятно.

Рабочий. Мал мала меньше.

Ионе. Все дети такие миленькие... когда маленькие...

Рабочий уходит. Появляется привратница.

Привратница *(Терезе)*. Синьора, я никому ничего не говорила, но на парадном повесили черные ленты — синьор с синьориной, которые тут у вас были. Они и объявление в газету дали. Да вот уж к вам и знакомые повалили. *(Уходит.)*

Тереза. Ах, как нехорошо. Но что теперь поделаешь!

Ионе. Пойду хоть черные шали принесу. *(Быстро уходит и возвращается с черными шалями для себя, Терезы и Клелии.)*

Анджелика *(входя)*. Синьора и синьор Пелаэс.

Пока чета Пелаэс заходит в гостиную, а Анджелика выходит из нее, Тереза достает носовой платок и, прижав его к глазам, начинает беззвучно плакать. То же самое она проделывает каждый раз, когда на сцене появляется новое лицо.
Обняв синьору Пелаэс пожав руку ее мужу, Тереза указывает им на кресла, и все рассаживаются, сохраняя на лицах выражение немой скорби.

Синьора Пелаэс *(вздыхая)*. Мы рождены для того, чтобы страдать. Я не могу поверить, что его уже нет с нами. Это невероятно.

Клелия. Я только что говорила то же самое, слово в слово.

Синьора Пелаэс. Мой муж был едва знаком с бедным Пьеро, но как его потрясла эта весть, если бы вы знали...

Тереза. Благодарю вас, благодарю.

Синьор Пелаэс, не меняя позы, слегка кивает головой.

Бедный Пьеро! Если бы мне сказали: «Нет, он не умер, он ослеп»...

Клелия. О, конечно, если бы мне предложили выбрать между мертвым и слепым, я бы выбрала слепого. *(Обращаясь к синьоре Пелаэс)*. А ты?

Синьора Пелаэс. Я? Мертвого.

С визитом соболезнования приходит адвокат синьор Освальдо. Он от самой двери протягивает руки к Терезе и патетически восклицает: «Синьора Тереза!» Потом садится, раскланивается с присутствующими. Вздыхает.

Освальдо. Не могу поверить. Никак не могу поверить, что его уже нет.

Клелия выражает свое полное с ним согласие. Между тем Тереза бережно достает из альбома несколько старых фотографий и протягивает синьоре Пелаэс.

Синьора Пелаэс. Вот такой он и был, смотри, Марко. *(Синьор Пелаэс берет фотографии и, не глядя, сует их Освальдо.)*

Освальдо. Как живой. *(Протягивает фотографии Клелии.)*

Клелия. Я их уже видела, спасибо. А вот и синьора Челесте пришла. Покажите их ей.

Челесте. Спасибо, не надо. Мне будет слишком тяжело. *(Здоровается со всеми.)*

Возвратившиеся домой Луиджи и Маркантонио заглядывают в комнату и, к своему удивлению, обнаруживают там группу гостей. Они делают знаки Терезе, подзывая ее.

Тереза *(гостям)*. Простите, я сейчас. *(Выходит из комнаты вместе с матерью.)*

Освальдо *(обращаясь к синьору Пелаэсу.)* Какое роковое стечение обстоятельств. Вы знаете, за один месяц я потерял троих друзей, и все они были примерно нашего с вами возраста.

Пелаэс незаметно плюет через плечо.

Кто бы мог подумать, что и бедняга Паоло...

Пелаэс *(равнодушно)*. Какой Паоло?

Освальдо. Демаджисти. Вы разве не знали?

Пелаэс *(подпрыгивает на стуле)*. Не может быть!

Освальдо. Уверяю вас.

Пелаэс. Да он же сам мне звонил часа три тому назад, чтобы сообщить о смерти бедного Пьеро!

Освальдо. Вот так. Мгновенная смерть.

Пелаэс *(со слезами)*. О, бедный Паоло, он же мне был как брат родной!

Синьора Пелаэс. Марко, нехорошо, Тереза придет и увидит, что ты оплакиваешь другого.

Пелаэс *(всхлипывая)*. Но я не могу сдержаться.

Тереза *(входит и видит заплаканного Пелаэса. Она удивлена и растрогана)*. Вы его так любили, правда?

Пелаэс растерянно и смущенно кивает.

Клелия *(тихо Освальдо)*. Что за комедию ломает этот Пелаэс? Он почти не был знаком с нашим Пьеро, к чему такое лицемерие?

Освальдо *(тихо)*. Он не о Пьеро плачет, а о Паоло Демаджисти, который умер час назад.

Клелия *(потрясенная)*. Демаджисти умер? *(Обращаясь к Челесте.)* Ты слышала, Челесте? Демаджисти умер.

Челесте. Не может быть! О, бедняжка! *(Начинает всхлипывать.)*

Тереза, думая, что она оплакивает Пьеро, подходит к подруге и обнимает ее.

Пелаэс *(тихо Освальдо, чтобы не услышала Тереза)*. Как это произошло?

Освальдо *(тоже тихо)*. Подробностей я не знаю, но мне сказала об этом сама невеста бедного Демаджисти.

Пелаэс. Синьорина Лола?

Освальдо. Да, она так плакала, что не могла даже толком ничего сказать.

Пелаэс. Какой ужас, ведь назавтра назначена свадьба. Наверное, у него сердце не выдержало.

Луиджи *(входит и слышит последние слова Пелаэса)*. Да что вы, у Пьеро было совершенно здоровое сердце. И женат он был давно.

Пелаэс. Мы говорим о Паоло Демаджисти, который умер час назад. Бедный мой друг. *(С трудом сдерживает слезы.)*

Тереза *(подходя к Луиджи)*. Пелаэс просто трогателен. Я даже не ожидала...

Луиджи. Тереза, этот синьор оплакивает не бедного Пьеро, а Паоло Демаджисти, умершего час тому назад.

Тереза *(холодно)*. Ах, простите. *(Синьоре Пелаэс.)* Ты могла мне сказать об этом сразу. Я бы не обиделась.

Синьора Пелаэс *(смущенно)*. Я... из уважения к твоему горю...

Тереза *(поворачиваясь к ней спиной, Клелии)*. Не понимаю, почему они пришли сюда оплакивать кого-то другого. Могли бы избавить нас от своего визита. Никто их об этом не просил.

Синьора Пелаэс *(пытаясь исправить положение)*. Нет, Тереза. Мы пришли сюда ради Пьеро. И уже здесь узнали, что Паоло умер тоже, и теперь оплакиваем их обоих.

Тереза *(резко)*. Неправда! О моем муже никто не плакал. Но это, конечно, ваше дело. Плачьте, плачьте. Моего горя от этого не убудет. *(Тереза разражается слезами, синьора Пелаэс обнимает ее, тоже плача, Тереза вырывается из ее объятий.)* Оставь меня, оставь. Пусть каждый плачет о своем. По крайней мере, на это я имею право. Не будем смешивать наши слезы!

Луиджи *(увидев входящего в этот момент в гостиную очередного знакомого — Роберто)*. Моя сестра права. Приходят выражать свои соболезнования нам, а оплакивают другого.

Роберто. Как же так?

Луиджи. Узнали, что внезапно скончался Демаджисти...

Роберто *(прерывающимся от волнения голосом)*. Скончался Паоло?

Тереза *(с горечью)*. И вы туда же!

Роберто. Синьора, простите ради бога. Но о Пьеро я уже знал, а весть о смерти Паоло меня потрясла своей неожиданностью. Как же это случилось? Когда?

Тереза. Бедный мой муж! Ему только этого не хватало!

Луиджи *(заметив одиноко стоящего в уголке молодого человека, который утирает платком слезы, подходит к нему)*. Простите, а вы кого оплакиваете? Пьеро или Паоло?

Молодой человек *(удивленно)*. Пьеро. С Паоло я не был знаком.

Луиджи. Слава богу. *(Оборачивается к сестре.)* Тереза! Тут вот один оплакивает бедного Пьеро!

Полковник *(входит, склонив голову набок и протягивая Терезе руки)*. Синьора...

Пелаэс *(разговаривая сам с собой)*. Бедный Паоло! Умереть таким молодым!

Полковник *(в растерянности останавливается, обращается к Луиджи)*. Разве покойного звали не Пьеро?

Луиджи. Пьеро. Но синьор имеет в виду не его.

Полковник. Тогда почему же оплакивают Паоло, если умер Пьеро?

Луиджи. Паоло тоже умер.

Полковник. Странно. *(Терезе.)* Синьора, насколько я понимаю, на вашу семью обрушилось новое горе. Примите мои самые искренние соболезнования.

Тереза *(оскорбленная в своих чувствах)*. Никакого нового горя у нас нет. Хватит с нас нашего. Но к сожалению, эти господа *(указывает на присутствующих)*, движимые удивительной чуткостью и деликатностью...

Луиджи. Тереза, прошу тебя...

Тереза. Дай мне договорить... Движимые поистине удивительной чуткостью и деликатностью, пришли сюда оплакивать не моего мужа, а совершенно другого человека.

Полковник *(возмущенно)*. О, какое бесстыдство! Никогда в жизни не видел ничего подобного! Что, они не могли поплакать где-нибудь в другом месте?

Все пытаются успокоить Терезу.

Клелия. Тереза! Я не плачу, но я же вне подозрений, поэтому послушай меня. Все эти люди, несмотря на новое горе, все-таки остались здесь, с нами. И это значит, что память о Пьеро им дороже...

Тереза. Ах, я никому больше не верю.

Полковник. Синьора. Прошу вас убедиться, что я не плачу. *(Таращит глаза, желая показать Терезе, что в них нет ни слезинки.)*

Тереза *(с горечью)*. Вы единственный порядочный человек...

Полковник. Я изо всех сил сдерживаю слезы, чтобы избежать недоразумений.

Луиджи. Если все дело в этом, полковник, не мучайте себя, плачьте.

Полковник. Спасибо, спасибо, но я уже так запутался, что не знаю, о ком нужно плакать, а о ком — нет. Мужа вашей сестры звали Пьеро или Паоло?

Луиджи. Паоло... Ой, простите, Пьеро. Но если вам хочется плакать о Паоло — сделайте одолжение.

Пелаэс *(вошедшему Маркантонио)*. Ваша дочь должна понять, что мы не проявили никакого непочтения к ее горю. Все произошло потому, что присутствующий здесь синьор адвокат Освальдо принес нам еще одну горестную весть.

Тереза. Ах, вот, оказывается, чьих рук это дело! Ну, Освальдо, спасибо, удружили.

Освальдо *(пристыженный)*. Синьора Тереза, чем же я провинился?

Тереза. Я всегда знала, что вы болтун, сплетник, злой человек. Вы явились сюда и украли слезы, по праву принадлежавшие моему бедному мужу!

Освальдо. Когда я узнал, что умер Демаджисти...

Ионе. Плевать нам на Демаджисти. Он нам и так целое утро сегодня испортил...

Луиджи. Мама, мама, не осложняй ситуацию...

Ионе. О, мы-то хорошо знаем, что он собой представлял.

Маркантонио. Это уже из другой оперы. Ты лучше помолчи.

Пелаэс. Все произошло потому, что кончина Паоло была такой неожиданной. Ведь он чувствовал себя прекрасно. Вот пусть синьор Освальдо скажет.

Полковник. Хватит! Здесь оплакивают Паоло, а не Пьеро!

Луиджи *(тянет полковника за рукав)*. Полковник, вы ошибаетесь, здесь оплакивают Пьеро.

Полковник *(тихо)*. Ах да. Простите. *(Обращаясь ко всем, громко.)* Кому надо оплакивать Паоло Демаджисти — вон из этого дома!

Анджелика *(входит, явно встревоженная)*. Синьор Паоло Демаджисти с невестой!

Всеобщее замешательство, все вопросительно смотрят на Освальдо, который сам удивлен необычайно.

Тереза. Пусть войдут.

Анджелика отступает, пропуская вновь прибывших. Все взгляды обращены теперь на них. Демаджисти, сохраняя на лице приличествующее случаю скорбное выражение, сдержанным поклоном приветствует оказавшегося первым на его пути Маркантонио.

Маркантонио *(который еще не может отделаться от неприязненного чувства к Демаджисти, отвечает очень холодно)*. Здрас-сте, здрас-сте. *(Отворачивается от него.)*

Демаджисти удивлен, но так же учтиво кланяется Ионе.

Ионе *(сухо, почти враждебно)*. Здравствуйте. *(Отворачивается, словно ее обидели.)*

Демаджисти *(протягивая руки Терезе и сотрясаясь от сдерживаемых рыданий)*. Синьора Тереза... *(Продолжает что-то тихо ей говорить. Большинство присутствующих обступает Освальдо.)*

Пелаэс *(разочарованно)*. Что же это вы тут нагородили! И как вам в голову могло прийти такое?

Освальдо *(растерянно пожимает плечами)*. Мне сказала сама его невеста. Наверное, она пошутила...

Маркантонио. Дурацкие шуточки.

Освальдо. Но по ее виду нельзя было сказать, что она шутит. Синьорина плакала. Может, она сама ошиблась?

Пелаэс. Конечно. Синьорина Лола очень серьезная девушка.

Освальдо. А вот мы сейчас спросим у нее Синьорина Лола, можно вас на минутку?

Все, кроме Терезы и Паоло, тихо о чем-то беседующих, собираются вокруг Лолы и Освальдо.

Ведь правда, вы мне сказали, что Демаджисти умер?

Лола *(оторопело)*. Я?

Освальдо. Вы. Несколько часов тому назад, у дантиста. Помните? Я выходил из кабинета, а вы входили. Я спросил, почему вы одна, без Демаджисти, ведь вы всегда провожали его к врачу, а вы, подняв глаза к небу, со слезами сказали: «Он уже отмучился».

Лола. Ну, да. Ему же зуб вырвали.

Освальдо *(наступая на нее)*. Тогда зачем вы закатывали глаза и плакали?

Лола *(невозмутимо)*. Потому что у меня у самой зуб разболелся.

Освальдо. Вы еще сказали: «Теперь ему лучше, чем нам».

Лола. Конечно, лучше. Нам с вами еще только будут рвать...

Пелаэс *(со смехом)*. Вот это да! Вот это поговорили!

Синьора Пелаэс *(укоризненно)*. Марко, как ты можешь смеяться!

Пелаэс *(ворчливо)*. Черт побери, в этом доме не дают ни плакать, ни смеяться!

Луиджи. Это, наконец, просто неприлично. Увидели, что Демаджисти жив,— и, пожалуйста, смеются, радуются.

Полковник *(указывая Луиджи на Демаджисти, тихо)*. Я все никак не пойму, этот господин оплакивает Пьеро или Паоло?

Луиджи. Пьеро, Пьеро. Он сам — Паоло!

Присутствующие обсуждают это недоразумение. Всех, кроме родных покойного, охватывает какое-то нервное веселье. Чем больше они стараются его сдержать, тем настойчивее оно рвется наружу. Вдруг открывается дверь в спальню и оттуда доносится голос Пьеро: «Тереза!» Все, продолжая улыбаться, удивленно оглядываются. В дверях появляется Пьеро. На нем фрак и тапочки. На груди — орден, в уже — цветок; в одной руке у него небольшой венок, в другой — длинная горящая свеча. Наступает гробовая тишина.

Действие третье

Та же сцена. Все действующие лица в тех позах, в каких застало их окончание второго действия.

Пьеро *(раздраженно)*. Тереза! Эта свечка жжется. Вы забыли снять с нее нагар!

Тереза. О, Пьеро, прости, я не заметила. Сейчас сниму. *(Вдруг оторопело останавливается и смотрит на него так, словно видит впервые.)* Ай!.. Пьеро, значит, ты...

Пьеро. Как видишь, воскрес. Наверное, благодаря этой свечке, которая дымит так, что можно задохнуться. *(Гасит свечу и бросает ее прочь.)*

Луиджи *(смотрит на Пьеро как завороженный)*. Типичный случай мнимой смерти.

Пьеро. Я подумал то же самое, когда проснулся в этом элегантном облачении среди цветов и украшений сомнительного свойства. Я так крепко спал после снотворного, что, судя по всему, едва не стал жертвой трагической ошибки. Хотя атмосфера веселья, царившего здесь еще минуту назад, и заставляет меня усомниться в том, что событие это присутствующие приняли так уж близко к сердцу. Но я бы не хотел, чтобы мое неосмотрительное воскресение испортило все дело. Прошу, господа, подолжайте же смеяться и веселиться. Чувствуйте себя так, словно я все еще на том свете. Вы не сочтете нескромным мое желание присоединиться к вашему веселью?

Пелаэс. Простите, синьор Пьеро. От всей души поздравляю вас с благополучным воскресением и позвольте разъяснить это забавное недоразумение...

Пьеро *(жестом заставляя его замолчать, поворачивается к словно окаменевшей Терезе)*. Я не хотел бы прослыть негостеприимным, но не объяснишь ли мне ты, что здесь делают все эти люди?

Тереза. Пьеро, ты жив, какое счастье!..

Пьеро. Может быть, ты все же ответишь? Если память мне не изменяет, в завещании я просил оповестить всех о моей смерти лишь после похорон. Похороны вроде бы еще не состоялись, а ты уже наприглашала гостей...

Тереза. Сейчас я тебе все объясню. Они смеялись, потому...

Пелаэс. Потому что наш друг Освальдо принес весть о смерти Демаджисти.

Пьеро *(вздрагивает)*. Паоло умер?

Тереза. Вот видишь, ты тоже... оплакиваешь его...

Демаджисти. Да нет же, я не умер. Произошло недоразумение. Потому-то все и развеселились. Но только чуть-чуть.

Пьеро *(Терезе)*. Велел я или не велел никому не сообщать о моей смерти?

Тереза растерянно молчит.

Ионе *(тихо Маркантонио)*. Я всегда говорила, что у него сволочной характер.

Маркантонио *(тихо)*. Даже смерть его не изменила.

Пьеро *(Терезе)*. Отвечай, дорогая: велел или не велел?

Тереза. Да, Пьеро, ты велел, но...

Пьеро. Но вам всем, как всегда, наплевать на мои распоряжения.

Тереза. Нет, Пьеро, клянусь тебе, мы сделали все, чтобы никто ни о чем не узнал... Но слух как-то сам просочился...

Пелаэс. Простите, синьор Пьеро, что я вмешиваюсь в ваши дела, но я считаю себя вправе высказаться, ибо пришел сюда не по своей воле: я бы охотнее остался дома, но моя жена, приятельница вашей жены, заставила меня... Вы же знаете этих женщин.

Пьеро. Весьма вам признателен, но я вас не звал.

Пелаэс. Пусть так, но, не говоря уже о том, что мы не получили никакого удовольствия от этих похорон, я считаю своим долгом заметить: покойник не имеет права требовать, чтобы его хоронили втайне.

Демаджисти. Похороны, между прочим, — это своего рода смотр живых, лишняя возможность на людей посмотреть и себя показать.

Пьеро. Потому-то я и хотел, чтобы все было сделано без шума.

Пелаэс. Вот это уж, простите, подло.

Освальдо. Покойника не убудет, если люди посмотрят, как его хоронят.

Лола. Это благородный обычай, приятный для живых и делающий честь мертвым. Поэтому похороны оставьте уж нам.

Освальдо. Похороны принадлежат живым, а покойник пусть занимается своим делом и не вмешивается.

Пьеро. А мне наплевать! Я не желаю, чтобы обсуждался вопрос о правах покойника. Не желаю, и все. И убирайтесь отсюда вон!

Пелаэс *(торжественно застегивает пиджак)*. Пожалуйста. В другой раз лучше сам умру, чем приду на ваши похороны.

Пьеро. Вы мне сделаете большое одолжение. А что касается меня, то на ваши похороны я, конечно, не явлюсь.

Пелаэс. Надеюсь. *(Поворачивается к жене.)* Пойдем, Лучилла.

Синьора Пелаэс *(растерянно, Терезе)*. Прощай, Тереза, мужайся... то есть я хотела сказать — не мужайся... Ой, прости... Это неожиданное воскресение...

Пелаэс *(обращается к Терезе, многозначительно глядя при этом на Пьеро)*. Синьора, приношу вам свое искреннее соболезнование. *(Уходит, демонстративно ни с кем не попрощавшись.)*

Синьора Пелаэс *(обнимая Терезу)*. До свидания, Тереза! Крепись! *(Уходит.)*

Освальдо. *(кланяется Терезе)*. Синьора... *(Уходит.)*

Демаджисти. Некрасиво как-то получилось: ни к чему эти стычки между гостями и покойником... то есть бывшим покойником. Ну, да ладно, все хорошо, что хорошо кончается. А теперь, когда здесь остались все свои, я хочу предложить одну вещь.

Анджелика *(вносит венок и обращается к Пьеро)*. Вот, венок принесли.

Пьеро *(Терезе)*. Это еще что за венок!

Анджелика. Ой, какой покойничек сердитый! *(Бросает венок и убегает.)*

Пьеро *(Терезе)*. Я предупреждал — никаких цветов! И что же? Полюбуйтесь — цветы так и сыплются. Вот, один у меня даже в ухе.

Тереза. Прости, Пьеро, но когда все узнали, начали присылать...

Пьеро. Выходит, надо всегда делать так, как хотят другие? *(Подходит к венку и читает надпись на ленте.)* «От друзей — Демаджисти и Лолы». *(Растроганно, Демаджисти.)* О, спасибо. Какой красивый!

Демаджисти *(скромничая)*. Да что вы, ничего особенного.

Пьеро. Нет-нет, он великолепен. *(Приосанившись, примеряет венок перед зеркалом.)* Просто не знаю, как тебя благодарить.

Демаджисти. Я подскажу тебе. Это как раз и есть мое предложение. Понимаешь, из-за твоей смерти мне пришлось отложить свадьбу, назначенную на сегодня. Кроме того, нужно ведь отпраздновать и твое воскресение. А поскольку мы уже все в сборе, нельзя ли отпраздновать оба эти события здесь, у тебя?

Пьеро. А что, недурная идея!

Маркантонио. Наконец он начинает что-то соображать.

Пьеро *(Демаджисти)*. В таком случае позволь предложить твоей невесте эти цветы. *(Преподносит венок Лоле.)*

Лола *(растроганно)*. О, спасибо! Как они красивы!

Пьеро *(скромно)*. Да что вы, ничего особенного!

Демаджисти. Нет-нет, они великолепны!

Пьеро. Пара жалких веток, уверяю вас!

Демаджисти *(Пьеро)*. Ты ничего не затевай. Мы сами обо всем позаботимся. *(Уходит вместе с Лолой.)*

Маркантонио *(Пьеро)*. А знаешь, смерть пошла тебе на пользу. Ты выглядишь гораздо лучше, чем до нее.

Пьеро. Ты находишь?

Маркантонио. Никакого сравнения...

Пьеро. И правда, я чувствую себя как-то бодрее. Анджелика!

Анджелика. Я тут.

Пьеро. Туфли.

Тереза. Прости меня, Пьеро!

Пьеро. Что такое?

Тереза. Я сделала доброе дело... в память о тебе.

Пьеро. Как прикажешь это понимать?

Тереза. Я отослала твою старую обувь священнику, чтобы он раздал ее бедным.

Пьеро. Вот как, значит, бедняки из нашего прихода разгуливают теперь в моих старых туфлях. А где же новые?

Тереза. А новые... я отдала нашей привратнице.

Пьеро. Ты с ума сошла? Пару новехоньких туфель?

Тереза. Но ведь ты в них уже не нуждался...

Пьеро. Можно было, кажется, подождать немножко. Анджелика!

Анджелика. Тут я.

Пьеро. Пойди к привратнице, скажи, чтобы она принесла мои туфли.

Анджелика. Иду.

Луиджи. Да оставь ты ее, бедняжку, в покое. Раз уж подарили, пусть носит.

Пьеро. Отдай ей свои, если тебе так хочется. А мои мне нужны самому. Я хочу пойти прогуляться.

Луиджи. Ты что! Вы только послушайте его: человек едва воскрес и уже хочет уйти из дому. И куда же это ты собрался?

Пьеро. Просто подышать свежим воздухом.

Тереза *(со стоном)*. Ах!..

Пьеро Что еще стряслось?

Тереза. Твои костюмы... Я тоже подарила.

Пьеро. Ну можно ли найти человека глупее тебя? Оставить меня во фраке и без туфель? Как я покажусь на улице в таком виде?

Луиджи. Прости, но ты ведь должен был...

Пьеро. Отправиться на тот свет. И поэтому вы мне соорудили такой миленький туалетик.

Маркантонио. Прости, Пьеро. Ты, конечно, не обижайся... но ведь всех покойников так одевают.

Пьеро *(заподозрив неладное, ощупывает спину, и выражение неописуемого ужаса появляется на его лице)*. Так я и знал! Вы изрезали мне фрак!

Тереза. Иначе он никак не налезал.

Пьеро. Идиоты! Новехонький фрак! Я же его пару раз только надевал!

Тереза. Но ведь он тебе был узок. Ты еще на нашей свадьбе в нем был, помнишь? Сколько чудесных воспоминаний связано с этим фраком! Мы тогда думали, что вся наша жизнь будет состоять из праздников и фрак ты будешь носить чуть ли не каждый день. А вместо этого...

Пьеро. А вместо этого вы превратили его вот во что. Мой единственный вечерний туалет.

Тереза. Но ты же умер, Пьеро.

Пьеро. Вы что, не могли разрезать какой-нибудь старый костюм? Кому нужна вся эта элегантность? Или, может быть, на том свете принимают только во фраках?

Тереза. Ну вот и привратница.

Маркантонио *(обращаясь к ней)*. Синьор Пьеро воскрес. *(Привратница не реагирует.)* Он воскрес!

Привратница. Да не кричите, я поняла.

Пьеро. Мне очень жаль, что это столь радостное для меня событие для тебя оборачивается несколько печально, но я вынужден просить тебя вернуть туфли, которые тебе подарили.

Привратница. Пожалуйста.

Пьеро *(смотрит на туфли, потом на привратницу. Говорит строго)*. Послушай, милая, это что еще за шутки? Мои туфли были совсем новые. А эти — старые и стоптанные. Неужели ты полагаешь, что я надел бы подобную рвань?

Привратница. Вот я и удивилась, когда мне их дали. Только, как говорится, дареному коню...

Пьеро. Ну, хватит болтать вздор. Иди принеси мои туфли.

Луиджи. Ох, я совсем забыл. Прости меня, Пьеро, я подумал, что привратница может походить и в моих туфлях, а твои взял себе на память: ведь размер у нас с тобой один и тот же... Тем более что...

Пьеро. Я был мертв, понятно? Но сейчас я жив, и будь любезен вернуть мои туфли.

Луиджи *(разочарованно, привратнице)*. Сами видите, я не виноват, но теперь я вынужден просить вас вернуть мне мои.

Привратница. А я что же, должна остаться босиком? Свои-то я уже выбросила.

Луиджи. Не думаете же вы, что босиком должен остаться я! Я понимаю, можно быть щедрыми, но, как говорили древние римляне, эст модус ин ребус, то есть — все хорошо в меру.

Пока происходит операция «обмен туфлями», в результате которой привратница уходит в покойницких тапочках, синьора Иоие, увидев, какой оборот принимают дела, вынимает из своей сумочки часы и бумажник Пьеро и протягивает их ему. Между тем старый Маркантонио снимает брюки. Пьеро внимательно и упорно изучает галстук Луиджи, и тот, заметив, что является объектом столь пристального внимания Шурина, начинает медленно развязывать узел галстука.

Луиджи. Видишь ли, поскольку у нас один размер...

Пьеро. Понимаю, понимаю. Проверь, не одного ли размера у нас с тобой портсигары.

Луиджи. Ах да. *(Возвращает Пьеро портсигар.)* Это все на память о тебе.

Пьеро. А ты не растерялся: захватил сразу несколько сувениров!

Луиджи. Ты же знаешь, как я сентиментален.

Пьеро. Да-да, у тебя страсть к сувенирам. Может быть, ты хотел музей открыть?

Луиджи. Это все потому...

Пьеро. Что у нас один и тот же размер. Я понимаю. А мои домашние туфли?

Луиджи. Вот их я не брал.

Тереза. Позволь, домашние туфли ты же сам завещал Анджелике.

Пьеро. Ах, вы уже и завещанное разделили?

Тереза. Ну, если говорить откровенно, так домашние туфли — единственное, что ты оставил по завещанию.

Пьеро. Ну и молодцы! Времени зря не теряли. Мне очень жаль, но... Анджелика!

Анджелика. Я здесь.

Пьеро. Тот факт, что я вспомнил о тебе в своем завещании, главным образом объясняется совпадением двух совершенно независящих друг от друга обстоятельств. Я имею в виду мою смерть и огромный размер твоей ноги. Мне известно, что ты не раз тайком надевала мои шлепанцы, почему они превратились в два корыта. Поскольку первое обстоятельство отпало, тебе остается лишь вернуть мне то, что я тебе завещал.

Анджелика. Так я и думала. *(Снимает шлепанцы и уходит.)*

Возвращаются Демаджисти и Лола с бутылками шампанского и закусками.

Демаджисти. Да здравствует воскресший!

Пьеро. Да здравствуют молодожены!

Появляются гости, все пьют, танцуют. В самый разгар веселья посыльный приносит гроб.

Анджелика *(входит и обращается к Пьеро)*. Гроб принесли.

Пьеро. Какой гроб?

Анджелика. Для вас.

Луиджи. Ах да. Мы же не отменили заказ. *(Гостям.)* Пройдите, пожалуйста, в другую комнату.

Все, кроме Луиджи и Пьеро, выходят в соседнюю комнату, где веселье продолжается. Анджелика впускает посыльного. Тот вносит гроб, осторожно ставит его на пол и утирает пот со лба.

Посыльный. До чего тяжелый!

Пьеро. Спасибо, но он уже не нужен. Мертвый воскрес.

Посыльный. Воскрес?

Пьеро. Да, да. А что в этом необыкновенного? Воскресший — это я.

Посыльный. Черт побери, если бы я знал раньше, не тащил бы эту тяжесть наверх.

Пьеро. Мне очень жаль.

Посыльный. Ну, что поделаешь. Только как теперь доставить его обратно? Нам велели сделать все поаккуратнее, чтобы не бросалось в глаза. Поэтому фургон я сразу же отпустил. Позвоните в похоронное бюро, пусть пришлют машину.

Луиджи *(Пьеро)*. А может, ты оставишь его... на всякий случай... в общем, до того момента, когда он действительно понадобится?

Пьеро. Нет, тогда я закажу новый. Вдруг мода к тому времени изменится. Кстати, может, купишь его ты? Ведь размеры у нас, кажется, одинаковые...

Луиджи. Спасибо, но у меня склонность к полноте.

Пьеро. У меня тоже. Поэтому лучше всего отправить его обратно.

Луиджи. И пусть нам вернут деньги.

Пьеро. Дело не в деньгах, просто мне хочется поскорее убрать его из дома.

Луиджи *(посыльному)*. Может, вы вернете его в похоронное бюро за полцены?

Посыльный. За полцены? Можно, конечно. Я скажу, чтоб прислали машину. До свидания. *(Уходит.)*

Луиджи. Ну а теперь хватит грустить. Пойду выпью за твое здоровье! *(Уходит в другую комнату.)*

Со стороны лестницы доносятся нарастающей силы стенания. Вбегает Тереза.

Тереза *(испуганно прислушиваясь)*. Пьеро, по-моему, это твоя сестра Элизабетта!

Голос Элизабетты. О, наш дорогой ангел, на кого же ты нас покинул? Вечная тебе память...

На сцену выходит этакий седой гренадер в юбке, с широким красным лицом, покрытым довольно густой растительностью. Элизабетта в трауре, с чемоданом. Не обращая внимания на Пьеро, держащего в одной руке бокал шампанского, а другой отправляющего в рот сладости, она подходит к Терезе и говорит трагическим тоном.

Неужели, неужели он умер?!

Тереза *(после объятий)*. Спроси у него. *(Указывает на Пьеро.)* Ты меня, пожалуйста, извини, но у меня там гости. Приходи потом закусить.

Элизабетта *(поворачивается к Пьеро и спрашивает тем же тоном)*. Ты понимаешь, что такое смерть?

Пьеро *(с набитым ртом, спокойно)*. Да-да, понимаю.

Элизабетта *(вздрагивает, протирает глаза, обалдело смотрит на него, только сейчас начиная соображать, что говорит с самим Пьеро)*. То есть как это...

Пьеро *(все так же спокойно)*. Случай мнимой смерти. Не хочешь ли чего-нибудь с дороги? *(Протягивает ей вазу.)*

Элизабетта. Ох, святые угодники! Как же теперь быть?

Пьеро. С чем?

Элизабетта. Когда принесли телеграмму, мой муж сразу же все понял. Он так разволновался, что его хватил удар. Сейчас, слава богу, все прошло.

Пьеро *(разочарованно)*. Уже?

Элизабетта. К счастью, да. Ты же знаешь, какое у него больное сердце. Сильное волнение может его убить. Но сейчас он уже вне опасности.

Пьеро. Слава богу.

Элизабетта. Но врач сказал, что еще одно такое потрясение — и он отправится на тот свет. Послушай, Пьеро... он ни в коем случае не должен знать, что ты воскрес. Этого он не вынесет.

Пьеро. Как?! Он знает, что я умер, и чувствует себя превосходно, а известие о том, что я жив, может его убить?

Элизабетта. Пьеро, пойми же меня правильно. У Панталео такая ранимая душа. Ты ведь сам знаешь, как он тебя обожает. Один удар он уже перенес и, к счастью, оправился от него.

Пьеро. Ну и слава богу.

Элизабетта. Но если он узнает, что ты воскрес, от радости его хватит второй удар, и тогда конец.

Пьеро. Ах, бедняга. Ну что ж, пусть он продолжает думать, что я мертв, если от этого ему лучше.

Элизабетта. Пьеро, ты все иронизируешь, а ведь у Панталео благороднейшее сердце. Он тебя обожает: он может умереть от радости. Ты понимаешь, что это такое? Сейчас он — сама скорбь: глубокая, неизгладимая, вечная, но... спокойная, да-да, теперь уже спокойная.

Пьеро. Быстро же он успокоился. Но, как бы то ни было, не могу же я вечно притворяться мертвым только потому, что это приятно моему шурину.

Элизабетта. Ну конечно, рано или поздно он все узнает. Мы подготовим его постепенно, осторожненько. А сейчас, пока рана еще так свежа, нужно поберечь его.

Пьеро. Ну так не сообщай ему ничего, а когда вернешься домой...

Элизабетта. Он здесь.

Пьеро. Как, он тоже приехал?

Элизабетта. Ну да, он только на минутку задержался внизу, в баре, чтобы подготовиться к последнему испытанию.

Пьеро. Послушай, не пускай его сюда. Скажи, что, если он увидит мой труп, его может хватить второй удар.

Элизабетта. Пьеро, ты все еще меня не понял. От первого удара он уже оправился. А если и не совсем, так сейчас там, внизу, он подкрепится каким-нибудь коктейлем Но он *хочет* увидеть твой прах.

Пьеро. Смотрите, пожалуйста, какие притязания.

Элизабетта. Он говорит, что должен сказать тебе последнее прости.

Пьеро. Я его освобождаю от этого долга.

Элизабетта. Ну не упрямься, иди и ляг на кровать!

Пьеро. Да отстань ты от меня!

Элизабетта. Умоляю тебя, Пьеро, сделай это ради него.

Пьеро. А нельзя сказать ему, что меня уже унесли?

Элизабетта. Нет. В баре *он* узнал, что ты еще здесь, и успокоился: больше всего он боялся опоздать.

Пьеро. Это очень мило с его стороны, но мертвецом прикидываться я не буду.

Элизабетта. Ну неужели тебе трудно сделать это ради него?

Пьеро. Послушай, а что, если ты покажешь ему гроб?

Элизабетта. Пустой?

Пьеро. Пустой. Скажи, что я там.

Элизабетта. Он уже идет! Спрячься!

Пьеро скрывается в соседней комнате.

Панталео *(это высокий и грузный мужчина, с трагическим выражением лица, медленно передвигающийся на массивных, как у слона, ногах. Отмахиваясь руками, словно кто-то пытается его удерживать, он восклицает проникновенным голосом)*. Не говорите мне ничего!

При виде гроба он в ужасе прикрывает глаза рукой и делает вид, что только необыкновенное усилие воли помогает ему совладать с собой и не выбежать из комнаты. Затем он начинает медленно отводить руку от лица, содрогаясь от рыданий. Во время этой немой сцены в комнату входит Тереза и передает Элизабетте тарелку с куском торта.

Тереза. Не спускай с него глаз: как бы он не натворил глупостей.

Элизабетта *(супругу)*. Мужайся, Панталео. Я знаю, что словами здесь не поможешь. Лишь время может смягчить горечь утраты. Но живые должны жить...

Панталео *(издавая звук, похожий на рычание)*. Нет! Оставьте меня! Оставьте меня!

Элизабетта *(спокойно уписывает торт)*. Я сочувствую твоему горю. Но будь же сильным, будь мужчиной. Сейчас твой шурин уже там *(показывает на небо)*, он смотрит на тебя и шлет нам свое благословение. Наш долг — жить для других.

Тереза *(тихо)*. Да скажи ты ему, наконец, что Пьеро жив.

Элизабетта. Избави бог! На него эти слезы действуют благотворно. *(Протягивает Панталео тарелку с куском торта. Тот смотрит на нее с изумлением)*. Такова уж воля усопшего.

Панталео. Какая благородная душа!

Анджелика *(входит и тихо говорит Терезе)*. Синьора, мороженое уже начало таять.

Тереза *(Элизабетте)*. Извини. *(Уходит с Анджеликой)*.

Из соседней комнаты вместе с веселым звоном бокалов и радостными восклицаниями доносятся звуки радиолы. Через приоткрытую дверь видны пары, кружащиеся в вальсе.

Панталео *(шокированный)*. Они танцуют?

Элизабетта *(смиренно)*. Такова воля покойного.

Панталео. Какая благородная душа! Он не хотел, чтобы над его гробом проливали слезы. Ну что ж, потанцуем и мы, раз уж ему так хотелось. *(Со вздохом поднимается и с грустным лицом начинает медленно танцевать.)*

Входит посыльный.

Посыльный. Разрешите? Мы пришли за гробом.

Панталео. Уже?

К величайшему изумлению посыльного, скорбно вздыхает и целует гроб.

Посыльный *(вынимая из кармана ассигнацию).* Платить вам?

Панталео *(удивленно).* А что, вы их покупаете?

Посыльный. Совершенно верно. Один наш служащий покупает его по сходной цене. Но он хочет, чтобы никто об этом не знал.

Панталео *(обменивается многозначительным взглядом с женой и тихонько говорит посыльному, стараясь, чтобы его не услышали в соседней комнате).* Я-то буду нем как рыба. Но и вы обещайте никому ни слова! *(Берет ассигнацию и разглядывает ее.)* Маловато, пожалуй!

Посыльный. Больше мне не дали.

Панталео *(украдкой кладет деньги в карман и, не спуская глаз с двери, тихо говорит.)* Не можете ли вы мне растолковать, что с ним сделает этот самый покупатель?

Посыльный *(со смехом).* Ну, а что с ними делают всегда?

Панталео *(растерянно).* Этого-то я и не знаю.

Посыльный *(со смехом).* Ах, не знаете? Вот счастливчик!

Начинает вытаскивать гроб.

Панталео *(посылая воздушные поцелуи).* Прощай, прощай!

Элизабетта *(вошедшей Терезе).* Пойдем и мы следом, а то Панталео догадается.

Из соседней комнаты выходят Ионе Маркантонио, Луиджи, Клелия, Анджелика, Демаджисти, Лола и другие гости. Образуется траурный кортеж, возглавляемый Панталео. Несколько мгновений сцена пуста. Но вот крадучись выходит Пьеро. Убедившись, что в комнате никого нет, он приближается к окну. С улицы доносятся медленные торжественные звуки похоронного марша. До глубины души растроганный видом собственных похорон, Пьеро отходит от окна и утирает слезу.

Когда занавес опускают, участники похоронной процессии проходят перед зрителями по авансцене, одни уходят за занавес, другие выходят из-за него — движение идет по кругу. Когда актеров не видно, они успевают изменить что-нибудь в своем костюме или в гриме, чтобы у зрителя создалось впечатление, будто он видит все новых и новых людей и кортеж бесконечно велик. Так перед нами проходят:

1) все участники спектакля в том виде, в каком они выступали перед нами;
2) все с раскрытыми зонтиками;
3) все со свечами или факелами в руках;
4) все в церковном облачении;
5) с длинными приставными носами, в темных очках;
6) все плешивые;
7) все с пышными шевелюрами;
8) в военном обмундировании, с касками на голове и т. д.;
9) в треуголках дипломатов, адмиралов и т. п.;
10) в монашеском одеянии с капюшонами;
11) с духовыми инструментами и барабанами (оркестранты).

При этом зрители увидят все аксессуары похорон, как-то:
подушку с орденами и медалями;
подушку со шпагой;
развевающиеся плюмажи, которыми украшают катафалки; а также:

12) капельмейстера оркестра с маршальским жезлом вместо дирижерской палочки;
13) плакальщиц;
14) мэра в цилиндре и с трехцветной лентой через плечо;
15) представителей городских властей в цилиндрах;
16) человека, делающего вид, будто он произносит надгробное слово;
17) плачущего мужчину;
18) двух участников процессии, живо обсуждающих какие-то свои дела, и так далее и тому подобное (актеры все те же, и проходят они под все тот же похоронный марш).

Конец

(Эта комедия впервые была поставлена 27/III 1961 года на сцене миланского театра «Сант-Эразмо».)

◆

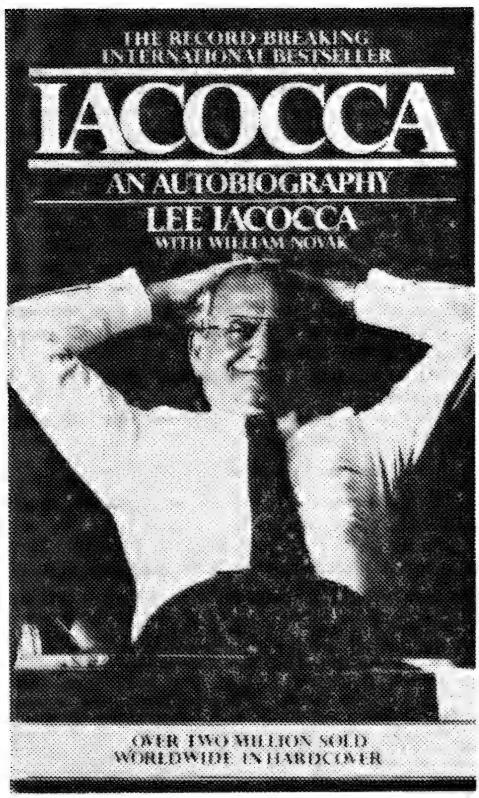
ЛИ ЯКОККА

при участии
Уильяма Новака

ЯКОККА: АВТОБИОГРАФИЯ

Фрагменты книги

Перевод с английского И. ГУРОВОЙ



Где бы я ни оказался, мне обязательно задают одни и те же три вопроса. Как вам удалось добиться таких успехов? Почему Генри Форд вас уволил? Каким образом вы вернули к жизни «Крайслер»?

Вразумительно ответить на эти вопросы с ходу я никогда не умел, предпочитая уклончивое: «Вот напишу книгу, тогда узнаете».

Год за годом я до того часто пускал в ход эту фразу, что мало-помалу сам в нее уверовал. Так что в конце концов мне пришлось сесть и написать книгу.

Пролог

Вас ожидает рассказ о жизни человека, на чью долю выпало куда больше успеха, чем в среднем приходится на одну жизнь. Правда, бывали в ней и времена довольно скверные. Во всяком случае, когда я оглядываюсь на тридцать восемь лет, отданных автопромышленности, то прежде всего вспоминаю день, который никак не был связан ни с успехом новых моделей, ни с продвижением по службе, ни с прибылями.

Жизнь я начал как сын иммигрантов и благодаря лишь собственным усилиям поднимался все выше, пока не стал президентом «Форд мотор компани». Когда наконец я взобрался на эту вершину, мне уже нечего было желать. Но тут судьба объявила мне: «Погоди! Это еще не все! Теперь тебе предстоит узнать, как бы ты себя почувствовал, если бы тебя коленкой под зад спихнули с Эвереста!»

13 июля 1978 года меня уволили. Я был президентом «Форд мотор» восемь лет, прослужив там в целом тридцать два года. Нигде больше я не работал. И вот внезапно я оказался без места. Врагу не пожелаю пережить такое.

Официально я мог оставаться на посту еще три месяца, а потом по условию моего «ухода в отставку» мне должны были предоставить кабинет на время, пока я не подыщу себе новое место.

И вот 15 октября — в тот день мне, кстати, исполнилось пятьдесят четыре года — мой шофер в последний раз отвез меня в штаб-квартиру компании в Дирборне. Выходя из дому, я поцеловал Мэри, мою жену, и Кэти с Лиа, моих

Excerpted from "Iacocca: An Autobiography" by Lee Iacocca with William Novak. © 1984 by Lee Iacocca. Reprinted by arrangement with Bantam Books. New York, a division of the Bantam Doubleday Dell Publishing Group, Inc. All rights reserved.

дочек. Глядя, во что они превратились за эти тревожные месяцы, я просто неистовствовал. Может быть, я сам виноват в том, что произошло со мной. Ну, а Мэри и девочки? Они-то почему должны терпеть все это? Ни в чем не повинные жертвы деспота, чье имя красовалось на здании фирмы.

Даже сейчас я все еще чувствую эту боль. Генри Форд заставил страдать моих девочек, и этого я ему никогда не прощу.

На следующий день я сел в машину и поехал на Телеграф-стрит, где мне на каком-то мрачном складе отвели новый кабинет. Оттуда до штаб-квартиры «Форд мотор» было мили две, но я словно очутился на другой планете.

Я не сразу отыскал нужное здание, а отыскав, не знал, где поставить машину.

Впрочем, в людях, готовых показать мне, куда я должен повернуть, недостатка не оказалось. Кто-то сообщил репортерам, что свеженизвергнутый фордовский президент с нынешнего утра будет работать тут, и меня уже поджидала порядочная толпа. Телевизионный репортер подсунул к моему рту микрофон и спросил: «Как вы себя чувствуете, очутившись на этом складе после того, как восемь лет провели на самом верху?»

Что мне было ответить? Я не смог выдавить из себя ни слова. И только отойдя от камеры на безопасное расстояние, буркнул себе под нос: «Как дерьмо в проруби».

Мой новый кабинет оказался тесной каморкой, еле вмещавшей маленький письменный стол с одним телефоном. Дороти Карр, моя секретарша, уже ждала меня. Со слезами на глазах она молча кивнула на истертый линолеум пола, на две пластмассовые кофейные чашки на столе.

Еще вчера мы с ней трудились, утопая в роскоши. Президент компании занимал помещение, которое размерами потягалось бы с двойным «люксом» самого дорогого отеля. Кроме приемной и кабинета у меня была собственная ванная. И даже апартаменты для отдыха. Как президента меня обслуживали официанты в белых куртках, готовые в любой час явиться по первому зову. Как-то я привез своих итальянских родственников посмотреть, где я работаю. Так они решили, что скоропостижно скончались и попали в рай.

Ну, а сегодня? Да, от прошлого меня словно отделяли сотни тысяч миль. Через несколько минут после моего появления мне нанес визит вежливости управляющий складом. Конечно, он руководствовался добрыми побуждениями, но нам обоим было одинаково неловко, настолько неуместным выглядело мое пребывание здесь.

Для меня это была Сибирь. Ссылка в самую дальнюю глухомань империи. Я был настолько ошеломлен, что не сразу даже спросил себя: а почему я, собственно, должен тут сидеть? Телефон у меня есть и дома, а за почтой можно посылать. Еще не было и десяти утра, когда я покинул этот склад и больше никогда туда не возвращался.

Это заключительное унижение показалось мне ужаснее, чем сам факт отставки. Я, кажется, был готов убить кого-нибудь — не то Генри Форда, не то себя самого. Конечно, ни об убийстве, ни о самоубийстве всерьез я не помышлял, но вот пить стал больше, а волноваться по пустякам — гораздо сильнее. Я думал, что вот-вот совсем рассыплюсь.

На жизненном пути попадаются тысячи второстепенных развилок, но бывают и очень важные — моменты подведения итогов, моменты истины. Теперь такой момент настал для меня, и я взвешивал, как поступить. Покончить со всем и уйти на покой? Как-никак мне пятьдесят четыре года. Я успел многого добиться. В финансовом отношении я вполне и надежно обеспечен — могу позволить себе до конца своих дней играть в гольф.

Но что-то в этом меня не устраивало. Я понял, что должен собрать осколки и идти дальше.

Кому не знакомы полосы жизни, когда крушение в конечном счете оборачивается удачей! Порой все выглядит настолько скверно, что остается только ухватить судьбу за плечи и хорошенько ее встряхнуть. Я убежден, что именно то утро на складе подтолкнуло меня через полмесяца дать согласие на предложение стать президентом «Крайслера».

Свою внутреннюю боль я бы еще стерпел, но такое рассчитанное публичное унижение вывело меня из равновесия. Меня душил гнев, и я оказался перед простейшим выбором: либо обратить его против себя с гибельными результатами, либо обрести в нем источник энергии и предпринять что-то конструктивное. «Не лезь на стенку,— говорила Мэри.— Лучше поквитайся с ними».

Во времена особенно тяжелых испытаний всегда хорошо найти какое-нибудь занятие, претворить свой гнев и возмущение в созидательную энергию.

Собственно говоря, я угодил из огня да в полымя: год спустя «Крайслер» оказался на краю банкротства, и я часто задавался вопросом: как меня угораздило так вляпаться? Форд меня выгнал — куда уж дальше! Но пойти ко дну на капитанском мостике «Крайслера» — это уж было чересчур.

К счастью, «Крайслер» вышел с честью из поединка со смертью. И нынче я герой. Но, как ни странно, все это — следствие минуты прозрения на складе. Решимость, удача и помощь множества прекрасных людей позволили мне восстать из пепла.

Ну, а теперь, с вашего позволения, я расскажу вам мою историю.

Семья

Никола Якокка, мой отец, оказался в Соединенных Штатах в 1902 году двенадцатилетним мальчишкой. Он был одиноешенек, совсем без средств и пере-

пуган насмерть. Он рассказывал, что твердо знал лишь одно: Земля круглая. Но знал только потому, что другой итальянский парень по имени Христофор Колумб на 410 лет опередил его — почти точно, день в день.

Пароход вошел в Нью-Йоркский порт, и мой отец, выглянув в иллюминатор, увидел статую Свободы, этот великий символ надежды для миллионов иммигрантов. Вновь он ее увидел, когда был уже новоиспеченным американским гражданином и возвращался из Италии с матерью и молодой женой; в придачу была надежда — и ничего больше. Для него и Антуанетты Америка была страной свободы, свободы стать тем, чем ты хочешь стать, при условии, что хочешь ты этого по-настоящему и готов работать во имя своей цели.

Таков был единственный урок, который мой отец преподал своим детям, и я надеюсь всем сердцем, что мои дочери почерпнули от меня столько же.

Никола Якокка приехал в Америку из местечка Сан-Марко, расположенного в двадцати пяти милях к северо-востоку от Неаполя в провинции Кампанья. Подобно большинству иммигрантов он был полон надежд и честолюбивых замыслов. Начал он с угольной шахты в Пенсильвании, но пробыл шахтером ровно один день — такое отвращение она в нем вызвала. Отец любил повторять, что это был единственный день в его жизни, когда он работал не на себя, а на чужого дядю. Вскоре он перебрался на восток в Аллентаун, где жил один из его братьев, и в 1921 году, поднакопив деньжат, работая главным образом подручным сапожника, отправился в Сан-Марко за своей овдовевшей матерью. Там этот тридцатилетний холостяк влюбился в семнадцатилетнюю дочку сапожника, и через несколько недель они обвенчались.

Возвращение моих родителей в Америку прошло далеко не гладко. Мама заболела тифом и почти все плавание пролежала в пароходном изоляторе. По американским законам она подлежала отправке назад в Италию. Но мой отец уже мог постоять за себя в Новом Свете, язык у него был подвешен хорошо, и со своей напористостью он сумел каким-то образом убедить иммиграционных чиновников, будто ничего страшнее морской болезни его молодая жена не перенесла.

Я родился три года спустя, 15 октября 1924 года. К тому времени мой отец открыл сосисочную — отличное предприятие для человека почти без капитала. Ведь ему требовались только жаровня, духовка для булочек да несколько табуретов.

В дни моего детства наша семья была настолько сплочена, что порой казалось, будто мы единое целое. Моя сестра Делма и я всегда ощущали, как мы нужны и дороги нашим родителям. Для нас всегда находились и силы и время. Пусть у отца был десяток дел — для нас он непременно выкраивал часок-другой. Мама не жалела сил, приготовляя наши любимые блюда, просто чтобы доставить нам удовольствие. И по сей день, когда я приезжаю к ней, она встречает меня моим обожаемым куриным супом с телячьими фрикадельками и равиолями с сырной начинкой.

Мы с отцом были очень близки. Я любил радовать его, а он всегда страшно гордился моими успехами. Если я побеждал на школьном конкурсе правописания, он был на седьмом небе. Позднее о каждом своем служебном повышении я тут же сообщал отцу, а он бросался рассказывать об этом всем своим приятелям. Если у Форда я выпускал новую модель, отец непременно вызывался самым первым сесть за руль. Когда в 1970 году я стал президентом «Форд мотор компани», право, не берусь сказать, кто из нас торжествовал больше.

Мой отец постоянно внушал мне две вещи: во-первых, никогда не влезай в бизнес, требующий интенсивных капиталовложений, иначе в конце концов банкиры превратят тебя в свою собственность. (К этому его совету мне следовало бы отнестись с большим вниманием!) А во-вторых, в трудные времена ищи дело, имеющее отношение к продуктам питания: ведь даже в самых тяжелых обстоятельствах люди должны есть. И надо сказать, таким делом я занялся задолго до того, как связал свою судьбу с автомобилями. Когда мне было десять, в Аллентауне открылся супермаркет, один из первых в стране. Так вот: после школы и по субботам мы с приятелями собирались перед его дверями, выстраивая рядком свои красные тележки, словно такси перед гостиницей. Выходящим покупателям мы предлагали за пару мелких монет отвезти их сумки домой. Задним числом тут можно обнаружить некое предначертание, хотя тележка — еще далеко не автомобиль!

Подростком я подрабатывал по субботам во фруктовой лавке: вставал до света и доставлял свежий товар со склада на прилавок за два доллара в день плюс то количество овощей и фруктов, которое был в состоянии дотащить домой после шестнадцати часов переноски тяжестей.

Наша семья видела и хорошие и плохие времена. В двадцатые годы дела у нас, как и у многих других американцев, шли довольно неплохо. Вдобавок к другим своим предприятиям отец занялся весьма прибыльными операциями с недвижимостью. Несколько лет нас даже можно было называть состоятельными. А потом пришли времена Великой депрессии.

Никто из переживших ее никогда не забудет те годы. Отец потерял все свои деньги, и мы чуть было не лишились крова над головой. Мне было тогда лет шесть-семь, но будущее внушало мне такую отчаянную тревогу, что я живо помню ее и по сей день. Прошлые беды из памяти не изглаживаются, мысленно вы их переживаете вновь и вновь.

Во время этих тяжелейших испытаний мама была истинной опорой семьи и творила чудеса находчивости. Суповой костью за пять центов мы пробавлялись

не один день и притом всегда были сыты. Мама помогала отцу в сосисочной, а одно время работала на шелкопрядильной фабрике — шила рубашки. Все, что только могло поддержать семью, она делала с радостью. Мама и сегодня по-прежнему красивая женщина, причем выглядит моложе, чем я.

Депрессия превратила меня в сугубого материалиста. Когда я окончил университет, моя жизненная позиция формулировалась примерно так: «Отвяжитесь от меня с вашей философией! Я хочу к двадцати пяти годам получать десять тысяч долларов в год, а потом стать миллионером». Престижные дипломы меня не интересовали, я думал о наличных.

Даже и теперь, принадлежа к работающим богачам, я почти все свои деньги вкладываю в наиболее солидные предприятия. Не то чтобы я всерьез боюсь обнищать, но где-то в глубине души живет опасение, что молния в любой момент может ударить вновь и моей семье придется голодать.

Да, как бы много я ни зарабатывал, забыть о страшной поре Великой депрессии не могу. По сей день ненавижу пустую расточительность. Когда в моду вошли широкие галстуки, я сохранил все узкие в ожидании дня, когда их снова начнут носить. Я выхожу из себя, если замечаю, что недоеденный бифштекс отправляют в мусорное ведро, и, похоже, сумел внушить своим дочкам понятие о бережливости: как я замечаю, деньги они тратят, только если вещь того стоит,— силы небесные, да они не редкие гостьи и на дешевых распродажах!

В самые тяжелые времена бодрость духа у нас в семье поддерживал отец. Что бы ни случалось, он оказывался рядом, обнадеживал и утешал. Он был по-своему философ и особенно любил порассуждать о том, что жизнь не всегда течет гладко и каждый должен уметь сладить со своей долей горестей. «Хочешь ты или не хочешь, но жизни без невзгод не бывает! — говорил он мне, если я огорчался из-за плохой отметки или по другому подобному поводу.— Да ты и не поймешь, что такое счастье, раз у тебя не будет с чем сравнивать».

Тем не менее он не выносил, когда мы кисли, и тут же старался нас подбодрить. Если меня что-то расстраивало, он спрашивал: «Скажи-ка мне, Лидо, из-за чего ты горевал в прошлом месяце? Или, например, в прошлом году? Вот видишь, ты и не помнишь уже! Так, может, все не так уж и страшно? Выбрось это из головы и думай о том, что будет завтра!»

Даже в самые трудные времена он не терял оптимизма. «Ну, погоди немножко! — убеждал он меня, когда все, казалось, было черней некуда.— Солнце обязательно взойдет, оно же еще ни одного утра не пропустило!» Много лет спустя, пытаясь спасти «Крайслер» от банкротства, я все время чувствовал, как мне не хватает его ободрений «Где же твое солнце, папа? Почему оно не всходит?» Он никогда не позволял никому из нас впасть в отчаяние, и, признаюсь, в 1981 году не раз бывали минуты, когда я уже готов был сдаться, но превозмогал себя, повторяя его любимое присловье: «Сейчас, конечно, все выглядит — хуже некуда, но помни: и это пройдет!»

УЧЕБА

Мне было одиннадцать, когда я узнал, что мы — итальянцы. В то время американцы итальянского происхождения старались скрыть свою национальность, особенно если жили в небольшом городке. Аллентаун был населен в основном пенсильванскими немцами, и мальчишкой я много вытерпел, потому что внешне отличался от сверстников. Иногда я дрался с теми, кто меня обзывал оскорбительными кличками, но всегда помнил предостережение отца: «Если он сильней тебя, лучше не связывайся. Работай головой, а не кулаками!»

К сожалению, предубеждены против итальянцев были не только ребята моего возраста. Находились и учителя, которые шипели мне вслед: «Грязный итальяшка!»

Я был не единственной жертвой предрассудков в нашем классе. От них страдали и еврейские дети — Дороти Уорсо и Бенами Зусман. Я дружил с ними обоими. Дороти обычно была в классе первой по успеваемости, я — вторым. Отец Бенами, правоверный еврей, носил черную ермолку и бороду. В Аллентауне Зусманов сторонились как зачумленных. И дети брали пример со взрослых. Вначале я ничего не понимал, но в третьем классе понемногу разобрался, что, как итальянец, котируюсь чуть выше «еврейчиков», но не намного. Негров же в Аллентауне в то время просто не было.

Стать в детстве жертвой дискриминации — значит получить травму на всю жизнь. Я и по сей день живо помню свои унижения: такой осадок оставили они в моей душе.

К сожалению, с этими предрассудками я продолжал сталкиваться и уехав из Аллентауна. Причем речь шла уже не о ребятишках, но о людях, занимавших ключевые посты в автомобильной индустрии. Когда в 1981 году по моей рекомендации Джеральд Гринуолд стал вице-президентом «Крайслера», оказалось, что это — беспрецедентный случай. До него ни один еврей не добирался до верхнего эшелона в Большой Тройке автопромышленности. Как-то не верится, что причиной была их поголовная бездарность.

Когда я учился в выпускном классе, японцы неожиданно напали на Пёрл-Харбор. Речи президента Рузвельта всех нас взбудоражили. За одну ночь страна словно очнулась и сплотилась. Этот критический момент открыл мне истину, которую я никогда не забываю: подчас необходима общая беда, чтобы люди объединили свои усилия.

Как почти все мои ровесники в том декабре 1941 года, я сразу бросился на

призывной пункт. Но по иронии судьбы болезнь, чуть не убившая меня в детстве, теперь почти наверное спасла мне жизнь: тех, кто перенес ревмокардит, в армию не брали.

Большинство моих одноклассников призвали, и многие из них погибли. Мы ведь были выпускниками 1942 года. Мальчишки семнадцати-восемнадцати лет отправлялись в учебные лагеря, а оттуда прямо за океан, где немцы устраивали им хорошую баню. Даже сейчас я иногда листаю наш школьный ежегодник и в который раз с грустью перечитываю фамилии учеников аллентаунской средней школы, павших за морем, защищая демократию.

Вторая мировая война была совсем не похожа на вьетнамскую, а потому молодые читатели, возможно, не вполне представляют себе, каково это было — оставаться в тылу, когда ты нужен родной стране на фронте. Освобождение от службы в армии по болезни во время войны ощущалось как позор, и я казался себе человеком второго сорта. Порой мне мерещилось, что во всей Америке из моих сверстников я единственный не надел форму. А потому мне оставался один выход: заниматься во всю меру своих способностей.

Я поступил в Лихайский университет в Пенсильвании. Это был своего рода учебный филиал при металлургической компании «Бетлием стил», а потому его металлургический и химический факультеты не уступали лучшим в мире. Учиться там было нелегко: студента, который не набирал достаточно высоких баллов, к концу второго курса вежливо просили забрать документы.

Но шла война, и у меня не было ни малейшего желания сачковать. Я с детства приучился не откладывать домашние задания «на потом», и уже в старших классах умел сосредоточиться на них, ничем не отвлекаясь: никогда, например, не включал радио, пока не сделаю уроки. «Вот поработаю три часа во всю силу,— говорил я себе,— а потом пойду в кино».

Умение сосредоточиваться и правильно распределять время абсолютно необходимо, если вы хотите преуспеть в деловой сфере, да и на любом другом поприще, коли на то пошло. А для того, чтобы уметь правильно распределять время, необходимо научиться выделять главное и отдаваться ему целиком.

Я постоянно поражаюсь, как многие люди словно бы не способны выработать разумный режим работы. Сколько раз я слышал от многих и многих директоров компаний: «Ну, уж в прошлом году я-таки потрудился! Даже отпуска не брал!» Тут гордиться нечем. Меня всякий раз подмывало ответить: «Ну и дурак! Что же это получается? Ты берешь на себя ответственность за восьмидесятимиллионный проект и не способен выкроить две недели в году, чтобы отдохнуть с семьей?»

Впрочем, помогла мне не только моя способность сосредоточиваться. Из-за войны число студентов в университете резко сократилось, и часто профессор, вместо того чтобы читать лекции для пятидесяти слушателей, проводил семинар с пятью. В результате я получил редкостное образование.

Кроме всех инженерных и коммерческих дисциплин я в течение четырех лет изучал психологию и патопсихологию. И я вовсе не шучу, утверждая, что, пожалуй, ничего более полезного университет мне не дал. Одно время мы каждую неделю проводили три вечера в психиатрическом отделении больницы штата, расположенной неподалеку от академгородка. Мы изучали их всех — от страдающих маниакально-депрессивным синдромом до шизофреников, и даже буйных больных. Наблюдать нашего преподавателя, профессора Россмана, за работой с пациентами было чистым наслаждением, как любого мастера своего дела.

Основной задачей этого курса было постижение основ человеческого поведения — не больше и не меньше! Чем руководствуется вот этот человек? Каким образом та женщина впала в подобное состояние? Чем дышит Сэмми? Почему Джо в пятьдесят лет ведет себя как подросток? На экзамене нам представили группу больных и предложили за несколько минут составить аналитическое заключение о каждом.

В результате я научился быстро оценивать людей. Даже теперь я многое узнаю о человеке из первого же с ним разговора. А это очень полезная сноровка, потому что нет ничего важнее правильного подбора кадров.

Однако два существеннейших момента при первой беседе с кандидатом на ту или иную должность установить невозможно. Во-первых, ленив он или нет. И во-вторых, насколько он наделен здравым смыслом. Жаль, что нет прибора, который измерял бы это последнее качество, потому что оно отличает взрослых людей от мальчишек.

Еще не окончив университета, я загорелся желанием работать в «Форд мотор». У меня был потрепанный «форд» 1938 года выпуска. Частенько на подъемах его мотор глох. Некий администратор в штаб-квартире компании в Дирборне, очевидно, решил: надо снизить мощность восьмицилиндрового мотора до шестидесяти лошадиных сил — так можно добиться меньшего расхода топлива. Идея была бы отличной, если бы модель эта продавалась только в равнинных штатах вроде Айовы. А тут были горы!

«Им без меня не обойтись! — говорил я в шутку приятелям. — Людям, способным создать лишь такую паршивую машину, требуется квалифицированная помощь!»

Весной, когда я кончал последний курс, на инженеров был большой спрос. Я наводил справки в двадцати компаниях и мог в буквальном смысле слова выбирать любое место по душе.

Но меня влекли автомобили, и я обратился к фордовскому представителю. В те дни «Форд мотор» искала новых сотрудников следующим образом: представители компании объезжали пятьдесят университетов и в каждом отбирали по

одному студенту. Мне это всегда представлялось довольно нелепым. Будь Исаак Ньютон и Альберт Эйнштейн однокашниками, она могла бы взять лишь одного из них. Так или иначе, побеседовав с несколькими выпускниками, свой выбор представитель «Форд мотор» остановил на мне, и я был на седьмом небе.

Приобщение к профессии

В августе 1946 года я начал работать в «Форд мотор» в качестве инженера-стажера. Нашу программу называли «подготовительной петлей», потому что стажерам предлагалось поочередно изучить все этапы производства. Мы работали в самой сердцевине компании, проводя по нескольку дней — до недели — в каждом подразделении. Нам предстояло на практике узнать все слагаемые процесса создания автомобиля.

Таким образом я наблюдал конкретное применение всего того, с чем был знаком по учебникам. В университете я изучал металлургию, теперь же я сам плавил металл: работал у домен и мартенов. Я вставал за станки, о которых прежде только читал — токарные, строгальные, фрезерные. И четыре недели проработал на сборочном конвейере, надевая крышку на распределитель зажигания. Работа легкая, но невыносимо нудная. Как-то меня навестили родители, и отец, увидев меня в замасленном комбинезоне, сказал с улыбкой: «А ведь ты семнадцать лет учился! Видишь, куда попадают дураки, не сумевшие закончить школу первыми учениками!»

Через девять месяцев — ровно на половине программы — мы подвели предварительные итоги со своими кураторами, и мой сказал: «А, Якокка! Инженер-механик, гидравлические динамометры, автоматические коробки передач? Вот и отлично. Пошлем вас в группу разработки новых автоматических коробок».

Но я уже успел утратить интерес к инженерной стороне дела. В группе мне тотчас поручили заняться пружиной сцепления. Я убил целый день на детализированный чертеж и спросил себя: «Какой ерундой я занимаюсь? Разве это то, чему я хотел бы посвятить остаток своей жизни?»

Нет, остаться в «Форд мотор» я хотел. Но не инженером-механиком. Меня тянуло туда, где, в сущности, сосредоточивалось все. В отдел реализации готовой продукции. В отдел сбыта. Работать с людьми мне нравилось больше, чем работать с машинами.

Вполне понятно, что мои кураторы приняли такой фортель холодно. В конце-то концов, компания меня наняла как инженера и успела вложить порядочно времени и денег в мою стажировку. А я вдруг решаю заняться с б ы т о м?!

Но я не отступал, и мы сошлись на компромиссе: они согласились отпустить меня с тем, чтобы я подыскал себе место в отделе сбыта. Но подыскал сам. Мне было сказано, что компания заинтересована в том, чтобы сохранить меня в числе своих служащих, но раз уж я решил посвятить себя сбыту, пусть я начну с того, что сумею самостоятельно предложить свои услуги.

Заведующий нью-йоркским филиалом отсутствовал, и мне пришлось разговаривать с двумя его заместителями. Я нервничал: как-никак по образованию я инженер, а не специалист по сбыту, и рассчитывать на место здесь мог, только если произведу самое благоприятное впечатление. Мне задали два-три вопроса, и я заметил, что университетский диплом и стажировка в Дирборне были поставлены мне в минус. Брать меня явно не собирались. «Вы нам не звоните,— получил я предупреждение. — Мы сами свяжемся с вами».

Мне оставалось только попытать счастья в каком-нибудь другом филиале, и я отправился в городок Честер под Филадельфией. На сей раз мне повезло: заведующего я застал на месте, и он рискнул взять меня.

Считается, будто умение торговать — качество врожденное. Но у меня такого врожденного таланта не было. В первое время меня одолевала застенчивость: беря трубку, чтобы позвонить потенциальному клиенту, я еле сдерживал нервную дрожь, а свою вступительную речь выучивал наизусть заранее и трепетал в ожидании отказа. Но постепенно с опытом пришла уверенность в себе, и дело пошло на лад. Изучив необходимую фактуру, я теперь мог подумать о том, как подать ее в наивыгоднейшем свете. Ко мне начали прислушиваться.

Овладение техникой сбыта того или иного товара требует времени и усилий. Нынешняя молодежь не всегда это понимает. Они видят преуспевшего бизнесмена и не задумываются над тем, сколько ошибок он мог натворить в молодости. Но ошибки — часть жизни, избежать их вовсе невозможно. И тут следует надеяться только на то, что они не обойдутся слишком уж дорого и что ни одной из них вы не повторите.

Своим успехом, как и в университете, я был обязан не только себе. Просто я вновь оказался в нужном месте в нужное время. «Форд мотор» переживала родовые муки реорганизации, и для продвижения вперед открывалось много возможностей. Счастливый шанс был налицо, и мне удалось им воспользоваться.

К 1953 году я успел стать заместителем заведующего отделом сбыта филадельфийского филиала компании. Автомобили продолжали непрерывно сходить с конвейера независимо от того, брали их покупатели или нет, и нам приходилось поворачиваться. Не то — беда. В этом я мог убедиться на собственном опыте в 1956 году, когда «Форд мотор» решила при выпуске новой модели поставить во главу угла безопасность, а не мощность мотора и скорость.

Развернутая нами компания «за безопасность движения» потерпела полное фиаско. Задумана она была хорошо, разрекламирована еще лучше, но покупатели не отреагировали.

Хотя «форды» 1956 года плохо расходились повсюду, наши показатели были худшими во всей стране. И тут я решил предлагать потенциальным покупателям новую модель на следующих условиях: скромный первый взнос — 20% всей цены, а затем в течение трех лет ежемесячные платежи по 56 долларов. Подобная рассрочка делала машину доступной практически для всех, и я надеялся, что объемы продажи по нашему округу увеличатся. Своей идее я дал название: «Пятьдесят шестой за пятьдесят шесть».

Я не просчитался: всего за три месяца филадельфийский округ с последнего места переместился на первое. В Дирборне Роберт Макнамара — вице-президент, ведавший «фордами» и будущий министр обороны в администрации президента Кеннеди — пришел от моего метода в такой восторг, что дал указание внедрить его повсеместно. Впоследствии Макнамара подсчитал, что благодаря программе «пятьдесят шестой за пятьдесят шесть» было продано около 75 тысяч машин, которые иначе не нашли бы покупателей.

Вот так после десятилетней подготовки я одним махом взлетел на вершину успеха. Обо мне заговорили в штаб-квартире компании, и передо мной открылась радужная перспектива. В награду я получил повышение и стал заведующим вашингтонским филиалом «Форд мотор».

Принципы руководства

Когда в декабре 1960 года Генри Форд вызвал меня к себе, это было почти равносильно приглашению самого господа бога. Правда, нам уже довелось обменяться несколькими рукопожатиями, но вести деловой разговор предстояло впервые. Макнамара стал президентом компании, и в тот же день я получил новое повышение и занял его прежнюю должность вице-президента и заведующего отделом автомобилей марки «форд» — то есть в тридцать шесть лет я получил в свое ведение крупнейшее подразделение второй по величине автомобильной компании в мире!

Я, естественно, был в восторге от такого повышения, но понимал, в какое щекотливое положение оно меня ставит. Внезапно я возглавил самый престижный отдел. Генри Форд вручил мне, так сказать, фамильные драгоценности. Но при этом я обошел сотню более зрелых, более опытных сотрудников, и в мгновение ока оказался выше их на иерархической лестнице. Я знал что некоторых мой успех больно задел. Тем более что пока еще не существовало модели автомобиля, на которую люди могли бы указывать, говоря: «Ее создал Якокка!»

Однако тут я оказывался в области хорошо мне известной,— ведь речь шла о человеческом факторе в системе бизнеса. И мне предстояло узнать, насколько навыки, которые я приобрел, занимаясь сбытом, окажутся полезными в работе с людьми.

Одну из первых идей я почерпнул из практики Уолл-стрита. Компания «Форд мотор» стала полностью акционерной всего за четыре года до этого — в 1956 году. Теперь мы были собственностью большой группы акционеров, заинтересованных в нашей жизнеспособности и производительности. Каждые три месяца мы представляли им подробный финансовый отчет. То есть четырежды в году акционеры щупали наш пульс с помощью этих отчетов, и четыре раза в году мы выплачивали им дивиденды.

Так почему бы и нашей администрации не ввести аналогичный порядок для внутренних нужд? И я принялся разрабатывать систему управления, которой пользуюсь по сей день. Из года в год я регулярно ставил несколько решающих вопросов перед своими подчиненными на ключевых постах — а они по моему настоянию задавали те же вопросы своим непосредственным подчиненным, и так далее вниз по лестнице. А именно:

«Каковы ваши цели на ближайшие девяносто дней? Каковы ваши планы, первоочередные задачи, надежды? Как вы намерены осуществлять свои замыслы?»

Система выглядит до абсурда простой. Но она приносит желаемые результаты. Во-первых, позволяет сотруднику проявлять самостоятельность и самому намечать себе ориентиры. Во-вторых, повышает его активность благодаря личной заинтересованности в успехе собственных планов. В-третьих, способствует бурному рождению новых идей.

И самое, пожалуй, важное: вынуждает начальника и подчиненного вести диалог.

Вот, скажем, я — начальник Дейва.

Чаще всего начальники неохотно разрешают своим подчиненным самим вести мяч. Но вы просто поразитесь, как быстро поведет его тот, кто знает, что делает, и лично заинтересован в успехе.

Чем отчетливее Дейв ощущает, что сам ставит себе цели, тем больше шансов, что он и кирпичную стену пробьет, лишь бы их осуществить. В конце-то концов, он сам их наметил и получил одобрение своего начальника. А поскольку Дейв хочет вести дело по-своему, наилучшим, как ему кажется, способом, он уж приложит все силы, чтобы доказать — его способ действительно наилучший.

Система квартальных отчетов оправдывает себя и в тех случаях, когда Дейв «не тянет». Причем начальнику обычно даже не приходится ничего говорить: Дейв сам поднимает эту тему, ведь его провал более чем очевиден.

Когда истекают три месяца, такой неудачник, как показывает мой личный опыт, не успев войти, с виноватым видом сам объясняет, почему ему не удалось добиться успеха. Если это повторяется раз за разом, он начинает сомневаться в своих способностях и осознает: причина заключается в нем самом и сваливать на начальника ему нечего.

Но даже и тогда бывает еще не поздно принять какие-нибудь конструктивные меры. Не так уже редко сам неудачник говорит: «Послушайте, мне эта работа не по зубам. Я тут как в темном

лесу. Нельзя ли меня перевести на другой участок?»

Для всех заинтересованных лиц куда лучше, если человек сам приходит к такому выводу. Любая компания много раз теряла отличных работников только потому, что они занимали не свое место.— если бы их не уволили, а перевели в другой отдел, они, возможно, нашли бы себя и принесли большую пользу. И само собой разумеется, чем раньше вы распознаете такую проблему, тем больше шансов отыскать наиболее приемлемый выход.

Без такой регулярной проверки выполнения планов сотрудник, у которого дело не ладится, может мало-помалу проникнуться неприязнью к своему начальнику или же внушить себе, что он у начальника в немилости, а отсюда и все его неудачи. Слишком уж часто мне доводилось видеть людей, которые годами занимали место, для которого не годились. И обычно их начальству это становилось ясно лишь тогда, когда было уже поздно что-нибудь исправлять.

В принципе я против того, чтобы переставлять людей с места на место просто перестановки ради. Целесообразность регулярных перемещений служащих из отдела в отдел (как это сейчас модно) вызывает у меня сильные сомнения: не может же каждый быть мастером на все руки! Ведь это все равно что распорядиться: «Раз этот кардиолог делает прекрасные операции на сердце, так пусть теперь принимает младенцев!» Конечно, такой специалист тут же доходчиво объяснит вам, что родовспоможение совсем не по его части и компетентность в одной области медицины вовсе не переносится механически в другие ее области. Точно так же обстоит дело и в деловой сфере.

В «Форд мотор», а затем и в «Крайслере» я всегда настойчиво рекомендовал моим непосредственным подчиненным ввести систему ежеквартальных отчетов. «Так работаю я сам,— объяснял я.— И я покажу вам, какие получаю результаты. Я вам вовсе ее не навязываю. Но в таком случае найдите что-нибудь не хуже!»

Много лет практикуя свою систему, я привык остерегаться двух потенциальных опасностей. Во-первых, люди порой откусывают больше, чем могут прожевать. Однако тут есть своя положительная сторона: человек напрягает все силы, и для него даже частичный успех означает очень много. Любой чего-то стоящий начальник всегда предпочтет иметь дело с людьми, которые замахиваются на лишнее, чем с теми, кто старается сделать поменьше.

Вторая опасность идет со стороны начальника — ему не терпится поскорее вмешаться самому. И должен признаться, в этом смысле я, поднимаясь по служебной лестнице, сам бил все рекорды и частенько стоял над душой у тех, кому отдавал распоряжения. Но со временем я научился не брать на себя лишнего и быть терпеливым. В целом у системы ежеквартальных отчетов есть свойство саморегулироваться, и лучше всего она работает без моего вмешательства. В этом случае она сплачивает людей самым конструктивным образом, направляет их усилия на достижение нужных и заранее согласованных целей. Чего же больше?

Если бы меня попросили одним словом определить качества хорошего управляющего, я бы ответил, что все они сводятся к решительности. Обзаведитесь наилучшими компьютерами, соберите все схемы и цифры, но в конце концов вам придется свести всю полученную информацию воедино, разработать свой график и приступить к действию.

Но только не наспех. В прессе меня иногда называли стремительным лидером, стреляющим без предупреждения, своего рода молнией, сначала ударяющей, а уж потом разбирающей, куда именно. Возможно, иногда я такое впечатление и производил, но будь это правдой, в автопромышленности я бы ничего достичь не сумел.

В действительности мой деловой метод консервативен. И рискую я, только убедившись, что изучение конъюнктуры и ситуации на рынке подкрепляют мою интуицию. Да, я ей следую, но только если она опирается на факты, не иначе.

Какое количество информации следует считать достаточным для принятия решения? Точного ответа не существует, но, естественно, если вы начинаете действовать, опираясь только на пятьдесят процентов необходимых сведений, риск непомерно велик. В подобном случае вам надо либо быть редкостно везучим, либо получить озарение свыше — и не одно. Бывают моменты, когда иного выхода не остается, но управлять, например, железной дорогой в таком духе никак нельзя.

С другой стороны, ста процентов всего, что вам требовалось бы знать, вы никогда не узнаете. Автомобильный бизнес, как и многие другие в наши дни, находится в состоянии непрерывных изменений. Для нас главная проблема — предугадать, что́ именно будет прельщать покупателей через три года. Эти слова я пишу в 1984 году, и мы уже разрабатываем наши модели на 1987 и 1988 годы. Каким-то образом я должен предсказать, на что будет спрос через три-четыре года, хотя твердо не знаю даже, чем заинтересуются покупатели через месяц.

В определенной степени я всегда действовал, опираясь на чутье. Мне нравится воевать в окопах на передовой. Я никогда не принадлежал к любителям кресельной стратегии.

Однако появилась новая порода бизнесменов, по большей части с учеными степенями, которые побаиваются интуитивных решений. По-своему, они правы. В нормальных условиях интуицию нельзя считать достаточным основанием для тех или иных шагов. Беда лишь в том, что многие из них впадают в другую

крайность. Видимо, они убеждены: любую деловую проблему можно свести к четкой логической задаче. В учебной аудитории — пожалуй, но в реальной ситуации всегда необходим человек, который скажет: «Ну, ладно, пора! Через час начинаем!» Возвращаясь к событиям второй мировой войны, я всегда думаю о том, как Эйзенхауэр чуть было не сорвал высадку в Нормандии, потому что слишком долго колебался. Но, наконец, он объявил: «Какой бы ни была погода, нам надо действовать немедленно. Всякое промедление увеличивает риск! Так вперед!»

Все это более чем приложимо к деятельности промышленных корпораций. Обязательно находятся люди, которым требуется еще месяц-два, чтобы поработать над формой крыши для новой модели автомобиля. Возможно, такое исследование и полезно, но производственные планы из-за него полетят ко всем чертям.

Вот почему без известной доли риска обойтись невозможно. Есть люди, которые, выходя из дома поутру, и в самую солнечную погоду берут с собой зонтик. К сожалению, мир не застывает любезно на месте, пока вы прикидываете, как предотвратить потенциальные убытки. Иногда необходимо просто начинать, а ошибки исправлять по ходу действия.

В шестидесятых и почти до конца семидесятых все это не имело такого значения, как теперь. В те годы автопромышленность была сродни курице, несущей золотые яйца. Мы получали прибыли практически без усилий. Но сегодня почти не осталось областей, где можно позволить себе роскошь принимать решения не торопясь, идет ли речь о человеке не на своем месте или о планировании нового семейства автомобилей на пять лет вперед.

Всем учебникам вопреки в корпорациях подавляющую часть важнейших решений принимают отдельные лица, а не комиссии и комитеты. Я всегда придерживался линии максимальной демократичности до момента, когда нужно ставить точку над «i». И вот тут-то я превращаюсь в безжалостного диктатора. «Ну, я выслушал всех,— говорю я.— А теперь будем делать то-то и то-то!»

Комиссии необходимы — в них люди делятся друг с другом своими знаниями и намерениями. Но когда комиссии подменяют индивидуальности — производительность начинает снижаться.

Короче говоря: неподвижности в мире не существует. Это как на утиной охоте. Наводишь ружье на утку, видишь ее в прорези прицела, но утка все время движется. Чтобы не промахнуться, необходимо двигать ствол ружья. Комиссия же не всегда способна поспеть за событиями. К тому времени, когда она готова спустить курок, утка уже улетела.

Руководители должны уметь не только принимать решения, но и стимулировать активность своих подчиненных.

В бытность мою руководителем отдела «фордов» меня как-то пригласили выступить перед лучшими слушателями Слоуновских курсов управления при Массачусетском технологическом институте. Это были талантливейшие ребята, для которых составили прекрасную программу — неделя в Европе для изучения работы «Общего рынка», неделя на Уолл-стрите, неделя в Пентагоне и так далее.

Я был польщен, но немного нервничал. «Ничего,— утешали меня.— Скажите им несколько слов об автомобильной промышленности, а потом они зададут вам два-три вопроса».

Я коротко рассказал о производстве и продаже автомобилей и предложил задавать мне вопросы, ожидая чего-нибудь сугубо теоретического и отвлеченного, но к большому моему удивлению, меня вдруг спросили:

— Сколько людей работает под вашим началом?

— Около одиннадцати тысяч человек,— ответил я.

— Вы проведете с нами два дня — сегодня и завтра. Кто во время вашего отсутствия будет стимулировать активность этих одиннадцати тысяч человек?

Вопрос был очень серьезным, и я до сих пор помню лицо молодого человека, который его задал. Он попал в самую точку: ведь управление в конечном счете сводится к стимулированию активности других людей.

Это требует прямого общения. А я, хоть и состоял в свое время в школьном дискуссионном клубе, в первые годы трудовой жизни побаивался публичных выступлений. Я был замкнут и даже застенчив. Но затем компания командировала меня в числе других на курсы ораторского мастерства при Институте Дейла Карнеги — постигать тонкости техники публичных выступлений.

По сей день я остаюсь поклонником курсов Дейла Карнеги. Сколько я встречал инженеров, которые не умели толком преподнести свои самые блестящие идеи! Всегда грустно, когда талантливый человек не в состоянии растолковать правлению или комиссии суть своих замыслов.

Не всякому управляющему необходимо быть еще и оратором или писателем. Но из школ выходит все больше и больше молодых людей, неспособных четко излагать свои мысли. Десятки их я посылал на курсы Карнеги за счет компании, и для многих это было просто спасением.

Жаль только, что не существует учебного заведения, где учили бы слушать. Ведь хорошему управляющему надо уметь слушать не меньше, чем говорить. Люди слишком часто забывают, что подлинное общение — процесс двусторонний.

Если речь идет о корпорации, то абсолютно необходимо, чтобы все служащие вносили посильный вклад в общее благо и придумывали методы более эффективные, чем существующие. Вовсе не обязательно принимать каждое рацио-

нализаторское предложение, но если не воскликнуть «отлично придумано!» и не похлопать придумавшего по спине, он уже никогда ничего вам больше не предложит. Такого рода реакция показывает человеку — он что-то значит.

Умение слушать необходимо и для того, чтобы стимулировать активность своих подчиненных. Тут и кроется различие между заурядной компанией и по-настоящему крепкой. Наибольшее удовлетворение как руководитель я получаю, когда кто-то, кого считали серой посредственностью, вдруг показывает, чего он стоит на самом деле — только потому, что его выслушали и вовремя поддержали.

Конечно, чаще всего контакт с подчиненными происходит в форме выступления перед ними с речью. Это лучший способ стимулировать активность большой группы сотрудников, но он радикально отличается от беседы с глазу на глаз. Начать с того, что он требует тщательной подготовки — от этого никуда не денешься. Самый информированный человек, если он не продумает, что именно он намерен сообщить *вот этим людям и вот в этот день*, будет совершенно недопустимым образом транжирить чужое время.

Очень важно разговаривать с людьми на их языке. Если вам это удастся, они непременно скажут: «Черт возьми, да он просто сказал то, о чем я сам давно думаю!» А если они проникнутся к вам уважением, то пойдут за вами хоть на смерть. И пойдут не потому, что вам присуща некая таинственная аура вождя, но потому, что вы угадали их чаяния.

Со своими подчиненными я стараюсь быть прямым и откровенным, насколько возможно. Я убедился, что лучший способ стимулировать их активность — познакомить их с общим планом действий, чтобы они могли сознательно принять участие в его претворении в жизнь. Я объясняю свои цели — как объясняют они сами в ежеквартальных планах. И если они добиваются их выполнения, наградой должны быть не просто похвалы. Деньги и повышение — вот заметно более весомые знаки одобрения, имеющиеся в распоряжении компании.

Повышение — это момент, когда удобнее всего возложить на человека дополнительную ответственность. Его вознаграждают за прошлые успехи и, пока настроение у него радужное, побуждают добиваться большего. Всегда нагружайте его, пока он на подъеме, и будьте помягче в случае неудачи. Если он сам расстроен, вы рискуете нанести ему такую рану, что отнимете всякое желание поправить дело. Как говаривал Чарли Бичем, одно время мой начальник в «Форд мотор» и наряду с моим отцом один из мудрейших известных мне людей: «Если хочешь похвалить человека, сделай это письменно, а если хочешь задать ему взбучку, обойдись телефонным звонком».

Чарли Бичем был решительно против того, чтобы один человек изображал целый оркестр. «Ты хочешь все делать сам,— говорил он мне.— И не умеешь перекладывать часть дел на других. Пойми меня правильно. Ты замечательный работник и самый лучший у меня. Возможно, ты один вполне заменишь двоих. Однако двое — это всего лишь двое. Сейчас у тебя сто подчиненных. А что будет, когда их станет десять тысяч?»

Он почти не ошибся. В отделе «фордов» их у меня было одиннадцать тысяч. Чарли научил меня не стараться делать все самому, не выполнять работу за других. Научил ставить цель перед другими людьми и заинтересовывать их в ее достижении.

Я убежден, что руководитель уже добился очень многого, если он способен пробудить активность хотя бы одного подчиненного. Общая заинтересованность в успехе — главное условие того, чтобы система работала хорошо. Быть может, вам по силам работать за двоих, но раздвоиться вам в любом случае не удастся. Лучше заразите энтузиазмом того, кто стоит на ступеньку ниже вас. А он пусть вдохновит человека ступенькой ниже. И так далее.

Как-то раз я обедал с Винсом Ломбарди, легендарным футбольным тренером и моим близким другом. Я спросил у него, как он добивается успеха. Мне хотелось узнать из первых рук, как создается команда-победительница. То, что он мне поведал, применимо к бизнесу не менее, чем к спорту.

«Для начала учишь основам,— сказал Ломбарди.— Игрок должен знать суть игры и как ее вести в той позиции, которую он занимает на поле. Затем его надо держать в узде. Я говорю о дисциплине. Ребята должны играть как единая команда, а не скопище ярких личностей. Примадоннам у нас места нет.

Однако,— продолжал он,— наберется много тренеров в самых престижных клубах, которые знают основы досконально, умеют поддерживать дисциплину, а победы их парни тем не менее не одерживают. Необходим еще и третий элемент: если ребята намерены играть вместе, как единая команда, они должны быть внимательны друг к другу. Им нужно *друг друга любить*. Каждый игрок должен заботиться о соседе и говорить себе: «Если я не заблокирую вон того, лежать Питу со сломанными ногами. Я обязан провести свою часть комбинации как можно точнее, чтобы подыграть ему».

«Разница между командами посредственной и блестящей,— сказал Ломбарди в тот вечер,— заключается в отношении ребят друг к другу. Есть такое понятие — чувство локтя. Когда им проникаются все игроки, ты знаешь, что тренируешь команду-победительницу».

Затем он добавил смущенно: «Только тебе-то я зачем все это растолковываю. Ли? Ты ведь руководишь промышленной компанией. А что корпорация, что спортивный клуб — различия никакого

Разве автомобиль — плод труда одного человека?»

Винс, разумеется, был прав. Я знаю много людей умнее меня, разбирающихся в автомобилях куда лучше. Тем не менее я оставил их далеко за флагом. Почему? Потому что я такой уж жесткий? Нет. Раздавая пинки направо и налево, очень скоро перестаешь добиваться желаемого. Надо знать людей и уметь с ними говорить, только и всего.

Многие, кто бывал в моем крайслеровском кабинете, удивлялись, что на моем письменном столе не видно компьютерного терминала. Наверное, они забывают — компьютер выдает только то, что в него ввели. Сегодня наиболее сложная проблема американского бизнеса заключается в избытке информации. Большинство руководителей тонет в ней, она их ослепляет, и они толком не знают, что с ней делать.

Секрет успеха не информация, но люди. И тип человека для руководящих постов, по моему убеждению,— это трудяги-энтузиасты. Такие люди всегда стараются сделать больше, чем от них ждут. Всегда рвутся к чему-то сверх намеченного. И стремятся установить контакт с подчиненными, помочь им лучше выполнять свои обязанности. Так уж они устроены.

Но есть и другие люди — работающие от звонка до звонка. Им достаточно более или менее справляться со своим делом, они вечно ждут указаний сверху. Их девиз: «Не желаю ввязываться в эти крысиные гонки! Мне свое сердце дороже». Как будто беззаветное увлечение работой, горение, потребность вгрызаться во все обязательно должны привести к скорому инфаркту!

Вот я и ищу людей с такой неуемной и целеустремленной энергией. В «Крайслере» их у меня человек десять. И прекрасные руководители они потому, что умеют не подменять собой подчиненных, но стимулировать их активную деятельность.

«Мустанг»

Годы, в которые я руководил отделом «фордов», были счастливейшими в моей жизни. Я и мои коллеги были постоянно пьяны от коктейля нашего особого состава — сочетания упорного труда и смелых идей.

В те дни я не мог дождаться утра, чтобы побыстрее приступить к работе, а вечером не хотел ехать домой. Мы все время придумывали что-нибудь новое и проверяли наши модели на автодроме. Мы были молоды и дерзки. Мы ощущали себя художниками, готовыми вот-вот создать шедевры, каких еще не видел мир.

В 1960 году вся страна была полна оптимизма. Подул свежий ветер — президентом стал Джон Кеннеди. Все казалось осуществимым. Разительный контраст между начавшимся десятилетием и пятидесятыми годами, между Кеннеди и Эйзенхауэром можно было выразить одним словом — молодость!

Я сколотил в своем отделе группу молодых талантов — мы каждую неделю собирались, чтобы пообедать вместе и поговорить. Для наших встреч мы предпочли отель, потому что в штаб-квартире компании кое-кто не мог дождаться, чтобы мы хорошенько хлопнулись лицом в грязь. Я был выскочкой, новоиспеченным вице-президентом, который еще ничем себя не проявил, а мои ребята вопреки — или благодаря — своей талантливости нравились далеко не всем.

«Фейрлейнский комитет», как мы именовали себя по названию отеля, предполагал, что в ближайшие годы на автомобильном рынке предстоят бурные перемены, хотя точно определить, какие именно и почему, было невозможно. Но мы знали, что «Дженерал моторс» превратила свой экономичный «корвейр» в очень ходкий товар, всего лишь добавив кое-какие аксессуары в спортивном духе и сделав внутреннюю отделку более броской. «Форд мотор» не могла ничего предложить покупателям, прельщенным новейшим «корвейром-монса», а нам было ясно, что такие, как они, знаменуют новый растущий рынок сбыта.

Исследования специалистов подтвердили, что юношеский дух начинавшегося десятилетия опирается на демографическую реальность. Во-первых, происходило стремительное омоложение населения. Миллионы американцев, появившихся на свет сразу после окончания второй мировой войны во время настоящего бума деторождения, должны были вот-вот ворваться на внутренний рынок. За шестидесятые годы прослойка населения в возрасте от двадцати до двадцати четырех лет обещала увеличиться более чем на 50%. Во-вторых, огромный рост сбыта автомобилей, который предсказывали на ближайшее десятилетие, по меньшей мере наполовину должен был произойти за счет покупателей в возрасте от восемнадцати до тридцати четырех лет.

Прогнозисты добавили небольшое, но очень важное примечание. Мало того, что молодежи будет численно больше, чем когда бы то ни было, она будет гораздо образованнее, чем в предыдущих поколениях. Нам уже было известно, что люди с высшим образованием покупают автомобили чаще, чем их менее образованные сверстники, а к 1970 году число студентов, согласно всем оценкам, должно было удвоиться.

Не менее интересные изменения происходили и среди более зрелых покупателей автомобилей. Начинался заметный сдвиг от характерного для конца пятидесятых предпочтения экономичных машин в сторону интереса к моделям более спортивного или роскошного типа. Потребителей уже не удовлетворяли подчеркнутая строгость и чистая функциональность.

Проанализировав всю эту информацию, мы пришли к неизбежному выводу: речь должна идти не о рынке для машины, но о машине для рынка. Обычно в

Детройте сначала создавали новую модель, а потом подыскивали для нее покупателей. Мы же получили возможность поступить наоборот — подогнать новый товар под требования нового обширного рынка.

Автомобиль, который привлек бы этих молодых покупателей, должен был обладать тремя обязательными качествами: современнейшим стилем, хорошими техническими характеристиками и низкой ценой. Совместить все это в одной модели было тяжелой задачей. Но, решив ее, мы могли рассчитывать на крупный успех.

Мы вновь обратились к анализу ситуации на рынке и узнали еще кое-что об изменениях в спросе на новые автомобили. Во-первых, стремительно увеличивалось число семей с двумя машинами, причем вторая была, как правило, поменьше, спортивного типа. Во-вторых, все бóльшую долю автомобилей покупали женщины, и чаще всего свой выбор они останавливали на малогабаритных моделях с простым управлением. Среди покупателей новых машин увеличилось число холостяков, причем они выбирали менее громоздкие, более спортивные модели, чем их женатые друзья. И наконец, становилось все яснее, что в ближайшие годы у американцев на развлечения и средства передвижения денег будет гораздо больше, чем когда-либо прежде.

Фернлейнский комитет получил уже довольно четкое представление, какую машину мы хотим создать. Ей предстояло быть небольшой — но и не очень маленькой. Спрос на двухместные автомобили продолжал расти, но он по-прежнему ограничивался примерно сотней тысяч: иными словами, массовой популярности двухместная машина приобрести не смогла бы. Следовательно, наш автомобиль должен вмещать четырех пассажиров. Но он должен быть еще и легким — пределом мы поставили 1,2 тонны. И наконец, он должен быть недорогим. Мы поставили себе целью добиться продажной цены не выше 2500 долларов (вместе с инструментами).

Чем больше наша группа дискутировала, тем большую конкретность обретали ее идеи. Наша модель, несомненно, будет ближе к спортивному типу, с четким собственным стилем и легким привкусом ностальгии. Она будет сразу бросаться в глаза и не походить ни на какую другую машину. Легка в управлении, но вмещать четырех человек, причем с достаточно просторным багажником. Это будет спортивная машина, но не просто спортивная. Мы хотели создать автомобиль, на котором можно будет в пятницу поехать в загородный клуб, в субботу — на гоночную трассу, а в воскресенье — в церковь.

Иными словами, мы собирались удовлетворить запросы сразу нескольких типов покупателей. Надо было расширить круг потенциальных клиентов, так как наладить безубыточное производство машины с такой сногсшибательно низкой ценой удалось бы только при условии, что покупать ее будут как горячие пирожки. Мы приняли единственное, по нашему мнению, разумное решение: создать базовую модель с большим набором модификаций. В результате покупателю предлагалось бы столько экономичности, роскоши и мощности, сколько он мог пожелать... в соответствии со своими финансовыми возможностями.

Однако вставал вопрос, в какой мере эта идея отвечает нашим собственным финансовым возможностям? Абсолютно новая, созданная на пустом месте машина обошлась бы компании в триста-четыреста миллионов долларов. Выход был в использовании компонентов, уже запущенных в серию; это позволяло сэкономить немалые суммы на стоимости производства. Мотор, трансмиссия и оси «форда-сокол»... Если мы сумеем приспособить их для своей цели, то у нас сразу образуется порядочный задел. Если новая модель оседлает «сокола», то ее создание обойдется в каких-то 75 миллионов долларов.

Прекрасный замысел! Но не все считали его осуществимым. Кто-то заметил, что модель со спортивным уклоном на базе «сокола» сильно смахивает на прабабушку с фальшивым бюстом. Тем не менее я поручил двум членам нашего комитета испробовать эту идею. После нескольких экспериментов они пришли к выводу, что конструкция и внешний облик новой модели должны быть полностью оригинальными. Мы могли использовать мотор и шасси «сокола», но, по детройтскому выражению, нашей машине требовались совершенно новые шкура и оранжерея — ветровое, боковые и заднее стекла.

На исходе 1961 года наметилась дата выпуска. В апреле 1964-го в Нью-Йорке должна была открыться Всемирная ярмарка, и, по нашему мнению, представить нашу новую модель широкой публике следовало именно там. Хотя по традиции новые модели выставляются осенью, мы задумали машину столь заманчивую и оригинальную, что не боялись выбросить ее на рынок в разгар сезона. Только Всемирная ярмарка могла обеспечить фон, достойный машины нашей мечты.

В великолепной картине не хватало лишь одной существенной детали — самой модели. В первые семь месяцев 1962 года наши дизайнеры представили целых восемнадцать оригинальных макетов в надежде, что хотя бы один из них окажется именно тем, что нам требуется. Некоторые были совсем неплохими, но все же идеала не достигали.

Я уже начал терять терпение. Чтобы успеть к апрелю 1964 года, мы должны были иметь все исходные данные теперь и не позднее. У нас в распоряжении оставалось двадцать с небольшим месяцев на то, чтобы добиться одобрения самой идеи, отработать окончательный вариант стиля, выбрать завод, закупить оборудование, договориться с поставщиками, а также найти

каналы сбыта для пока не существующего автомобиля. Иными словами, одобренный макет нужен был нам к первому сентября и ни днем позже.

Я решил объявить конкурс. Двадцать седьмого июля начальник нашего отдела дизайна вызвал к себе трех своих ведущих специалистов и сообщил, что их мастерские должны принять участие в беспрецедентном открытом конкурсе и представить по меньшей мере один макет небольшой спортивной машины. Шестнадцатого августа макеты будут рассматриваться руководством компании. Мы поставили перед ними сложную задачу. Ведь обычно на эту операцию давался куда больший срок. Но через две недели круглосуточной работы мы получили семь макетов, из которых должны были выбрать один.

Бесспорным победителем конкурса стало творение Дейва Эша. Меня пригласили взглянуть на макет, когда он был готов лишь наполовину. Одного взгляда было достаточно: эта коричневая глиняная штука словно бы летела по шоссе.

Дейв и Джо, заведующий мастерской, видели в облике своей модели что-то кошачье и между собой называли ее «кугуар». Шестнадцатого августа макет сверкал белой краской и стоял на четырех красных колесах. Задний бампер был приподнят, что придавало маленькому багажнику задорность. На решетке радиатора виднелся стилизованный силуэт кугуара, рождавший ощущение красоты и мощи.

Наконец мы могли предложить что-то конкретное. Теперь макету предстояло получить «добро» от приемочной комиссии, состоявшей из людей, которые занимали в компании ключевые должности.

Я знал, что мне предстоит тяжелый бой за «кугуара». Во-первых, в отличие от нас, руководство еще не уверовало в реальность молодежного рынка. Во-вторых, только что были утверждены огромные расходы на обновление оборудования заводов, выпускавших основные фордовские модели. Реконструкция намечалась на 1965 год, и вставал вопрос, в состоянии ли компания добавить к прежним еще одну машину, пусть производство ее и обойдется относительно недорого. К тому же, ее коммерческий успех мог обернуться «самопожиранием»: а вдруг в результате снизится сбыт других фордовских автомобилей, и в частности «сокола»? Прогнозисты вывели следующую цифру вероятного сбыта «кугуаров» — 86 тысяч машин. Цифра производила впечатление, но была все же не настолько высока, чтобы оправдать огромные расходы на внедрение новой модели.

К счастью, Генри Форду наше предложение понравилось. Но позже, когда мы собирали опытный образец, он пришел взглянуть на него, забрался внутрь и объявил: «Заднее сиденье тесновато. Добавьте-ка дюйм!»

К сожалению, добавка всего лишь одного дюйма к длине салона обходится очень дорого. К тому же, это могло повлиять и на внешний вид машины, так что мы все были против каких-либо изменений. Но мы знали, что решения Генри обсуждению не подлежат. Как он любил напоминать, на фасаде штаб-квартиры компании красовалась его фамилия. И вообще, на этом этапе мы добавили бы даже д е с я т ь дюймов, лишь бы не пришлось вообще отказаться от нашей мечты.

Генри, хотя, возможно, он об этом и не подозревал, сыграл большую роль в окончательном выборе названия для машины. До того, как она бесповоротно стала «мустангом», к ней примеривалось немало наименований. В мае мы сузили выбор до «монте-карло», «монако», «торино» и «кугуар». Тут же выяснилось, что первые два уже зарегистрированы в Ассоциации автопромышленников, и в конце концов мы остановились на «торино» — так звучит по-итальянски название промышленного города Турина. В этом названии чувствовался легкий оттенок экзотики, который представлялся нам необходимым. Компромисса ради мы решили сделать эмблемой «торино» все того же кугуара.

Мы уже начали готовить рекламную кампанию для «торино», как вдруг мне позвонил директор отдела по связям с общественностью. «Ищите для своей машины другой титул!» — сказал он и объяснил, что Генри разводится с женой и ухаживает за Кристиной Ветторе Остин, итальянкой, принадлежащей к международной великосветской элите. Кое-кто из его окружения испугался, что итальянское название новой машины может вызвать неприятный шум в прессе, сплетни и поставить босса в неловкое положение.

Надо было действовать без промедления. А ведь тут неизбежно вступают в борьбу личные вкусы. В конце концов мы отправили нашего специалиста в Детройтскую публичную библиотеку посмотреть, как именуются четвероногие, начиная с африканского муравьеда и кончая ящером. Он вернулся с сотнями вариантов, из которых мы для начала отобрали шесть: «пони», «пума», «гепард», «жеребчик», «мустанг» и «кугуар».

Название «мустанг» мы уже использовали ранее для одной из опытных моделей, имея в виду, как ни странно, легендарный истребитель времен второй мировой войны, а вовсе не дикую лошадь прерий. Но какое это имело значение? «Мустанг» понравился нам всем, потому что, говоря словами рекламы, это слово несло в себе «упоение вольными просторами и было чертовски американским».

После того как «мустанг» поступил в продажу, мне то и дело приходилось слышать, что эмблема лошади на радиаторе повернута неправильно — по часовой стрелке, а не против, хотя именно

так бегут лошади на американских ипподромах. «Для диких лошадей законы не писаны»,— отвечал я, а про себя думал, что наш «мустанг» с самого начала побежал в нужном направлении, а вправо или влево — какая разница?

Когда вопрос о внешнем виде был решен, надо было выработать принципы внутреннего оформления. Мы очень хотели удовлетворить запросы тех, кому требовалась роскошь, но не собирались отказываться и от покупателей, отдававших предпочтение ходовым качествам или экономичности. Чисто функциональный автомобиль тоже был нам не по душе. И мы решили, что даже экономичный вариант должен быть соотносим с моделями «люкс», а потому для всех машин сделали обязательными виниловую отделку, колпаки на колесах и коврики.

В остальном же мы планировали, так сказать, доводку по вкусу покупателя. Тем, кому роскошь была по карману, предлагались модификации с дополнительными аксессуарами и более мощным мотором, те же, для кого роскошь оставалась недоступной мечтой, могли утешиться, получив на базовой модели некоторые вожделенные приспособления без доплаты.

Задолго до того, как машина пошла в серию, мы занялись изучением рыночного спроса. Особенно нас ободрили результаты одной из заключительных проверок. Мы пригласили пятьдесят две специально отобранные супружеские пары из Детройта и его окрестностей в наш демонстрационный зал. У них всех уже имелись машины стандартных размеров, а уровень доходов был средним, то есть они не принадлежали к категории потенциальных покупателей второй машины для семьи. Мы вводили их небольшими группами и показывали опытный образец «мустанга», а их высказывания записывали на магнитофон.

Выяснилось, что «белым воротничкам» импонирует дизайн машины, «синие же воротнички» (рабочие) восприняли «мустанг» как символ престижного общественного положения. Когда мы просили их примерно определить цену, почти все называли цифры минимум на тысячу долларов выше реальной. Но вопрос, решились бы они купить «мустанг», почти неизменно вызывал отрицательный ответ: слишком дорогая машина, слишком маленькая, слишком сложная для управления.

Затем мы сообщали им настоящую цену. Эффект был поразительным. Почти все заявляли: «К черту сомнения! Я бы ее взял!» Они тут же находили всевозможные доводы, почему именно этот автомобиль будет удачной покупкой. «Если я такую машину поставлю у своего крыльца, все соседи станут гадать, какая такая удача мне привалила!» — сказал один. А другой объяснил: «Вид у нее просто шикарный, а ведь обычно за такую цену ничего, кроме самой простецкой модели, не купишь». Вывод был ясен: когда настанет время рекламировать «мустанг», следует делать особый акцент на его невысокой цене.

В конце концов мы пустили в серию машину, которая была на полтора дюйма длиннее и весила на пятьдесят килограммов тяжелее, чем предполагалось вначале, но наша главная цель — сделать ее не дороже двух с половиной тысяч долларов — была достигнута: продавался «мустанг» за 2 368 долларов.

И вот 9 марта 1964 года, через 571 день после того, как «кугуар» Дейва Эша одержал верх над своими шестью соперниками, первый «мустанг» сошел с конвейера. Мы решили собрать до 17 апреля — день поступления его в продажу — минимум 8 160 машин, чтобы в салоне каждого продавца «фордов» по всей стране стоял хотя бы один «мустанг».

Рекламировали мы «мустанг» как только могли. Мы одолжили по новой машине на несколько недель редакторам студенческих газет в Дирборне. За четыре дня до поступления «мустанга» в продажу сто представителей прессы приняли участие в автопробеге Нью-Йорк—Дирборн: семьдесят «мустангов» продемонстрировали свою надежность, промчавшись семьсот миль без единой поломки. В сотнях журналов и газет появились фотографии и восторженные репортажи.

Семнадцатого апреля покупатели буквально штурмовали салоны, где продавались «форды». В Чикаго продавец вынужден был запереть двери — такая огромная собралась перед ними толпа. Наплыв покупателей в Питсбурге был настолько велик, что продавец не мог вывести «мустанг» из мойки. В техасском городке пятнадцать покупателей устроили импровизированный аукцион, отбивая друг у друга единственный выставленный в витрине «мустанг», и счастливец, предложивший самую высокую цену, остался ночевать в машине в ожидании, пока по его чеку не будут получены деньги — он опасался, что покупку могут увести у него из-под носа, случись какое-нибудь недоразумение. В Сиэтле выставленный на всеобщее обозрение «мустанг» так заворожил водителя проезжавшего мимо грузовика, что тот не справился с управлением и въехал прямо в витрину салона.

В первые субботу и воскресенье после поступления «мустанга» в продажу всего в салонах, где продавались «форды», побывало четыре миллиона человек — цифра неслыханная. Прием, оказанный «мустангу» публикой, превзошел все наши самые смелые ожидания. В создании этого ажиотажа немалую роль сыграла пресса. Благодаря неустанным усилиям нашего отдела по связи с общественностью «мустанг» украсил одновременно обложки «Тайма» и «Ньюсуика». Оба журнала почуяли, что мы держим козырного туза, и открыто заявили об этом. Такая добавочная реклама машины в ту самую неделю, когда она появилась в продаже, сделала пред-

сказания ее успеха, как говорят, «самосбывающимся пророчеством» Я убежден, что «Тайм» и «Ньюсуик» помогли нам реализовать лишние сто тысяч машин.

Не менее восторженными были и отзывы автопромышленной прессы. «Рынок, подыскивавший для себя машину, теперь ее обрел!»— начиналась статья в «Кар лайф». И даже «Консьюмер рипорт», защищающий интересы потребителей и отнюдь не поклонник Детройта, указал, что «в «мустанге» на удивление мало огрехов и небрежностей, особенно для машины, которая создавалась в такой неимоверной спешке».

Однако мы вовсе не рассчитывали, что пресса вовсе избавит нас от труда рекламировать свою продукцию. В первый день мы поместили рекламное объявление во всю страницу в двух тысячах шестистах газетах, используя, так сказать, «принцип Моны Лизы»: белый силуэт новой машины, цена и одно слово — «сюрприз». Когда товар хорош, особые ухищрения не нужны.

Кроме того, мы нашпиговали программы многих телевизионных компаний рекламными фильмами о «мустанге». В одном из самых удачных герой, солидный антиквар Генри Фостер, выходил из своей лавки с чемоданчиком. «А вы слышали про Генри Фостера?»— спрашивала зрителей соседка, выглядывая в окно. Генри тем временем сворачивал за угол и садился в свой алый «мустанг». Он сбрасывал консервативный котелок и надевал автомобильную кепку, которую извлекал из чемоданчика, а пиджак швырял на заднее сиденье, оставаясь в алой безрукавке. Голос соседки за кадром продолжал: «С Генри что-то произошло!»

«С Генри произошел «мустанг»»,— объясняла молодая красавица, которая ожидала Генри на прелестной лужайке перед расставленной на траве скатертью с завтраком и бутылкой вина.

Уже через несколько недель мне стало ясно, что нам нужен дополнительный завод. Сначала мы исходили из предположения, что в первый год реализуем семьдесят пять тысяч машин, но еще перед началом продажи стали замахиваться уже на двести тысяч. А для этого надо было убедить руководство компании перепрофилировать еще один завод на выпуск исключительно только «мустангов».

Поскольку спрос явно превышал предложение, нам было трудно установить, сколько «мустангов» могли бы мы продать в реальности, а потому вскоре после поступления машины на рынок мы устроили своего рода эксперимент в Дейтоне, где было несколько заводов «Дженерал моторс»,— то есть в признанных владениях нашего основного конкурента.

Результат обследования был ошеломляющим: нам удалось завладеть одной десятой дейтоновского автомобильного рынка! Вопрос о втором заводе был тут же решен.

Теперь мы могли производить в год 360 тысяч машин, а вскоре начали переоборудовать еще и третий завод.

Вечером 16 апреля 1965 года молодой калифорниец купил красный «мустанг»— последний из 418 812 «мустангов», проданных за первый год выпуска этой модели.

Только в первые два года «мустанг» принес чистой прибыли 1,1 миллиарда долларов, причем долларов 1964 года!

И почти сразу же хлынули письма от довольных покупателей. Я всегда читаю письма клиентов и по опыту знаю, что обычно они содержат ту или иную жалобу. Но тут покупатели выражали только благодарность и восторги. Единственная жалоба была на то, что «мустангов» мало!

Проанализировав сведения о владельцах «мустангов», мы обнаружили, что средний их возраст равен тридцати одному году, однако каждый из шести относится к возрастной группе от сорока пяти до пятидесяти четырех лет. Из этого следовало, что машина привлекает не только молодежь. Почти две трети покупателей состояли в браке, а более половины имели высшее образование.

Не прошло и года, а уже возникли сотни клубов «Мустанг», не говоря уж о солнцезащитных очках «мустанг», брелоках для ключей и детских игрушках. Окончательно в нашей полной победе я убедился, когда один из наших сотрудников прочел на витрине булочной: «Наши горячие пирожки идут нарасхват, как „мустанги"».

К 1968 году мало кто сомневался, что следующим президентом «Форд мотор» буду я. Генри Форд взял меня под свое крылышко, и никогда еще будущее не рисовалось в столь розовом свете. И вот 10 декабря 1970 года мои надежды сбылись.

За несколько дней до официального моего назначения президентом компании Генри зашел ко мне в кабинет и сообщил о своем намерении, и я, помню, подумал: «Такого чудесного рождественского подарка я еще не получал!» Минуты две мы посидели, покурили — я сигару, он сигарету,— обдавая друг друга табачным дымом.

Едва он ушел, я позвонил жене, а потом отцу в Аллентаун. За свою долгую деятельную жизнь отец пережил немало радостных минут, но я убежден, что одну из самых счастливых доставил ему мой телефонный звонок.

Когда я стал президентом «Форд мотор компани», в ней трудилось примерно 432 тысячи рабочих и служащих. Общая сумма их годовой заработной платы превышала 3,5 миллиарда долларов. Только в Северной Америке мы выпускали в год почти 2,5 миллиона легковых машин и 750 тысяч грузовиков. А за границей — еще 1,5 миллиона.

Наш общий оборот в 1970 году составил 14,9 миллиарда, а чистая прибыль — 515 миллионов.

Конечно, 515 миллионов — деньги немалые, но они представляли собой лишь 3,5% общего оборота, в начале же шестидесятых чистая прибыль ниже 5% не падала. И я решил вновь ее поднять. Как известно, сделать это можно только двумя способами: либо продавать больше, либо снизить себестоимость. А я был твердо убежден, что мы можем значительно сократить производственные расходы. Например, каждый год мы тратили две недели, чтобы перейти на выпуск новых моделей. Эти две недели заводы не работали, оборудование простаивало, а рабочие не были заняты.

С помощью пересмотра компьютерных программ и более гибких производственных графиков нам удалось сократить межсезонья с двух недель до двух дней. Естественно, на это потребовалось время, однако уже с 1974 года наши заводы останавливались только на субботу и воскресенье — дни все равно нерабочие.

Затем мы сократили транспортные расходы, которые были, правда, относительно невелики, но достигали все же 500 миллионов долларов в год. Прежде я об этом как-то не задумывался, но тут обнаружил, что железные дороги нас сильно надувают: они брали с нас за объем груза, а не за вес, чего мы не учитывали.

Мы начали нагружать товарные вагоны более плотно. Помнится, мы даже изменили форму бамперов и выиграли два дюйма, чтобы умещать в поезд на несколько машин больше. Платить за перевозку воздуха мне вовсе не улыбалось. Когда оперируешь такими суммами, как 500 миллионов, то и крохотная экономия в полпроцента составляет 2,5 миллиона.

Далее я объявил кампанию «Все убыточное — вон!». Естественно, что в таком огромном производстве, как наше, имелись десятки операций либо прямо убыточных, либо приносивших минимальную прибыль. Я всегда считал, что любую операцию в автопромышленности можно оценить по ее прибыльности. Каждый заводской мастер знал — или, во всяком случае, обязан был знать,— зарабатывает данная операция деньги для компании или производимые им детали было бы дешевле покупать.

Программы по снижению себестоимости и предотвращению убыточности были для меня совершенно новой областью. Ведь прежде я занимался сбытом, проблемами рынка и новыми моделями Однако моей первой обязанностью как президента было взяться за решение довольно прозаической задачи — изыскать сотни различных способов сократить расходы и повысить прибыль.

Теперь у меня было столько важных и разных дел, что мне пришлось изменить стиль своей работы. К сожалению, у меня уже не хватало «запаса прочности», чтобы, как в годы создания «мустанга», обедать парой бутербродов и сидеть за работой до полуночи.

Если раньше я возвращался домой за рулем каждый раз новой машины, чтобы самому опробовать наши разнообразные модели, то теперь обзавелся шофером, а по дороге просматривал почту. Только одно я оставил прежним: субботу и воскресенье я всегда проводил с женой и дочерьми, если только не отправлялся в служебную поездку. И портфель не открывал до самого вечера в воскресенье. Тут я устраивался в своей домашней библиотеке, внимательно читал докладные и прочее, а также планировал ближайшую неделю. Утром в понедельник я был во всеоружии. И ждал того же от своих подчиненных, давно убедившись на практике, что темп начальника — это темп сотрудников.

Я прекрасно отдавал себе отчет, что занимаю одну из завиднейших должностей в мире. Если Генри был королем, то я — кронпринцем. И королю я бесспорно нравился. Как-то Генри обедал у нас с Кристиной, своей женой, и чуть ли не весь вечер рассказывал моим родителям, какой я замечательный и как без меня никакой «Форд мотор» вообще не было бы. В другой раз он повез меня знакомиться со своим близким другом, президентом Линдоном Джонсоном.

Это были дни вина и роз. Все мы, верхушка компании, вели роскошную жизнь королевских придворных. Например, обедали вместе в служебной столовой. Только она больше походила на самый фешенебельный ресторан. Свежая рыба прямо из Англии, лучшие фрукты в любое время года, шоколад редких сортов, оранжерейные цветы — ну, все, чего душа ни пожелает. И официанты в белоснежных куртках...

Неприятности в раю

Пока я не стал президентом компании, я сталкивался с Генри Фордом лишь от случая к случаю. Теперь же наши кабинеты находились по соседству и мы встречались регулярно, хотя главным образом на служебных совещаниях. И чем ближе я узнавал Генри Форда, тем больше начинал опасаться за будущее компании — и за свое собственное.

Штаб-квартира компании была дворцом, а Генри — самодержавным монархом. Когда он приезжал, об этом тотчас становилось известно, и члены руководства старались подольше задержаться в коридоре в надежде оказаться у него на дороге. А вдруг счастье им улыбнется — мистер Форд соблаговолит их заметить и поздороваться. Или даже сни зойдет до разговора с ними.

Всякий раз, когда Генри входил в конференц-зал, атмосфера сразу менялась. Он ведь был волен в жизни и смерти каждого из нас. И мог в любую секунду приказать: «Отрубить ему голову!» Что не так редко и делал — без какого-либо справедливого разбирательства еще одна многообещающая карьера у «Форда» приказывала долго жить. А значе-

ние он придавал чисто внешним моментам: если человек был одет элегантно и употреблял соответствующие обороты речи, на Генри это производило большое впечатление. Но без соответствующего лоска надеяться было не на что.

В один прекрасный день Генри приказал мне уволить одного из начальников отделов, потому что тот, по его мнению, был «гомиком».

— Что за чушь! — возразил я.— Я его хорошо знаю. Он женат, имеет детей. Да мы обедаем друг у друга!

— Гоните его,— повторил Генри.

— Но с какой стати?

— А вы поглядите на него. Какие он тесные брюки носит!

— Генри.— сказал я спокойно,— ну при чем тут брюки?

— Он ненормален,— настаивал Генри.— Какой-то женственный. Гоните его!

В конце концов я был вынужден понизить в должности хорошего человека и моего друга, чтобы убрать его с глаз Генри. Иначе пришлось бы его и в самом деле уволить.

Когда я только-только стал президентом, Генри как-то поделился со мной своими принципами управления: «Не позволяйте жить слишком спокойно тем, кто у вас работает. Не давайте им прочно обосновываться. Всегда поступайте противоположно тому, чего они от вас ожидают. Пусть все время тревожатся и оглядываются через плечо».

Естественно, возникает вопрос: почему председатель правления «Форд мотор», один из влиятельнейших людей в мире, вел себя как избалованный капризный мальчишка? Откуда такая опасливость?

Возможно, причина в том, что Генри Форд никогда в жизни ничего сам не добивался. Не в этом ли проклятие рожденных в богатстве детей, которые получают свои капиталы по наследству? Они идут по жизни, как по цветущему лугу, и не знают, что бы с ними сталось, если бы не папочка. Бедняки жалуются, что им никто не помог в нужную минуту, а богач не знает, сумел ли бы он достичь чего-нибудь самостоятельно. Никто никогда не говорит ему правды — только то, что ему хочется услышать.

Мне кажется, Генри Форд Второй внук основателя «Форд мотор компани», всю жизнь изнывал от тревоги, как бы не напортачить. Возможно, поэтому его все время не покидало ощущение опасности. И бдительно следил, не замышляет ли кто-нибудь дворцового переворота. Увидит, как двое болтают в коридоре, а в голове уже мысль: заговор готовят, не иначе!

Не хочу брать на себя роль психиатра, но у меня есть предположение, что породило подобные страхи. Когда Генри был малышом, его дед отчаянно боялся, что ребенка похитят. Дети росли за запертыми воротами под бдительным надзором телохранителей и привыкли не доверять никому вне тесного семейного круга.

Вот почему в некоторых отношениях Генри был настоящим параноиком. Например, он терпеть не мог что-нибудь подписывать и даже хвастал, что никаких архивов не хранит. Периодически он сжигал все свои бумаги.

Уотергейт его совсем доконал. «Видите? — заявил он.— Вот что получается, если хранить документы, которые могут попасть не в те руки!»

Как-то, зайдя ко мне в кабинет, что случалось крайне редко, он обвел взглядом мои папки и подшивки.

«Да вы с ума сошли! — заявил он.— Вы еще будете рвать на себе волосы, что хранили все это».

Генри жил, следуя девизу своего деда: «История — чушь собачья!» У него это превратилось в настоящую манию— его принципом было: уничтожай все, что только можешь.

Даже и в те первые годы у нас случались свои недоразумения, но я всегда старался сохранять сдержанность, а серьезные вопросы поднимал только с глазу на глаз, полагая, что это поможет ему сохранить беспристрастность.

Тратить свое время на мелкие споры я просто не мог. Как президент компании я был обязан видеть перспективу. Что будет с компанией через пять лет? На каких направлениях мы должны сосредоточиться?

Ответы подсказал нефтяной кризис первой половины семидесятых годов. Волна будущего вознесла на гребень небольшие экономичные машины с приводом на передние колеса. Именно такие автомобили предлагали японцы, и они шли нарасхват.

Но для Генри маленькая машина знаменовала тупик. Любимым его присловьем было: «Мини-модели — мини-прибыли». Однако я настоял, что нам необходимо создать такую модель — во всяком случае для Европы, где цены на бензин были выше, чем в США, а дороги уже. Даже Генри вынужден был признать, что для Европы маленькая машина просто необходима. И за какие-то тысячу дней при моем прямом участии появилась «фиеста»— очень компактная, с приводом на передние колеса и поперечным положением мотора. Но для американского рынка она была слишком мала, и мы на ее основе разработали автомобиль с условным названием «волк», который должен был стать вторым «мустангом». Опытный черно-желтый образец выглядел потрясающе. Однако Генри, узнав, что четырехцилиндровый мотор для «волка» надо будет заказывать у японской фирмы «Хонда», с которой я уже провел предварительные переговоры, тотчас наложил вето на весь проект. «Чтобы япошки пристроили свой моторчик под капот, на котором стоит мое имя? Да никогда!»— объявил он. Так была упущена неповторимая возможность.

Японцев Генри вообще не любил, зато Европу прямо-таки обожал. В США, особенно после вьетнамской войны, по-

чтение к «столпам общества» стало катастрофически падать. Фамилия «Форд» тоже теряла былой ореол. Но в Европе семейные капиталы еще кое-что значили. Там еще сохранялись земельная аристократия, дворцы и королевские династии. В Европе еще придавали значение тому, кем был ваш дед.

Мне вспоминается вечер, когда я приехал с Генри в некий замок на Рейне. На то, чтобы принять Генри Форда достойно, денег не жалели, и едва я вышел из машины, как у меня глаза вылезли на лоб: выстроившийся духовой оркестр грянул туш и, не переставая играть, двинулся следом за Генри, который медленно поднимался по широкой лестнице.

За океаном Генри усердно общался с особами королевской крови и так любил Европу, что частенько заводил разговор о том, как поселится там навсегда, удалившись от дел. Однажды в Сардинии он явился на вечеринку международной светской элиты в брюках с американским флагом на ягодицах. Даже европейцы были шокированы, но Генри считал это отличной шуткой.

Вот почему успех с «фиестой», возможно, стал первым гвоздем, вбитым в мой гроб. Мою известность в Америке Генри еще терпел, но Европа была его владениями, и когда меня начали хвалить там, он встревожился.

Другой запретной для меня зоной оказался Уолл-стрит.

Каждая акционерная компания проводила встречи с ведущими банкирами, и мы тоже, хотя Генри был решительным противником таких совещаний. «Не желаю выхвалять свои акции!» — говаривал он.

Как-то в Нью-Йорке он выступал перед сотней видных финансистов и, будучи во хмелю, начал говорить лишнее. Наш финансовый директор наклонился ко мне и шепнул:

— Придется вам, Ли, постараться. Придумайте что-нибудь, не то мы окажемся в идиотском положении!

Я встал и начал говорить. Возможно, копая себе могилу.

На следующее утро Генри вызвал меня к себе.

— Вы слишком уж много разговариваете с посторонними, — сказал он, подразумевая, что мне следует ограничиться переговорами с торговыми агентами и поставщиками, и только. Не то на Уолл-стрит могли вообразить, будто компанией руковожу я, а это Генри совсем не устраивало.

Подавляющее большинство людей ощущают себя подотчетными. Перед своими родителями. Или детьми. Или женами. Или перед начальством, а то — перед своей собакой. Другие мысленно отчитываются перед богом.

Но Генри Форд никогда ни перед кем отчитываться нужным не считал.

В акционерной компании председатель правления морально ответствен перед своими служащими и перед акционерами. Юридически он подотчетен правлению. Но Генри вертел правлением как хотел.

«Форд мотор компани» стала акционерной в 1956 году, но Генри внутренне этого не принял. Он считал себя единоличным ее владельцем, каким был его дед. Естественно, такая позиция подкреплялась тем, что Генри и его родственники, хотя им принадлежали только 12% акций, имели в правлении 40% голосов.

Отношение его к государству было примерно таким же. Как-то он спросил меня:

— Вы платите подоходный налог?

— А как же! — удивленно ответил я. (При всем старании найти хоть какие-нибудь лазейки, пятьдесят процентов всех моих заработков я отдавал налоговому управлению.)

— Меня тревожит, — продолжал Генри, — что в этом году мне пришлось уплатить одиннадцать тысяч долларов налога. Ведь уже шесть лет я вообще ничего не платил.

— Как вам это удается, Генри? — спросил я, не веря своим ушам.

— А для чего же я держу юрисконсультов?

— Послушайте, — не выдержал я. — Я не против того, чтобы использовать все зацепки, которые оставляет нам закон. Но ведь рабочие на наших заводах платят налогов немногим меньше, чем вы! Вам не кажется, что вы должны бы подумать о средствах на национальную оборону? На армию и военно-воздушные силы?

Но он даже не понял, о чем я говорю. Возможно, прямо закона он не нарушал, но во всяком случае старался урвать как можно больше.

За все годы нашей совместной работы я ни разу не видел, чтобы он истратил хотя бы цент из собственных денег. В конце концов группа акционеров «Форд мотор компани» предъявила Генри иск, указывая, что он расходует деньги компании на личные нужды. Например, в Лондоне он останавливался в собственном доме, но тем не менее представлял компании счет на оплату номера в отеле. Он даже поинтересовался у меня, какую сумму вносит компания за мой номер в «Клариджe», чтобы поставить такую же.

В иске указывалось далее, что Генри пользовался самолетами компании, чтобы перевозить собственную мебель из Европы в Америку, а также собачек и кошечек своей сестры, когда, по ее мнению, им требовались услуги парикмахеров. Ну, и шампанское «Дон Периньон» из одного своего дома в другой.

Не знаю, все ли это было так, но во всяком случае как-то раз я сам привез ему на самолете компании камин из Лондона.

Вообще самолеты были у Генри пунктиком. Реактивный авиалайнер, купленный компанией у «Ниппон эйруэйз», он переоборудовал в роскошную личную машину. Юрисконсульты пытались объяснить ему, что он не должен летать

этим самолетом на увеселительные прогулки в Европу. Либо уж оплачивать их из собственного кармана. Но он объявил, что скорее будет добираться до Европы вплавь, но ничего возмещать компании не станет.

Я часто использовал этот самолет для деловых поездок в Европу, и уж этого Генри терпеть не пожелал. Мне можно, а ему нельзя? И внезапно отдал распоряжение продать авиалайнер иранскому шаху за пять миллионов долларов.

Директор нашей летной части возмутился:

— Может быть, все-таки продадим его с аукциона?

— Нет,— отрезал Генри.— Я хочу, чтобы этого самолета сегодня же тут не было!

На этой операции компания потеряла приличную сумму.

В конце концов после внутренней ревизии Генри пришлось-таки уплатить компании 34 тысячи долларов. Его схватили за руку, запущенную в кассу «Форд мотор», и даже собственные ревизоры не сумели его выручить. Генри, правда, поспешил свалить все на свою жену, но просто чудо, что он вообще признал себя хоть в чем-то неправым.

Развязка

К 1975 году Генри Форд твердо решил избавиться от меня. Но у него не хватало мужества самому заниматься этой грязной работой. К тому же, он знал, что Якокку голыми руками не возьмешь, и принялся систематически подвергать меня всяческим унижениям, чтобы я ушел сам.

Оглядываясь на это время, я часто спрашиваю себя, почему я действительно не ушел в конце 1975 года? Почему принял судьбу, которую уготовил мне Генри?

Так почему же?

Во-первых, как всякий нормальный человек, я надеялся, что все уладится. Может быть, Генри опомнится. Или правление поставит его на место. Или вдруг Билл, его брат, у которого акций было вдвое больше, чем у Генри, возьмет и скажет: «Послушайте, мой брат свихнулся. Нам необходимо найти ему преемника». Я уверен, что такая мысль приходила Биллу в голову, но никаких действий он предпринимать не стал.

Так почему же я не уволился? Отчасти потому, что просто не мог себе представить, как буду работать где-нибудь еще. Вся моя взрослая жизнь прошла в «Форд мотор компани», и никуда уходить я не хотел. И у меня было много союзников. Поставщики получали крупные заказы. Торговые агенты заявляли: «Никогда еще дела у нас не шли так хорошо». Управленческий аппарат получал огромные премии. И я имел полное право считать, что моя популярность объясняется тем, что свои обязанности я выполняю вполне успешно. А это, всем усилиям Генри вопреки, доставляло мне большое удовольствие.

Открытого столкновения я не ожидал, но был к нему готов. Я знал, какую пользу приношу компании. По существу, я был для нее куда важнее Генри и наивно полагал, что, поскольку принадлежит она акционерам, победа останется за тем, кто ей нужнее.

Ну, и, конечно, тщеславие. Мне нравилось положение президента, всякие привилегии — особая стоянка для машины, роскошный кабинет с собственным туалетом, официанты в белых куртках... Сибаритство вело к разнеженности.

И у меня не хватало решимости самому отказаться от ежегодного дохода в 970 тысяч долларов. Хотя я был только вторым во второй по величине автокомпании мира, зарабатывал я больше, чем сам председатель правления «Дженерал моторс». Этот ежегодный миллиончик так меня прельщал, что я закрывал глаза на реальное положение вещей.

Значит, где-то в глубине моего характера есть слабина. Про меня говорят, что в критические моменты я решителен и крут, но куда делись эти качества, когда в них настала настоящая нужда?

Генри же твердо намеревался избавиться от меня и, видимо, рассуждал так: «Сам он убраться не желает. Уволить его я не могу, слишком уж он популярен. Ну, так надо отсечь ему руки-ноги, да так, чтобы он этого и не заметил».

Естественно, имелись в виду мои сотрудники. По слухам, Генри составил список якокковских дружков, подлежавших увольнению. Вскоре я убедился, что слухи эти более чем верны.

В один прекрасный день без каких-либо видимых причин Генри снял телефонную трубку и позвонил Лео-Артуру Келменсону, главе рекламного агентства, которое занималось нашими «линкольнами» и «меркуриями».

— Келменсон! — рявкнул он.— Уволите Билла Уинна!

Билл Уинн был моим близким другом еще со студенческих лет. За два дня до этого звонка агентство поручило ему разработку плана новой рекламной кампании. Прежде он нередко помогал нам в организации ежегодных выставок для наших торговых агентов и всегда справлялся с этим великолепно.

Когда Келменсон сообщил мне, что Билл уволен, я долго не мог понять, почему Генри потребовал этого. Билл Уинн был человеком очень легким в общении, и к тому же Генри никогда с ним не встречался. И тут до меня дошло: абсурдное решение уволить Билла Уинна знаменовало неуклюжую попытку нанести удар в спину Ли Якокке.

Некоторое время спустя Генри вызвал меня к себе и отдал распоряжение уволить Хэла Сперлиха.

Хэл Сперлих принадлежит к тем легендарным детройтцам, про которых говорят: «У них в жилах течет не кровь, а бензин». Он проработал со мной все шестидесятые и семидесятые годы как инженер и специалист по планированию производства. Он сыграл решающую роль

в создании многих наших моделей — в частности, «мустанга» и «фиесты». Хэл настолько талантлив, что его невозможно перехвалить.

— Генри,— сказал я опешив,— да вы шутите! У нас лучше его никого нет!

— Увольте его сейчас же!

Я как раз собирался в аэропорт: меня ждали в Нью-Йорке срочные дела. И я спросил Генри, нельзя ли отложить вопрос до моего возвращения.

— Если вы не вышвырнете его вон сейчас же,— ответил Генри,— то вылетите в дверь вместе с ним.

Безнадежно! И все-таки я попытался его урезонить.

— Сперлих создал «мустанг»,— сказал я.— Он заработал нам миллионы.

— Хватит нести чушь,— отрезал Генри.— Мне он не нравится. И я не обязан вам давать отчет почему. Просто я так хочу.

Хэл переживал увольнение очень тяжело. Мы оба видели, к чему все клонится, но в человеке всегда живет надежда: если ты выполняешь свои обязанности хорошо, справедливость непременно восторжествует. Хэл искренне верил, что он достаточно ценный работник, чтобы остаться в «Форд мотор компани», пусть даже босс его невзлюбил. Но он забыл, что мы находились во власти диктатора.

— Это дерьмовая лавочка! — сказал я Сперлиху.— Я по положению выше вас, но вынужден хлебать такие же помои. Как знать, не оказал ли вам Генри услуги? В более демократическом окружении ваш талант будет признан и вознагражден. Конечно, сейчас в это трудно поверить, но, быть может, в будущем вы будете вспоминать сегодняшний день с благодарностью!

И я словно в воду глядел. Едва Хэла уволили, как президент «Крайслера» пригласил его позавтракать вместе. В начале 1977 года Хэл возглавил там разработку малолитражных машин и смог сделать все, о чем мечтал в «Форд мотор».

Не прошло и двух лет, как мы с Хэлом снова работали вместе. Сейчас он президент «Крайслера». И его переднеприводные автомобили — и особенно новые мини-фургоны «Т115», которыми Генри не разрешал ему заняться,— неумолимо отвоевывают у «Форд мотор» все большую долю рынка.

Наконец, 12 июня 1978 года Генри встретился с девятью внешними членами нашего правления и сообщил им, что намерен меня уволить. Но против обыкновения правление воспротивилось. Они заявили:

— Нет, Генри, только не это. Вам надо помириться с Ли. Мы что-нибудь придумаем.

На следующий день Генри зашел ко мне в кабинет — третий раз за восемь лет.

— Не будем держать зла друг на друга,— сказал он.

Этот эфемерный мир продлился ровно месяц.

Придравшись к тому, что я встретился для обсуждения наших финансовых проблем с внешними членами правления (кстати, по их же просьбе), Генри 12 июля вновь объявил, что увольняет меня, поскольку я настраиваю их всех против него. Затем он добавил, что мы с ним, как личности, практически несовместимы. Иными словами, Генри Форду, видимо, понадобилось тридцать два года на то, чтобы понять, как плохо он со мной ладит.

И на этот раз некоторые члены правления пробовали ему возражать, ссылаясь на мои заслуги перед компанией, на мою преданность ей.

Генри пришел в ярость. Он не привык, чтобы с ним спорили на заседаниях правления.

— Он или я! — проскрежетал Генри.— На решение у вас есть двадцать минут.— И буквально выбежал из зала.

В тот же вечер мне позвонил издатель «Автомотив ньюс»— еженедельника, посвященного проблемам автопромышленности.

— Скажите, что это не так! — попросил он.

Я сразу понял подтекст. Он был близким приятелем Эдзеля, сына Генри, и я тут же решил, что Эдзель сообщил ему новость по прямому наущению отца. Так, чтобы я узнал о своем увольнении косвенным образом из газет.

Абсолютно в духе Генри: во-первых, меня уведомят третьи лица, а во-вторых, королю не придется пачкать лилейные руки государственными делами.

Утром я отправился на работу как обычно. Все выглядело совершенно нормальным, и я уже начал подумывать, что издателя неверно информировали. Но в три часа секретарша Генри вызвала меня к нему. «Вот оно!»— подумал я.

В кабинете за мраморным столом сидели Генри и его брат Билл. Вид у обоих был тревожный и напряженный. А мне вдруг стало заметно легче. Ведь я уже все знал. Оставались только формальности. Присутствие Билла как бы показывало, что решение принял не Генри, но вся семья. К тому же, Генри нуждался в таком свидетеле для моральной поддержки. Ведь, как правило, он никому не объявлял об увольнении лично, а перекладывал эту неприятную обязанность на кого-нибудь другого — например, на меня.

Я был рад, что Билл оказался рядом в такую минуту — он всегда относился ко мне с большим уважением, и мы даже могли считаться друзьями. Тем не менее я знал, что особенно надеяться на его поддержку мне не следует: Билл всю жизнь избегал каких бы то ни было конфликтов с Генри.

Я сел, а Генри принялся мекать и бекать. Он же никого еще сам не увольнял и не знал, как к этому приступить. Наконец он сказал:

— Я решил реорганизовать компанию. Одна из тех ситуаций, когда приходится делать то, чего совершенно делать не хочешь. Мы прекрасно сотрудничали...— Я изумленно посмотрел на

него.— Но по-моему, вам следует уйти. Так будет лучше для компании.

Ни разу на протяжении трех четвертей часа он не употребил слова «уволить».

— В чем, собственно, дело? — спросил я.

Но Генри не стал ничего объяснять.

— Все чисто в личном плане,— буркнул он.— Ничего больше я добавить не могу. Так уж получилось.

— Однако у меня есть некоторые права,— сказал я,— и, надеюсь, недоразумений не будет?

Я имел в виду свою пенсию и причитавшуюся мне компенсацию.

— Об этом мы договоримся,— ответил Генри.

До этого момента наш разговор шел на удивление в спокойном тоне. Но теперь я произнес целую речь, перечислил свои заслуги перед «Форд мотор компани» и напомнил Генри, что как раз завершились два наиболее прибыльных года во всей ее истории. В заключение я сказал:

— Мы два года подряд выручали по миллиарду восемьсот миллионов долларов. Но попомните мои слова, Генри: такой цифры вам больше не видать! А почему? Да потому, что вы понятия не имеете, каким образом удалось получить эту сумму!

Я ничуть не уклонился от истины. Генри умел тратить деньги, но был в полном неведении, откуда они берутся. Он регулярно появлялся в штаб-квартире, однако, сыпля распоряжениями направо и налево, механизма компании не знал совершенно.

Под конец разговора Билл искренне попытался переубедить брата, но было уже поздно. Когда мы вместе вышли из кабинета, у Билла по щекам текли слезы.

— Как это могло произойти? — повторял он.— Генри просто безжалостен!

Билл — хороший человек. Но Форды всегда сплачивались против остального мира.

Говорят, чем человек выше взлетает, тем больнее он ушибается, когда падает. Ну, я хлопнулся с довольно заметной высоты и как-то сразу понял чувства всех тех, кого мне доводилось увольнять. Когда несколько месяцев спустя я взялся за реорганизацию «Крайслера», мне пришлось отказаться от услуг сотен людей на руководящих постах. Но я делал все от меня зависящее, чтобы хоть как-то смягчать удар. Впервые в жизни я на опыте узнал, как это страшно, когда тебя выгоняют.

Я сразу как бы перестал существовать. Мои бывшие подчиненные, мои коллеги и друзья опасались видеться со мной. Вчера я был героем, а сегодня меня следовало избегать со всем тщанием.

Все знали, что Генри готовится провести чистку компании от сторонников Якокки. И тот, кто не порвал со мной все дипломатические и личные отношения, рисковал быть уволенным.

Мои прежние друзья перестали мне звонить. А вдруг мои телефонные разговоры подслушиваются? Заметив меня на автовыставке, они спешили отвернуться. Только самые мужественные набирались духа обменяться со мной быстрым рукопожатием и тут же скрывались в толпе. Вдруг местный репортер щелкнет нас вместе, а Генри увидит фотографию в газете?

Вскоре после моего увольнения Генри среди ночи позвонил Уолтеру Мэрфи, одному из ближайших моих друзей в «Форд мотор», свыше двадцати лет возглавлявшему наш отдел по связям с прессой.

— Вы Якокку любите? — осведомился Генри.

— Конечно,— ответил Уолтер.

— В таком случае вы уволены!

Правда, на следующий день Генри взял свое решение обратно, но этот эпизод показывает, в каком маниакальном состоянии он находился.

Так продолжалось и дальше. Фордовский массажист, большой мой приятель, еще года полтора продолжал бывать у меня дома. Затем как-то в воскресенье он не пришел, сославшись на занятость, и больше я его не видел. Вероятно, кто-то подсмотрел, как он выходил из моего дома после сеанса массажа, а терять свое место у Форда он не хотел. Почти четыре года спустя старшая стюардесса самолетов компании была переведена с понижением в другой город, потому что она продолжала дружить с моей женой и дочками.

И моя боль не унималась еще очень долго. Один мой закадычный друг из «Форд мотор», с которым мы на протяжении двадцати пяти лет играли в покер по пятницам и отправляли наши семьи отдыхать вместе, после моего увольнения даже ни разу мне не позвонил. А когда Мэри в 1983 году умерла, он не приехал на похороны...

Мой отец любил повторять, что тот, у кого ко дню смерти было пять настоящих друзей, прожил хорошую жизнь. Теперь я понял смысл этих слов. В первые дни настроение у меня было ужасное, и как же мне не хватало дружеского звонка: «Выпьем-ка вместе кофе! Просто выразить не могу, как я огорчен!» Но практически все мои друзья в компании бросили меня. Это был особенно тяжелый удар.

До известной степени я, конечно, могу их понять. Не их вина, что во главе корпорации оказался диктатор-самодур. Продолжая поддерживать дружбу со мной, они вполне реально могли лишиться работы. А у них на руках были дети, им надо было помнить о закладных.

Когда умерла Мэри, я получил письмо с соболезнованиями от Билла Форда и записку от Уолтера Мэрфи. И только.

Мое увольнение наделало много шума. Меня очень утешила редакционная статья в «Автомотив ньюс», где, в частности, было упомянуто мое миллионное жалованье — «следует признать, что Якокка честно зарабатывал каждый цент этого миллиона!»

Авторы многих газетных передовиц и статей увидели в моем увольнении тревожный признак. «Вашингтон пост» указала, например, что оно «вызывает вопрос, в какой мере огромное предприятие вроде «Форд мотор компани» управляется одним человеком, словно феодальное княжество, и подчинено его капризам».

Журналист Николас фон Хофман пошел даже дальше. Назвав в своей статье Генри «шестидесятилетним подростком», он продолжал: «Раз уж такой человек, как Якокка, мог очутиться за воротами, так чего же ждать всем нам?»

А одна детройтская газета процитировала объяснения «представителя семьи Фордов», который утверждал, что меня уволили по следующим причинам: я «не обладал необходимым лоском», был слишком «настырен», да и вообще так и остался «родившимся в глуши Пенсильвании сыном итальянского иммигранта».

Ужасное оскорбление! Но меня оно не удивило. Для Фордов я всегда был «выходцем из низов». Да что там! Даже Кристина, жена Генри, была в их глазах выскочкой, «королевой пиццы», как ее величали в семейном кругу.

Четыре с половиной года спустя нас с Мэри пригласили на празднование пятидесятилетнего юбилея «Ньюсуика». Было это за несколько месяцев до смерти Мэри, чувствовала она себя не очень хорошо, и потому я весь вечер от нее не отходил. Мы сидели за столиком с одним нашим приятелем. Они с Мэри о чем-то оживленно разговаривали, а я, отвлекшись, вдруг увидел, что в дверях появились Генри и его супруга. Я невольно охнул. Мэри подняла глаза и тоже охнула.

Наступила минута, которую я часто мысленно рисовал себе. Вообще-то я человек очень уравновешенный, но меня давно уже занимал вопрос, как я себя поведу, если столкнусь с Генри, уже несколько заложив за галстук. Сумею ли я сдержаться? В воображении я столько раз давал ему хорошего пинка, что ни за что поручиться не мог.

Наши взгляды встретились. Я кивнул ему и понял, что перед ним встал выбор из трех возможностей. Кивнуть в ответ, поздороваться и пройти мимо. Так он сохранил бы свое достоинство.

Либо подойти к нашему столику, сказать несколько любезных слов — мы обменялись бы рукопожатием, он обнял бы меня за плечи, и прошлое было бы забыто. Так поступил бы всякий порядочный человек, то есть ожидать этого вряд ли стоило.

И наконец, можно было по-заячьи сбежать. Это Генри и выбрал. Схватил свою жену Кэти за локоть и бросился прочь б е г о м.

Больше я Генри Форда не видел.

На идущем ко дну корабле

Если бы я хоть в малейшей степени представлял, на что себя обрекаю, приняв предложение «Крайслера», я бы не пошел туда ни за какие деньги в мире.

Едва о моем увольнении стало известно, как меня начали приглашать на работу компании, весьма далекие от автомобильной промышленности, и даже университеты. Но я всю свою жизнь занимался автомобилями и считал, что менять специальность в моем возрасте по меньшей мере неразумно.

На пятьдесят пятом году жизни уходить на покой было рановато, но осваивать совершенно новое поле деятельности — слишком поздно. Не говоря уж о том, что автомобили вошли в мою плоть и кровь.

Мне всегда претила расхожая точка зрения, будто деловая хватка — вещь универсальная и человек, умело руководивший, например, «Форд мотор», добьется не меньших успехов, возглавив любую другую крупную корпорацию. На мой взгляд, это напоминает приглашение саксофонисту сесть за рояль. Допустим, дирижер предложит ему: «Почему бы вам не перебраться за клавиши — вы же прекрасный музыкант?» Ответом наверняка будет: «Минуточку! На саксофоне я играю уже двадцать лет, но в рояле — ни бельмеса».

Правда, от одной автомобильной компании я получил предложение почти сразу: «Рено» хотела использовать меня как консультанта с международным статусом. Но в консультанты я не очень гожусь. Мне необходима живая работа. Я люблю прямую ответственность. Тогда успех принадлежит мне, а за неудачу я отвечаю собственной головой.

С самого начала возникли слухи, что мне не миновать «Крайслера». Я оказался свободен, «Крайслер» находился в тяжелом положении — вывод напрашивался сам собой.

И довольно скоро мне позвонил Джон Риккардо, председатель правления «Крайслера». Он и его коллега хотели бы поговорить со мной. Не приеду ли я к нему в отель?

Нашу встречу мы постарались скрыть от всех. В отель я вошел через боковую дверь. Разговор начался довольно неопределенно.

— Мы подумываем о реформах,— заявил Риккардо.— Дела идут не слишком хорошо.

Они словно бы предлагали мне работу, но избегали сделать это напрямую, и в конце концов я спросил без обиняков:

— Для чего, собственно, мы здесь собрались?

— Чтобы обсудить, не придете ли вы к нам работать,— ответил Риккардо.— Хотите опять заниматься автомобилями?

Я ответил, что прежде мне необходимо конкретно знать, в каком положении находится «Крайслер».

— Я не могу согласиться вслепую,— сказал я.— Меня интересует, насколько плохо обстоят дела. Каково ваше финансовое положение. Что вы планируете на ближайший год. Какими задуманы ваши перспективные модели. А главное,

искренне ли вы верите, что вам удастся выкарабкаться.

На двух наших следующих встречах Риккардо нарисовал достаточно унылую картину, но у меня создалось впечатление, что за год я сумею исправить положение. Нет, я вовсе не думаю, что Джон или кто-нибудь еще сознательно вводил меня в заблуждение. Беда «Крайслера», как я вскоре убедился, отчасти заключалась именно в том, что даже руководство компании толком не знало, что, собственно, происходит. Да, они видели, что раны «Крайслера» кровоточат, но им и в голову не приходило, что компания — как я вскоре обнаружил — прямо-таки истекает кровью.

Оставался еще вопрос, может ли «Крайслер» позволить себе такую роскошь, как я. Причем вовсе не только с финансовой точки зрения. Я больше не желал никому подчиняться. Слишком долго я оставался вторым. И пойти в «Крайслер» соглашался на одном твердом условии: еще до истечения года я стану там первым номером.

Следующим этапом была встреча с компенсационным комитетом «Крайслера» в Нью-Йорке, в крайслеровском служебном номере в «Уолдорфе». На этот раз я для конспирации вышел из лифта на тридцать четвертом этаже, где находился номер «Форда», и по лестнице поднялся на тридцать шестой, куда Риккардо приехал на другом лифте. Мы должны были соблюдать осторожность. Если бы кто-нибудь прознал, что Якокка, который еще оставался притчей во языцех из-за своего увольнения, совещался с представителями «Крайслера», я прочел бы в газетах о своем согласии прежде, чем решил, давать его или нет.

Официальное сообщение о том, что с ноября я начинаю работать в «Крайслере», оказалось, должно быть, весьма неприятным потрясением для Генри Форда. Обычно в подобных случаях уволенный удаляется со своей пенсией во Флориду и навсегда исчезает с горизонта. Но я остался на поле брани. Из достоверных источников я знаю, что Генри, услышав об этом, стал каждый вечер сильно напиваться. Он всегда пил много, но тут, как мне говорили, дело приняло особенно серьезный оборот. По слухам, он каждый вечер выдувал по две бутылки «Шато-Лафит-Ротшильд». Снотворное довольно дорогое — 120 долларов бутылка. Но, судя по прошлому, оплачивали его фордовские акционеры.

2 ноября 1978 года «Дейтройт фри пресс» вышла с двумя шапками: «НЕБЫВАЛЫЕ УБЫТКИ «КРАЙСЛЕРА» и «ЛИ ЯКОККА ДАЛ СОГЛАСИЕ «КРАЙСЛЕРУ». Чудесный выбор момента! В тот день, когда я поднялся на борт крайслеровского корабля, компания объявила, что в третьем квартале она понесла убытки в 160 миллионов долларов — самые большие за всю свою историю. «Ну, ничего,— подумал я.— Хуже быть уже не может, и теперь должен настать поворот к лучшему!»

В первый же день на новом месте я отметил две, казалось бы, мелочи, которые заставили меня призадуматься. Во-первых, кабинет президента компании был в проходной комнате. Я с изумлением наблюдал, как дверь то и дело открывалась, на пороге возникал некто с чашкой кофе в руке и направлялся к себе. Я сразу понял, что тут царит подлинная анархия. «Крайслеру» требовалась внушительная доза дисциплины и порядка, причем незамедлительно.

А во-вторых, секретарша Риккардо слишком уж подолгу болтала по телефону о личных делах. Когда секретарши поплевывают на свои обязанности — значит, учреждение разъедает ржавчина.

Меня охватили зловещие предчувствия. И они не замедлили оправдаться. Мне стало ясно, что «Крайслер» в 1978-м напоминал Италию шестидесятых годов прошлого века — конгломерат крохотных княжеств, возглавляемых примадоннами, которые чихать хотели на то, чем занимаются остальные. Все действовали независимо друг от друга — словно в вакууме.

Например, я вызывал кого-нибудь из конструкторского отдела и ставил его в полный тупик, когда объяснял, что нам надо решить какую-то проблему, связанную с производством. При этом он был блистательным специалистом, способным создать потрясающую, оригинальнейшую модель или придумать что-то, что сэкономило бы нам массу денег. Беда заключалась лишь в том, что осуществить его идеи производственники были не в состоянии.

В «Крайслере» словно бы не понимали, что для любой компании жизненно необходимо налаженное взаимодействие всех подразделений. Конструкторы и производственники должны чуть ли не спать вместе. А здесь они не поддерживали даже шапочного знакомства.

Месяца через два на меня словно обрушилась тонна кирпичей: наши наличные были на исходе! После чего обнаружилось, что в «Крайслере» не существовало единой системы финансового контроля. Никто не мог ответить мне на самые элементарные вопросы. Более того: они даже не подозревали о существовании вопросов!

Это, пожалуй, было самым большим потрясением за всю мою деловую карьеру. У меня просто руки опустились. Я знал: «Крайслер» выпускает скверные машины. Отдавал себе отчет в общей расхлябанности, плохом состоянии заводов. Но я и представить не мог, что буду не в состоянии хотя бы получить необходимые цифры, дабы мы могли приняться за разрешение главных крайслеровских затруднений.

Что касается кадров, затруднения эти не ограничивались только верхним эшелоном. На всех уровнях царили страх и растерянность. Никто ничего толком не делал. Прежнее руководство компании считало, что талантливый человек способен взять любую высоту. После нескольких лет перетасовок буквально все

служащие занимались не тем, к чему готовились в вузах. И поверьте — это было видно с первого же взгляда.

Всем было ясно, что я произведу генеральную уборку, и каждый опасался, как бы его не вымели. Люди пребывали в постоянной неуверенности и страхе. Причем с полным на то основанием: за три года я был вынужден избавиться от тридцати трех из тридцати пяти вице-президентов. То есть увольнял в среднем по одному в месяц!

В некоторых случаях я пытался их перевоспитать. Но ничего не получалось. Они просто не могли приспособиться. Один мой бывший начальник говаривал, что коренным образом изменить стиль работы и привычки человека старше двадцати одного года невозможно. Можно тешиться мыслью, что тебе это удалось, но его представление о себе остается прежним. У кого достанет скромности учиться, став взрослым?

Если говорить о нашей продукции, меня тревожило, что «Крайслер» давно уже стал «автомобилем для пожилых». По данным обследований, его среднестатистический владелец был старше и менее образован, чем покупатели соперничавших моделей. Многие считали «крайслер» солидной и немного скучной машиной. В этой ситуации нам требовалось обновление ассортимента — и без промедления. В автобизнесе тот, кто топчется на месте, очень быстро оказывается под колесами.

Однако речь шла не просто об устаревшем дизайне — остро вставал вопрос о качестве. Особенно тяжелое положение сложилось с «аспеном» и «воларе», поступившими в продажу в 1975 году, хотя их следовало бы доводить еще по крайней мере полгода. Они просто никуда не годились. Мотор глох, стоило прибавить газу, тормоза отказывали, крышка капота открывалась на ходу. Покупатели жаловались, и более трех с половиной миллионов этих машин были возвращены на гарантийный бесплатный ремонт. То есть бесплатный для покупателей. «Крайслеру» же он встал в огромную сумму.

Разом устранить последствия подобных провалов невозможно. Ведь если даже немедленно повысить качество товара, должно пройти некоторое время, пока покупатели это поймут. Ну, как девица со скверной репутацией. Пусть она исправится и поведет честную жизнь, но первые год-два соседи будут придерживаться о ней прежнего мнения.

Никакая реклама, никакие пресс-конференции не заменят высокого качества продукции. Выход только один: выпускайте хорошие машины с приемлемой ценой — и покупатели сами проторят дорожку к вашим дверям.

Сегодня по качеству наши машины не уступят ни одной американской модели. И мы быстро нагоняем японцев.

Широкая публика относится к большому бизнесу весьма скептично. И с полным на то основанием. Иногда наши машины оказывались настолько скверными, что со стороны представлялось, будто мы нарочно выпускаем их такими. В большинстве люди не понимают, что в интересах компании выпускать автомобили, не требующие дополнительной доводки или ремонта. Если огрех обнаружен на заводе, его устранение обойдется нам, скажем, в двадцать долларов в час. Но то же устранение в гарантийном ремонте будет нам стоить уже тридцать долларов в час. И хотя мне вовсе не улыбается расходовать лишние двадцать долларов в час, это все-таки лучше, чем тратить их тридцать.

Хорошая модель — всегда результат хрупкого равновесия: чего хочет покупатель и как мы можем выполнить то или иное желание, одновременно считаясь с другими его требованиями.

Автомобиль — машина очень сложная и с каждым годом становится все сложнее. Возьмем для примера кондиционирование воздуха. Если вы платите лишние 700 долларов, чтобы обеспечить себе прохладу в летний зной, то, естественно, хотите получить за них все, что вам причитается. Конструктор же кондиционера должен помнить, что от последнего не будет никакого толку, если на охлаждение воздуха в машине понадобится полчаса, поскольку чаще всего сама поездка занимает меньше времени. Следовательно, вентиляторы требуются повышенной скорости. Но при этом не очень шумные, так как владелец за рулем, включив кондиционер, желает слушать без помех свой стереоприемник, который обошелся ему еще в триста долларов. И специалист по кондиционерам не может просто огрызнуться: «Меня это не касается. Мое дело обеспечить ему прохладу!» Он обязан сделать свой агрегат таким, чтобы он органично вошел в общую структуру модели.

Проектировщику отдельных частей автомобиля непременно надо учитывать несколько моментов: во-первых, его детище должно весить как можно меньше, поскольку любая лишняя тяжесть неминуемо повысит расход горючего; во-вторых, оно должно быть дешевым — по понятным причинам; в-третьих, оно должно быть простым в изготовлении. Собирать что-то из двух частей всегда легче, чем из трех, да и надежность конструкции в первом случае выше.

Простота изготовления — вот залог качества. «Моя разработка — это высокий класс!» Сколько раз я слышал это! А про себя думал: «Да уж, настолько высокий, что даже в производство не пустишь».

Естественно, усилиями одних только конструкторов проблему качества не решить. Тут нужна поддержка со стороны рядовых тружеников в цехах. Получить ее нам удалось путем организации «кружков качества». Выглядит все это следующим образом. Мы собираем группу рабочих и говорим: «Вот такая-то операция — вы сумеете ее выполнить? Инженер говорит, что да, и мастер говорит, что да. Но сборку ведете вы. Так что вы скажете?» Пару дней они ее осваивают и, если дело не клеится, приходят к нам и говорят: «Способ негодный. Лучше вот

так-то и так-то». Очень быстро становится известно, что руководство прислушивается к мнению рабочих, что нас по-настоящему заботит качество, что мы готовы принимать на вооружение новые идеи, что мы вовсе не гонористые идиоты. Пожалуй, для решения проблем качества важнее всего именно это — убеждение рабочего, что его идеи встретят благожелательный прием.

Вскоре мне удалось собрать в «Крайслере» команду талантливых помощников, и я уже не сомневался, что возрождение былой славы компании — вопрос времени. Но я не мог наперед учесть крах американской экономики и иранские события. Впрочем, тут я не был одинок — как выяснилось, не предвидел их и Джимми Картер.

В тот момент, когда я взял бразды правления в свои руки, наша доля на автомобильном рынке стремительно сокращалась. Она достигла восьми процентов — цифра страшноватая даже по скромным нормам «Крайслера».

Дело дошло до того, что компания стала мишенью карикатуристов и эстрадных острот в таком духе:

«Ведущий: Этот тип на самую последнюю подлость способен!

Зрители: Это на какую же?

Ведущий: А он утром позвонил в «Крайслер» и спрашивает:

«Ну, как идут дела?»

Но это еще были цветочки. Не пробыл я в «Крайслере» и трех месяцев, как все полетело кувырком. Через пару недель после 16 января 1979 года, когда шах бежал из Ирана, цены на бензин удвоились. На исходе июня отыскать в субботу открытую бензоколонку было просто чудом.

Продажа наших больших машин и дач на колесах упала катастрофически. Эти пожиратели бензина стали первыми жертвами разразившейся паники. К июню 1979 года шасси и моторы, которые мы поставляли для изготовителей «моторизованных домиков», перестали покупать вовсе. А реализация «крайслеров»-универсалов, составлявших значительную часть нашей общей продукции, сократилась вдвое.

Прошло пять месяцев, и малогабаритные автомобили завоевали 58% американского рынка против 43% в январе — сдвиг на 15%. В нашем деле даже двухпроцентное колебание в течение года — вещь серьезная, а 15% — это катастрофа.

Тем не менее мы знали, что приспособиться к новым условиям в наших силах, и сделать это мы можем быстрее всех наших конкурентов. Нужно было только удвоить капиталовложения в новые заводы и продукцию на ближайшие пять лет и молиться, чтобы к их исходу мы все еще были бы на плаву.

Но тут страна ухнула в экономический спад, и это нас почти нокаутировало. Продажа автомобилей по всей стране сократилась почти вдвое. Никакая отрасль промышленности не способна уцелеть при конъюнктуре, требующей удвоения капиталовложений при половинном доходе. Мы оказались в беспрецедентной ситуации и должны были искать новые и неопробованные способы вести дело. Какая там стратегия, лишь бы выжить! А для этого требовалось самое простое — закрыть наиболее убыточные заводы, сократить штаты до минимума. Нам предстояла тяжелейшая хирургическая операция — иначе не спасти то, что еще можно было спасти. Легче сказать, чем сделать. Надо сжать зубы — ведь ты делаешь все, что в твоих силах! — и сосредоточиться на будущем. Если ты до него дотянешь!

Все меры, которые мы принимали, чтобы удержать «Крайслер» на плаву, были очень тягостными. Но тяжелее всего были массовые сокращения. В 1979 году, а затем и в 1980-м нам пришлось уволить тысячи рабочих и служащих. Так, в апреле 1980 года мы уменьшили число наших служащих на семь тысяч, что позволило сократить ежедневные расходы более чем на 200 миллионов. За несколько месяцев до этого мы избавились от восьми с половиной тысяч рабочих, так что общая сумма экономии на заработной плате превысила полмиллиарда долларов в год. Сокращения шли не только среди рядовых, но и среди «офицерского» и «генеральского» состава.

Потеря работы — всегда трагедия, и незачем закрывать на это глаза. Служащих высшего эшелона я почти всегда уведомлял об увольнении лично. Не та это обязанность, которую можно передоверить. И надо говорить человеку правду. Мое собственное увольнение сделало меня настоящим специалистом в вопросе о том, как избегать лишнего травмирования. Уж во всяком случае я не давал им оснований полагать, что они просто мне не нравятся. Я всегда подробно объяснял причины и предлагал самую высокую пенсию, на какую увольняемый имел право. А иногда даже пытался в этом вопросе несколько уклониться от правил.

Конечно, мы наделали много ошибок. Особенно в первый год,— наверное, кто-то пострадал напрасно. Скажем, начальник постарался избавиться от неугодных ему людей — слишком прямых и честных. Но ситуация была чрезвычайной, приходилось торопиться, и мы пытались сделать все возможное для спасения компании.

Во всяком случае, руководящие уровни мы расчистили очень заметно, сильно снизив число людей, принимавших участие в выработке решений. Первопричиной, бесспорно, было стремление выжить. Но со временем мы убедились, что управлять крупной компанией с помощью небольшого аппарата заметно легче. Наши конкуренты еще не усвоили этого урока. И я от души надеюсь, что они его не усвоят никогда.

Отчаянные меры — обращение за помощью к правительству

Мы делали что могли — и даже сверх этого,— но экономическое положение продолжало ухудшаться, а наши убытки расти. Чтобы уцелеть, нам была необходима помощь со стороны. Спасти свой корабль сами мы уже не могли.

Выход из положения я видел только один.

Поверьте, меньше всего на свете мне хотелось обращаться к правительству! Но, решившись на это, я бросил все свои силы, чтобы добиться желаемого.

Я всегда был убежденным сторонником свободного предпринимательства и верил в выживание наиболее приспособленных. В свою бытность президентом «Форд мотор» я проводил в Вашингтоне почти столько же времени, сколько в Дирборне. С единственной целью — помешать «слугам народа» сесть нам на шею. Ну, и, естественно, когда я приехал в Вашингтон, чтобы получить от правительства помощь для «Крайслера», все твердили: «Как вы можете!» да «Как вы смеете!»

«Но из чего мне выбирать? — отвечал я.— Иного выхода нет».

Мы действительно перепробовали все остальное. И только тогда решили прибегнуть к займу, который гарантировало бы правительство. Многие, в частности Сперлих, были решительно против. Хэл не сомневался, что это верный способ погубить компанию, и я не был так уж убежден в том, что он ошибается. Кто-то еще напомнил о судьбе английской автопромышленной компании «Бритиш Лейленд». Ее обращение к правительству подорвало доверие широкой публики. Доля рынка, контролируемая компанией, сократилась вдвое, и она так и не оправилась от этого удара. Конечно, прецедент был неутешительный, но альтернативой для нас оставалось только банкротство.

Я знал, какую бурю вызовет мой план, а потому заранее хорошо подготовился. Я выяснил, что мы далеко не первые. В 1971 году «Локхид эйркрафт» получила гарантированный заем в 250 миллионов долларов, поскольку конгресс принял решение спасти от нищеты рабочих компании и ее поставщиков. Такие займы получал и город Нью-Йорк — и тоже благодаря им избежал банкротства. Но оказалось, что это лишь наиболее известные примеры. Подобные займы, как я скоро установил, были по своему духу не менее американскими, чем яблочный пирог. Их получали электротехнические, химические компании, фермеры, железные дороги, судостроители, разнообразные мелкие предприниматели, студенты и авиалинии.

Собственно говоря, когда мы подали свою просьбу о гарантии ссуды в размере до полутора миллиардов долларов, общая сумма различных займов, выданных и гарантированных американским правительством, составляла уже 409 миллиардов долларов. Но этого никто не знал, и все утверждали, будто «Крайслер» создает опаснейший прецедент.

Большинство лидеров делового мира были решительно против: федеральная помощь «Крайслеру» в их глазах была кощунством, ересью, отречением от священных принципов американского капитализма. Афоризмы сыпались градом, старые клише надраивались до блеска. «У нас всегда кто-то получает прибыли, а кто-то терпит убытки». «Закрытие нерентабельных предприятий — это полезное очищение нормально функционирующего рынка». «Гарантированный правительством заем профанирует дух свободного предпринимательства. Он вознаграждает провалы. Ослабляет дисциплинирующее воздействие рынка». «Вода ищет свой уровень». «Выживают наиболее приспособленные». «Нельзя менять правила в разгар игры». «Общество, лишенное риска,— это общество, лишенное радости победы». «Крах для капитализма — это то же, что ад — для христианства». И так далее и тому подобное.

На самом же деле, чем так сильна наша система свободного предпринимательства? А тем, что она не застывает на месте, упершись в прошлое, но всегда приспосабливается к меняющимся обстоятельствам. Я горячий ее сторонник, но из этого вовсе не следует, будто я живу в XIX веке. Просто-напросто свободное предпринимательство теперь не то, что прежде.

Вначале наша система приспособилась к промышленной революции. В 1890 году она приспособилась к Сэмюэлю Гомперсу и рабочему движению. Руководители корпораций дружно боролись против того, что сами же вызвали к жизни. Ведь это они ввели потогонную систему, это они заставляли детей целый день трудиться за швейными столами и были повинны в сотнях других несправедливостей, которые требовалось исправить. Предприниматели той эпохи свято верили, что появление профессиональных союзов означает конец свободного предпринимательства. Они полагали, что капитализм дышит на ладан и призрак социализма прячется в Америке за каждым углом.

Но они ошибались, не понимая, насколько гибка и органична капиталистическая система. Она приспособилась к рабочему движению. Как и рабочее движение к ней — причем настолько, что в некоторых отраслях профсоюзы добились почти такого же влияния, как руководители компаний.

Выдержал наш строй и экономическую депрессию тридцатых годов. И тогда лидеры промышленности полагали, что дни капитализма сочтены. Они задыхались от ярости, узнав, что президент Франклин Рузвельт решил создать рабочие места для тех, кто оказался выброшенным на улицу. Рузвельт сделал то, что необходимо было сделать. Когда он претворил свои планы в жизнь,

система свободного предпринимательства стала сильнее и действеннее, чем когда-либо прежде.

В наши дни американский капитализм вновь должен приспосабливаться. На этот раз к новому миру — миру, в котором появился грозный соперник, Япония, где уже нельзя играть по старым правилам.

Спасение «Крайслера» позволило бы сохранить огромное число рабочих мест. Ведь речь шла, ни много ни мало, о шестистах тысячах человек — наших рабочих, служащих, торговых агентах, поставщиках.

Министерство финансов подсчитало, что банкротство «Крайслера» обошлось бы стране только за первый год в 2,7 миллиарда долларов, необходимых на пособия безработным и всякие выплаты, положенные уволенным.

И я заявил в конгрессе: «У вас есть выбор. Что вы предпочтете: выплатить безвозмездно 2,7 миллиарда или гарантировать займы на половину этой суммы с большой долей вероятности получить деньги обратно?»

Тем временем нас клевали все кому не лень. Газетные карикатуристы снимали богатейший урожай с истории о том, как «Крайслер» обратился к правительству за помощью. Особенно беспощадной была «Уолл-стрит джорнэл». Даже после того, как мы получили ссуду, она не преминула указать, что, хотя мы располагаем достаточными деньгами, перестроили компанию, обновили руководство и выпускаем нужную продукцию отличного качества, гроза все-таки может разразиться. А вдруг экономическая ситуация ухудшится? А вдруг спрос на автомобили еще уменьшится?

Чуть ли не каждый день «Уолл-стрит джорнэл» помещала статью с пессимистической оценкой положения «Крайслера». И всякий раз мы должны были тратить наши и без того ограниченные силы на то, чтобы как-то нейтрализовать ее воздействие на общественное мнение.

Например, в первом квартале 1981 года «Форд мотор» понесла убытков на 439 миллионов долларов. «Крайслер» несколько стабилизовался, но мы все-таки потеряли почти 300 миллионов. Как на это реагировала «Джорнэл»? Броским заголовком: «УБЫТКИ «ФОРД МОТОР» НЕ СТОЛЬ ВЕЛИКИ, КАК ОЖИДАЛОСЬ. «КРАЙСЛЕР» ТЕРЯЕТ БОЛЬШЕ, ЧЕМ РАССЧИТЫВАЛ». Только таким способом можно было изобразить, будто «Форд мотор» находится в лучшем положении по сравнению с нами. А ведь цифры-то говорили совсем о другом!

Кстати, нападки «Джорнэл» не прекратились и после того, как «Крайслер» прочно встал на ноги. Так, 13 июля 1983 года я объявил в Национальном пресс-клубе, что к концу года мы выплатим все наши долги, и два дня спустя в «Джорнэл» появилась большая статья. Ее заголовок говорит сам за себя: «КРАЙСЛЕР», ПОЖЕРТВОВАВШИЙ НЕ ТОЛЬКО ЖИРОМ, НО И МЫШЦАМИ, ВСЕ ЕЩЕ СЛАБ».

При таком освещении наших дел в финансовой прессе широкая публика, естественно, лишь с трудом могла разобраться в истинном положении вещей.

Бытовало мнение, будто «Крайслер» — крупнейшая монолитная компания и помощи не заслуживает. И нам пришлось доказывать, что мы, в сущности,— сплав мелких предпринимателей. Мы ведь занимались сборкой машин, и только. У нас было одиннадцать тысяч поставщиков и четыре тысячи торговых агентов, почти без исключения отнюдь не магнатов, но скромных дельцов. И просили мы помощи, а не милостыни, чего многие просто не могли взять в толк. Им чудилось, что Джимми Картер прислал мне письмо с пожеланием скорейшего выздоровления, набив конверт купюрами общей суммой на миллиард с лишним долларов, и не в долг, а в подарок.

Если бы это было так! Но мало кто отдавал себе отчет, что в залог правительство брало все имущество «Крайслера», все, что у нас было — готовые автомобили, заводы, оборудование и прочее, балансовой стоимостью в шесть миллиардов. По оценке правительственных специалистов, при ликвидации наше имущество принесло бы два с половиной миллиарда долларов. То есть в самом худшем случае свои миллиард двести миллионов долларов Вашингтон так или иначе получил бы обратно.

Через полмесяца после того, как конгресс утвердил закон о гарантированном займе, к власти пришли республиканцы. Позицию они заняли следующую: «Это картеровская программа. Мы, конечно, будем следовать букве закона, но не более. Все это противоречит нашим идеологическим установкам. Если «Крайслер» выкарабкается, мы окажемся в неловком положении. И нам совсем не нужно, чтобы в других компаниях забивали себе головы подобными бреднями!»

Нет, я готов первым признаться, что всегда был на стороне республиканцев, пока дела шли хорошо и я греб деньги лопатой. Но после перехода в «Крайслер» мне начали импонировать демократы. Вообще-то я приветствую Партию Здравого Смысла, а в критические моменты демократы к ней заметно ближе.

Я твердо знаю, что, находись в 1979 году у власти республиканцы, «Крайслера» больше не существовало бы. Республиканцы на нас даже не взглянули бы, «Крайслер» обанкротился, и сегодня они писали бы книги о том, как спасли свободное предпринимательство. И дело не в Рейгане. Почти любой республиканец заявил бы: «Займы, гарантированные правительством? Да вы не в своем уме!» Так уж они запрограммированы.

С тех пор прошло четыре года. Все это время благодаря нам сотни тысяч людей были заняты на производстве и не требовали пособия по безработице; мы уплатили сотни миллионов долларов налогов; мы сохранили конкуренцию в ав-

топромышленности; мы вернули наш долг на семь лет раньше срока; мы отчисляли значительные суммы правительственной комиссии по гарантированному займу, а кроме того, Вашингтон нажился на продаже наших процентных купонов.

Учитывая все это, хочется задать философский вопрос. Действительно ли мы предали дух свободного предпринимательства, обратившись за помощью к конгрессу? Или наши дальнейшие успехи послужили укреплению американского капитализма? Полагаю, ответ однозначен. Даже многие былые наши противники теперь признали, что гарантированный заем для «Крайслера» был совсем не плохой идеей. Да, конечно, кое-кто — например, «Уолл-стрит джорнэл» — остался на прежних позициях. Но какого черта! Не всякого ретрограда переубедишь!

Последний шанс — машина «К»

После утверждения закона о займе мы получили возможность бороться за выживание. Вот именно — бороться.

Начал я с того, что снизил свое годовое жалованье до одного доллара. Руководить — значит подавать пример. Когда руководитель говорит, люди его слушают. А когда он действует, люди наблюдают за его поступками. Поэтому надо очень внимательно следить за тем, что ты говоришь и как ты действуешь.

Я обязался работать за один доллар в год не потому, что хотел выглядеть мучеником, а чтобы иметь моральное право поглядеть в глаза Дугу Фрейзеру, председателю нашего профсоюза, и сказать: «От вас, ребята, требуется то-то и то-то» — и не бояться услышать от него в ответ: «А ты, сволочь, в чем себя ущемил?» Вот почему я пошел на это — по самым здравым прагматическим соображениям. Я хотел, чтобы наши рабочие и служащие, наши поставщики решили про себя: «Раз он подает такой пример, я могу ему доверять».

За три года в «Крайслере» я узнал о людях намного больше, чем за тридцать два года в «Форд мотор». И убедился, что люди готовы многое вытерпеть, если они страдают все вместе. Тут можно горы сдвинуть. Но дело может рухнуть, если окажется, что кто-то увиливает, кто-то не желает разделять общие тяготы.

Когда я начал жертвовать своими привилегиями, я увидел, что и другие подчиняются требованиям обстоятельств. Вот почему «Крайслер» устоял. Спасли нас не займы, как мы в них ни нуждались, но сотни миллионов долларов, от которых отказались все те, кто участвовал в возрождении компании.

Это и есть настоящее сотрудничество, настоящая демократия. В чем мы убедились на опыте. Просто волшебство — даже дрожь берет.

Но была и оборотная, тяжелая сторона. Чтобы сократить расходы, нам пришлось уволить множество людей. Ну, как на войне: мы победили, но мой сын не вернулся с фронта. Сколько было страданий! Сколько разбитых судеб! Кто-то не смог больше платить за детей, учившихся в университете, кто-то спился, развелся... Да, компанию мы сохранили, но ценой огромных личных потерь большого числа ни в чем не повинных людей.

Снизив собственное жалованье, я взялся за верхний эшелон. Мы уменьшили им оклады на 10% — вещь в автопромышленности неслыханная. Потом взялись за среднее звено — и так далее, вплоть до секретарш, которые остались на прежней ставке, которую более чем отрабатывали. Пострадавшие держались кротко — они читали газеты.

Теперь дело дошло до профсоюзов, которые всегда исходили из того, что руководство — разжиревшие коты, а рабочих всячески утесняют. Я сказал: «Вы видите перед собой сильно отощавшего кота, верно? Тут, похоже, вам возразить нечего?»

С этого дня они меня возлюбили. Приняли в свои. Заявили: «Он отведет нас в землю обетованную!»

Нет, это было совсем не легко. Я ведь поставил вопрос ребром и очень жестко. «Вот что, ребята,— заявил я.— Я держу пистолет у вашего виска. У меня есть тысячи вакансий для желающих зарабатывать семнадцать долларов в час. А для желающих получать двадцать — ни единой. Так что будьте благоразумны».

Год спустя положение еще ухудшилось. В холодный зимний вечер я вновь обратился к руководству профсоюза: «Даю вам время на размышления до утра. Если вы не поможете мне продержаться, я разнесу вам башку. Утром объявлю компанию обанкротившейся и вы все останетесь без работы. У вас есть восемь часов. Решайте!» Это была одна из самых коротких речей в моей жизни.

Странная манера вести переговоры! Но подчас иного выхода не остается. Председатель профсоюза Дуг Фрейзер заявил, что на такие скверные условия он никогда еще не соглашался. И добавил, что хуже могла быть только предложенная мной альтернатива — безработица.

Наши рабочие пошли на большие уступки: за девятнадцать месяцев средний крайслеровский рабочий отказался в целом от 10 тысяч долларов.

Когда я на следующий год не ограничился зарплатой в один доллар, профсоюз возмутился. Но я не заметил, чтобы руководители «Форда» или «Дженерал моторс» проводили снижение своего жалованья после того, как рабочие шли на уступки.

По одному из условий займа мы должны были предоставить своим рабочим некоторую часть акций компании. В течение четырех лет это обходилось нам по

40 миллионов в год. Но с экономической точки зрения мы только выиграли. Если дать возможность рабочим участвовать в прибылях, у них появляются дополнительные стимулы работать хорошо.

Глашатаи свободного предпринимательства вновь взбеленились: это же первый шаг к социализму! Но по-моему, в том, что рабочий становится совладельцем предприятия, ничего плохого нет. Хорошему управлению это отнюдь не помеха. Какое мне дело, принадлежат акции компании какому-нибудь уолл-стритовскому маклеру или парню на конвейере? От кого из них больше пользы мне? К настоящему времени рабочие держат примерно 17% акций «Крайслера».

Добились мы и того, что профсоюз встал на нашу сторону в вопросе о прогулах. Всегда находятся люди, которые на работу не выходят, но зарплату получать хотят. Вместе с профсоюзом мы несколько осадили злостных прогульщиков.

Еще до того, как профсоюз пошел на уступки, я предложил Дугу Фрейзеру войти в правление компании. И это вовсе не было частью закулисной сделки, как утверждали газеты. Просто я знал, что он умен, обладает политическим чутьем и говорит то, что думает, а потому должен принести много пользы делу.

Теперь Дуг мог оценить все, что происходило в «Крайслере», уже с точки зрения руководства. Он убедился, что наши финансовые отчеты опираются исключительно на факты и что «прибыль» вовсе не грязное слово. Он узнал и понял так много, что некоторые рабочие готовы были счесть его перебежчиком только потому, что он сказал им правду, когда мы были еще слишком слабы и не выдержали бы забастовки. Ну, а деловые круги, конечно, пришли в неистовство: «Как это можно! Пустить лису в курятник! Да вы с ума сошли!»

Я возражал: «Минуточку! Почему можно вводить в правление банкиров, которым вы должны сто миллионов, а рабочего нельзя?» Это устаревшая позиция. Я хочу, чтобы рабочие разбирались в механизме компании. Прежние дни ушли и не вернутся. Экономическое будущее Америки зависит от уровня сотрудничества между правительством, профсоюзами и предпринимателями. Только работая рука об руку, сможем мы одерживать победы на мировом рынке.

И я очень рад, что взял Дуга Фрейзера в правление, потому что он словно создан для этого. Он умеет вести переговоры. Он знает, как идти на компромисс. Он умеет отличить выгодную сделку от невыгодной. Да я его однажды рекомендовал президенту Рейгану для ведения переговоров от имени правительства!

И вообще, что мы, собственно, должны скрывать от профсоюза? Что мы стараемся прятать от рабочих? Нам необходимо делать автомобили все лучше по все более низкой цене. А кто, как не руководитель профсоюза, может помочь в достижении этой цели?

В самые черные дни, словно брезжущий свет в конце туннеля, нас поддерживала надежда на модель «К». Около двух лет единственным нашим козырем были планы создания экономичной машины с приводом на передние колеса. На протяжении всех слушаний в конгрессе, всех бесконечных переговоров с банками к благополучному финалу нас вывозили данные модели «К» — единственное, что мы могли предложить.

Модель «К» — шедевр. И я могу ею хвастать без ложной скромности, потому что в «Крайслер» я пришел, когда она была уже практически разработана, и особой роли в ее создании не сыграл.

Модель «К» — очень удобный переднеприводной автомобиль, отлично бегающий на четырех цилиндрах. В городе на одном галлоне бензина он проходит двадцать пять миль, а по шоссе — сорок одну милю. Эти цифры говорят сами за себя, но главное — они были чуть лучше тех же показателей модели «Икс», которую «Дженерал моторс» пустила в продажу за полтора года до этого. В Детройте и прежде создавали малогабаритные машины, но модель «К» была первой из них, способной вместить семью из шести человек, и в то же время благодаря своей легкости обеспечивать сверхэкономию горючего.

Мы объявили, что модель «К» — «американский выход из положения», и рекламные материалы выпускали в национальных цветах — красном, белом и синем. Мы слегка клюнули наших японских конкурентов, подчеркивая, что модель «К» может свободно вместить «шестерых американцев». Нам даже пришлось снабдить ремнями безопасности все шесть сидений, что несколько повысило наши затраты.

Однако наиболее мастерским ходом в рекламной кампании было то, что за машиной осталось рабочее название, хотя официально ей предстояло именоваться «эйрис» или «рилаэнт». Я был бы рад присвоить себе эту заслугу, но на деле все решила счастливая случайность.

В процессе разработки новых моделей им даются условные буквенные обозначения, предназначенные для внутреннего использования. Для «Крайслера» модель «К» была последней стрелой в колчане. Если и тут неудача, то конец. Поэтому мы начали исподволь нахваливать машину еще на очень ранних этапах, задолго до того, как она получила официальное название. И буква «К» сама собой запечатлелась в памяти потенциальных клиентов. Мы же впоследствии воспользовались этим для своих рекламных целей. И когда в 1983 году было решено наконец убрать букву «К» с эмблемы на багажнике машины, наши специалисты по рекламе уверяли, что мы совершаем большую ошибку.

От ошибок никто не застрахован, даже если речь идет о создании шедевра. В конце концов модель «К» нас спасла. Однако 1980 год, первый год ее поступления в продажу, оказался для нас тяжелым. Из-за непредвиденных поломок

новых сварочных роботов заводы «Крайслера» лихорадило. Для хорошего начала нужно было разом выставить в салонах по меньшей мере 35 тысяч машин, а к назначенному дню их имелось всего 10 тысяч.

Хуже того: мы тут же отпугнули потенциальных покупателей. Цена исходного варианта модели «К» была установлена в размере 5880 долларов, поскольку аналогичная машина «Дженерал моторс» — ее основной конкурент — продавалась за 6270 долларов. Но перебить цену «Дженерал моторс» и не вылететь в трубу мы могли лишь при условии, что наверстаем на модификациях с дополнительными удобствами. И потому собрали много машин, оснащенных кондиционером, автоматической коробкой передач, с бархатной обивкой и электрообогревом стекол, что повышало цену на пару тысяч.

Нам следовало бы внимательнее прислушаться к исследователям рынка. Они предупреждали, что покупателей будут интересовать базовые модели стоимостью в пределах шести тысяч долларов. Но мы были ослеплены желанием побыстрее выбраться из кризиса и выставили на продажу слишком много модификаций ценой от восьми до девяти тысяч.

Эта промашка нам дорого обошлась. Конечно, следовало сначала закрепиться на рынке с помощью дешевой базовой модели, а уж потом представлять более дорогие варианты. И вообще, незачем было гоняться за более состоятельными клиентами. «К» была рассчитана не на них.

К счастью, мы обнаружили свою ошибку очень быстро и сумели ее исправить. Салоны «Крайслера» переполняли покупатели, так что интерес был налицо. Но уходили они, не оставив заказа. На недоуменные вопросы наших сотрудников все отвечали одно и то же: «Я думал эта машина — как раз то, что мне нужно. А потом увидел ценник!» Мы постарались как можно скорее выпустить побольше исходных моделей, и через какое-то время дело пошло на лад. С начала 1981 года объемы продажи «К» стали расти, и к исходу декабря она завоевала свыше 20% рынка малогабаритных автомобилей. И до сих пор расходится отлично. Кто-то еще списывал нас в тираж, а мы уже продали миллион машин марки «К», что дало нам достаточно средств для разработки новых моделей.

Горько-сладкая победа

В середине 1983 года, когда «Крайслер» вновь твердо стоял на ногах, пошли слухи, будто я намерен выставить свою кандидатуру на выборах президента страны. Причиной, возможно, явилось мое участие во многих телевизионных программах, рекламировавших нашу продукцию. Многие теперь убеждены, что я прирожденный актер. Что за нелепость! Всем известно, что артистическое дарование и качества, необходимые президенту,— это совсем разные вещи.

Люди попадают в Белый дом по самым разным причинам. Я как-то спросил Джимми Картера, почему он выставил свою кандидатуру, и он ответил: «Как губернатор Джорджии я встречался с некоторыми кандидатами, и они не произвели на меня особого впечатления». Как мне знакомо это чувство!

Не исключено, что быть президентом мне понравилось бы, но это чистая фантазия, поскольку о выдвижении своей кандидатуры я и помыслить не могу. Эти ребята запрограммированы, словно роботы, на шестнадцатичасовой рабочий день — званые завтраки, званые обеды, череда торжественных банкетов, рукопожатия, рукопожатия, рукопожатия, визиты к заводским воротам... Надо быть энтузиастом особого рода. Только тот, кто неистово жаждет президентства, способен выдержать эту канитель.

Я уже успел пожать миллионы рук. За последние сорок лет мне случилось побывать на стольких совещаниях и съездах, что я им счет потерял. Моя правая рука столько раз держала бокалы с коктейлями, что и сейчас так и норовит согнуться. И у меня такое ощущение, что я перевидал все заводы в мире.

Только в одном зале «Уолдорф-Астории» я произнес не меньше сотни речей. Его персонал знает теперь историю «Крайслера» не хуже меня. Недавно, во время очередной речи, я заметил, что официанты беззвучно повторяют ее слова синхронно со мной. А после банкета один из них попросил у меня гарантированного займа в двести долларов до получки.

Но, говоря серьезно, я измучен. Крайслеровские годы сильно меня состарили. Да и по характеру я в политики не гожусь. Я слишком нетерпелив, несдержан на язык и недипломатически прямолинеен. Если кто-нибудь несет чушь, я посылаю его куда подальше. С должностью президента это, как мне почему-то кажется, не очень вяжется. Однако я убежден, что в руководстве нашей страны слишком много юристов и слишком мало бизнесменов. Думаю, полезно было бы пригласить для управления деловой жизнью страны человек двадцать ведущих менеджеров, положив им по миллиону в год без налоговых вычетов. Вот тогда общественно-политическое поприще начало бы привлекать много больше талантливых людей.

Слухи о выдвижении моей кандидатуры на выборах 1984 года особенно усилились в июне 1982-го, когда «Уолл-стрит джорнэл» вышла с передовицей, начинавшейся: «В Детройте поговаривают, что Ли Якокка воспылал желанием занять государственный пост. И не какой-нибудь, а такой, что удовлетворит даже человека с необъятным самомнением. Утверждают, что Ли Якокка, президент «Крайслера», жаждет стать президентом всего народа. Если это удалось голливудской звезде, то чем хуже детройтский продавец автомобилей?»

После этой статьи я уже не мог положить конец пересудам. Если говоришь только о машинах, тебя обвиняют в узости, коснешься внутренних и международных проблем страны — а-а, в президенты целится!

Вскоре после вспышки этих слухов, беседуя с одним специалистом по рекламе, я услышал от него очень интересное предположение: «Знаете, почему вас прочат в кандидаты на президентских выборах? По-моему, все очень просто: люди уже изверились. А вы говорите с ними, убеждаете, что у вас есть большая цель, и осуществляете ее. Вы не втираете им очки, а американцам уже до смерти надоело, что их водят за нос».

Кроме того, люди как будто видят во мне хорошего организатора. Я умею сокращать расходы, наживать деньги, управлять огромным предприятием и контролировать бюджет. И у меня есть опыт предотвращения, казалось бы, неминуемого финансового краха. Американцы, похоже, ищут лидера, который смог бы не только возродить в стране ощущение общей цели, но и сбалансировать бюджет.

Люди истосковались по настоящему руководству. Я абсолютно не верю, что мы живем в обществе антигероев. Просто со времен Эйзенхауэра у нас еще не было президента, на которого мы могли бы всецело положиться. Кеннеди убили. Джонсон втянул нас в войну. Никсон нас опозорил. Форд оказался у кормила власти волей случая. Картер, несмотря на все свои достоинства, не отвечал требованиям времени. Рейган живет в прошлом.

В конце концов мы найдем истинного лидера. И для меня большая честь, что, по мнению многих людей, таким лидером мог бы стать я. Одного этого достаточно, чтобы полностью меня за все вознаградить.

Решительный поворот к лучшему начался в 1982 году, когда пороховой дым сражений наконец рассеялся.

Всего тремя годами раньше «Крайслеру», чтобы свести концы с концами, необходимо было ежегодно продавать 2,3 миллиона легковых автомобилей и грузовиков. А реализовать нам удавалось только миллион. Произведя несложное арифметическое действие, вы убедитесь, что цифры эти заметно не сходятся.

Постепенно, благодаря объединенным усилиям множества разных людей, мы снизили первую цифру до 1,1 миллиона. И вскоре уже могли нанимать новых рабочих и служащих, заключать контракты с новыми торговыми агентами. А на исходе 1982-го начался экономический подъем, и продажа автомобилей соответственно увеличилась. Наконец-то! Мы даже получили скромную годовую прибыль. В следующем, 1983 году, прибыль составила уже 925 миллионов — цифра рекордная для всей истории «Крайслера».

Да, после слушаний в конгрессе о гарантированном займе мы прошли длинный путь! Тогда мы обещали модернизировать наши заводы по последнему слову техники, снабдить все наши модели приводом на передние колеса, превзойти всех в экономии горючего и сохранить рабочие места для полумиллиона рабочих. А еще мы обещали выпускать потрясающие автомобили.

И через три года все свои обещания мы выполнили!

Тогда же мы выплатили 400 миллионов в счет нашего долга, то есть треть его. А вскоре приняли фантастическое решение выплатить весь долг целиком за семь лет до оговоренного срока! Не все в «Крайслере» были убеждены в разумности такого хода. Ведь нужна очень твердая уверенность в будущем, чтобы разом расстаться с такой суммой.

Но у меня такая уверенность была. К тому же, мы экономили на процентах, а главное, я хотел как можно скорее покончить с зависимостью от правительства.

О полной выплате долга я объявил прессе 13 июля 1983 года — по странному совпадению день в день через пять лет после того, как Генри Форд меня выгнал. «Нынешний день,— сказал я,— искупает все тяготы предыдущих трех лет. Мы в «Крайслере» занимаем деньги по-старомодному — мы их возвращаем!»

На церемонии в Нью-Йорке я вручил нашим банкирам самый крупный чек, какой мне доводилось видеть в жизни: на 813 487 500 долларов. Кроме того, за все свои хлопоты я был вознагражден бушелем яблок. Мэр Нью-Йорка побился со мной об заклад на эти яблоки, что город раньше нас расплатится со своими долгами, также гарантированными правительством. Но летом 1983 года Нью-Йорк оставался еще должен более миллиарда долларов.

Теперь, когда опасность осталась позади, можно было вновь позволить себе разные удовольствия. С тех пор как в Детройте около десяти лет назад прекратили выпускать машины с откидным верхом — кабриолеты,— я не переставал по ним тосковать. Вопреки широко бытующему убеждению этот тип кузова вовсе не был запрещен законом, хотя, бесспорно, кое-какие поползновения в этом направлении имели место. На самом деле кабриолет погубили кондиционеры и стереоаппаратура, которые утрачивают всякий смысл, если вы едете в открытой машине.

В 1982 году, когда у нас вновь появились свободные деньги, я начал подумывать о воскрешении кабриолета. Для эксперимента по моему указанию был вручную изготовлен опытный образец на основе одной из наших моделей — «лебарон». Я разъезжал на нем все лето и чувствовал себя чем-то вроде «королевы красоты»: «мерседесы» и «кадиллаки» устремлялись за мной следом, оттесняли к обочине, словно полицейские патрульные машины, заставляли остановиться, и их владельцы засыпали меня

вопросами: «Что это за машина? Откуда она у вас? Кто их выпускает? Где я могу купить такую?»

Затем они узнавали мою уже довольно-таки примелькавшуюся физиономию и тут же заполняли бланк заказа.

Как-то я отправился в близлежащий торговый центр, и вокруг меня с моим кабриолетом собралась огромная толпа. Можно было подумать, что я раздаю десятидолларовые купюры всем желающим! Не требовалось особой гениальности, чтобы заметить, какой эта машина производит фурор.

Посовещавшись, мы решили не собирать материала для предварительных прогнозов, а просто наладить производство кабриолетов — на прибыль не рассчитывали, но чувствовали, что это будет отличной рекламой. А в случае удачи мы по крайней мере оправдаем все затраты.

Однако едва стало известно, что «Крайслер» намерен выпускать «ле-барон», кабриолет, со всех концов страны посыпались заявки, и в первый год мы продали 23 тысячи этих машин вместо трех тысяч, на которые рассчитывали.

Кабриолет был для нас скорее приятной игрушкой и рекламой, но в 1984 году мы предложили покупателям новую машину, которая не только доставила нам удовольствие, но и принесла кучу денег. Мини-фургон «Т115» предназначен для тех, кому «универсалы» тесноваты, а настоящие фургоны слишком велики. Он вмещает семь пассажиров. Привод на передние колеса. На галлоне бензина он проходит тридцать миль И, самое главное, он умещается в стандартном гараже.

Собственно говоря, идея мини-фургона родилась еще в годы работы у Форда — вскоре после первого нефтяного кризиса мы с Хэлом Сперлихом предложили модель, которую назвали «минимакс». Это был бы маленький переднеприводной фургон, компактный внешне, но просторный внутри. Потратив на предварительную разработку 500 тысяч долларов, мы установили три момента: клиренс должен быть не слишком высоким чтобы в машину было удобно влезать женщинам, которые в те времена в большинстве еще носили юбки; вся машина должна быть такой высоты, чтобы она могла въезжать в обычный гараж; ей необходим «нос» для мотора, обеспечивающий в случае столкновения пару дополнительных футов для амортизации. Если мы учтем все эти пожелания, обещали прогнозисты, то можем твердо рассчитывать на продажу восьмисот тысяч машин в год. А было это еще в 1974 году!

Но Генри Форд категорически отверг самою идею.

В результате, вместо того чтобы выпустить мини-фургон в «Форд мотор» в 1978 году, мы с Хэлом создали его для «Крайслера» в 1984-м. И теперь отбираем у «Форд мотор» ее прежних покупателей! Я пишу эти строки в середине 1984 года, и все наши мини-фургоны уже распроданы.

Со времен «мустанга» я еще не вкладывал столько души в новую модель и не был так уверен в ее успехе. Я великолепно помню свои ощущения, когда в первый раз сел за руль нашего мини-фургона на автодроме. Меня никак не могли остановить — я гонял и гонял по кругу, так мне нравилось им управлять!

Рекордные прибыли, досрочная выплата долга, мини-фургон — все это были слагаемые нашей победы.

Однако для меня победа была омрачена огромным личным горем. На протяжении всей моей карьеры Мэри, моя жена, оставалась самым близким мне человеком. Она радовалась со мной успехам, помогала выдержать в тяжелые времена.

У Мэри был диабет, что приводило ко многим дополнительным осложнениям. Так, обе наши дочери появились на свет с помощью кесарева сечения.

Больным диабетом важнее всего избегать стрессов. К несчастью, на выбранном мной пути это оказалось невозможным.

Первый сердечный приступ случился у Мэри в 1978 году, сразу же после того, как Генри Форд меня уволил. Да, ей и прежде нездоровилось, но душевная травма ухудшила ее состояние. Второй приступ она перенесла в январе 1980 года, а через два года — инсульт. И всякий раз этому предшествовали тяжелые переживания, связанные с тем, что происходило со мной в «Форд мотор» и в «Крайслере».

К чести моих дочерей, они не только всегда относились к здоровью матери очень бережно, но в дни ее болезни ухаживали за ней с полной самоотверженностью.

Весной 1983 года Мэри стало очень плохо и ее уставшее сердце просто не выдержало. Пятнадцатого мая она умерла. Ей было только пятьдесят семь лет, и она оставалась настоящей красавицей.

Мне очень горько, что она каких-то двух месяцев не дожила до выплаты долга — как она была бы счастлива! Но правда, в нашем успехе она не сомневалась «Твои автомобили и правда стали лучше,— заметила она незадолго до смерти.— Не то что рухлядь, на которой ты приезжал домой пару лет назад».

Последние ее годы были нелегкими. Она никогда не понимала, как мне удается терпеть Генри Форда, и я многое скрывал от Мэри и девочек, оберегая их. А когда гроза разразилась, переживал за них даже больше, чем за себя: ведь они были так мало подготовлены к тому, что произошло!

В последующие дни Мэри поддерживала меня как могла. Она знала, что я не мыслю своего будущего без автомобилей, и всячески уговаривала меня принять предложение «Крайслера»— конечно, если я сам этого хочу. «Бог все устраивает к лучшему,— говорила она.— Как знать, может быть, твое увольне-

ние — это самое счастливое, что с тобой произошло в жизни!»

Как и я, Мэри тяжело перенесла отступничество наших бывших друзей, но отчаянию не поддалась. Натура у нее была на редкость сильная и жизнерадостная. Особенно ярко все лучшее в ней проявлялось в критические минуты. «Чем я могу помочь?»— такой была реакция Мэри в несчастье. Когда нашей Кэти было десять лет, она неудачно упала с велосипеда и ушибла голову. Я знал, что один из симптомов сотрясения мозга — резкое расширение зрачков. Я поглядел в глаза Кэти, увидел два черных кружка и хлопнулся без чувств. Мэри же подняла девочку на руки, отнесла в машину, отвезла в больницу, а через полчаса была уже дома, сварила мой любимый суп, уложила меня в постель и не попрекнула ни словом, ни взглядом. В такие моменты она была само благородство.

И сейчас друзья, вспоминая ее, говорят: «Сколько в ней было силы! Особенно в трудную минуту. Именно такой я ее помню!»

Мы были очень счастливы вместе. А вот роль жены ответственного руководителя ее совсем не привлекала. Ее мало интересовало, «что скажут Смиты». Для нас обоих главным оставалась семья. Все, что от нее требовало мое положение, она исполняла отлично и с улыбкой. Но важнее всего ей, как и мне, был наш дом, наш семейный очаг.

Мы немало путешествовали вместе — она особенно любила Гавайи, но в остальное время старались проводить наши вечера и воскресные дни дома, вместе с нашими двумя девочками.

Мы часто отправлялись на автомобильные прогулки вчетвером, особенно пока дочки не подросли. Наша семья была по-настоящему дружной. Как бы я ни был занят в те годы, я твердо знаю, что две седьмых моей жизни — субботы и воскресенья, не считая вечеров в будние дни,— были посвящены Мэри и девочкам.

Многие считают, будто чем выше ваше положение в компании, тем меньше вы должны думать о семье. Как раз наоборот! Именно у людей на самом верху есть больше возможностей уделять достаточно времени своим женам и детям.

Мне всегда становится грустно, когда я вижу, что человеку не до семьи — до того он занят. В бытность свою президентом «Форд мотор» Р. Макнамара, после того как один молодой наш коллега в буквальном смысле слова умер за служебным столом, дал письменное указание: «Я требую, чтобы никто не задерживался в служебных помещениях после 9 часов вечера». Тот факт, что ему пришлось прибегнуть к такой мере, показывает, насколько серьезно стоял вопрос.

Конечно, работать надо с полным приложением сил. Но нужно находить время и для отдыха, и для того, чтобы посмотреть, как твои дети играют в школьном спектакле или соревнуются в плавании. А если упустить время, не делать этого, пока они еще малы, потом его наверстать нельзя.

За две недели до смерти Мэри позвонила мне в Торонто, чтобы сказать, как она мной гордится — мы только что сообщили о своих прибылях за первый квартал. А я в эти последние тяжелые годы так ни разу и не сказал Мэри, как горжусь ею я.

Какой поддержкой была она мне! А нашим дочерям отдавала себя всю. Моя карьера, бесспорно, сложилась и очень интересно, и очень успешно. Но в сравнении с моей семейной жизнью она для меня — ничто.

НЕ ПОДВОДЯ ИТОГОВ

Составление и перевод с польского ТАМАРЫ ЧУГАНОВОЙ

Нынешняя публикация, ни в коей мере не претендуя на глубину анализа и всеохватность, даст, мы надеемся, читателю представление о некоторых проблемах, волнующих сегодня польских писателей. Ведь свидетельством времени может быть не только литература, но и литературная ситуация, а также оценка ее участниками литературного процесса. Мы предоставляем слово самим писателям, воспользовавшись фрагментами их недавних выступлений в польской печати. Их суждения с неизбежностью пристрастны. Однако же комментировать их, тем более со стороны, вряд ли уместно. К тому же, быть может, в субъективности взгляда главный интерес и сосредоточен.

ЗБИГНЕВ САФЬЯН

«История и писатель»[1]

Збигнев Сафьян (1922) — прозаик, публицист, сценарист. На русский язык переведены его романы и повести «Дневник инженера Геины» (1966), «Ключ следствия» (1966), «Ничейная земля» (1979, 1982), «Встречный свет» (1983) и другие. В соавторстве с А. Шипульским под псевдонимом Анджей Збых написал роман «Ставка больше, чем жизнь» (1968), известный у нас по одноименному телефильму.

Нельзя сказать, что только последние десять лет сформировали взгляды наших писателей. Свой отпечаток на них наложила вся история Народной Польши — кризисы, потрясения, переломы, драматические поиски решений. Сталинизм создал искаженную картину мира: черно-белую, но по-своему логичную; ее трудно было заменить другой концепцией. Сталинизм, который мы старались преодолеть, но который продолжал жить в нашем сознании, мешал поискам альтернативы. Мы находились под влиянием поколебленных, но пока распространенных мифов и комплексов, порожденных сталинизмом и польской традицией. Странная смесь! Никто до сих пор не предпринял серьезного анализа этого явления, польской разновидности сталинизма, не увидел его «двойного дна»: скрытых комплексов, двойственности позиций. Эта проблема требует отдельного разговора. Я всего лишь хотел бы попытаться дать классификацию мифов и комплексов, особенно ярко проявившихся в предкризисные периоды. Я и сам не был от них свободен. Можно считать эту концепцию спорной или неполной, но, когда хочешь развеять мифы, не самое ли важное — назвать их?

Я начну с *мифа о единственной правде*, корни которого в сталинском искажении ленинских идей. Каждая очередная программа руководства партии сразу же после провозглашения становилась догмой, чем-то бесспорным, единственно возможным. Любое сопротивление объявлялось ревизионизмом, раскольнической, противоречащей интересам государства деятельностью. Но ведь если без моего участия решается, что ложь, а что правда, если я лишен возможности влиять на этот процесс, я не приму эту правду сознательно, она будет для меня не собственным убеждением, а лишь откровением свыше, причем в любую минуту какое-то новое откровение может уничтожить эту правду и заменить ее иной. Как это ни парадоксально, единственная правда оказывается в то же время правдой легко заменимой.

Миф о том, что правда — всегда только одна, продолжал жить и тогда, когда пришел конец эпохе сталинизма. Он, конечно, стал проявляться иначе: зачисленных в оппозицию уже не ликвидировали физически, миф просто создавал оппозиционные настроения и драмы совести. Братны в «Дневнике моих книг» вспоминая о своих публицистических сражениях 1977 года, пишет, что ограничения у нас в крови, поэтому мы не способны на открытый бунт против собственного государства и даже в критических ситуациях с трудом можем решиться на него. Все правильно! Вот только речь шла не о «бунте против собственного государства», а просто-напросто о бунте против определенной программы. Неверной программы. Когда читаешь стенограммы наших тогдашних собраний, невольно замечаешь, что все, что мы тогда клеймили как ревизионизм или отступничество, звучит сегодня как робкая, полуконформистская попытка сказать хотя бы часть правды.

[1] «Трибуна люду», 9 марта 1988 года.

С мифом о единственной правде тесно связан и другой миф, *миф о том, что верность — это послушание.* Сознательное злоупотребление высоким принципом верности идеалам, верности партии тоже сковывало мышление. И дело не в нашем конформизме. Страх — да, но не только страх. Ведь несогласие с каким-то отдельным решением воспринималось как предательство своих собственных идеалов, дела, за которое боролся всю жизнь, принципов своего творчества. Достаточно было, например, усомниться в поправке к Конституции, чтобы тут же тебе наклеили ярлык «уклониста». И начинался процесс отчуждения, распада всех человеческих связей. Очень часто сначала начинали кричать о чьем-либо переходе в так называемую оппозицию, и лишь потом это происходило в действительности. То же мы наблюдали и в партийных писательских организациях.

А разве не были результатом этого извращенного понимания верности разного рода сделки: в обмен на эту верность, за добровольно принятые на себя ограничения — успехи в литературе, официальное признание и одобрение?

Опасным и очень живучим был, а может, и остался миф об *исторической необходимости.* Таковы условия, так надо — эти аргументы, заменявшие идеологическое обоснование, широко применялись в период поисков реальных решений. Если какие-то меры цензурного характера или ограничивающие гражданские свободы, препятствующие реализации демократических принципов, невозможно было оправдать ни идеологическими доводами, ни доводами разума, оставалась лишь историческая необходимость. Необходимость эта действительно существовала и существует, но когда о ней говорилось не открыто и конкретно, а туманными намеками, она становилась опасным оружием, пригодным для любой цели. Радикальные реформы невозможны, твердили в течение десяти лет, потому что нам не позволят. И никто даже не пытался сделать что-то в этом направлении. «Историческая необходимость» играла роль магического заклятия а с заклятиями не поспоришь. Подобные рассуждения о таинственных «условиях» нередко толкали людей на путь конформизма и безыдейности.

Миф о единстве общества также глубоко уходит корнями в события нашей послевоенной истории Есть что-то трагическое в том, что руководство партии даже тогда, когда и в самом деле пользовалось реальной поддержкой всего общества, само в эту поддержку не верило, не воспользовалось шансом по-настоящему проверить правильность партийного курса, а обратилось к магическим заклинаниям. Потому что как же иначе можно назвать положение, когда, желая, чтобы что-то было, провозглашают, что оно уже есть?

В призыве всемерно помогать реализации партийных программ уже было заложено зерно будущих конфликтов: «мы» осуществим необходимый перелом, «мы» это берем на себя, а «вы» нам только помогите. Можно ли удивляться, что общество не чувствовало никакой своей ответственности за происходящее, а лишь ожидало выполнения обещаний, действия заклятий, не желая нести расходы. Призывы: «Работайте хорошо!» — в сущности не что иное, как шаманство или особого рода литургия, бывшая обязательной для всех.

Миф о единстве, который существовал и в нашей среде, мешал заметить конфликты, противоречия, хотя обстановка становилась все более взрывоопасной. В Польше действительно совершался перелом, росла новая молодая интеллигенция, стали теснее связи с миром, следовательно, появилась возможность сравнивать, а в то же время структура общества становилась все более архаичной, устарела вся система отношений между властью и гражданами. Это противоречие неминуемо должно было обостриться. Общество развивалось независимо от своей структуры, даже вопреки ей Социальным выражением этого явления стал конфликт между бюрократическим правящим аппаратом, с одной стороны, и рабочим классом и интеллигенцией, с другой. Конфликт этот проявлялся в разных, постепенно все более резких формах, оказывая влияние и на писателей, и на их творчество.

На вопрос, видела ли литература все эти противоречия и как реагировала на них, невозможно ответить однозначно. Интересные и очень разные книги, вышедшие в это десятилетие, еще ждут всестороннего анализа. Появились выдающиеся произведения, которые наверняка останутся в литературе, были новые находки в жанре психологического и политического романа, вскрывавшие и исследовавшие механизм власти и иногда поднимавшиеся до острой критики. Но ведь практически нетронутой осталась область реальных, конкретных конфликтов, кризисов и потрясений в структуре общества. Трудно думать об этом без горечи. До какой же степени мы замкнулись в кругу мифов и комплексов?

Писательская позиция в период бюрократического правления формировалась, как мне кажется, по-разному: кто-то освобождался от мифов и комплексов, а кем-то они овладевали. Часто возникали настоящие драмы. Ведь писатель, особенно писатель-партиец, всей своей жизнью связанный с социалистической Польшей, был вынужден бороться с собственной властью за право сказать правду, хотя бы часть правды, и при этом чувствовал, что поступает вопреки велению совести и понятиям о верности — пусть ложным, но искренним.

Партийные писатели не позволили отнять у них право на критический взгляд, но постоянно разрывались между потребностью критики и долгом отказа от нее. И если отказывались, то не только под влиянием цензуры и различных запретов, но и потому, что верили в миф об исторической необходимости. Ведь долг писателя партийного, если он серьезно относился к своей партийности, состоял в защите политики ПОРП, по крайней мере социальной и культурной Этот долг мы не всегда могли выполнить так что неудивительно, что в наших убеждениях была явная двойственность, большей частью, впрочем, вполне осознанная. Защищать и критиковать. Защищать от нападок на культурную политику партии и государства с позиций

враждебных или признанных несоциалистическими и в то же время критиковать ту же политику, в которой мы многого не принимали.

Отсюда чувство разлада с самим собой, тяжелое душевное состояние, постоянный поиск компромисса, к чему, собственно, сводится выдвинутый Ивашкевичем принцип организации СПП,— сохранить внешнее единство литераторов и в то же время найти формулировки, приемлемые для политического руководства. Несправедливо обвинять писателей в конформизме; в двойственности позиции — да, но эта двойственность была трагической по своей сути.

Партийная принадлежность в любом обществе означает подчинение. Партийная дисциплина бывает тяжела для творческого человека. Можно не вступать в партию. Но если вступил, если сознательно решился отстаивать ее идеи и подчиняться требованиям эпохи, как истинным, так и мнимым, ты должен принять на себя долю ответственности за кризис, к которому привели эти «требования эпохи». Я считаю, что мы, писатели-партийцы, должны сознавать эту свою ответственность. И выводы из этого достаточно очевидны.

Можем ли мы сегодня с чистой совестью утверждать, что наше молчание, наш отказ от своего мнения и в литературе и в политике были оправданны и необходимы, служили интересам Польши и социализма? Мы защищали наше мировоззрение, основные принципы истории и современности, стараясь делать это честно. Мы платили за свой выбор дорогой ценой.

Было бы несправедливо и оскорбительно не замечать того, что и партийные писатели выступали с критикой партии. Достаточно перелистать стенограммы партийных собраний Варшавского отделения СПП, чтобы убедиться, насколько острыми бывали дискуссии и резолюции. Именно партийные писатели представили отчет о состоянии книгоиздательского дела и протестовали против запретов цензуры.

Свободу от всех ограничений давали нелегальные издательства [2].

Писатели, «ушедшие в подполье», и их произведения, даже чересчур пессимистические, были сигналом тревоги. Но к такой литературе относились исключительно как к проявлению антисоциалистических, оппозиционных настроений, а заодно использовали факт ее существования в качестве доказательства собственной либеральности: ну да, ведь никаких особых преследований не было. Карикатурный образ действительности, хотя бы в таких романах, как «Малый апокалипсис», «Польский комплекс»[3] или даже «Кто это сделал?» Марека Новаковского, вырос из горечи и разочарования, из существующих, а не придуманных общественных противоречий, которые литература имела право и даже обязана была отразить. И отнестись к этому следовало как к предостережению. Побольше бы таких предостережений! Ведь патриотизм может проявляться в разных формах и уж наверняка не только в оптимизме.

Неверие в социализм как строй, не поддающийся реформам, толкало на поиски альтернативных идеологий. Однако они оказывались, как правило, творчески бесплодными.

Как ни парадоксально, драматизм польских кризисов тесно связан с драмой польских коммунистов. Социалистическая идея, на основе которой строилась Народная Польша, глубоко укоренилась в общественном сознании. Если отбросить эту истину, связанную с успехами и поражениями, трагическими ошибками, нельзя постигнуть правду о сегодняшнем дне Польши. Не случайно подпольной литературе это часто не удавалось. В этом случае вновь заявил о себе миф о правде единственной, неделимой, но уже не партийные писатели подпали под влияние этого мифа. В черно-белом мире, какой видела вокруг себя часть нашей творческой интеллигенции, никаких драм не было. Повинуясь моральному императиву, нужно было просто отбросить все, связанное с идеями социализма. По одну сторону — «красный», по другую — честный поляк-патриот. Так рождался социализм наоборот.

Это, конечно, крайность. Но разве элементов этой крайности, этого мифа о единственной правде нет, скажем, в «Сроке полномочий» Яна Юзефа Щепаньского? В высказываниях (совершенно искренних) многих писателей об их собственной судьбе в годы сталинизма? Поражает почти трагическая неспособность понять самих себя, свою позицию и решения. Почему я был таким? Ведь если зло — простое и очевидное, как же я мог поддаться этому злу? Уже понимал? В сущности, был против? Оказался конформистом?

Истинный плюрализм предполагает однозначность мировосприятия и диалог, когда отбрасывают принцип единственной правды, а свою правду защищают с полным уважением к мнению оппонента. Спорят не с намерениями, а с аргументами. Не прибегают к шантажу, потому что подмена доказательств каким бы то ни было моральным или политическим императивом есть не что иное, как шантаж. Это правда, партийные писатели верили в мифы; это правда, процесс освобождения труден и длителен. Но он идет.

Я часто слышу вопрос: так что же происходит? Допустим, прежняя система не оправдала себя, но есть ли концепция новой? Где наша идейная принципиальность? Что же мы поставим под сомнение завтра? Какой еще пересмотр взглядов на прошлое и настоящее ожидает нас в скором времени? Что мы оставим после себя — пустыню: мифы разрушены, боги свергнуты? И нас это не пугает?

Поищем ответа, заглянув поглубже в себя самих! Мы часто рассуждаем о кризисе литературы, о необходимости возвращения в Союз наших отлученных братьев, как мы это красиво называем, о ценах на книги, о быте писателя... Это важные проб-

[2] В польской прессе очень редко употребляется определение «нелегальная литература». Literatura drugiego obiega — в дословном переводе: «литература другого круга, другого обращения». Может быть даже — «другая система кровообращения литературы». В русском языке точного эквивалента нет, мы будем пользоваться впредь термином «нелегальная литература» — то есть неподцензурная не финансируемая из официальных источников,— не заключая его в кавычки. *(Здесь и далее прим. перев.)*

[3] Произведения Тадеуша Конвицкого.

лемы. Но ведь не от них зависит наша деятельность, наше существование в будущем. Какой выход мы предложим, какую картину мира изобразим, согласовав ее с нашей совестью, нашим знанием о жизни, нашим пониманием социалистической идеологии, а не с быстро меняющимися требованиями политиков?

Мы безусловно присутствуем при смене эпох. Сценарии будущего пока что лишь предлагаются; начало перестройки мышления кажется легким, но ведь никто никакими заклинаниями не разрушит барьеры, не устранит навсегда угрозу рецидивов.

Будут ли польские писатели — члены партии и вся польская литература достойны грядущих времен?

Преодолеют ли слабость и пассивность или позволят втиснуть себя в корсет стереотипного мышления и шаманства?

Чему уж наверняка пришел конец, так это табу — настоящим и мнимым. И никто уже не станет оправдывать добровольного следования всяческим ограничениям, не вручит за это медаль.

Быть может, мы еще не сознаем до конца, на пороге каких перемен стоим. Не исключено, что то, что мы в состоянии сказать сегодня,— уже анахронизм, а то, что пытаемся делать,— заклинание дьявола.

По обе стороны разделенного мира идет поиск концепции будущего. Будущее будет принадлежать тому, кто первым поймет сущность нового.

РОМАН БРАТНЫ

«Говорят, что я святотатствую» [1]

Роман Братны (1921) — прозаик, поэт. Участник Варшавского восстания 1944 года, был узником фашистских концлагерей. Автор трилогии о судьбах молодых повстанцев «Колумбы, год рождения двадцатый» (1957), ряда романов и повестей. Лауреат государственной премии ПНР. В русском переводе вышла повесть «Загонщик» (в кн. «Современные польские повести», 1974).

Вопрос: Ваша последняя книга «Нагой май» так взбудоражила общественное мнение, что мы просто вынуждены взять интервью у ее автора. За какое время вы написали эти сто гротесковых страниц?

РОМАН БРАТНЫ: Неприятный вопрос. Меня ведь всю жизнь обвиняют в том, что я пишу слишком поспешно. Так вот, я не пишу поспешно, я реагирую остро. В какой-то момент я впадаю в состояние творческого экстаза и пишу день и ночь. Поэтому книги создаются за короткий промежуток времени. «Нагой май» я писал в том же темпе, что и «Колумбов», и считаю, что эта книга переживет меня так же, как «Колумбы» [2]... Сюжет возник у меня после визита папы римского в Польшу; именно тогда я придумал Костюмера — воплощение нашего национального мифоманства, этот персонаж был мне необходим, чтобы ударить по нашим абсурдным, глупым, мессианско-религиозно-патриотическим мифам. Я создал условный мир: Польша — страна Двориков, Республика Двориков, и введенная в нее извне Пломба [3], то есть мы — партия, цинично говоря. Я начал писать в конце июня и закончил в начале сентября. Два с половиной месяца.

Вопрос: Многие утверждают, что после «Колумбов» вы уже больше не достигали таких высот в своем творчестве.

БРАТНЫ: Когда вышли «Колумбы», Ярослав Ивашкевич написал на них рецензию. И мне, нахалу, что-то в этой похвальной рецензии не понравилось: Ивашкевич сравнивал меня с каким-то советским писателем. Я дал интервью той же газете, в котором постарался досадить Ивашкевичу. И каково же было мое простодушное изумление, когда я получил элегантное, светское, прямо-таки благоухающее письмо Маэстро, в котором он передо мной извинялся и объяснял, что я его плохо понял. Он просто вспомнил одно свое глубоко личное переживание, когда, выйдя с представления «Молодой гвардии», плакал от обиды, что Польша не имеет такого же художественного образа собственной молодежи, а бытует у нас образ фальсифицированный, чуждый, но воспринимаемый в качестве идеала. Я, ошеломленный его вежливостью и весьма польщенный, решил нанести ему визит в редакции «Твурчости». Ивашкевич тогда сказал мне: «Вы написали такую книгу, что теперь вам придется взвешивать каждое слово, которое вы напишете впоследствии». Так вот, если бы я взвешивал впоследствии каждое слово, то не было бы такого Братного, какой сейчас есть и каким, я уверен, он и должен быть. Я не согласен с тем, что писатель должен равняться на свои высшие достижения, потому что это похоже на строительство алтаря для себя самого. Однажды на встрече с читателями человек чуть моложе меня сказал, что ни одна из моих книг не стала ему так близка, как «Колумбы». Может быть, то, что сделали «Колумбы»,— это заслуга не моя, а времени и такого прорыва исторической правды, что тот, кому благодаря определенным условиям довелось одному из первых донести до читателя эту правду, стал авторитетом. Только я не жалею, что не стал рабом одной-единственной темы, что хватался за самые разные проблемы и принимал каждый вызов, который бросала мне жизнь. Я боюсь лишь одного: не дай бог дойти до такого момента, когда жизнь перестанет волновать меня и принуждать к писанию все новых и новых книг.

Вопрос: В ваших последних книгах (особенно «Год в гробу» и «Нагой май») много яду и агрессивности — этих черт почти не было в вашем раннем творчестве. Откуда это взялось?

[1] «Трибуна люду», 11—12 июня 1988 года.

[2] Популярность этой книги такова, что давно уже в литературоведение и в обиходную речь вошел оборот «поколение Колумбов» — поколение тех, кто встретил войну девятнадцатилетними. В настоящее время роман готовится к выходу на русском языке в издательстве «Радуга».

[3] «Пломба» в жаргоне архитекторов — новый дом, встроенный между двумя старыми, обычно представляющими историческую или архитектурную ценность.

БРАТНЫ: Я взбесился. И разозлился. И стал агрессивен. Я знаю об этом. Я писал эти книги в исступлении, потому что пережил разочарование в любви. Я патриот. Я считал, что мы, поляки, не являемся любимчиками Истории, но умеем спасать то, что определяет нас как народ и государство. Я верил в миссию польской интеллигенции. Со страшным нетерпением я ждал конца «герековщины» и с огромным облегчением окунулся в Августовский бунт[4]. Я был одним из первых, кто подписался под призывом уважать гданьских портовиков и не применять к ним насилия; я считал, что Гданьск может дать нечто важное всему нашему обществу. Но потом произошли события, ужаснувшие меня: сначала (по разным причинам, в частности, в результате грубых внутрипартийных манипуляций, организованных, чтобы погубить Герека) начали отступать перед оппозицией, кокетничать с ней и в итоге отдали рабочий бунт в руки людей безответственных и тоже управляемых извне. А затем наступила цепь политических абсурдов. Я с ужасом наблюдал, в каком направлении идет наша интеллигенция, в том числе и атеистическая, люди творческие, с каким страстным подхалимством рвутся они в ряды новых социальных авторитетов. Это был шок куда сильнее того, который был у меня при виде толпы, скандирующей: «Сталин — Берут, Берут — Сталин». Мне казалось, что вот-вот начнется у нас процесс какой-то «хомейнизации». Результатом этого шока стал «Год в гробу».

Вопрос: А «Нагой май?»

БРАТНЫ: Прибавились новые печальные наблюдения. Я заметил, что общество истерзано идиотизмом определенной национальной модели. Я убежден, что молодежь, которая эмигрирует толпами, не знает, от чего убегает. Я считаю, что она бежит от кретинизма польского мессианства, от навязчивой идеи, что поражение — это главнейшее условие существования и процветания национального духа. Я вас спрашиваю: что это за сопливое общество, которое, чтобы иметь чувство национальной общности, должно постоянно получать от Истории пинки в задницу? Почему не утратили свой национальный дух венгры, чехи? В «Нагом мае» Костюмер призывает к восстанию, гарантируя полное поражение, потому что лишь такое безнадежное восстание необходимо народу! Естественно, я выступаю против всех этих костюмеров откровенно и агрессивно, я хочу встряхнуть людей, чтобы они пришли в себя и начали наконец мыслить.

Вопрос: Цель благородная, но ведь агрессия часто вызывает ответную агрессию, некоторые сочтут себя оскорбленными в лучших чувствах.

БРАТНЫ: Так оно и есть. Уже появились в печати голоса, утверждающие, что я святотатствую. Конечно, те, кто говорит, что в моих книгах не хватает философии, правы, но разве публицистика, связанная с историей народа,— это не предназначение писателя? Скажу нескромно, я считаю себя именно писателем народной судьбы. Я ведь не занимаюсь так называемой злободневной публицистикой.

Вопрос: Мне кажется, что вы — несостоявшийся политик.

БРАТНЫ: Вы попали в десятку. Скажу откровенно: я был бы политиком и лежал бы сейчас в могиле, если бы не то обстоятельство, что у меня не было никаких шансов заняться политикой, когда она меня интересовала, то есть в молодости. И я самонадеянно считаю, что был бы хорошим политиком, потому что у меня было чутье. Многие мои друзья вспоминают, как я говорил: нельзя начинать Варшавское восстание, это бессмысленно. Но как же так — подхорунжий понимает то, чего не понимают генералы?! Да и отрезан я был тогда от большой политики.

Вопрос: Зато в качестве писателя вы к ней приблизились. Можно лишь восхищаться вашим умением отражать в книге каждый этап нашей сложной послевоенной истории. Вы подводите итог определенной эпохи и идете дальше.

БРАТНЫ: Извините, подведение итогов — звучит для меня оскорбительно. Потому что я подвожу итоги лишь тому, что делал в данной эпохе. «Жизнь еще раз» я написал в 1957 году, а опубликовали — через десять лет. Книги, касающиеся проблем герековского периода, ждали выхода в свет три, четыре, пять лет, это было правильно. Поэтому я воспринимаю как оскорбление, когда кто-то говорит, что я подвожу итоги, чтобы оказаться поближе к очередной правящей группировке. Я оказываюсь в новых временах, потому что верю: в конце концов придет время, которое станет временем исполнения польских надежд. Но вы правы, политические притязания у меня были, хотя, как бывший аковец[5], я никогда не мог рассчитывать на удовлетворение этих притязаний. Впрочем, и так многие бывшие аковцы на меня обиделись, считая, что я приспособился к властям, хотя я от этих властей ничего не получил. Даже Государственной премии за «Колумбов». Да ладно, я не обижаюсь.

Вопрос: Вернемся к «Нагому маю». Я понимаю, что это гротеск, но иногда уж очень, простите, дурного тона: общество состоит практически из одних извращенцев и пьяниц, тут насилуют, там кого-то режут на куски; восторг по поводу визита Патриарха доходит до того, что целуют колеса его автомобиля. Вы все отрицаете, показываете мир, лишенный каких бы то ни было ценностей. И еще эта грубая, супероткровенная эротика.

БРАТНЫ: Как, разве вы не видите, что эта бедная изнасилованная девушка — образ лирический, светлый? Артур Сандауэр написал мне, оторвавшись от чтения книги: «Что за странный, аллюзийно-реальный мир ты создал». А потом в телефонном разговоре сказал, что, кажется, в литературе

[4] Забастовки 1980 года, с которых начался политический кризис 1980—1981 годов.

[5] АК — Армия Крайова, в 1942—1945 годах действовала под руководством польского эмигрантского правительства в оккупированной фашистской Германией Польше. Руководство АК организовало и начало Варшавское восстание 1944 года.

впервые так лирично описано четырехкратное изнасилование. А Художник, который утверждает, что искусство обитателей Двориков — это искусство плагиаторское, разве он не положительный герой?

Вопрос: Но общее впечатление — страшное!

БРАТНЫ: Может быть, но я хотел ударить как следует, больно, чтобы до костей дошло. Я сделал это во имя возрождения истинных ценностей, настоящего, а не этого ритуального патриотизма. Я, автор «Колумбов», утверждаю, что невозможно вернуться к мудрым традициям, не затоптав по дороге этот националистический, квасно-патриотический, подлый сорняк.

Вопрос: Вы верите в воспитательную функцию литературы? В то, что искусство может влиять на жизнь?

БРАТНЫ: А разве книги не влияют на наше сознание? Я скажу так: хуже всего, когда они не пробуждают никаких эмоций, а мои книги их пробуждают, значит, оставляют какой-то след.

Вопрос: Случалось ли вам писать книгу на заказ?

БРАТНЫ: Только один раз. Я сделал это из-за денег, они были нужны мне, чтобы настелить пол в доме, который я как раз строил. И это была не книга, это был сценарий фильма «Воскресенье справедливости». Ужасный был фильм, успеха не имел. Никогда больше я ничего не писал на заказ.

Вопрос: Интересно, как вы себя сегодня чувствуете как член партии?

БРАТНЫ: Ужасно. Но я считаю, что пока она существует, следует сделать все, чтобы не осрамить ее еще больше. Как-то Войцех Ярузельский, когда я сказал ему, что во время военного положения следовало поступить по-кадаровски, то есть распустить партию и создать новую, спросил меня: «А вы бы вступили в эту новую партию?» Я опустил глаза и ответил: «Нет». У меня не хватило бы сил вступать и рисковать снова, однако я считаю аморальным покидать партию в момент определенного упадка ее, но когда еще можно что-то сделать, а сделать можно очень много.

Вопрос: Что самое важное, по вашему мнению, из того, что надо сделать?

БРАТНЫ: Может, вы это напечатаете: я считаю, что надо покончить с системой партийных рекомендаций, потому что эта система парализует активность молодого поколения Нельзя продвигаться вперед полушажками Ничего страшного не случится, если в сейме будут заседать пятьдесят процентов беспартийных депутатов. Надо как Горбачев — делать революцию А мы хотим добиться революционных перемен с помощью реформаторской техники: там, где должен быть один общий закон, мы путаемся в зарослях противоречащих друг другу инструкций Какой-нибудь политик — нет все еще такого — должен изобрести бомбу, которая уничтожила бы всю эту груду парализующих постановлений, инструкций, приказов. Нам не хватает последовательности в риске, а общество теряет терпение. Я вот тоже потерял. А власть теряет уважение к себе из-за подобного отсутствия последовательности. Власть сегодня демонстрирует терпимость, но и слабость. А ведь потомки будут оценивать ее только через призму этой слабости. Опасаясь социальных конфликтов, мы отступаем перед риском и в результате вызываем конфликты, происходящие оттого, что в свое время мы не осмелились рискнуть. Вот такой парадокс. Но может быть, еще не поздно рискнуть.

Вопрос: Судя по «Нагому маю», у нас уже нет шансов.

БРАТНЫ: Есть! Я лишь хотел ужаснуть этим якобы безвыходным положением. Эта книга — глас вопиющего среди пьяного сброда, но не в пустыне.

ЕЖИ ЯЖЕМБСКИЙ

«После взрыва» [1]

Ежи Яжембский (1947) — прозаик, критик, профессор Краковского университета. На русский язык его книги пока не переводились.

Послевоенная литература представлялась читателю как нечто вполне упорядоченное, поделенное на поколения, группы, «течения»; звания были розданы, мэтры оккупировали высшие — редко подвергаемые сомнению — позиции, а молодые писатели, штурмующие эти укрепления, по крайней мере знали, что́ они штурмуют. Преувеличиваю? Может быть, но ведь в обветшавшем здании культуры, в атмосфере нарастающего напряжения и первых протестов — вестников приближающейся революции — существовала еще довольно четко видимая иерархия, а когда кто-то из писателей выбирал «другой» путь издания своих книг, в официальной жизни на его месте начинала зиять пустота. Итак, в «Записе» печатались те, кто отказался от публикаций в «Твурчости», в «Нове» издавались книги, которые цензура порезала в «Чительнике» [2], однако все, или почти все — проправительственная группировка и оппозиция,— еще встречались в Союзе польских писателей, были членами одной семьи, хотя по-человечески многие уже видеть друг друга не могли.

Тогда — как и сейчас — издавались новые книги, но тогда они оценивались по каким-то общим критериям, общим в том смысле, что существовала пока «литературная критика» как институт культурной жизни, и получить хорошую отметку в некоторых журналах, считавшихся в меру объективными, еще что-то значило. Такая оценка еще влияла на восприятие произведения читателем; да что там, некоторые книги вызывали род общей дискуссии, хотя подобные споры позже были признаны искусственными.

Структура культурной жизни в Польше,

[1] «Одра», 1988, № 6.

[2] «Твурчость» — литературно-художественный журнал; «Чительник» — одно из крупнейших польских издательств; «Запис» — нелегальный журнал; «Нова» — нелегальное издательство.

плод октября 1956 года, опиралась на своеобразный политический договор. Сущностью его было сглаживание конфликтов и особая — фальшивая — солидарность деятелей культуры, занимающихся политикой, политиков, занимающихся культурой, специалистов по культурной политике и т. д.,— одним словом, всей пирамиды посредников, появившихся в те времена, когда творчество считалось продолжением и сублимацией деятельности партии и правительства. Та модель Союза писателей содержала идею многостороннего компромисса: между политическим характером организации и ее ролью профессионального союза, призванного защищать интересы литераторов, между мировоззрениями, политическими позициями и идеалами отдельных писателей и творческих группировок; между требованиями государства-мецената и стремлениями писателей; и наконец, между разнообразными творческими манерами, которые в минувшем периоде расставляли по ранжиру и подвергали суровому суду. Так что СПП был огромным фасадом, прикрывающим бездну противоположностей, причем противоположности эти до поры до времени проявлялись не слишком резко, во всяком случае внешне. Что и как варится в этом котле, мы узнавали чаще всего окольным путем, из «неофициальных источников», из стенограмм заседаний, вынесенных наружу, из воспоминаний участников этих заседаний — как оппозиционеров, так и сторонников власти. Столкновения бывали острыми, последствия смелых выступлений — часто весьма болезненными для писателей, однако игра велась по правилам, и когда приличия нарушались, это осуждалось большинством членов Союза.

Резолюции заседаний СПП бывали обычно компромиссными и взвешенными, и публике представлялись мнения усредненные и поэтому не вызывавшие резкой реакции. Все, что было важно, обсуждалось в кулуарах, смягчалось и шлифовалось, чтобы в печати не бросалось никому в глаза

Конец семидесятых годов характеризуется все более острыми симптомами кризиса прежней модели СПП, что предвещает кризис всей культурной политики. Часть писателей, оставаясь членами СПП, выламывается из рамок централизованной, руководимой и контролируемой структуры и выбирает нелегальные издательства вскоре и сам Союз переживает драматическое потрясение, вызванное теми, кто хочет видеть его местом, где взгляды выражаются, а не сглаживаются, кто не хочет помнить о разных неписаных законах и политических пактах ради «священного перемирия». В зависимости от политических взглядов и положения на иерархической лестнице, говоря о роспуске СПП, употребляли разные выражения: моральный вред, политическая махинация, заговор графоманов, очищение рядов от экстремистов, печальная необходимость и т. д. и т. п., нередко проявлялась также ностальгия по «старому, доброму Союзу», по «ивашкевичевской модели», по «интеграции людей творческих» и т. д. Но я ни разу не встретил мнения (может быть, я невнимательно читаю прессу), что СПП распался потому, что окончательно изжила себя его модель, то есть тот тип компромисса, который был заложен в его основание много лет назад. И даже если сам я принадлежал к тем, кто принял роспуск СПП как трагическую ошибку, как необратимый шаг, последствия которого будут чувствоваться еще много лет, то сегодня я смотрю на это почти спокойно, потому что вижу событие это в контексте более общих процессов и перемен в области организации культуры.

Дело вот в чем: нравится это кому-то или нет, культурная жизнь из моноцентричной превратилась в полицентричную, на горизонте появились новые меценаты, новые пути к успеху и конкурирующие системы ценностей. И если еще несколько лет назад молодой автор должен был выбирать: либо вступить в СПП и «официальным» путем делать карьеру, отдавая себе отчет во всех вытекающих отсюда последствиях морального и творческого толка, либо неофициальное, нелегальное издательство, либо же эмиграция, что влекло за собой хотя и совершенно иные, но не менее драматические последствия, то сегодня перед ним открываются разные пути. Это «либо — либо» перестает быть столь трагичным, потому что расширились моральные и юридические рамки, возросла обоюдная готовность к компромиссу Приведет ли это к новому взаимопроникновению противоречивых стихий и возрождению давних структур? Не думаю. Ситуация, создавшаяся сегодня в культуре и литературе, не так уж хороша и не стабильна, однако одно можно сказать наверняка: это иная ситуация, смотреть на нее и говорить о ней надо по-новому.

Сегодня трудно представить, чтобы литераторы отреклись от права свободно исповедовать любое мировоззрение, по своей воле объединяться с единомышленниками и публично высказывать свои мысли. Я не думаю, чтобы они захотели отказаться от того, на что в конце концов отважились, во имя неких туманных «общих интересов» или «интересов народа» — особенно если учесть: история не раз доказывала, что такое самоограничение не служит ничему, кроме временных удобств власти. Наверняка и власти за это время перестали верить в то, что хорошо правит тот, кто правит безмятежно (читай: в условиях искусственного «общественно-политического единства народа» или что-нибудь в этом роде). Так что в ближайшие годы следует ожидать скорее появления разнообразных объединений, открыто высказывающих свои взгляды, нежели договоров и компромиссов в рамках резолюций, общих для всех писательских группировок — резолюций, мертвых уже в момент рождения, поскольку они не выражают ничьего личного мнения.

В этих условиях СПП — как трибуна, с которой можно высказать свои претензии, не вступая в открытый конфликт с властью и находясь под защитой авторитета организации,— теряет необходимость, опускается на уровень одной из многих творческих группировок и утрачивает право претендовать на звание единственного и исключительного представителя литературных кругов.

Пока что СПП возвышается над остальными союзами и объединениями количественно и в финансовом отношении, у него также — по традиции и в силу определенных «договоренностей» — несравненно больше привилегий и прерогатив. Однако я уверен, что ситуация принудит СПП пойти на определенные уступки в пользу альтернативных организаций: просто невозможно больше упрямо игнорировать новую ситуацию и мыслить схемами минувшей эпохи. Я имею в виду мышление в категориях несуществующего «целого». Между тем наверняка придется примириться с моделью культуры, в которой нет ярко выраженного центра и периферии, но есть множество центров, имеющих собственные творческие принципы и системы ценностей.

Что же неладно в культуре сегодня? Отдельные писательские группировки создали собственные, практически не пересекающиеся системы ценностей. И даже если исследователи в будущем откроют в литературе наших дней какой-то общий стиль, то уж наверняка им не удастся найти общий «центр тяжести», потому что слишком велика разница между авторами типа Жукровского или Братного, Есёновского или Сокорского, группой, не слишком красиво называемой «конюшней Березы», между писателями широко понимаемой оппозиции и адептами буйно цветущей научной фантастики, а есть еще писатели религиозные и т. д. Я знаю, что классификация эта странная и даже нелепая с методологической точки зрения. Я лишь перечислил определенные группы или фракции, диалог между которыми крайне труден — иногда по причинам политическим или идеологическим, иногда из-за коренных отличий в тематике и форме. Различия эти вроде бы существовали всегда, однако никогда еще писатели, принадлежащие к отдельным группировкам, а также «их» критики и читатели не имели так мало интереса и уважения к тому, чем занимаются другие. Как будто системы ценностей, которыми руководствуются отдельные фракции, стали гораздо агрессивнее, чем раньше, не допуская свободного выбора и беспрепятственного плавания по всему океану современной литературы. Тут действуют как механизмы подсознательные, так и мотивированные убеждения, и я сам знаю — потому что не изображаю эдакого объективного суперарбитра,— какой безбрежной скукой веет на меня от произведений писателей, система ценностей которых мне чужда, например, от фантазирования «школы Березы» или от современных романов в стиле Братного или Есёновского.

Итак, современная литература разделена как по критериям позитивным (выбор определенной группы и системы ценностей), так и негативным (непризнание других групп и их систем ценностей); это ведет к своеобразному разделу в сфере профессионального мастерства: произведениям, созданным под разными знаменами, обычно чего-то недостает, они слишком часто бывают монотематичны и монофоничны, а в рамках группировки слишком похожи. Есть штампы проправительственные и штампы оппозиционные, штампы фантастики и штампы религиозные; немногим писателям удается освободиться от фракционных рамок.

Кризис отдельных авторитетов становится кризисом авторитета самой литературы. Читатели перестают верить в иерархию, установленную критикой: слишком противоречат друг другу критики разных фракций, слишком ощутимы политические подтексты. В этих условиях растет значение «старых мастеров» — потому что их величие связано с добрыми старыми временами, проверено не одним поколением читателей. И необыкновенно трудно сейчас молодым писателям.

Так нужна ли нам такая литература? Есть ли еще шанс, что структура культуры после взрыва сложится в новую модель и придаст социальный статус писательскому творчеству? Я считаю, что эта структура будет восстанавливаться медленно, с самого основания. И если я смотрю на это с оптимизмом, хоть и осторожным, так только потому, что с некоторых пор вижу среди поколения самых молодых, только еще дебютирующих литераторов не виданное ранее оживление, достойное внимания число инициатив и огромный интерес к ним ровесников. Но эти молодые люди хотят действовать самостоятельно, а не пристраиваться к чему-то, уже созданному старшими, они пробуют создавать новые журналы, сообщества, организовывать литературные, музыкальные, изобразительные фестивали. Эта альтернативная, плюралистическая модель культуры рождается спонтанно, часто лишь формально опираясь на существующие организационные фундаменты. Я надеюсь, что движение индивидуального предпринимательства, которое призвано оздоровить несчастную польскую экономику, не обойдет и литературу, то есть что эти молодые писатели сами организуют материальную поддержку своего творчества.

Каким же будет это творчество? Может быть, вырвавшись из традиционных организационных рамок, ему удастся избежать также и определенного круга опошленных уже «проклятых польских вопросов». Давно уже следует решить дилемму, состоящую в том, что у нас литература либо нафарширована политикой, либо поверхностна и лишена какой-либо формы. Думаю, мы будем свидетелями возрастания роли творческой индивидуальности, разнообразия подлинно творческих союзов и, наконец, возобновления прерванного диалога. В этом и есть, может быть, шанс на сотворение нового пейзажа культуры — после взрыва.

ТАДЕУШ КОНВИЦКИЙ

«В когтях польского романтизма» [1]

Тадеуш Конвицкий (1926) — прозаик, публицист, сценарист, кинорежиссер. Родился в Литве. Участвовал в борьбе против фашизма в рядах Армии

[1] «Одра», 1988, № 1.

Крайовой. Лауреат ряда национальных литературных премий. На русском языке выходили его повесть «Дыра в небе» (1961), роман «Современный сонник» (1966).

Вопрос: После того, как несколько лет ваши книги не издавались в официальных издательствах (4 последних появились в нелегальных — «Польский комплекс», «Малый апокалипсис», «Восходы и заходы луны», «Подземная река»), легально вышла в свет ваша книга «Новый Свет и окрестности». Почему вы решились выйти из подполья?

КОНВИЦКИЙ: Меня об этом уже сто раз спрашивали. Интереснее был бы другой вопрос: почему я начал публиковаться в нелегальных журналах. А начал я это делать потому, что не мог опубликовать некоторые свои вещи в государственных издательствах. Мне надоела цензура, надоели постоянное давление и контроль, бесцеремонное вмешательство в мое творчество, продолжавшееся годами. Есть вещи, о которых я хочу говорить прямо и не желаю, чтобы кто-то следил за каждой моей строчкой, поучал, руководил мною, потому что чаще всего эти руководящие указания через несколько лет оказываются несостоятельными, ошибочными или непродуманными. Печататься в государственных, кооперативных и всяких других издательствах — это нормально, это практика, распространенная во всем мире. У нас, в Польше, была ненормальной сама издательская ситуация, и литераторам пришлось обращаться в нелегальные издательства.

Вопрос: Но ведь вы были лишены привычного контакта с читателями и литературной критикой. Это не отражалось на вашем настроении?

КОНВИЦКИЙ: Я прекрасно себя чувствовал.

Вопрос: И никакие сомнения вас не мучили?

КОНВИЦКИЙ: Нет. Я писал себе что хотел. Я стоял в стороне. Никто ничего от меня не требовал, меня даже скорее избегали, а этого мне и надо было. Что касается мнения литературных критиков, то я ничего не потерял. Критика никогда меня не баловала — бывали долгие периоды, когда мною никто не интересовался, то ли из-за каких-то запретов, то ли из личной неприязни. Поэтому я не мог ни доверять критике, ни руководствоваться ее мнением в том, что я делаю. А если говорить о читателях, то здесь практически ничего не менялось. У меня свой круг читателей. Это те, кто любит мои книги и кто, видимо, похож на меня, а я на них. Это моя аудитория, которая существовала всегда, независимо от того, какое издательство выпускало мои книги.

Вопрос: Но не уменьшилось ли количество ваших читателей? Ведь не все имели доступ к нелегально изданной литературе.

КОНВИЦКИЙ: Конечно, в известной мере уменьшилось. Но за все надо платить. Впрочем, если говорить честно, то эти книги перепечатывались «самиздатовским» способом и — как запретный плод — передавались из рук в руки. Этот горячий читательский интерес компенсировал малые тиражи. Так что, в сущности, жаловаться было не на что.

Вопрос: Если все было так хорошо, то почему же вы в один прекрасный день решили все изменить?

КОНВИЦКИЙ: Тогда и я у вас спрошу: почему вам так непременно хочется, чтобы я всю жизнь искал какие-то нелегальные или неофициальные издательства?

Вопрос: Да мне этого вовсе не хочется. Я себе глаза испортила этим мелким размазанным шрифтом.

КОНВИЦКИЙ: Но если вы все время об этом спрашиваете, значит, вам все-таки жаль...

Вопрос: Ничего подобного. Меня лишь интересует, когда пришел тот момент, когда вы сказали: хватит! Что повлияло на вас? Может быть, что-то произошло?

КОНВИЦКИЙ: Ничего особенного. Как это обычно бывает в жизни — каждое явление имеет много причин. Прежде всего, я плохо переношу всякие ограничения, я не могу быть «приписан» к какой-то определенной литературной или общественной группе. Я был замкнут, скажем так, в определенном литературно-идеологическом кругу, и мне это надоело. Я стал утрачивать независимость. Каждый человек, вращающийся в определенных общественных кругах, принадлежащий к определенным группировкам, становится зависимым. Я чувствовал, что все больше завишу от издателей. Что у меня нет выбора. Что может быть так: я не очень нравлюсь, и меня печатают только из вежливости. Что меня могут, так сказать, посадить на диету, то есть мне придется ждать, пока соизволят что-то мое опубликовать. Поэтому, защищая свой статус сколько-нибудь независимой личности, я решил попробовать отнести книгу в издательство, в котором дебютировал и в котором всю жизнь печатался,— в «Чительник». При том условии, что не будет никакого вмешательства цензуры. Цензура не вмешивалась, и «Новый Свет и окрестности» был издан.

Мне кажется, что для писателя гораздо лучше, когда он ни от кого не зависит, когда он идет своим путем и сопротивляется каким бы то ни было попыткам давления, которые возможны при любой ситуации, в любой общественной группе. Мне нужна была определенная свобода. Естественно, человек никогда не бывает абсолютно свободен, но в данный момент я чувствую, что разорвал стягивавшие меня путы. Я не дал себя втянуть ни в какие интриги.

Я говорю так не из высокомерия или тем более корысти. Когда-то, много лет назад, я искренне старался служить какому-то, может быть, призрачному, но в то время занимавшему все мои мысли идеалу и пришел к выводу, что это не для меня. Я как бы не для этого рожден. Не гожусь. И в личной жизни, и в общественной, и во всякой другой — не гожусь. Любой кол-

лектив через какое-то время начинает раздражать меня, меня охватывает тоска.

Вопрос: Значит, вы — «антиобщественная личность»?

КОНВИЦКИЙ: В главном я часть общества. Я солидарен с ним и чувствую свою ответственность за все, что происходит. Я хочу помочь ему, насколько это в моих силах. Но мне кажется, только я сам знаю, как это лучше сделать. Вот и все по вопросу моего «выхода из подполья».

Вопрос: Вы пока первый «подпольщик», вернувшийся к обычной практике издания своих произведений. То и дело нелегально выходят книги, которые с успехом могли бы быть опубликованы в официальных издательствах. Вам не кажется, что это неправильно?

КОНВИЦКИЙ: Распространился такой милый, благородный снобизм: оказалось, что печатать книги без цензурных поправок — это современно, это считается, так сказать, хорошим тоном. Причем я должен отметить, что далеко не сразу писатели начали массово публиковаться в нелегальных издательствах. Никого не хочу упрекать, но когда было плохо и трудно — не много было охотников.

Несмотря на все сказанное, я одобряю такую практику, даже если назвать это своеобразным снобизмом и красивым жестом. Мне это кажется симпатичным. Кроме того, это служит доказательством силы, эффективности и важности нелегальных издательств. По-моему, дай бог, чтобы они существовали как можно дольше. В нашей ситуации при самой либеральной цензуре всегда были и останутся темы, не до конца исследованные и раскрытые.

Вопрос: То есть вы не слишком ратуете за то, чтобы все ручейки польской литературы — эмигрантская, нелегальная и официальная — слились в одну реку?

КОНВИЦКИЙ: А возможно ли это? И хорошо бы это было или плохо? Дайте подумать... Чтобы вся наша литература пошла по одной дорожке над Вислой? И чтобы все чинно прогуливались по одной тропинке между Союзом писателей, ПЕН-клубом и Оборами? [2]

Литературе это не нужно. Она нуждается не в формальном, а в подлинном моральном единстве, а оно сохранено. Я, естественно, говорю о литературе серьезной, играющей значительную роль в жизни общества, а не о той, которую читают, чтобы посмеяться и поболтать с соседями. Серьезная, настоящая литература, в сущности, и так достаточно едина в своих главных принципах.

Вопрос: Правда ли, что вы планируете снять в Вильнюсе фильм по мотивам «Дзядов» Мицкевича?

КОНВИЦКИЙ: Тут два вопроса: собираюсь ли я экранизировать «Дзядов» и буду ли снимать в Вильнюсе? Что касается первого — то да, очень бы хотел, хотя и сознаю все безумие этой затеи. Правда, это безумие можно оправдать моим преклонным возрастом. Так называемый старческий маразм: наверное, я рехнулся, раз покусился на экранизацию «Дзядов». Это вещь необычайной важности еще и потому, что все мы — в когтях польского романтизма. Что касается второго вопроса — будет ли фильм сниматься в Вильнюсе? — то могу сказать, что, конечно, не весь, это не обязательно. Но в нескольких главных сценах совершенно необходим образ города, его атмосфера, его дух. Улочки, дома, монастыри Вильнюса...

Вопрос: Вы сказали: «Мы все — в когтях польского романтизма». Что это значит?

КОНВИЦКИЙ: Начну с благодарности профессору Марии Янион. Давно уже я слежу за ее работой, цель которой — возвеличивание романтизма, его значения для польской литературы. Это похоже даже на какую-то манию, М Янион искала романтизм всюду и находила его буквально на каждом шагу. Сумасшествие. Но в конце концов, знаете, я понял, что она права. Опираясь на идеи, высказанные М. Янион, можно проанализировать наш образ мышления, польский характер, польскую психологию — продукт двухсотлетнего воздействия того литературно-идеологического течения, которое мы называем романтизмом.

Вопрос: Это значит, что в когтях романтизма находится не только литература, но и вся наша общественная жизнь?

КОНВИЦКИЙ: Видите ли, я говорю деликатно и осторожно, потому что не хочу заниматься политиканством, выступая с заявлениями политического характера. Но естественно, это мощное влияние романтизма распространяется отнюдь не только на литературу, оно очень заметно сказывается на нашей общественной и политической жизни. В литературе это всего лишь одно из течений, может быть определяющее. Но стоит обратить внимание на то, что литература, порожденная романтической традицией, в свою очередь, постоянно эту традицию укрепляет и питает.

Вопрос: С другой стороны, если посмотреть на все, что творится сейчас вокруг, на нашу нынешнюю мораль, психологию, эту мышиную возню, циничную борьбу за выживание — все пытаются как-то пережить тяжкие времена,— то можно усомниться, так ли уж сильно влияние романтизма?..

КОНВИЦКИЙ: Как-то один западный журналист спросил меня: «Скажите, как у вас в Польше относятся к компромиссам? Потому что у нас компромисс ценится очень высоко, достижение компромисса считается заслугой». Я ответил: «У нас компромисс — это крайняя степень падения. Компромисс — это подлость, предательство, слабость моральных устоев». Вы сказали — мышиная возня; добавим еще — и спекуляция, и контрабанда, и ежедневное мелкое мошенничество. Так вот, как это ни удивительно, житейская предусмотрительность и даже моральная нечистоплотность, проявляющиеся в одних областях общественной жизни, прекрасно сочетаются с романтической одержимостью в других сферах, которые общественному сознанию представляются более важными и возвышенными. Это странное положение, но не думаю, что оно возникло

[2] Оборы — Дом творчества польских писателей.

в результате событий последних десятилетий. Мне кажется, что эта двойственность — страсть к патетическим жестам, восторг и экстаз, с одной стороны, и приземленность и практичность, с другой,— была характерной чертой поляков уже в XIX веке. Многие наши герои того времени, если взглянуть на них под этим углом зрения, очень напоминают сегодняшних: самоотверженных борцов и одновременно по-крестьянски крепких, бережливых хозяев в своем маленьком личном хозяйстве. Откуда эти анахронизмы, предрассудки, ложный стыд, комплексы? Но вы только представьте себе, как мощно укоренилась за столетия традиция! Ведь поляки до XIX века, можно сказать, ничего не делали. Я, естественно, имею в виду правящие классы, то есть шляхту. Я не могу сказать этого ни о крестьянах, ни о мещанстве (впрочем, оно было прежде всего еврейским и немецким), я говорю о сотнях тысяч шляхтичей, которые целыми столетиями бездельничали. Это безделье и эта привычка сидеть под липой с чаркой доброго вина, наблюдая, как какие-то существа — потому что крестьяне для них были не люди — что-то там делают в поле, до того закрепилась, въелась в сознание, что работа стала рассматриваться как нечто унизительное. Так какие же шансы, даже сегодня, может иметь прагматическая, позитивистская философия с ее культом труда?

Вопрос: И вы тоже — в когтях романтизма?

КОНВИЦКИЙ: Да ведь и я — продукт романтического воспитания. Не знаю, как было во всей Польше, но в Вильно до 1945 года такой образ мышления был всеобщим. То есть на школе и воспитании, на поведении и морали — на всем (хотя, может быть, мы этого и не сознавали) лежала печать романтизма. И в ту эпоху, как выяснилось вскоре, это было правильно, поскольку так были воспитаны поколения, которые без колебания бросались в бой, будь то сентябрьская кампания 1939 года, подполье, саботаж или другие формы борьбы. В этих боях с величайшей самоотверженностью участвовала вся молодежь. Предательства, цинизма или пассивности не было. Я сам был под сильным влиянием знаменитого — осмеянного в менее грозные времена — призыва: «Погибни, сынок, погибни». Смерть была моей заветной мечтой. Это мощное внутреннее стремление бороться и погибнуть на поле боя испытала большая часть моего поколения. Лишь с такими людьми можно было прийти к победе. С молодежью, настроенной так же, как французы в 1940 году, трудно было бы сохранить такую моральную высоту в годы оккупации.

Не знаю, насколько понятен сегодняшней молодежи тот императив борьбы, о котором я говорю. Сейчас молодежь прежде всего ценит жизнь, независимость и возможность выбора. Думаю, от сегодняшнего поколения труднее было бы ожидать такого порыва, который в любую минуту мог кончиться смертью. Я не сравниваю, не говорю, что это плохо. Допускаю, что общество само как будто чувствует, что приближается опасный момент, и мобилизует свои силы. Так было в годы моей молодости; после краткой, как мгновение, независимости пришли страшные, очень тяжкие испытания.

Быть может, оба эти течения — сильный, широкий, как разлившаяся река, романтизм и менее бурный позитивистский прагматизм — каким-то образом необходимы для сохранения и развития нации.

Вопрос: Почему вы так уверены в своей правоте?

КОНВИЦКИЙ: Потому что я никогда не утрачивал связи с жизнью. При всех моих недостатках у меня есть одна черта, не знаю, плохая или хорошая. Нечто вроде внутреннего барометра, реагирующего на общественное настроение. Например, в понедельник утром я вдруг, едва встав с постели, уже падаю с ног, потому что мне совершенно ничего не хочется, потому что я чувствую, как отовсюду — с улицы, от стен домов, фабрик, от машин — наплывает густая мгла апатии. Я как измерительный прибор — стал невероятно спокойным к старости, и теперь мне хочется все и всех примирить. К концу жизни я пришел к выводу, что я человек достаточно интеллигентный и, как интеллигент, не в состоянии уверовать ни в одну доктрину. Может быть, в прошлом меня и можно было упрекнуть в каком-то минутном фанатизме, но и он был проникнут сомнениями. Позже я уже не присоединялся ни к каким группировкам, опасаясь, что служение одной идее свяжет меня, ограничит поле зрения. Я не нахожу в своей душе столь сильных эмоций, чтобы они сделали меня поборником одного взгляда на мир. Я вижу не одну, а много разных правд. Думаю, причиной этому — мое происхождение, мои корни. Я вырос среди сложности и разнообразия — рас, языков, религий и традиций. Я сталкивался с различной психологией. Видимо, в этом и следует искать объяснения того, что к старости я стал так терпим.

Я не чувствую себя связанным ни с одним идеологическим или литературным лагерем. Я связан только с уголком недалеко от Вильно, как его тогда называли, там мои корни и те соки, что питают меня и мое творчество.

◆

Критика

Л. КОПЕЛЕВ

О ГЕНРИХЕ БЁЛЛЕ

Хотя я пишу в одиночестве, оснащенный только стопой бумаги, пачкой очиненных карандашей и пишущей машинкой, я никогда не чувствовал себя одиноким, а всегда связанным со своим временем и современниками.

Генрих Бёлль

I

Роман «Заботливая осада» [1] Генрих Бёлль посвятил своим сыновьям: «Раймунду, Рене и Винсенту с благодарностью» [2].

Он всегда дружил с сыновьями. Его дом был открыт их друзьям.

У Бертольта Брехта есть стихотворение:

Когда я был молод, я хотел встретить
старика,
Которого мог бы учить.
Теперь я постарел и хочу встретить юношу,
У которого мог бы учиться.

Бёлль учился всегда: и в молодости и в зрелости — стариком он так и не стал,— учился в гимназии и в музеях, в лагере трудовой повинности и на кёльнских улицах, в казармах, в окопах, в университетских аудиториях, учился у старых и молодых, у своих сыновей и их друзей. Он учился и в то же время щедро делился полученными уроками, знаниями, опытом.

Его последнее опубликованное при жизни произведение — «Письмо сыновьям о четырех велосипедах». Когда мы проведывали его в больнице, он, преодолевая боль, дурноту, взволнованно говорил о том, что его «Письмо» напечатано в «Литературной газете» в сокращенном переводе [3]. Он позвонил мне 14 июля 1985 года — то есть накануне кончины,— просил сверить опубликованный перевод с подлинником; он был озабочен тем, что́ именно сократили в его «Письме», опасался, что вычеркнуты страницы или абзацы, посвященные противоречивым урокам, воспринятым им в последние недели войны. Этими уроками он хотел поделиться с сыновьями, с читателями.

Потребность писать возникла у него очень рано. В гимназии он сочинял стихи, рассказы, писал роман. Все рукописи сгорели во время бомбежки. Он говорил, что это пошло ему на пользу, и своей главной литературной школой считал письма, которые за шесть лет солдатчины написал Аннемари — своей невесте, а с 1942 года жене.

В декабре 1945 года он вернулся из лагеря военнопленных. Его мать умерла в 1944 году. Кёльн был полностью разрушен. Отец и сестра ютились в развалинах. Аннемари нашла убежище в деревне, неподалеку от города; там родился и умер их первый ребенок.

Бёлль вспоминал — «все его имущество тогда составляли его руки в карманах истрепанных солдатских штанов». Он стал работать вместе с двумя старшими братьями. Они оборудовали жилье в полуразрушенном доме и работали в мастерской отца — столяра, резчика по дереву. Одновременно он продолжал учиться на филологическом факультете Кёльнского университета.

И каждую свободную минуту писал. В 1947 году впервые опубликовано несколько рассказов Генриха Бёлля.

В 1949 году издана первая книга — повесть «Поезд приходит вовремя».

В 1951 году издан первый роман «Где ты был, Адам?». В этом же году он получил премию «Группы 47», в то время самую значительную литературную премию Западной Германии.

[1] В нашем журнале роман публикуется под названием «Под конвоем заботы». *(Прим. ред.)*

[2] Раймунд Бёлль (1947—1982) был каменотесом и скульптором; Рене *(род. в 1948 г.)* — живописец, график, одно время владел небольшим издательством, сейчас занят разбором, исследованием литературного наследия отца; Винсент (род. в 1950 г.) — архитектор, несколько лет работал в Эквадоре, сейчас работает в Аахене и вместе с матерью и братом разбирает архив отца. *(Прим. авт.)*

[3] Полный текст «Письма» в переводе Е. Кацевой опубликован в «ИЛ», 1985, № 12, с. 220—230. *(Прим. ред.)*

В 1954 году вышел роман «Дом без хозяина», в 1955-м — повесть «Хлеб ранних лет», в 1957-м — книга очерков «Ирландский дневник», в 1958-м — сборник рассказов «Молчание доктора Мурке», в 1959-м — роман «Бильярд в половине десятого».

В эти годы Бёлль стал широко известен и любим в Советском Союзе.

Осенью 1962 года он впервые приехал в Москву. Во время встречи с писателями в Центральном Доме литераторов он получил записку: «Что вы делали во время войны?» Руководивший встречей деятель СП замахал руками: «Не надо отвечать на такие вопросы, здесь не встреча ветеранов; мы собрались, чтобы беседовать о литературных проблемах».

Тогда я переводил эту беседу и впервые увидел Бёлля очень рассерженным.

«Нет, я, разумеется, буду отвечать. Я был солдатом с 1939 до 1945 года. Я мог бы сослаться на то, что за шесть лет дослужился только до ефрейтора, и на то, что был телефонистом и вспоминал о своей винтовке, когда фельдфебель ругал меня за то, что она не чищена. Но я был солдатом гитлеровской армии и с этой армией был в вашей стране, в Киеве, в Одессе. И я сознаю свою ответственность за преступления этой армии. Вы здесь очень хвалили мои книги,— он поглядел насмешливо на председательствующего,— но неужели вы не заметили, что все они проникнуты сознанием этой ответственности, что пишу я и для того, чтобы не была забыта война и чтобы ничего подобного никогда не повторилось».

Память о людях на войне, память о бессилии, обреченности людей, захваченных чудовищными, бессмысленно-губительными механизмами войны; мысли о возможности сопротивления одного человека; неизгладимые следы войны и послевоенных бедствий в душах, в сознании, в неотвязных воспоминаниях, в быту и в бытии, цепкие предрассудки, ханжество, корыстолюбие... Но снова и снова — живые силы человечности, дружбы, милосердие, радость любви и просто радость жизни... Всем этим наполнены и первые и последние произведения Бёлля: рассказы, очерки, романы «Глазами клоуна» (1963), «Групповой портрет с дамой» (1970), «Потерянная честь Катарины Блюм» (1974), «Заботливая осада» (1979) и «Женщины на берегу реки» (этот роман был издан уже посмертно).

Исследователи стараются определить место Бёлля в литературном процессе. Его заносят в рубрики: «литература развалин», «новый реализм», «литература сплошной вырубки» (так называли критики произведения, расчищавшие духовную почву Германии, «вырубавшие» остатки нацистского прошлого), зачисляют в «критические моралисты». Часто отмечается то обстоятельство, что Бёлль начал публиковать свои произведения в 1947 году, когда умер Вольфганг Борхерт, молодой писатель, загубленный солдатчиной, фронтом, военной тюрьмой и послевоенной нищетой. Бёлль как бы принял от него эстафету непримиримой ненависти к национализму и военщине. В том же году возникла «Группа 47» — свободное содружество литераторов-антифашистов и антимилитаристов.

Все эти совпадения, разумеется, не случайны. Духовное родство Бёлля с писателями — соотечественниками и современниками несомненно. Однако его творчество не укладывается ни в какие групповые рамки, ни в какие рубрики «измов», «школ» или «течений».

Он не закончил университета: сперва оторвала война, потом увело писательское призвание. Однако среди многих знакомых мне филологов и философов разных стран мало кто сравним с ним по необычайно широким и вместе с тем глубоким знаниям философии, богословия и прежде всего литературы — не только немецкой, но и французской, английской, русской, польской, американской, латиноамериканской.

Сейчас, когда вдова и сыновья разбирают его библиотеку, они обнаруживают десятки разнообразных книг с его закладками, пометками на полях, записями на отдельных листках. Он был истинным гражданином той международной республики духа, о которой мечтали еще просветители, о которой писал Гёте, впервые сформулировавший само понятие «мировая литература».

Он с детства много, жадно читал. Любил Клейста, Жан Поля, Штифтера, Гёльдерлина, Шторма, любил Диккенса, Бальзака, Честертона... В юности его увлекали художественные произведения и богословские трактаты католических писателей Леона Блуа и Жоржа Бернаноса. Но ближе всего ему была русская литература.

Семнадцати лет он впервые прочитал «Преступление и наказание» и «Идиота». После этого охотился за книгами Достоевского и так же целеустремленно разыскивал книги Толстого, Гоголя, Гончарова, Тургенева. Уже после войны открыл Хемингуэя, Фолкнера, Сэлинджера, Кафку, Пруста, Анну Зегерс и Шолохова, Паустовского, Пришвина.

Юношеская одержимость Достоевским стала постоянной глубокой привязанностью.

В октябре 1966 года в Москве он вместе с Анной Зегерс смотрел в студии фильм Алова и Наумова «Скверный анекдот» по Достоевскому. Так же как Анна Зегерс, он возражал против «беспощадности» сценаристов-режиссеров: они изображали «маленьких людей» куда суровее, чем Достоевский.

Генрих говорил (моя дневниковая запись, 4 октября 1966 г.): «Мне не хватает сострадания. У вас все очень талантливо, внутренне последовательно построено, соответствует художественной логике. Но рассказ Достоевского менее жесток, чем ваш фильм. Вы не оставляете герою ничего, буквально ничего. Он даже не мужчина».

Позднее он нас тревожно спрашивал: «Я не слишком резко их критиковал? Они мне очень понравились».

В ту осень он заканчивал работу над сценарием «Достоевский и Петербург», которую начал в предшествовавшем году в Москве и в Ленинграде. И в этот раз мы поехали с ним в Ленинград. Внук писате

ля, инженер А. Ф. Достоевский, истовый блюститель памяти и литературного наследия деда, водил нас по «маршруту Раскольникова» и по всем местам, связанным с жизнью и произведениями Достоевского.

Генрих написал сценарий, как он говорил, «не биографический и не иллюстративный». В нем часто звучали слова Достоевского: большие отрывки — описания Петербурга, мысли о Городе. Бёлль сам читал свои комментарии; они чередуются с голосами ленинградцев, отвечавших на вопрос: «Что значит для вас Достоевский сегодня?» Отвечают прохожие, случайно остановленные на улице, отвечает поэт Иосиф Бродский.

Сотрудники музея Достоевского показывают его очки, кошелек, письменный стол, посмертную маску... Снова и снова развертываются виды Петербурга — Ленинграда; предстает город, прекрасный, реально величественный и вместе с тем нереальный, как сновидение, пронизанный поэзией, искусством великих зодчих и холодно-суровый к «маленьким людям», строго, рационально построенный, но воздвигнутый на костях, на болоте — и, должно быть, поэтому иррациональный до безумия.

Этот фильм тогда не разрешили показывать в СССР: он не понравился чиновникам, ведавшим телевидением.

В 1971 году Бёлль отвечал на вопросы Манеса Шпербера о современном значении Достоевского: «Эпоха Достоевского и эпоха Толстого чередуются. Сейчас у нас — эпоха Достоевского».

Но сам он принадлежал обеим эпохам. Он не расставался с Толстым, перечитывал его рассказы и романы, читал исследовательские работы и мемуарные книги о Толстом; зимой 85-го года он говорил нам, что дневники Софьи Андреевны читает как художественную прозу.

Он написал послесловие к массовому немецкому изданию «Войны и мира» (1970)— «Попытка приблизиться», поэтическое и философское эссе. Решившись писать о Толстом, после многих лет влюбленного чтения он считал это лишь попыткой приблизиться. Фильм о Достоевском он тоже назвал в тексте своих комментариев «Попыткой приблизиться». И приглашал читателей к таким же попыткам. В творчестве самого Толстого, и в частности в «Войне и мире», он видел стремление гения приблизиться к исторической действительности, к пониманию судеб своих героев и судеб народов.

В этом эссе Бёлль размышляет о национальных особенностях художественного творчества, пишет о тех живучих предрассудках которые отягощают суждения о целых нациях. Такие предрассудки проникали даже в сознание Толстого и Достоевского, когда они порой высказывали обобщающие суждения о других народах, и в частности о немцах. Бёлль много писал о национальных мифах и о тех страшных бедствиях. которые причинило немецкому народу вырождение этих мифов в XX веке. Шовинистически изуродованные представления о русских людях возникали в Германии из невежества, из предрассудков и стали идеологическим оружием гитлеровцев. Подобные же грубо обобщенные представления — образы врагов — служат и сегодня пропаганде «холодной войны».

В послесловии к «Войне и миру» Бёлль доказывает, что художественная литература воплощает необычайное многообразие характеров и судеб людей одного народа. «Кто больше русский — Толстой или Достоевский?.. Разве Эдгар По больше американец, чем Джек Лондон? Разве Штифтер больше немец, чем Гейне?»

Примеры из книг Толстого, из истории русской литературы приводят Бёлля к заключению, которое он выражает словами Толстого: «Одно из самых обычных и распространенных суеверий то, что каждый человек имеет одни, свои определенные свойства, что бывает человек добрый, злой, умный, энергичный, апатичный и т. д. Люди не бывают такими. Мы можем сказать про человека, что он чаще бывает добр, чем зол, чаще умен, чем глуп, чаще энергичен, чем апатичен, и наоборот; но будет неправда, если мы скажем про одного человека, что он добрый или умный, а про другого, что он злой или глупый. А мы всегда так делим людей. И это неверно. Люди как реки: вода во всех одинаковая и везде одна и та же, но каждая река бывает то узкая, то быстрая, то широкая, то тихая, то чистая, то холодная, то мутная, то теплая. Так и люди. Каждый человек носит в себе зачатки всех свойств людских и иногда проявляет одни, иногда другие. И бывает часто совсем не похож на себя, оставаясь все между тем одним и самим собой» («Воскресенье»).

Бёлль видит в этих толстовских мыслях не только «попытку приблизиться» к истине об одном человеке, но и возможность приблизиться к пониманию самого Толстого и — главное — к пониманию каждого народа, каждой нации.

В моем дневнике есть такие записи: «23 февраля (1972 г.). Говорили с Г. о Короленко, о его завете: «Ищите человеческое в каждом человеке». Оказывается, он и Короленко читал. Вспоминает повести Короленко («Без языка», «В дурном обществе»), рассказы Лескова; впервые прочитал их в сборнике еще до войны. Тогда же ощутил: они очень хорошие и притом очень русские, очень украинские — еще и потому хорошие. Но в чем их русскость и их украинскость — не мог объяснить тогда и сейчас не может. А это ему нужно понять; он хочет писать о рейнском начале в Гейне, Герресе, Марксе, Варнхагене фон Энзе — они прежде всего рейнцы».

24 августа (1979 г.) Генрих (отвечая на вопрос журналиста о национальном самосознании): «Я — немец. Рейнский немец. Не пруссак. У нас на Рейне Пруссию не любили. Поэтому всегда сильны были сепаратистские настроения. Мой отец еще мечтал об отдельном рейнском государстве, еще жил традициями «культуркампфа», рассказами о том, как католические дети тайком причащались в сараях, скрывая это от прусских чиновников-протестантов. Вот и Аденауэр был таким же, как мой отец, для него на правом берегу Рейна уже начиналась Сибирь... Но мы, рейнцы, считаем себя хорошими немцами — не хуже, а даже лучше пруссаков».

II

Генрих Бёлль был редкостно прилежным и благодарным читателем. Его рецензии на книги, которые ему нравились, и на такие, которые его сердили, уже сейчас составляют два тома, а собраны еще далеко не все статьи и заметки, опубликованные в газетах, журналах, передававшиеся по радио. Многие из них посвящены книгам современных русских авторов — Паустовского, Синявского, Солоухина, Солженицына, Трифонова и других. Он писал отзывы не только для печати, но и для издательств — на немецкие рукописи и на иностранные книги, которые рекомендовал перевести.

Он писал статьи на философские, политические, богословские и литературоведческие темы, выступал на собраниях — не только литературных,— участвовал в дискуссиях, давал интервью, встречался с читателями, школьниками... Но прежде всего он был писателем — прозаиком, стихотворцем, драматургом, эссеистом, переводчиком. Вместе с Аннемари он переводил произведения Сэлинджера, драмы Биена, книги многих английских и американских авторов.

Как своеобразная «попытка приблизиться» к самому себе звучит его стихотворение «Моя Муза» [4].

Моя муза стоит на углу
За дешево отдает она каждому
То, чего я не хочу
Когда она весела
Она дарит мне то, что мне хочется
Но редко я видел ее веселой

Моя муза монашенка
В темном доме
За двойной решеткой
Она может замолвить своему возлюбленному
Доброе слово обо мне

Моя муза работница на фабрике
В свободные часы
Она хочет идти танцевать со мною
Но в ее свободные часы
У меня нет времени

Моя муза старуха
Она бьет меня по пальцам
И скрипит сухою кожею рта
Напрасно, дурак
Дурак, напрасно

Моя муза домохозяйка
Но в ее шкафу
Не белье, а слова
Изредка она открывает дверцы
И выдает мне одно из них

. . . . . .

Моя муза немка
Она не может защитить меня
Но когда я купаюсь в крови дракона
Она кладет руку мне на сердце
И я остаюсь раним

Он сознавал, как многолика его муза — уличная продавщица, монашенка, работница, домохозяйка... И сознавал свою неразрывную связь с немецкой словесностью, с ее древними истоками, с легендой о Зигфриде, который купался в крови дракона, чтобы стать неуязвимым (Драхенфельс — «Драконова гора» — на правом берегу Рейна недалеко от Кёльна).

К творчеству Бёлля причастны все его музы. Он ладил или спорил, радовался или печалился с ними; и его сердце поэта всегда оставалось ранимым.

[4] В другой редакции это стихотворение в переводе Л. Копелева было опубликовано в «Новом мире», 1972, № 1. *(Прим. ред.)*

Группа французских писателей обратилась ко многим современным литераторам с вопросом: «Почему вы пишете?»

Генрих Бёлль ответил: «Потому что я люблю писать. Мне доставляет радость что-то строить, конструировать... Писать — это прежде всего желание что-то создавать».

На стенах его рабочей комнаты висели своеобразные рисунки: разноцветные линии устремляются слева направо, то пересекаясь, то сплетаясь по две, по три, то вновь разбегаясь или обрываясь. Так он прорисовывал судьбы действующих лиц своих романов. Они часто как бы обретали самодвижущую силу, подчиняясь внутренней логике характеров и событий. Тогда он уже не столько распоряжался ими, сколько следил за движениями линий, сопрягал, согласовывал их между собой.

Но он никогда не был поэтом, который «поет как птица», самозабвенно предаваясь стихии творчества. Во всем, что он писал, Бёлль был неизменно верен внутреннему закону, который сам определил в речи «Язык — прибежище свободы»:

«Тот, кто имеет дело со словом и относится к нему так пристрастно, как, признаюсь, отношусь я, тот не может не сознавать, что слова в нашем мире — расщепленные существа. Едва произнесенные или написанные, они преобразуются и возлагают на произнесшего или написавшего такую ответственность, которую тот лишь редко может нести в полной мере».

В этой речи он признается, что подчинен «инстанции, казалось бы не имеющей отношения к художественному творчеству, а именно — совести. Не той писательской совести, с которой каждый художник ежедневно советуется в укромном уголке, проверяя, не отступил ли он от своего искусства хотя бы на волосок — на пропасть шириною в волосок, а совести общественного человека».

«...Ведь это не случайно, что всегда там, где дух представляется опасным, прежде всего запрещают книги, подвергают строжайшей цензуре газеты, журналы, радиопередачи... Во всех государствах, где властвует террор, слов боятся едва ли не больше, чем вооруженных восстаний, и нередко их вызывают именно словом. Язык может стать последним прибежищем свободы... Слова действуют — мы это знаем, мы это испытали на своей шкуре. Слова могут готовить и вызывать войну, но не всегда слова приводят к миру. Слово, предоставленное бессовестному демагогу или оппортунисту, может стать причиной гибели миллионов людей... Мне достаточно напомнить хотя бы только слово: еврей. Завтра это могут быть другие слова: атеист или христианин, коммунист, или конформист, или нонконформист. Выражение «если бы слова могли убивать» давно уже перешло из ирреального сослагательного наклонения в реальное изъявительное. Слова могут убивать. И поэтому это вопрос единственно лишь совести — не позволять, чтобы наш язык опускался до тех уровней, где он становится убивающим».

Совесть Генриха Бёлля была его соавтором, его главным редактором и первым критиком.

Совесть как нравственно-творческий закон, сознание ответственности за каждое

слово определяют все его творчество. Именно этим он так близок русской литературе, близок тем традициям, которые развивались в творчестве писателей, казалось бы, совершенно различных,— таких, как Герцен и Достоевский, Щедрин и Лев Толстой. Общие основы нравственного мироощущения при самых различных мировоззрениях, противоречивых философских и политических взглядах присущи всем значительным русским писателям. Для них совесть — это столько же нравственная, сколько и эстетическая сила, неусыпный «внутренний цензор», неизменный критерий и в художественном творчестве, и в публицистике. Этот нравственно-творческий закон, действенный во все времена, при всех сменах идеологий и литературных стилей, дал основание Томасу Манну писать и говорить о «святой русской литературе».

Близость Генриха Бёлля к русской духовной культуре — к ее классическим традициям и современности — существенная особенность его собственного нравственно-творческого развития. Но вместе с тем он и в этом наследует давние плодотворные традиции немецкой литературы — традиции Пауля Флеминга (1609—1640) — автора стихов о Москве, о Новгороде, поэтических свидетельств его любви к русским городам и к русским людям, традиции Райнера Мария Рильке, Томаса Манна и многих других немецких писателей, поэтов, чье творчество черпало силу и из глубин русского духа.

III

В 1967—1968 годах в ФРГ, так же как во Франции, в США и в некоторых других странах, возникло бурное молодежное движение протеста против войны во Вьетнаме, против гонки вооружений, против опасностей непреодоленного фашизма. Ведущими силами этого движения были главным образом студенческие организации, анархистские, маоистские, троцкистские и другие леворадикальные группы.

По мере спада массовых стихийных выступлений внепарламентской оппозиции выделялись немногочисленные, но чрезвычайно активные экстремистские кружки, которые хотели «прямыми действиями» ослабить государство и пробудить «революционные силы масс». Сначала они воевали только против материальных ценностей: поджигали здания банков, универсальных магазинов, жгли автомашины. Позднее они перешли к убийствам и похищениям заложников. По данным полиции, к террористическим организациям принадлежали несколько десятков «боевиков». Им помогали укрываться «сочувствующие», которых насчитывалось несколько сотен. Молодые фанатики называли себя «авангардом пролетарской социальной революции», но были бесконечно далеки от рабочей среды. Большинство их составляли отпрыски состоятельных семейств: буржуазных, пасторских, чиновничьих, интеллигентских; было даже несколько детей видных нацистов — они хотели так «искупать грехи отцов».

Само по себе это было угрожающе: девушки и юноши, одержимые бредовыми волюнтаристски-революционными идеями, не щадили ни себя, никого вокруг, становились бесчеловечно жестокими убийцами. К тому же, их действия возбуждали и усиливали активность реакционной пропаганды, разжигавшей страх и ярость миллионов обывателей. Многие газеты, радио, телевидение панически взывали к бдительности, нагнетали атмосферу гражданской войны, представляя уже всех «левых», всех бородатых юношей, всех девушек в джинсах, всех читателей левых газет, пацифистов, забастовщиков опасными врагами государства и общества.

Бёлль выступил против этой политической истерии, против насаждения психологии линчевателей. Он призывал изучать социальную действительность с тем, чтобы понять причины дикой войны, которую кучка фанатиков объявила государству, понять идеологическую и психологическую природу той среды, которая их вырастила, им сочувствует.

Этим он сразу же вызвал на себя огонь. Журналисты и правые политические деятели объявили его ни много ни мало «вдохновителем террористов». В его дом в деревне и в дом его сына в Кёльне ворвались полицейские, искавшие спрятанных террористов, причем бульварная газета «Бильд» сообщила об этих обысках за несколько часов до того, как они начались. Сами полицейские чувствовали себя очень неловко, извинялись перед писателем, которого знали и чтили, но они выполняли приказ.

Это происходило летом 1972 года. А осенью того же года Генриху Бёллю была присуждена Нобелевская премия по литературе. В решении Нобелевского комитета отмечались не только высокие художественные достоинства его творчества, но и его международная нравственная значимость. Комитет подтвердил то, что уже много лет знали читатели Бёлля в Москве и Париже, в Лондоне и Варшаве. После войны, после Ковентри и Освенцима, Лидице и Орадура, у миллионов людей Восточной и Западной Европы остались неприязнь и недоверие к Германии, к немцам. Произведения Бёлля и его общественная деятельность помогали рассеивать эти недобрые чувства, помогали восстанавливать доверие к немецкому народу и развивать дружеские связи между странами, помогали более действенно, чем все дипломатические пакты, все официальные посольства и делегации.

Тем более чудовищными представляются озлобленные комментарии консервативной печати к Нобелевской премии Бёлля. Его обвиняли в «очернительстве», в «поношении своего народа», в отсутствии патриотизма — потому что он открыто высказывал все, что думал нелестного об иных государственных деятелях, все, что знал о благоденствующих нацистах, о проявлении непреодоленной нацистской идеологии. Кампании яростной травли повторились в 1977 году после новых террористических актов. Газеты концерна Шпрингера заходились от ненависти к Бёллю, называли его «интеллектуальным предшественником» террора. Безобразная и бессмысленная травля зашла настолько далеко, что Бёлль обратился в суд, и Федеральный суд признал некоторые публикации злонамеренной

клеветой, и главный редактор газеты «Вельт» был осужден и оштрафован.

Травля улеглась, но шрамы на сердце и нервах Бёлля остались и приблизили его кончину.

Ненависть его врагов не остывает и по сей день. И в этом одно из самых достоверных подтверждений его бессмертия.

Многие кёльнцы предлагали присвоить имя Бёлля одной из улиц, на которых он жил, установить мемориальные доски на домах. После долгих — постыдно долгих — споров в Городском совете именем Бёлля назвали новую площадь между тыльной стороной Кёльнского собора и новым музеем искусств. Собор и музей «прописаны» по своим улицам, других зданий на площади нет. Никто не живет, ни одно учреждение не значится по адресу «Площадь Генриха Бёлля». Мемориальных досок тоже пока нет. Правда, несколько школ носят теперь его имя, но это решили сами преподаватели, родители и учащиеся.

Злопамятной враждебностью к выдающемуся соотечественнику отличаются не только — и отнюдь не все — члены консервативной партии ХДС, но и некоторые либералы и социал-демократы. Политиканы, болтуны и карьеристы, которые есть во всех партиях, не могут забыть писателю ни прямых обличений в его памфлетах и речах, ни тех саркастических страниц его рассказов и романов, в которых они узнавали себя. Глубоко верующий христианин, он не мирился с тем, что партия называет себя христианской, считая, что понятие «христианство» выше всех политических программ и партийных свар. Искренний католик, он в 1976 году официально «вышел из церкви», так как убедился, что церковные сановники в ФРГ превратили церковь в партийную организацию. В 70-е годы он поддерживал на выборах социал-демократов, но неоднократно резко критиковал правительства Брандта и Шмидта и некоторых социал-демократических функционеров.

В последние годы он был близок к «зеленым», но им тоже от него не раз крепко доставалось.

Он был другом нашей литературы, нашей страны; верным и потому взыскательным другом Без обиняков он говорил о том, что находил у нас дурным, нелепым, вредным. Когда в 1964 году судили И. Бродского, в 1966 году — А. Синявского и Ю. Даниэля. когда 21 августа 1968 года наши танки вторглись в Прагу, когда в 70-х годах изгоняли А. Солженицына, В. Аксенова, В. Некрасова, Г. Владимова, В. Войновича, когда в 1976 году был смертельно избит «неизвестными» Константин Богатырев, а его гибель скрывали, когда Андрей Сахаров был арестован и без суда и следствия выслан, изолирован, оклеветан в печати, Бёлль немедленно откликался: писал статьи и прошения. говорил по радио, по телевидению и в доверительных беседах с советскими дипломатами и журналистами он протестовал, ходатайствовал, умолял, снова и снова пытался доказывать, объяснять, что расправа с великим ученым и с писателями, которые открыто высказывали критические мысли, губительна не только для преследуемых, но и для всей общественной, культурной жизни.

Однако именно эта живая, деятельная любовь Генриха Бёлля к нашей стране вызывала раздражение, неприязнь влиятельных сановников застоя. В 70-е годы он стал для советской печати «персоной нон грата».

Только летом 1985 года, впервые после более чем десятилетнего перерыва, было напечатано «Письмо к сыновьям».

Жизнь и творчество Генриха Бёлля открыты настежь — он просто не умел скрывать своих мыслей, не умел дипломатически маневрировать, не отступал от того, что считал правильным и тогда, когда был президентом немецкого, а потом международного ПЕН-клуба, и когда ему приходилось вести переговоры с государственными деятелями, с окололитературными функционерами, и тогда, когда он писал отзывы на книги, даже на произведения своих друзей.

Стремление к правде присуще всей его жизни и всем его произведениям; оно сказывается и в судьбах вымышленных персонажей, в том, как они ведут себя в вымышленных обстоятельствах. Но «справедливость без сострадания жестока» — эта строка из стихотворения Бёлля, посвященного Руди Дучке, одному из вожаков студенческого движения, может служить эпиграфом ко всему творчеству и ко всей общественной деятельности Генриха Бёлля.

Ромен Роллан говорил о Льве Толстом, что тот умел «преодолевать противоречия между правдой и любовью». В этом Бёлль — прямой наследник Толстого. Он преодолевает неразрешимые для многих писателей противоречия между суровой правдой и добрым юмором, между язвительной сатирой и живым состраданием.

Именно такое преодоление воплощает роман «Заботливая осада».

IV

Этот роман вызвал у многих читателей недоумение, а в критике — и восторженные отзывы, и злые нападки.

Давние противники Бёлля повторяли старые обвинения: «очернитель»... «видит в своей стране только разложение, грязь, пороки»... «сочувствует террористам»...

Но сердитые голоса звучали и с прямо противоположной стороны: «идеализирует реакционера... сочувствует капиталисту... изображает полицейских чуть ли не героями...»

Литературные снобы с обеих сторон скорбно ахали: «Да это же тривиальный детективный роман»... «автор подыгрывает невзыскательным читателям»... «сочинил приключенческую фабулу, сдобренную эротическими пряностями»...

Но, как обычно, большинство читателей приняло и этот «необычный» роман Бёлля. Дольше года он был в списках бестселлеров.

«Заботливая осада» возмутила одних критиков тем, как изображена патриархальная католическая семья: она распадается; сыновья причастны к ультралевым движениям, даже к террористическим организациям, один из них уже сидел в тюрьме; дочь обманывает и покидает мужа, внук поджигает дом деда... Однако родители — набожные католики — сочувствуют сво

им непутевым детям. Неумолимая индустриализация разрушает природу.

Другие критики гневались на то, что капиталист, глава Союза предпринимателей и газетного треста, чья судьба напоминает биографию Акселя Шпрингера — владельца газет, жестоко травивших Бёлля,— предстает в романе хорошим человеком, который тяготится «благополучной» судьбой, тоскует по своей голодной молодости и говорит, что верит в будущее торжество социализма.

Всего три дня продолжается действие романа. Эти дни насыщены драматическими событиями, в них развертываются характеры и проступают судьбы людей разных поколений и разных общественных состояний. Предельно ограничены и время и пространство: «маленький дворец», в котором живет семейство Тольм, маленькая деревня вблизи от него, пасторский дом... Но отчетливый хронотоп связан воспоминаниями действующих лиц с другими временами, связан их семейными, дружескими и деловыми отношениями с другими людьми и странами.

«Заботливая осада» — полифонический роман. В нем равноправно звучат разные голоса. События предстают в разных восприятиях, об одних и тех же проблемах судят разные люди. Иногда это прямо противоположные восприятия и суждения. Некоторые из действующих лиц являют собой типические социальные характеры, но основное действие определяют не типичные персонажи, а *личности*, неповторимые индивидуальности. Именно таковы и главный герой Тольм, и полицейский Губерт — душевно здоровый человек, искренне убежденный в необходимости охранять порядок и в то же время быть милосердным. Он — добропорядочный католик и семьянин, однако внезапное случайное сближение с дочерью Тольма которую он должен охранять, становится неотвратимой страстью, мучительной, потому что он любит свою жену и сына. Рольф и Герберт — сыновья Тольма, по-разному «левые» — столь же мало типичны, как и их отец-консерватор. Он все еще помнит коммунистов 20—30-х годов — рабочих, веривших в Сталина, в Москву; и сыновья стараются объяснить ему, как далеки от них «типичные» немецкие коммунисты 70-х годов.

Прочитав «Заботливую осаду» в первый раз, я порадовался неистощимой силе фантазии Бёлля, понимая, что и эта книга, как все, что он пишет не укладывается в прокрустовы лежанки каких-либо идеологических схем. Но тогда роман показался мне прежде всего очень занимательным, по-бёллевски ироничным и мастерски сработанным — однако именно *злободневным* романом-эссе, запечатлевшим насмешливые и печальные размышления автора о той опасной безопасности, которая возникла в ФРГ в 70-е годы.

Сам Бёлль писал, что в этом романе представлены люди четырех категорий, или групп.

«*Охраняемые* — руководящие экономические или политические деятели, чье положение делает их возможными жертвами террористических покушений. *Те, от кого их охраняют*,— изобличенные террористы, лица, подозреваемые в том, что могут стать террористами, и лица, дружески связанные с теми и другими. *Охранители* — полицейские, которые по семейным и служебным обстоятельствам оказываются вовлеченными в конфликты. *Пострадавшие от охраны* — лица, дружески связанные с кем-либо из первых трех групп, которым все охранительные меры оказываются в тягость либо вредят их профессиональной, семейной, интимной жизни. Эти меры направлены не против них, но втягивают их в охранительную сеть, из чего возникают конфликты и проблемы, совершаются поступки, никакого отношения к терроризму не имеющие».

Эту книгу я перечитал девять лет спустя, уже после того, как сам несколько раз наблюдал «систему безопасности» в Бонне и в других городах ФРГ, слышал и шутки, и сетования «охраняемых». Локи Шмидт, жена бундесканцлера, говорила: «Мы — лучше всего охраняемые заключенные в этой стране».

Все, что в романе раньше представлялось искусно изображенными, но все же нарочитыми, даже гротескными преувеличениями, оказывалось реальностью, обыденностью. Так, например, священник-вольнодумец, покровитель Рольфа, сына Тольма, казался необычайным, исключительным явлением. Но в эти годы мы встречали священников «рейнских католиков», искренне верующих и в то же время скептичных, которые пренебрегают иными догмами, дружат с «зелеными» и критически относятся к папе.

Когда Бёлль умер, кёльнский кардинал заявил, что считает недопустимым церковное погребение, так как Бёлль сам в свое время порвал с церковью. Но друг писателя, сельский священник патер Герберт Фалькен, сказал: «Хотя бы даже сам папа запретил, но я похороню Генриха так, как он этого хотел, по обряду нашей церкви».

Патер Фалькен отслужил заупокойную мессу в сельской церкви, читал Нагорную проповедь, которую особенно любил Бёлль, и отрывки из письма Ван Гога о смысле искусства. В заключение он призвал всех молиться, как молился Бёлль, «за мир и разоружение. за готовность к диалогу, за справедливое распределение земных благ, за взаимное понимание между народами и за искупление той вины, которая тяготеет прежде всего над нами, немцами».

Процессия от церкви к кладбищу шла вслед за цыганским оркестром (Бёлль был одним из тех, кто добивался от правительства ФРГ признания за цыганскими племенами синти и рома статуса жертв фашизма. Нацисты уничтожали их так же, как евреев, то есть «как расу». Родственники погибших и немногие уцелевшие в лагерях смерти нуждались в пособии).

Семья Бёлля хотела, чтобы в прощании участвовали только родные и ближайшие друзья. Но уже в церкви на задних скамьях сидели и на кладбище в последних рядах шли президент ФРГ Рихард фон Файцзекер, обер-бургомистр Кёльна Норберт Бургер, несколько членов правительства и Городского совета. На всех правительственных зданиях в эти дни флаги были приспущены. Государство почтило

память строптивого гражданина — замечательного писателя и гуманиста.

Семья Бёлля не хотела допускать фото-, теле- и кинорепортеров ни в церковь, ни на кладбище. Специальные объявления с этой просьбой были вывешены на видных местах. Однако многочисленные фотографы и операторы толпились у дверей церкви, на улице и на кладбище, между могилами. Патер Фалькен прервал молитву и потребовал, чтобы они перестали снимать, уважая волю покойного и его семьи.

Об этих горестных часах я вспоминал, перечитывая «Заботливую осаду»,— гравюрно четкие описания «масс-медиа», от которых не спасает никакая охрана (Тольм даже о беременности своей дочери узнает из газет).

V

Конкретная историческая действительность, из которой вырос роман, предстает во многих подробностях и в общей атмосфере. В 70-е годы во многих процветающих городах Западной Германии, Франции, Италии, Голландии, Швейцарии, США возникала атмосфера благополучного бездуховного застоя; людям становилось душно от сытой, рекламно-разноцветной, но монотонной повседневности, и они вырывались из нее в нарочитую нищету общежитий-коммун, в надсадную похабщину «сексуальной революции», в наркотическое забвение, в исступленную какофонию поп-музыки... А самые решительные, самые отчаянные уходили в ту придуманную, вычитанную революцию, которой их соблазняли тайные содружества: «Фракции Красной Армии», «Красные ячейки» в Германии, «Прямое действие» во Франции, «Красные бригады» в Италии и другие.

Историкам и социологам еще предстоит исследовать природу этой застойной атмосферы, которая в 70-е годы создавалась в самых разных общественных и материальных условиях — не только в России при Брежневе, но и в США при Никсоне и Картере, и в странах Западной Европы при социал-демократических и при консервативных правительствах.

Однако не одни лишь свидетельства действительности усиливали и обогащали впечатление от вновь прочитанной книги. На расстоянии прошедших лет мне стало ясно, что этот роман, так прочно укорененный в своем хронотопе, вместе с тем значим далеко за пределами того времени и места, которыми ограничена его фабула, значим и художественно, и нравственно, и философски.

«Заботливая осада» — книга о свободе, об исконном стремлении человека к свободе души и мысли, свободе в общественной и в личной жизни. Множество препятствий ограничивают людей в бытии и в быту, ограничивают свободу любви и свободу жить по призванию. Эти препятствия создают государство, церковь, сословные предрассудки, имущественные связи, унаследованные или благоприобретенные обязательства, сознание долга, сострадание и многоликие страхи. Страх перед внешними угрозами, перед убийцами, похитителями, страх перед всепроникающей системой безопасности, перед надзором за каждым шагом, каждым словом и страх перед общественным мнением, перед властью семьи, опасение причинить боль своим близким.

Это книга о неразрешимых противоречиях между поколениями, общественными группами, между детьми и родителями, о противоречиях, создаваемых различиями идеалов и идеологий, различиями в жизненном опыте и в отношении к миру.

Читатели с иными взглядами, иным опытом, чем у меня, разумеется, найдут в «Заботливой осаде» и еще другие темы и предметы для размышлений. И в этом романе Бёлль не поучает, не возвещает ничего, не проповедует, а прежде всего рассказывает и предоставляет рассказывать своим персонажам, размышляет вместе с ними о них и о том, что его поражает, радует, вызывает сомнения; либо задает вопросы, на которые он не находит ответа. Этот роман, как и большинство произведений Бёлля,— открытая книга, открытая и для сочувствующих, и для противоречащих, спорящих, для всех думающих, неравнодушных читателей.

Повторное чтение «Заботливой осады» напомнило мне одно давнее и очень важное для меня событие.

Церковь Покрова на Нерли я увидел впервые издалека за несколько километров. Мы ехали на машине, дорога после сильных дождей была размыта, и мы пошли через луга. На горизонте, на холме, виднелся величественный храм, темневший на фоне утреннего голубого неба. Но по мере того как мы приближались, он словно бы уменьшался. Подойдя совсем близко, мы увидели светлую церковь; она радовала стройным, ладным согласием всех очертаний, однако не подавляла, не поражала размерами была, скорее, небольшой. Но когда мы пошли обратно, мы все — а нас было несколько человек — увидели, что по мере удаления церковь росла, становилась выше просторнее; издали снова был виден величественный, огромный храм.

И тогда внезапно озарило: это явственное противоречие — «оптический парадокс»—символ вечной тайны искусства. Чем дальше от него, тем оно величавей; растет с ростом расстояния. Данте и Шекспир, Пушкин и Гёте растут по мере удаления во времени и в пространстве: новые люди других стран, других эпох открывают в их творениях новые сокровища, которых не усмотрели современники, не сознавали и сами авторы.

О «тайне Покрова на Нерли» — тайне бессмертного искусства, растущего от удаления, напоминает и творчество Генриха Бёлля. Его первые рассказы, написанные более сорока лет назад на пепелищах Кёльна обретают сегодня новую жизнь на других языках, в других странах. Его произведения недавних лет, переведенные и опубликованные в Москве и в Нью-Йорке, во всех европейских странах, в Японии, в Китае, в Индии, сегодня живут одновременно в условиях самых разных стремительно развивающихся социально-культурных эпох.

Тем самым они уже выдержали первое испытание на бессмертие — испытание пространством и временем.

Навстречу нашим публикациям

Т. С. ЭЛИОТ

«УЛИСС», ПОРЯДОК И МИФ

Т. С. Элиот. Рисунок Уиндема Льюкса, 1938 г.

Со следующего номера журнал начнет печатать роман Джеймса Джойса «Улисс». Предваряя публикацию, мы предлагаем вниманию читателей одну из наиболее известных и основополагающих работ в мировой джойсиане — статью «Улисс», порядок и миф», принадлежащую классику англо-американской поэзии XX века, драматургу, литературному критику Томасу Стернзу Элиоту (1888—1965), столетие со дня рождения которого отмечается в этом году.

«Улисс» был опубликован в Париже в феврале 1922 года статья Элиота появилась в ноябрьском номере журнала «Дайл» в 1923 году, в самый разгар бурных, даже ожесточенных споров о романе. Критики, литературоведы, писатели и читатели столкнулись с произведением, решительно ни на что не похожим. В нем все было как-то не так — сюжет, который практически отсутствовал, герои, о внутренней жизни которых говорилось в десятки раз больше, чем о внешней, стиль, который, как хамелеон, менялся от главы к главе. Впрочем, и глав не было в этой книге — автор настаивал, чтобы их называли эпизодами.

Даже самые искушенные литературные авторитеты не могли разгадать замысла, внутреннего плана романа. Сам же автор тщательно скрывал свои намерения, на вопросы предпочитал не отвечать, в лучшем случае отшучивался. Иными словами, он предоставил своим апологетам и оппонентам безграничные возможности теряться в догадках и спорить до хрипоты. При этом внимательно и весьма пристрастно следил за всеми выступлениями в печати.

В прессе же происходило следующее. Критик «Санди экспресс» с возмущением писал, что Джойс замахнулся на «святая святых» — христианскую этику, нравственный фундамент человечества. Рецензент такого солидного издания как «Куотерли ревью», в сердцах воскликал, что книгу Джойса невозможно читать, ее не должно цитировать, что она надругательство над хорошим вкусом и чистое издевательство над читателями. Ричард Олдингтон одобрительно встретивший ранние произведения Джойса, теперь опасался, что «Улисс» окажет отрицательное нравственное и эстетическое воздействие на всю будущую литературу. Его озабоченность разделял Арнольд Беннетт.

С другой стороны апологеты безоговорочно называли Джойса «гением». Правда, и среди них были такие, кто считал, что «Улисс» — «слишком тонкое блюдо» для обычного читателя. Эзра Паунд и известный критик Эдмунд Уилсон спорили, насколько Джойс следует традиции Флобера; Валери Ларбо, переводчик «Улисса» на французский язык, считал, что Джойс столь же велик, как Рабле, а его Блум столь же бессмертен, как Фальстаф. Шоу писал, что «Улисс» — это дерзкое изображение омерзительной фазы в развитии нашей цивилизации, при этом очень правдивое, с которым обязан познакомиться каждый ирландец». Суждения, мнения, оценки без труда можно множить.

К началу 20-х годов Элиот был уже признан в литературных кругах как реформатор поэзии и ее теории, как законодатель литературной критики. За плечами у него была диссертация «Опыт и объекты познания в философии Ф. Г. Брэдли» (1916), работа в имажистском журнале «Эгоист» (1915—1922), где, к слову сказать, печатались эпизоды «Улисса» до появления романа отдельной книгой и статья-манифест «Традиция и индивидуальный талант» (1919). В 1922 году Элиот начал издавать собственный журнал «Критерион». Его взгляды в области теории были им изложены в книге «Священный лес» (1920).

К суждению Элиота, безусловно, прислушались. Оно подействовало отрезвляюще на разгоряченные умы не только потому, что принадлежало маститому литератору, но, в первую очередь, потому что в этой лаконичной статье была схвачена суть нового метода Джойса. Элиот первым обратил внимание на безличность, объективность письма Джойса, на использование мифа в романе и на создание особого стиля и системы символов для каждой части книги.

Статья Элиота была и полемичной. Хотя он не всегда называл своих оппонентов, современники, конечно, мгновенно узнавали их — все было на слуху. Так, говоря о восприятии романа как своеобразных «подмостков, воздвигнутых... дабы явить миру свою реалистическую сказку», Элиот имел в виду Эзру Паунда, с которым позволил себе не согласиться. Ошибочными считал Элиот и суждения Олдингтона, который критиковал «Улисса» в «романтической» манере, чего

Элиот-«классицист» активно не принимал. Олдингтон предостерегал своих коллег по перу от увлечения методом Джойса. Элиот, напротив, полагал, что мифологический метод, открытый Джойсом в «Улиссе»,— будущее литературы.

Конечно, статья Элиота не разрешила всех споров о Джойсе. Скорее она еще резче обнажила различия в лагерях. Надо сказать, что эта статья занимает не только особое место в джойсоведении. Важна она и как документ, в котором изложены программные взгляды Элиота на искусство. В концентрированной форме, продумывая каждое слово, Элиот, в сущности, говорит о балансе субъективного и объективного начал в творчестве, который исключает «гипертрофию индивидуализма». По Элиоту, задача художника в том чтобы добиться такой нравственной и эстетической самодисциплины, когда становится невозможным «самовыражение, неизбежно приводящее к деформации объективного содержания жизни». Нравственный порядок порождает порядок эстетический при этом живое содержание жизни пропускается через индивидуальность художника, а миру является истина, которой и стал в случае с Джойсом «Улисс».

Важно, что, давая оценку «Улиссу», произведению, как уже в 20-е годы почувствовал Элиот, эпохальному, эстетически и философски близкому ему самому, критик сумел подняться над личными пристрастиями, симпатиями и антипатиями и увидеть в книге главное — направление развития литературы. Ведь известно и частное суждение Элиота о романе высказанное в одном разговоре: «Блум нам ничего не говорит. А весь этот новый метод изображения психологии кажется мне бесперспективным».

Но видимо, такова уж судьба этой книги, которая сама давно стала мифом литературы XX века, что она даже самым сильным умам дает пищу для споров не только с оппонентами но и с самими собой, заставляет пересматривать хвалебные оценки или отказываться при повторном чтении от ниспровергающих суждений.

Е. ГЕНИЕВА

Книга г-на Джойса вышла достаточно давно, чтобы отпала необходимость воздавать ей хвалу в общих выражениях или увещевать тех, кто принижает ее достоинства, и эта книга вышла достаточно недавно, чтобы стало возможным предпринять хоть какую-то попытку осознать в полной мере ее место и значение. Единственное, что можно сейчас сделать — и это очень много для такой книги,— истолковать все аспекты ее (хоть число их неизвестно), которые еще не затрагивались. Я считаю эту книгу наиболее важным выражением нынешнего века; это книга, перед которой мы все в долгу и которая никого из нас не минет. Из этого я исхожу во всех своих рассуждениях о ней, и нет у меня желания красть у читателя время, произнося далее хвалебные речи: она меня удивила, восхитила и ужаснула — большего трудно требовать, вот, собственно, и все

Среди множества критических откликов на нее, которые я видел, я не встретил ни одного — за исключением по-своему ценной работы г-на Валери Ларбо, которая больше похожа на предисловие, нежели на критику,— где бы по достоинству оценивалось значение примененного метода — параллель с «Одиссеей», а также использование в каждом разделе соответствующих стилей и символов. Можно было бы ожидать, что именно эта особенность прежде всего обратит на себя внимание; но ее толковали как забавную проделку автора или рассматривали как подмостки воздвигнутые им, дабы явить миру свою реалистическую сказку, в привычной форме не представляющую никакого интереса. Критика, которой подверг «Улисса» несколько лет назад г-н Олдингтон [1], представляется мне неудачной именно из-за этой поверхностности взгляда: но поскольку г-н Олдингтон писал до того, как увидела свет вся работа, его неудача честнее, чем попытки тех, кто имел перед собой полный текст книги Г-н Олдингтон воспринял г-на Джойса как пророка хаоса и посетовал на поток дадаизма, который, как узрело его провидящее око, забьет, словно от удара волшебного посоха. Конечно, с моей точки зрения, неуместно судить о том, какое влияние может оказать книга г-на Джойса. Великая книга на самом деле может повлиять дурно, а книга посредственная в ином случае может оказаться весьма полезной Каждое следующее поколение само отвечает за собственную душу: гений ответствен перед равными себе — не перед собранием невежественных и развязных фатов. И все же трогательная забота г-на Олдингтона о недоумках имеет, как мне представляется, скрытый смысл, касающийся природы самой книги, с которым я согласиться не могу,— и это момент важный Он находит, что эта книга, если я правильно его понял, есть некий призыв к хаосу и выраженье чувств порочных, предвзятых, что она — искажение действительности Но если я не приведу собственные слова г-на Олдингтона, я рискую заслужить упрек в неточности. «Я утверждаю более того,— говорит он [2],— что, когда г-н Джойс, обладающий талантами чудесными, направляет их на то, чтобы вызвать у нас отвращение к роду людскому, он занимается делом неправым и клевещет на человечество». Это весьма напоминает мнение учтивого Теккерея о Свифте: «С точки зрения морали, полагаю, это ужасно бесстыдно, недостойно, богохульно: и как бы огромен и велик ни был этот Декан, говорю я, мы обязаны его освистать» (И это — о путешествии в страну гуигнгнмов, представляющемся мне одним из величайших триумфов коих когда-либо достигала душа человеческая! Правда, позднее Теккерей воздаст Свифту такую хвалу, какой едва ли когда-нибудь еще один человек удостаивал другого: «Так велик человек этот, что думать о нем для меня — то же, что думать о падении целой империи». Г-н Олдингтон, по нынешним временам, почти так же щедр.)

Вопрос о том можно ли оклеветать человечество (в отличие от вопроса о клевете в обычном смысле, то есть клевете на отдельного человека или группу людей, противостоящих всем остальным), достоин обсуждения в философских обществах, но,

[1] Ричард Олдингтон (1892—1962) — английский писатель.

[2] «Инглиш ревью», апрель, 1921. *(Прим. Т. С. Элиота.)*

безусловно, будь «Улисс» «клеветой», он оказался бы подделкой, бессмысленным обманом, который никогда, ни на минуту не привлек бы внимания г-на Олдингтона. Не имею ни малейшего желания задерживаться на этом: что действительно интересно, так это спорное определение г-ном Олдингтоном таланта г-на Джойса — «великий *неорганизованный* талант».

Думаю, мы с г-ном Олдингтоном в принципе стремимся к одному и тому же и оба считаем, что называется это классицизмом. Только поэтому я и выбрал г-на Олдингтона объектом своих нападок в этом споре. Мы согласны в том, к чему стремимся, но не в том, как этого достичь и какая современная литература ориентирована в нужном для этого направлении. Мы, полагаю придерживаемся единого мнения в том, что «классицизм» не является альтернативой «романтизму», и не станем, подобно консерваторам и либералам, республиканцам и демократам, становиться в позицию «кто не с нами, тот против нас». Классицизм — это цель, к которой стремится всякая хорошая литература, если она действительно хорошая, сообразуясь с возможностями места и времени Кто-то может быть «классицистом» в определенном смысле, отворачиваясь от девяти десятых того материала, который у него под рукой, и отбирая лишь мумифицированные музейные экспонаты,— таковы некоторые современные авторы, о которых можно было бы произнести в этой связи несколько крепких выражений, если бы они того стоили (г-н Олдингтон к их числу не принадлежит). А можно быть классицистом по художественному принципу, делая все, чтобы извлечь максимум возможного из имеющегося материала. Путаница возникает лишь потому, что термин применяется и к литературе, ко всей совокупности интересов и способов выражения, и к обществу, частью которого литература является, и в разных случаях смысл понятия не одинаков. Куда как легче быть классицистом в литературной критике, чем в художественном творчестве, ибо в критике ты ответствен лишь за собственные убеждения, а в творчестве ты ответствен за то, как сможешь распорядиться материалом, который ты просто должен пропустить через себя. В этот материал я включаю эмоции и переживания самого писателя они для него — просто материал, который он должен пропустить через себя, а не добродетели для возвеличивания или пороки для уничижения. Поэтому вопрос о г-не Джойсе стоит следующим образом: в какой степени он имеет дело с живым материалом и как он с ним обходится — как художник, не как законодатель или проповедник.

Именно в этом смысле огромное значение приобретает использование г-ном Джойсом параллели с «Одиссеей» Она имеет ценность научного открытия. Никто до него не строил роман на таком фундаменте: нужды в этом раньше не было. Я вовсе не считаю проблему решенной, называя «Улисс» «романом»; назовите его эпической поэмой — суть не изменится. Если это не роман, то лишь потому, что романная форма больше не работает; ибо роман не был формой, он был просто выражением века, не утратившего еще собственных форм настолько, чтобы появилась нужда вводить его в какие-то рамки. У г-на Джойса есть только один роман — «Портрет»; у г-на Уиндема Льюиса [3] есть только один роман — «Тарр». Не думаю, чтобы кто-то из них написал когда-нибудь еще один «роман» Роман кончился вместе с Флобером и Джеймсом. Полагаю, дело в том, что г-н Джойс и г-н Льюис, «опережая» свое время, сознательно или, может быть, бессознательно, ощутили неудовлетворенность романной формой, отсюда бóльшая бесформенность их романов по сравнению с романами дюжины умных писателей, не отдающих себе отчета в том, что она отживает свое.

Используя миф, постоянно выдерживая параллель между современностью и античностью, г-н Джойс прибегает к методу, которым следовало бы воспользоваться и другим. И они при этом были бы подражателями не более чем ученый, который применяет открытия Эйнштейна для осуществления своих собственных, независимых дальнейших изысканий. Просто это способ взять под контроль, упорядочить, придать форму и значение необозримой панораме пустоты и анархии, каковой является современная история. Это метод, черты которого уже были угаданы г-ном Йейтсом и необходимость которого г-н Йейтс осознал, думаю, первым из современников. Это метод, будущее которого обещает быть благоприятным. Психология (как таковая, вне зависимости от того, относимся мы к ней серьезно или нет), этнология и «Золотая ветвь» [4] вместе сделали возможным то, что было невозможным еще несколько лет назад Теперь, вместо метода повествовательного мы можем пользоваться методом мифологическим. И я вполне серьезно считаю, что это шаг к тому, чтобы сделать современный мир доступным для искусства, шаг к порядку и форме, к которым так искренне стремится г-н Олдингтон. И лишь те, кто тайно и без посторонней помощи достигли самодисциплины в мире, который мало чем этому споспешествует, могут оказаться способными и дальше развивать это направление.

Перевод с английского ЮРИЯ КОМОВА

[3] Перси Уиндем Льюис (1884—1957) — английский литератор и художник.

[4] Золотая ветвь. Исследование магии и религии (1923). Эта книга Джеймса Джорджа Фрейзера (1854—1941) — видного английского ученого — считается одним из наиболее значительных трудов, исследующих истоки религии.

◆

Антирубрика

НАУЧНО-ФАНТАСТИЧЕСКИЕ РАССКАЗЫ

РОБЕРТ ШТЕФФЕН

(Люксембург)

Дорогому папочке

...Номер моего счета — 345785/23. Прошу Вас переводить на этот счет ежемесячно 302 марки. Кроме того, долг в размере 35 809 марок (включая проценты) следует уплатить в течение ближайших тридцати дней. Бесконечно преданная Вам Марианна Юст.

Патер Холлер положил письмо на стол. Неплохо придумано. Могла еще написать и по-другому: «Любимый папочка! Живем мы хорошо. Но хотели бы жить еще лучше. Поэтому переведи нам денег». Нет, может, и вправду перевести? Дети, внимание! Смотрите доброму папочке в рукав! Сейчас, прямо у вас на глазах, он вытряхнет из него 36 000 марок. Дай еще, папочка, ты ведь хороший. Еще? Пожалуйста.

Патера разобрал смех. 36 000 марок! На ребенка, которого он никогда не видел, для женщины, которой ни разу не поцеловал. Отцовский долг. Алименты. Отец! Он расхохотался, едва прочитал в письме это слово. Монах — отец ребенка! Шутка. Блеф. Ничего умней не могла придумать. Высмотрела патера Холлера, благочестивый, богобоязненный, застенчивый. Никогда не видел обнаженной женщины. Патер Холлер — отец! Отче наш хлеб наш насущный даждь нам днесь. Стоимость хлеба 35 809 марок плюс 302 марки ежемесячно.

Человек патер Холлер был добрый и с чувством юмора. Он понимал, что это всего лишь шутка: для мошенничества слишком беспомощно. Не советуясь с аббатом, патер написал ответ:

Глубокоуважаемая фрау Юст! Почитал бы за честь оказаться тем, кто содействовал Вам в приобщении к радостям материнства. К сожалению, уже не один год мне воспрещает это данный мною обет. От всего сердца хотел бы послать Вам названную Вами сумму, если бы оказалось, что Вы действительно в ней нуждаетесь и если бы таковая у меня была. Но к сожалению. Вам в Ваших поисках попался нищенствующий монах, который не видит возможности, даже если бы он этого желал, удовлетворить Ваше требование.

Через неделю патер Холлер получил новое письмо, и тут он призадумался.

Уверяю Вас,— говорилось в письме,— что я вовсе не шучу. У меня есть официальная бумага, удостоверяющая, что отцом являетесь Вы. Так или иначе отцовство всегда может быть доказано при помощи соответствующих анализов. Свои претензии я предъявляю Вам на основании пункта второго статьи пятой параграфа третьего закона об отцовстве от 18 сентября 1994 года. В случае, если прийти к соглашению нам не удастся, я передам дело своему адвокату.

Патер Холлер наморщил лоб, почесал подбородок, перечитал письмо и стал ждать божественного озарения. Но озарение почему-то не являлось. Тридцать шесть тысяч марок, помилуй господи! Бедный, старый Холлер, золотого осла в твоей келье, увы, нет. И однако кто-то ждет от тебя таких денег! Чтобы старый Холлер около десяти лет назад сделал девушку матерью?

Он ответил одной-единственной фразой: «Одурачить меня не удастся».

На другой день патеру Холлеру опять принесли почту!

«...и я была бы благодарна Вам, если бы Вы перевели деньги как можно скорее. Бесконечно преданная Вам, Маргарет Леген».

Он проверил адрес отправителя. Никаких сомнений: письмо прислала другая женщина. Ты ли это, старый Холлер? Оказывается, ты отец двух детей, спал с двумя женщинами 35 809 марок, помноженные на два, плюс два ежемесячных перевода по

© by Robert Steffen, 1979

302 марки каждый. Неплохо для нищенствующего монаха, а? Патер Холлер — Казанова. Патер Холлер — отец нескольких семейств. Что патер Холлер делает в монастыре?

Он написал новое письмо:

«Другими именами и адресами меня не одурачить тоже».

На следующий день патер Холлер получил письма от Ханны Петерсен и Сары Унсен. Они требовали того же самого. Праведное небо! Какого святого просить о помощи в идиотском случае вроде этого? Тонзура у патера Холлера вспотела, грубая монашеская ряса царапала кожу. На одном из писем он записал цифры, подсчитал и получил общую сумму: 143 236 марок долга и 1208 марок ежемесячно. Под цифрами он написал: «Это много денег», а потом, после десятиминутных раздумий, вставил между «это» и «много» — «слишком». Человек он был начитанный, но ничего другого придумать не смог. Получается, что он зачал четверых детей с четырьмя разными женщинами. Какое-то недоразумение, не иначе. Раз он никогда не прикасался к женщине, то и не мог зачать ребенка. Что, он стал плотником Иосифом? В это трудно поверить. Иосиф, только безденежный. Церковные мыши обычно самые бедные. Бедный Холлер!

Патер сел и на почтовой бумаге с видом монастыря написал два одинаковых письма следующего содержания:

«Если хочешь быть совершенным, пойди продай имение твое и раздай нищим; и будешь иметь сокровище на небесах» (Евангелие от Матфея, 19, 21).

Может быть, у почтенного Холлера уже и было на небесах большое сокровище, но вот воспользоваться им никакой возможности у патера не было. Фрау Юст, по-видимому, шутить была не расположена: днем позже пришло третье письмо, и в этом письме она напоминала, что деньги должны быть переведены на указанный ею счет до конца месяца. В конверт была вложена фотография прелестной девочки лет девяти-десяти, определенно на него похожей. На обороте фотографии было написано: «Дорогому папочке. Кристина». Патер вгляделся в фотографию. Значит, это создание имеет право получить от него тридцать шесть тысяч марок? Да, конечно, сходство делает ему честь — ну, а если посмотреть на ситуацию в целом? Интересно, сколько времени потребовалось, чтобы найти это компрометирующее фото? И почему шантажируют именно его? Он тряхнул головой, потом тряхнул снова, уже с ожесточением, будто желая вытряхнуть оттуда какую-то мучительную картину. «Не отдавай души твоей блудницам, чтобы не погубить наследства твоего» (Книга Премудрости Иисуса, сына Сирахова, 9, 6).

Что-то тут было не так, но что?

— Брат, ты о чем-то все время думаешь, — сказал ему аббат.

Патер Холлер отрицательно мотнул головой. «Все время думаешь» — слишком мягко сказано; правильнее было бы «ломаешь голову». Аббат не получил ответа.

— Ты не хочешь мне довериться? — спросил он.

— Хотел бы, только боюсь, что не смогу,— ответил патер Холлер.

— Так говори же! — приказал ему аббат.

— Брат, у меня не уплачен огромный долг.

— Любой долг может быть прощен: «...и прости нам долги наши, как...»

— Мой долг составляет 150 000 марок.

Аббат разинул рот, потом прошептал испуганно:

— О боже!

— И я не знаю, откуда у меня этот долг.

— Женщины?

Патер Холлер кивнул:

— Четыре.

Аббат перекрестился. Вавилон был где-то совсем рядом

— Объяснить это я не в состоянии,— сказал патер Холлер.

— Да уж наверно.— отозвался аббат.

— Я не могу объяснить это даже самому себе.

— Никакие объяснения, брат, тут не помогут, тут потребно покаяние. Придется тебе надеть вериги.

Разговор закончился, не принеся ни ста пятидесяти тысяч марок, ни объяснения случившемуся. Патер Холлер пребывал в ожидании конца света. Разве может церковь в нынешние времена допустить, чтобы ее вовлекли в судебный процесс по поводу его четырехкратного отцовства? Ему нужно немедленно уходить из ордена. Но и после этого где он добудет сто пятьдесят тысяч марок? Патер Холлер сел и написал каждой из матерей:

> Случилось, что десять дев взяли свои светильники и отправились к жениху. Пять из них, однако, были глупые, а пять умные. Глупые отправились к торговцу купить масла для своих светильников, зато умные пришли с женихом на свадьбу и заперли за ссбой двери. Позже пришли остальные девы и сказали: «Господин, господин, открой нам!» Жених, однако, ответил: «Истинно говорю вам, я вас не знаю». И я, как тот жених, скажу Вам: «Я Вас не знаю». Ибо это правда. И не верю, что меня знаете Вы. Иначе бы Вам было известно, что денег у меня нет, в том числе и для якобы моего ребенка, отцовство которого Вы ложно мне приписываете. Если и это Вас не убедит, я возбужу против Вас судебное дело о вымогательстве.

— Не так, патер, все просто, как вы думаете,— заметил комиссар полиции.

— Что вы хотите этим сказать? Вот письма. Разве вымогательство не наказуемо? Ведь я ничего не натворил; уж это точно.

— Давайте лучше все по порядку,— остановил его комиссар.— Где вы были пять лет назад?

— Что? Пять лет назад?

— Да, где вы тогда были?

— В монастыре.

— Где вы были восемь лет назад?

— Там же.

— Где вы были девять лет назад?

— Девять лет назад я вступил в орден.

— Хорошо! А десять лет назад?

— Учился в семинарии.
— Где это было?
— В Риме.
— Женщины?
— Я попрошу вас!..
— А спьяна?
— Герр комиссар!!!
— Ничего в таком роде?
— Ничего!
— А почему ничего?

На это патер Холлер ничего не ответил, а только потряс головой, развел руками и стал вытирать пот со лба

Комиссар взял со стола фотографию.

— Славная девчушка. И очень на вас похожа.

Сотрудница принесла телекс и отдала комиссару. Тот раскурил трубку и начал читать.

Мегрэ расследует дело «Вавилон». Нет, патера Брауна[1] для патера Холлера определенно не нашлось.

— Как же это объяснить?—простонал он.

Комиссар положил телекс на стол и снова взял фото.

— Сколько, по-вашему, лет этому ребенку? — спросил он патера Холлера.

— Лет девять-десять.

— Девять

— Да? Ну и что же?..

— Закон от 18 сентября 1994 года.

— Что за закон?

— Об отцовстве

— Я не спал ни с одной женщиной.

— Нет?

— Нет.

— Вы этот закон знаете?

— Не знаю. Зачем мне знать закон об отцовстве?

— А стоило бы. Ведь он вас касается.

— Прекратите сейчас же!

— С какой стати? Все выяснилось. Поздравляю вас. Вы четырежды отец. Двух мальчиков и двух девочек

Патер Холлер плюхнулся на стул. Мимо, грохоча копытами, пронеслись апокалипсические всадники.

— Согласно закону от 18 сентября 1994 года,— продолжал комиссар,— отец, если он живет отдельно от женщины и ребенка, обязан, пока ребенку не исполнится десять лет, выплачивать определенную сумму в качестве алиментов; и закон этот имеет обратную силу.

— Ну и что?

— А то, что это касается вас четырехкратно

— Доказательства? — с трудом выдавил из себя патер Холлер.

— Налицо. В клинике Боннского университета. В отделении генетики. За вашей подписью.

— За моей подписью?

— Да. Вы наверняка ее узнаете.

— Несомненно. Откуда она взялась?

— 29 мая 1983 года вы представили для медицинских исследований свою сперму.

— В восемьдесят третьем? Да, вспоминаю. Я тогда был студентом, изучал богословие. И мне нужны были деньги, чтобы платить за ученье. А почему, интересно, я не должен содействовать медицинским исследованиям?

— Ваша сперма была заморожена, а через год ею были искусственно оплодотворены четыре женщины.

— Своего согласия на это я никогда не давал. Почему же мне предъявляют теперь денежные претензии? Все случилось без моего ведома.

— Вы дали согласие годом раньше, когда решили предоставить сперму для медицинских исследований. А медицинские исследования предполагали использование спермы для искусственного оплодотворения. Ваше согласие подтверждает и ваша подпись — на квитанции, по которой вы получили деньги.

— Я тогда думал, что исследования эти имеют целью предотвращение выкидышей и тому подобное.

— Какие именно исследования будут проводиться, оговорено не было.

«Останавливает течение потоков, и сокровенное выносит на свет», — всплыл в памяти у патера Холлера одиннадцатый стих двадцать восьмой главы книги Иова.

— Параграф третий, статья пятая, пункт второй: «Если отец на матери ребенка все еще не женат, он обязан выплатить компенсацию целиком»! Времена меняются, патер. Старые ценности теперь ничего не стоят. Граждане требовали принятия закона в защиту одиноких матерей, и такой закон был принят. Боюсь, что вам придется платить. Да, оглянуться не успеешь, а ты уже отец.

Патер Холлер оставил этого телексно-компьютерного мегрэ наслаждаться собственным остроумием и написал четырем женщинам: да, он прекрасно понимает необходимость закона который защищает одиноких матерей, однако сам он теперь тоже нуждается в законе, который защитил бы от этих матерей его Ведь, в конце концов, в том, что он оказался четырехкратно отцом, виноват не он, а в первую очередь сами матери.

Адвокаты четырех женщин, решившие объединить свои усилия, ответили ему письмом, где указывалось, что в законе об отцовстве от 18 сентября 1994 года вопрос о том, кто виноват, не упоминается вообще. Кроме того, они получили из Боннского университета заверенную копию документа, подписанного в свое время патером. Они, таким образом, рассчитывают, что до конца месяца указанная ранее сумма будет переведена

Патер Холлер изучал многих авторов, от латинских до древневерхненемецких, но вся его ученость не могла помочь ему найти выход из положения, в котором он оказался. Он поведал свои горести в исповеди аббату. Тот сразу понял, каким выигрышным для авторитета ордена и церкви может стать этот судебный процесс. Аббат обратился с запросом к святейшему престолу, и тот обещал моральную и материальную поддержку. Заручившись такой поддержкой, аббат и патер Холлер обратились в редакции газет с открытым письмом, обличавшим как парламентариев, придумывающих нелепые законы, так и ученых, не принимающих в расчет в своей работе законные интересы отдельной личности. Однако ни политики, ни ученые на их письмо, перепечатанное даже в «Оссерваторе романо», не ответили. Доказать, что вино-

[1] Священник-детектив, персонаж многих произведений Г. К. Честертона. *(Прим. перев.)*

ваты законодатели и экспериментаторы, не удалось. И патер Холлер возбудил дело против Юст, Леген, Петерсен и Унсен.

И тут юристу, которого он пригласил вести дело, пришла в голову спасительная мысль. Коль скоро со своей спермой студент-теолог Холлер расстался в 1983 году, то есть более чем за десять лет до принятия упомянутого закона, претензии четырех женщин оказываются недействительными за давностью лет. Коль скоро владельцем холлеровского семени стал Боннский университет и он университет, университетской же собственностью осуществил годом позже по желанию четырех женщин оплодотворение последних, именно он, Боннский университет, и является отцом четырех детей и должен выплатить требуемые суммы.

Правда, нигде в законе от 18 сентября 1994 года не было пункта о том, что отцом может оказаться университет. Поэтому обвинили генетика, осуществившего искусственное оплодотворение. Генетик это обвинение отверг, ссылаясь, вполне резонно, на то, что 1) действовал он исключительно по поручению университета и 2) использовал исключительно собственность университета. Ответственным снова становилось учреждение, хотя никогда до этого применить вышеупомянутый закон к учреждению не удавалось. Но адвокаты четырех женщин дали пункту четвертому статьи седьмой параграфа пятого толкование, согласно которому учреждение может считаться отцом— в случае сиротского приюта, например.

О патере Холлере теперь даже не вспоминали. «Ибо, хотя у вас тысячи наставников во Христе, но не много отцов...» (Первое послание к Коринфянам, 4,15). Одного отца четырем детям вполне бы хватило, нужно было только его найти — точнее, признать его таковым юридически. Шум в связи с этим судебным процессом поднялся большой, и, чтобы репутация ордена не пострадала, патер Холлер из него вышел. Он устроился на работу в канцелярию адвокатов, представлявших интересы четырех женщин. Дети уже называли его папочкой, адвокаты — «отцом Холлером». Спустя некоторое время он женился на Ханне Петерсен и стал образцовым главой семейства.

Тяжба тем временем приобрела политическую окраску. Университету удалось спихнуть с себя статус отца на правительство федеральной земли, в результате чего министерство культуры узнало в один прекрасный день, что именно оно, и никто другой, является в этом случае отцом. Поскольку министерство культуры и министерство по делам семей возглавлял один и тот же человек, тяжбу за три года, ко всеобщему удовольствию, удалось уладить.

Перевод с немецкого
РОСТИСЛАВА РЫБКИНА

ДЖОРДЖ ЭЛЕК ЭФФИНДЖЕР

(США)

В чужом облике

Ох уж эти мне сопляки! Знаю, знаю, кого они имеют в виду, когда говорят о «старых динозаврах». Что ж, посмотрим, сумеют ли они продержаться сорок лет как сумел кое-кто из нас, динозавров. (Хотя, если вдуматься, вряд ли нам удастся это проверить, черт побери!) Прочитав мой рассказ, Дженет пробуравила меня взглядом и спросила: «Интересно чем до нашего знакомства ты занимался на этих ваших встречах научных фантастов?» Помоему, ее заинтриговала «довольно симпатичная молодая женщина».

Телефон зазвонил и разбудил меня. Я протянул руку и снял трубку. Я еще не совсем проснулся, но что-то в полутьме гостиничного номера встревожило меня, хотя что именно, определить было трудно.

— Алло! — сказал я в трубку.

— Алло! Это Сэндор Куреин? — спросил незнакомый голос.

Секунду-другую я молча смотрел на кровать у противоположной стены. На ней кто-то спал.

— Сэндор Куреин? — переспросил голос.

— Ну, положим, Сэндор,— ответил я.

— Если ты Сэндор, говорит Норрис.

Я опять помолчал. Человек в трубке узнавал, что он мой близкий приятель, но голос у него был совсем незнакомый.

— Ага.— На большее меня не хватило.

Я вспомнил, что накануне вечером был не один. На встрече писателей-фантастов, в которой я принимал участие, мне довелось познакомиться с довольно симпатичной молодой женщиной. В соседней же постели возлежал могучего сложения мужчина, которого я видел впервые.

— Ты где? — спросил человек, утверждавший, что он Норрис.

— У себя в номере,— ответил я.— Сколько сейчас времени? Кто говорит?

— Норрис Пейдж. Ты смотрел в окно?

— Послушай, Норрис,— сказал я,— зачем мне тащиться к окну? И потом, не знаю, как это объяснить, но говоришь ты вовсе не как Норрис. На часах сейчас половина девятого, а в такое время писателя-фантаста, вернувшегося после встречи с коллегами, не будят. Поэтому, положи-ка лучше трубку...

— Подожди! — Голос вдруг стал настойчивым. Даже на встречах научных фантастов так не кипятятся. Я подчинился.— Посмотри в окно,— последовал приказ.

— Ладно,— отозвался я. По характеру я в общем-то человек покладистый.

© Davis Productions, 1979

Я встал. На мне была тонкая зеленая пижама, какой никогда среди вещей моих не водилось. Это открытие мне не понравилось. Осторожно ступая, я прошел мимо незнакомца на соседней кровати и заглянул в щель между пластинками жалюзи. Секунду-другую я не отрываясь смотрел на улицу, затем вернулся к телефону.

— Алло? — позвал я.

— Что ты увидел? — спросил голос.

— Несколько зданий, которых никогда прежде не замечал.

— Это не Вашингтон, верно?

— Пожалуй,— согласился я.— А кто говорит?

— Да Норрис! Норрис же! Я в Нью-Йорке.

— Вчера вечером ты был в Вашингтоне,— сказал я.— То есть, Норрис был здесь, в Вашингтоне. И голос у Норриса другой.

Человек на том конце провода как-то странно хмыкнул.

— По правде говоря, тебя тоже не сразу узнаешь. Ты в Бостоне.

— В Бостоне?

— Да. Джим в Детройте, Лэрри в Чикаго, а Дик в Кливленде.

— Жаль Дика,— вздохнул я.— Кливленд был моим родным городом.

— Всех жаль,— заявил Норрис.— Потому что мы прежние уже не существуем. Посмотри на себя.

Я посмотрел. У меня было крупное волосатое тело, облаченное в пижаму. Вместо афинской совы на левом предплечье появилась наколка в виде черепа с кинжалом в глазнице и голой женщины с якорем и змеей. Были у меня на теле и еще кое-какие перемены.

— Вот это да! — ахнул я.

— Я с шести утра раскручиваю эту историю,— сказал Норрис.— Нас пятерых не то похитили, не то что-то еще.

— Кто это сделал? — Меня охватило отчаяние.

— Не знаю, — ответил Норрис.

— А для чего? — Отчаяние сменил страх.

— Не знаю.

— Каким образом?

— Понятия не имею.

— С шести утра, говоришь? — разозлился я.— И что же тебе удалось выяснить?

— Нашел тебя, например,— обиделся Норрис.— И Джима с Лэрри и Диком.

Спина у меня похолодела, как бывало, когда мне предстояло сдать анализ крови.

— Итак, мы очутились в разных штатах, хотя еще вчера вечером были в одном и том же паршивом отеле. Что же произошло?

— Успокойся.— Как только Норрис произнес это слово, я понял, что дела наши плохи.— Похоже, что мы не только очутились в разных штатах, но и в прошлом.

— Что? — выкрикнул я.

— Сейчас 1954 год, — сказал Норрис.

Я молчал. Больше я не скажу ни слова. Еще нынче ночью я сладко спал, а теперь, стоит открыть рот, как Норрис сообщает мне все новые и новые сведения, от которых мурашки бегут по коже. Я продолжал молчать.

— Ты меня слышишь? — спросил он.

Я ничего не ответил.

— Сейчас 1954 год. Ты перенесся в прошлое в облике — секунду, я тут записал — Элларда Макивера. Знаешь такого?

Я похолодел.

— Да,— сказал я.— В пятидесятые годы он был игроком внутреннего поля в команде «Ред сокс».

— Правильно. Сегодня вы играете против «Атлетикс». Желаю успеха.

— А что я должен делать?

Норрис засмеялся, не знаю почему.

— Играть,— ответил он.

— А как нам вернуться обратно? — закричал я.

Человек на соседней кровати что-то проворчал и проснулся.

— Пока не выяснил,— ответил Норрис.— Ну ладно, мне пора. Я ведь звоню из другого города. Во всяком случае, на этой неделе вам предстоит встреча с «Тиграми», и ты сумеешь обсудить случившееся с Джимом. Он будет в облике Чарли Куина. Игрока второй базы.

— Блеск! — отозвался я.— Чудеса да и только!

— И не беспокойся,— добавил Норрис.— Ну, мне пора. Потом позвоню.— И он положил трубку.

Я посмотрел на телефон.

— Чудеса,— повторил я.

Человек на соседней кровати приподнялся.

— Может, заткнешься, Мак, а?

Я уставился на него во все глаза.

Наверное, следовало бы спросить у Норриса, в чьем облике пребывает он сам. Ладно, спрошу у Джима.

Спустя несколько дней ситуация окончательно прояснилась. Разумеется, от разгадки случившегося мы по-прежнему были далеки, но, по крайней мере, стало ясно, кто есть кто. Вот как это выглядело:

Известные научные фантасты:	В облике:	Команда:	Кем играет и показатель результативности:	
Сэндор Куреин (я)	Элларда Макивера	«Рэд сокс», Бостон	Игрок внутреннего поля	221
Норрис Пейдж	Дона Ди Мауро	«Уайт сокс», Чикаго	Игрок левого поля	288
Лэрри Шрейдер	Герхарда Руля «Немца»	«Янки», Нью-Йорк	Игрок первой базы	334
Дик Шрейдер	Марва Крокстона	«Индейцы», Кливленд	Игрок центрального поля	291
Джим Бенедетти	Чарлн Куинна	«Тигры», Дейтройт	Игрок второй базы	254

Мне такой показатель результативности в мои тридцать шесть лет по вкусу, естественно, не пришелся (Сэндору Куреину еще нет тридцати шести, но Макиверу есть, следующей весной его выгонят из команды), и если мы скоро не вернемся в будущее, значит, я сделаюсь спортивным комментатором или еще кем-то в этом роде.

В то утро я отправился на стадион вместе с моим соседом по номеру Тони Ллойдом, здоровенным малым, игроком первой базы. В команде за любовь к деньгам его прозвали «Долларом». По дороге он долго и нудно втолковывал мне, что, будь у нашего начальства побольше мозгов, Джеки Робинсону ни за что не удалось бы перейти из клубной команды в команду Национальной лиги. Я не очень прислушивался к нему. На два часа у нас была назначена игра, и так как «Ред сокс» заканчивала сезон весьма неудачно, каждому из членов команды предстояло бегать и суетиться больше прежнего, делая вид, что его крайне заботит исход матча.

Что касается меня, то я и в самом деле был сильно возбужден. Боялся я страшно, но радостное волнение меня не покидало. Вслед за Ллойдом я вошел в Фенуэй-парк — сторож у ворот кивнул мне, узнав того, в чьем облике я был,— потом постоял несколько минут в раздевалке, приглядываясь. В детстве я, как и все мальчишки, мечтал стать бейсболистом и вот...

И вот я им стал. Отчасти. Бейсболистом уже в годах, который больше сидит на скамье для запасных и ударяет изредка по мячу лишь ради того, чтобы напомнить о своем существовании. Почему, с горечью думал я, уж коли меня заставили путешествовать во времени и пространстве, мне не посчастливилось появиться в облике, скажем, Теда Уильямса, шкафчик которого в раздевалке стоял неподалеку от моего. Я смотрел на Теда, на других игроков, изучал полотенца, мыло, содержимое своего шкафчика. Шкафчика игрока профессиональной бейсбольной команды. Внутренняя панель его дверцы вся была обклеена картинками каких-то красоток. Висела экипировка, разобраться в которой я был не в силах. Пришлось понаблюдать, как и в каком порядке одеваются другие спортсмены. По-моему, они заметили, что я за ними подглядываю.

Экипировавшись, я пошел по длинному прохладному тоннелю под трибунами и очутился у выхода на поле. Передо мной простирался огромный прекрасный мир Фенуэй-парка. И мне разрешалось выйти туда и бегать по изумрудно-зеленой траве.

Надев перчатку полевого игрока, я заторопился ко второй базе. Двигался я, оказывается, неплохо. Но когда добрался до места, меня поджидала беда. Во-первых, пришлось здороваться с людьми, которых я видел впервые, а во-вторых, шла тренировка: нам подавали низкие мячи, и мы их ловили. Собственно, ловили они; мне же доставались удары по локтю, по колену и дважды по подбородку.

— Глянь-ка на старика,— заметил какой-то малый, отбивая мяч, пущенный низко над землей. Не мяч, а ракету.— Эй, старик, неужели ты будешь торчать здесь и в следующем сезоне?

Я разозлился. Мне хотелось показать этому юнцу, на что я способен, но годился я лишь на то, чтобы сочинять научную фантастику.

— Будет,— отозвался второй юнец.— Его и похоронят прямо на поле.— Очередной мяч пролетел у меня между ног и поскакал по траве. Юнцы загоготали.

Потом бил я. Шел 1954 год, и на подаче стоял легендарный игрок, имя которого гремело в годы моего детства. Я сказал ему, что не очень хорошо себя чувствую, и он несколько умерил пыл. Подачи его были что надо, легкими, всякий раз точно над битой, и мне удалось послать несколько мячей вдоль поля. Я сделал вид, что такие удары, после которых игрок успевает добежать до базы, а потом перебежать с базы на базу, мне нипочем. Я чувствовал себя в прекрасной форме. А когда кончил разминаться, на мое место встал Тед Уильямс, изумляя присутствующих мастерством.

Потом началась игра. Вот это был спектакль. Смутно помню, как наставлял нас Лу Будро, наш менеджер, как играли национальный гимн. А затем, не успел я сообразить, что происходит, как очутился в углу поля на скамье для запасных, шла третья подача. За нас подавал Фрэнк Салливан, а за Филадельфию — Эрни Портокарреро.

Если бы в ту минуту мне предложили вернуться в семидесятые годы и, сидя за машинкой, сочинять фантастику, зарабатывая себе на жизнь, я бы наверняка отказался. Зачем? Лучше остаться в 1954 году и получать деньги за игру в бейсбол. Президентом был Эйзенхауэр. О полетах в космос даже не мечтали. Эрни Ковач и Бадди Холли [1] были живы. Я мог бы составить себе состояние, держа пари на всякую всячину в ожидании, например, появления «Полароида» [2].

Нет, не совсем так. Во-первых, у меня были определенные обязательства перед научной фантастикой. Правда, научная фантастика, вероятно, вполне могла бы обойтись и без меня (пусть только попробует!), но Джим, Норрис, Лэрри и Дик тоже очутились здесь, и я должен был выручать своих друзей. Только как? И почему мы очутились здесь? Что перенесло нас на двадцать с лишним лет назад?

И тут мне пришла в голову страшная мысль. Значит, через двадцать с лишним лет в Новом Орлеане некий Эллард Макивер, неудачливый бейсболист, так и не сделавший карьеру в спорте, будет сидеть за моей машинкой и печатать мои сочинения. Нет! Мысль эта была невыносима. Если кому-либо и суждено подорвать мою репутацию, пусть это буду я сам.

Вечером в воскресенье мы отправились поездом в Детройт. Ну и поездка! Хорошо, что мне так и не довелось принять участия ни в одной из игр в Филадельфии, пришедшихся на пятницу, субботу и воскресенье. Команде «Ред сокс» я был не нужен, везли меня на тот случай, если земля вдруг разверзнется и поглотит четыре пятых состава игроков. Я же ехал в надежде повидаться с Джимом. Конечно, 1954 год имел

[1] Известные американские актеры-комики. *(Здесь и далее прим. перев.)*

[2] Фотоаппарат мгновенной съемки.

свои плюсы — я насчитал, по-моему, шесть таковых,— но, принимая во внимание все обстоятельства, решил, что мы должны выбраться из этой истории как можно скорее. У меня лично истекал срок договора с издательством «Даблдей», и мне вовсе не хотелось, чтобы роман за меня написал Эллард Макивер. Если же он напишет его да еще получит премию, тогда мне останется только идти служить в армию или еще куда-нибудь.

По счастью, Джим придерживался того же мнения. Он был славным малым, но из-за всего происшедшего превратился в какого-то психа. Ему выпало стать игроком второй базы да еще начинающим, поэтому он трижды пропахал землю носом, пытаясь сделать «даблплей». Кроме того, мяч с его подачи то и дело летел в зрителей (что вполне понятно), и тот, в чьем облике он пребывал, явно был ему не по душе.

— Желудок у меня всегда пошаливал,— ворчал он.— Но теперь он не принимает даже овсянку.

Во вторник проходил первый из детройтских матчей, мы обедали в моем отеле.

— Как ты думаешь, кто подшутил над нами? — спросил я.

— А ты кого-нибудь подозреваешь? — удивился он.

Секунду-другую я смотрел на него невидящим взглядом. Мне и в голову не приходило, что все это могло свершиться не по воле Вселенной, а по чьему-то злому умыслу. Стало совсем тошно.

— Послушай,— сказал я,— мы должны верить, что найдем выход из положения.

Джим съел еще несколько ложек овсянки.

— Ладно,— согласился он,— будем верить. А что дальше?

— Следующий логический шаг — предположить, что кто-то проделал все это с нами. Кто-то.

Джим посмотрел на меня так, будто вдруг сообразил, что я не совсем в своем уме.

— Подобное умозаключение не из самых логичных,— осторожно заметил он.

— Тем не менее приходится исходить из него. Не имеет значения, кто именно этот кто-то. Главное — начать действовать в правильном направлении.

— Господи, до чего же я ненавижу овсянку! — вдруг вырвалось у Джима. — Подожди. А что, если мы начнем действовать и нас перенесет куда-нибудь еще? Например, в тридцатые годы, и мы очнемся торговцами яблоками? Не надо спешить. Как бы потом не пришлось жалеть!

— Ладно,— не стал возражать я, поскольку и сам понятия не имел, что делать дальше. Пускай последнее слово останется за Лэрри.

— Правильно,— расплылся в улыбке Джим.— Пусть Лэрри придумает, как поступить. Мы с тобой в фантастике, так сказать, сюрреалисты, а Лэрри — настоящий любитель головоломок. Он наверняка найдет выход.

— Правильно,— подтвердил и я.

Мы пообедали и отправились на стадион. Во время игры я сидел на скамье для запасных и смотрел, как Джим мечется по второй базе.

Очередные игры состоялись в моем родном Кливленде. Я было хотел навестить родителей, посмотреть на себя семилетнего, но тут же засомневался, стоит ли. А когда вспомнил, что придется увидеть еще и брата пятилетним, вопрос был решен. Я отправился в кино.

Я поговорил с Диком, который сказал, что его брат Лэрри ему звонил. Лэрри — человек активный, вечно у него целый фейерверк идей, словом, мы рассчитывали, что он найдет способ выбраться из этой заварухи.

— А ты как думаешь? — спросил я у Дика Шрейдера.

— Видишь ли,— начал Дик и вдруг сделал то, чего прежде за ним никогда не замечали: вмял щепотку жевательного табаку в жевательную резинку и засунул комок за щеку,— если я в последующие недели не сбавлю темпа, то, вполне возможно, закончу сезон с показателем выше 300. И на будущий год запрошу тысяч тридцать, не меньше.

— Дик,— громко сказал я,— ты меня не слушаешь.

— Ладно, тридцать пять тысяч.

Было ясно, что ничего мне не добиться, пока не начнутся игры в Нью-Йорке, где я сумею все подробно обсудить с Лэрри. Поэтому следующие несколько дней можно, пожалуй, не описывать. Тем более что ничего интересного не произошло, кроме игры с «Иволгами», где мне случилось послать один удар (весьма слабый, с земли) и дать интервью репортеру, который принял меня за Джимми Пирсолла.

По окончании первого же матча с «Янки» мы с Лэрри зашли в небольшой ресторан, где он мог не бояться, что его узнают. Мы заказали ужин и, ожидая его, беседовали

— Тебя не волнует, что этот «Немец» Руль будет писать твои книги? — спросил я.

— Ничуть,— отозвался Лэрри, жадно глотая пиво. Он здорово им пропах.

— Почему? — У меня зародилась надежда. Я было подумал, что Лэрри нашел выход.

— Видишь ли, если мы отсюда выберемся, проблема сама собой решится, правда? — спросил он, сделав еще несколько глотков.

— Да,— согласился я.

— А если не выберемся, то в свое время я превзойду «Немца» Руля.

— Но ведь пройдет двадцать лет! — воскликнул я.

Лэрри это ничуть не встревожило.

— Подумать только, какими темами я буду располагать, — размечтался он.— В 1960 году я напишу «Звездный путь» , в 1961-м — «2001 год», в 1962-м — «Войну звезд», а в..

— А что будет с «Немцем» Рулем?

Лэрри допил пиво.

— Когда мы отбыли, существовал в научной фантастике «Немец» Руль?

— Нет.

— Значит, его и не будет.

— Но был же некто в облике Лэрри

Шрейдера? Может, ты, а может, и нет. Чем ты докажешь, что Лэрри Шрейдер ты?

Лэрри посмотрел на меня так, будто я окончательно свихнулся.

— Для этого мне требуются лишь мои водительские права да кредитные карточки.

— Они у тебя с собой?

Теперь у Лэрри был такой вид, будто все кончено.

— Нет,— ответил он.

— Кому на руку вся эта история?— спросил я, когда Лэрри знаком попросил официанта принести еще пива.

— Кому!— повторил он глухим голосом.

— Кому?— отозвался я.

Наступило короткое молчание, а затем мы посмотрели друг на друга.

— Кому на руку внезапное исчезновение лучших из молодых писателей, надежды и будущего научной фантастики?— с легкой улыбкой спросил он.

— Во-первых,— ответил я,— председателю секции научных фантастов...

— Во-вторых, самому уважаемому члену этой секции,— со смехом подхватил Лэрри.

— И в-третьих, самому признанному мастеру этого жанра,— добавил я.

— Да еще двум-трем авторам, чьи имена для нас не тайна,— заключил Лэрри.

— Но зачем они это сделали?

Зачем? Но это же естественная реакция старых динозавров на появление в джунглях первых млекопитающих. Только у них ничего не выйдет.

— А как они это сделали?— Я все еще ничего не мог понять

Но Лэрри уже все понял. Своим живым умом он запросто постиг случившееся. Недаром его показатель результативности в команде «Янки» поднимался до 334, а я сидел на скамье для запасных в «Ред сокс». Да, Лэрри и сам скоро станет динозавром.

— Они справились с этим без особого труда,— сказал он,— доставив нас сюда тем же способом, каким мы вернемся назад. С помощью пишущей машинки.

— Ты хочешь сказать... Я глядел на него во все глаза.

— Именно,— подтвердил Лэрри.— Если вдуматься, что такое реальность?

Когда нам принесли желатину под винным соусом, мы уже нашли выход из положения. От мести мы отказались, поскольку будущее было теперь в наших руках. Ноша эта не из легких, но мы приняли ее с радостью.

— А что теперь?— спросил Лэрри, выпив на десерт еще пива.

— Возвращаемся домой. Можем прямо сейчас, а можем побыть в 1954 году еще немного, отдохнуть от трудов праведных.

— Проголосуем,— предложил Лэрри, ибо он всегда был за демократию.

Мы проголосовали и большинством голосов решили немедленно вернуться домой, потому что кое-кому из нас уже давно следовало отдать взятые в библиотеках книги. Вернуться оказалось крайне просто. Вспомните Дороти[1] с ее красными туфельками. Волшебная палочка всегда найдется. Мы съехались в Вашингтон, потому что именно там расстались. Собрались в большом номере того же отеля, где через столько лет состоится встреча писателей-фантастов. Заказали кока-колу, пиво, присыпанные солью крендельки и чипсы. Включили телевизор (показывали шоу Стю Эрвина) и навели в номере относительный беспорядок.

— Помните,— предупредил Норрис,— ни слова о бейсболе. Говорите только про научную фантастику.

— Только про научную фантастику,— повторил Дик Шрейдер.

Но заговорили о деньгах. Поделились сведениями, кто сколько платит, что, естественно, повлекло за собой обсуждение деловых и человеческих качеств редакторов. Заметив, что страсти чересчур накалились, мы перешли к таким темам, как «Будущее научной фантастики», «Научная фантастика и средства массовой информации», «Наука и научная фантастика». В это время в номер ввалился невысокого роста толстяк с фотокамерой в руках и сфотографировал Лэрри. Потом сел и стал слушать. Мы угостили его крендельками. Когда мы рассуждали о «читательском спросе на рассказ», в номер явились две странные на вид молодые женщины, одетые так, точно давно путешествуют по страницам романа-трилогии, и начали наполнять ванну какой-то тягучей жидкостью. Их к столу мы не пригласили. Мы беседовали на тему «Научная фантастика как революционное оружие», когда вошли два писателя, литературный агент и еще четыре поклонника нашего жанра. Стало шумно. Джим позвонил, попросил принести лед. Я вышел в холл, а номер наполнялся все новыми писателями и новыми поклонниками, поэтому я направился к лифту и поднялся к себе. Осторожно открыв дверь, я увидел, что свет горит и в комнате кто-то есть. Я хотел было повернуться и уйти, но разглядел, что это та самая довольно симпатичная молодая женщина, которая была со мной в начале наших приключений. Я посмотрел на себя и увидел свое собственное тело (оно вовсе не было таким старым, быть может, чуть потрепанным, но зато моим) и понял, что все в порядке. Победа была за нами.

Перевод с английского
Н. ЕМЕЛЬЯННИКОВОЙ

---

[1] Персонаж книги американского писателя Фрэнка Баума «Волшебник из страны Оз».

◆

Читальный зал

Вне жанра

Почему «Вне жанра»? И вне какого жанра? Да вне любого, потому что мы бы хотели, чтобы в новой рубрике ее ведущий, писатель Александр Нилин, и все, кто пожелает (надеемся, и читатели не останутся в стороне), могли бы без оглядки на рецензионные или любые другие жанровые каноны делиться вольными размышлениями, на которые натолкнет их чтение зарубежных публикаций в советской периодике.

АЛЕКСАНДР НИЛИН

ЧИТАТЕЛЬ ВХОДИТ В РОМАН

Я попробую здесь не столько в содержание прочитанного вникнуть, сколько в особенность своих впечатлений, очень возможно, не для меня одного сейчас характерных.

Конечно, легче всего сказать: появись они у нас раньше — роман Кёстлера или притча Оруэлла!.. А есть ли уверенность, что еще вчера ты вполне был готов к восприятию такого в литературе и что встреча не застала бы тебя врасплох?

Судьба писателя, судьба того, что написал он, впрямую — хотя это и не обязательно справедливо — зависит от уровня читателя. В то, что уровень наш стал все-таки повыше, уже пора, по-моему, поверить — должно же когда-то количество перейти в качество: ведь столько прочли за последние два-три года и прочли, главное, немало из того, что должны были прочесть давным-давно. Но вот возможности не имели, а когда возможность вдруг появилась, оказалось, что мы не всегда способны соответствовать прочитанному. Что же такое? Теперь-то почему?

Да потому, скорее всего, что написанное тогда приходится воспринимать не иначе как в контексте дня нынешнего — вот откуда и особенность впечатлений, с которой я начал.

Если говорить о работах, обнаруживающих важнейшие для нынешнего дня нравственные проблемы в трагических моментах новейшей отечественной истории то нельзя не заметить непременной, как у тех самых сосудов из учебника физики, сообщаемости между всеми мало-мальски стоящими публикациями, а уж между примечательными произведениями и подавно. «Сообщаемость» эта, конечно, создается самим читательским интересом к теме власти, репрессий, к судьбам людей, у власти некогда стоявших, но потерявших ее — нередко вместе с головой — не без помощи тех, кого считали изначально соратниками, товарищами по борьбе. Не изъять из этой «сообщающейся системы» и произведений иностранных авторов, чуть ли не полвека назад коснувшихся закрытой прежде у нас темы. Я имею в виду «Слепящую тьму» Артура Кёстлера, впервые опубликованную в сороковом году, и «Скотный двор» Джорджа Оруэлла, появившийся в сорок пятом.

Могу вообразить читательское возбуждение, напечатай их «Огонёк» с его полуторамиллионным тиражом в ряду с регулярными публикациями документов, мемуаров, писем, архивных фотографий... Но «Огонёк» дал в минувшем году «Человеческий фактор» Грэма Грина, одного из самых читаемых у нас зарубежных писателей. Не упомню случая, когда бы новая вещь Грина («новая» в данном случае для нас) осталась без немедленного отклика. Сейчас, однако,— просто интересное чтение. А ведь Грину и в этом случае, как всегда, не откажешь в блеске профессионального умения, в «самоигральности» материала (британский разведчик, режим апартеида, африканка, сотрудничество британского разведчика с коммунистами в благодарность за спасение его вместе с женой...).

Правда, есть у меня подозрение — хоть утверждать не возьмусь, не специалист,— что перевод не способствовал украшению романа: уж больно плоский получился текст (не верится, что это — Грин), да и русский язык нередко чересчур неловок.

«Огонёк», конечно, нарасхват — есть в нем Грин или нет в нем Грина,— и «Человеческий фактор» прочли, но чтобы кто-то выделил его среди прочих огоньковских «гвоздей сезона», не припомню: не стал у нас знаменитый писатель лидером в восемьдесят восьмом году.

А вот весенние номера рижского «Родника» и летние ленинградской «Невы», уверен, не залеживались в библиотеках именно из-за «Скотного двора» и «Слепящей тьмы». Впрочем, не стану искусственно за-

вышать эффект, произведенный книгами Кёстлера и Оруэлла: вокруг «Тьмы» и «Двора» особого шума тоже не было. Но такая литература и не должна, наверное, быть просто сенсацией. Не сомневаюсь, что для серьезного читателя знакомство с этими произведениями — событие. Событие, правда не требующее громких восклицаний и мгновенной категоричности наивысших оценок. Здесь закономернее неотразимость, но постепенность воздействия. После Кёстлера и Оруэлла читатель по-иному взглянет на свои взаимоотношения с литературой или, во всяком случае, внесет в них коррективы — так мне кажется,— произведет для себя некоторую переоценку ценностей: от прежних привязанностей, может быть, не открестится, но что-то в мире своих представлений раздвинет, расширит, определяя в нем место новым и необходимым ему отныне авторам.

...В «оттепельные» шестидесятые годы самыми популярными из иностранных писателей, да, пожалуй, и вообще из писателей, у нас были Ремарк и Хемингуэй. И сейчас, когда столько лет минуло, не про их влияние на нашу литературу (пишущих на военную тему зачастую обвиняли тогда в «ремаркизме»), не про обольщение их стилем (были ли в ту пору молодые прозаики, не испытавшие магии хемингуэевского стиля) вспоминаешь, а про ту раскованность, что была нам всем в новинку и которой так нам не хватало в общежитии и во всем, во всем,— про раскованность самой интонации повествования, про безграничную естественность в проявлении натуры героев, ту естественность, которой невозможно было не подражать.

Раскованностью, а не экзотикой, не бытовым комфортом привлекала нас существовавшая на ремарковских и хемингуэевских страницах жизнь И по этой раскованности — казалось не скоро для нас достижимой — мы тосковали. Без такого нюанса, по-моему, не восстановить по всей полноте времени, нами тогда пережитого, не объяснить замедленности с которой мы поднимались по его ступеням.

Нет ничего общего у Кёстлера с Оруэллом, да и у них обоих с Хемингуэем или Ремарком. И сам ты стал другим: как-никак более искушенным Но не в силу ли как раз этой искушенности ловишь себя на неожиданном чувстве — на зависти к авторам «Скотного двора» и «Слепящей тьмы» или, скорее, на ревности к свободе, с какой толкуют они моменты истории особенно интересующие и тебя в контексте чтения последних лет? И опять, как в счастливую пору, когда пытались мы соотнести свой эмоциональный опыт с тем что угадывалось в авторской манере Ремарка и Хемингуэя, не находишь иного слова для обозначения того, чего недостает тебе сейчас, кроме слова раскованность — снова раскованность! Но раскованность другого уже рода — аналитическая, позволяющая, то есть, «смотреть на вещи без боязни» Разумеется, предпосылки к ней были и до знакомства с Кёстлером и Оруэллом, но острая необходимость пожалуй, осознается именно при чтении этих книг. Почему и больше резона вижу я говорить сейчас о своевременности их появления, чем досадовать на столь позднее с ними знакомство.

Преувеличением было бы представить произведения Кёстлера и Оруэлла общим знаменателем того, что мы сегодня читаем, но эстетическим путеводителем для захлестнутого информацией читателя они бы в иных случаях, мне кажется, послужить могли А уж не подзарядиться от них той энергией, что таится в раскованности мышления, значило бы просто упустить шанс

Книги эти неизбежно воспринимаются сейчас «в пересчете» на самостоятельность, точнее, на степень самостоятельности сегодняшнего читателя, потребляющего огромный объем информации через прессу и литературную периодику. И не исключено, что вещи столь приметной художественной значимости он включит в «коллаж» своих впечатлений и использует для сопоставления, расшифровки, развития того, что читалось им прежде или одновременно с «Тьмой» и «Двором» «на ту же тему»

Можно предположить что новая энергия мышления не позволит больше замыкать в прежней элементарности вопрос: «Это про нас?» — в применении, допустим, к Оруэллу. Литература в истинном своем назначении никогда не локализуется в той или иной стране, но всегда обращается к человеку вообще, где бы он ни жил. Пора, пока не поздно, понять, что все «про нас», что существует и тревожит общность проблем, а не шорами инерции создаваемый сюжет: они — и мы

Кстати, «про нас» оказывается вдруг и там где уж и вовсе не ждешь, при чтении, одно предвкушение которого дарило воображению картины сугубо иностранной жизни и главная прелесть которого предполагалась в непохожести на близкое нам и знакомое Помните, в прошлом году в «Знамени» был опубликован когдатошний американский бестселлер — роман Марио Пьюзо «Крестный отец». Прежде он не воспринимался бы иначе, чем самое увлекательное чтение года: отдохновение от тягот быта, на диване, с тремя журнальными книжками Чичего не скажу номера с повествованием о семье Корлеоне затрепаны. Но вот стали ли они предметом споров? Помоему нет — с ними все ясно Спорят же нынче о другом — о том, конечно, что касается тем, недавно еще дежурными определениями сужавшихся не только для удобства, но для самой возможности упоминания. Теперь темы эти непрерывно расширяют свои границы, становятся способными дать импульс для разговора о главном, порой неожиданно подталкивают к откровениям о сути нашей жизни.

В нынешнем году на страницах ленинградской «Звезды» появился роман продолжающий одну из линий «Крестного отца»,— «Сицилиец», где Пьюзо сталкивает младшего из братьев Корлеоне, Майкла, с сицилийской модификацией Робин Гуда — Сальваторе Гильяно. Вступив на путь террора с первоначальным желанием защищать бедняков, Гильяно превращается в бандита, превосходящего своей изощренной жестокостью тех ма-

фиози, которым надеялся себя противопоставить.

Мне «Крестный отец» показался вещью более искусно сделанной, чем «Сицилиец»,— это, я бы сказал, почти идеальный «производственный роман». Механизм действия мафии отражается в нем с пунктуальностью, напоминающей книги весьма популярного среди наших читателей Артура Хейли. Пожалуй, в нем меньше заданности и рационализма, зато больше претензии на психологическое обеспечение захватывающего сюжета.

Герой «Сицилийца» фигура не выдуманная, у Сальваторе Гильяно, как, впрочем, и у его противников, существовали прототипы. Но все же введение этого «романтического» персонажа нарушает, по-моему, жанровое равновесие. Вероятно, автору хотелось вызвать у читателя симпатию к герою, хотя бы на первых порах располагающему к себе добротой и альтруизмом. Но почему-то больше хотелось следовать правилам игры, по которым строился «Крестный отец»,— отдать себя во власть интриги и не требовать от персонажей того, чего и быть у них не может. Словом, маневр Пьюзо, рассчитанный на новизну восприятия, стоило бы посчитать неудавшимся, если бы не сдвиг в сознании именно нашего читателя под влиянием обстоятельств домашнего, ни с какой Италией—Сицилией не связанного характера. Нет, я не хочу сказать, что, не замелькай в нашей прессе с пугающей частотой слово «мафия», не будь признано публично существование у нас организованной преступности, читатель не заметил бы романа Пьюзо. Я совершенно не сомневаюсь, напротив, что читательский интерес ему был бы в любом случае обеспечен Однако при сегодняшнем прочтении «Сицилийца» и «Крестного отца» сколько-нибудь думающий человек уже вряд ли сохранит душевный комфорт и благодушие, и тень «жареного петуха» нет-нет да и мелькнет на страницах развернутого им романа из итальянской жизни.

Конечно, случай с Пьюзо достаточно элементарен — и в нем лишь слабый намек на ту работу души и мысли, какой вправе мы ждать от читателя Кёстлера и Оруэлла. Определенность концепций и оригинальность структур, вероятно, несколько поколеблет читательскую самоуверенность (при нынешнем обилии еще вчера невозможного чтения весьма возросшую). С другой стороны, и эстетический опыт читателя подвергнется новому испытанию, требующему предельной сосредоточенности. Так что читатель, возможно, и отрешится от чего-то в себе — прежнем, но одновременно приобретет большее к себе уважение, почувствовав вкус к созданию картины-размышления. В ней найдет он место и себе, увидит себя в мире тех событий, которых по возрасту, может быть, и не застал,— но ведь он кровно связан с теми, кто застал. И то, что произошло с ними, определяет теперь и его судьбу, судьбы всех, идущих следом и вынужденных теперь мысленно и эмоционально возвращаться к истокам этой общей судьбы поколений.

Зарядив нас аналитической раскованностью, авторы помогают обрести свободу для работы над собственной уже картиной прочтения, в которой главным героем становится время во Времени. Это верно и в отношении «безразмерности» оруэлловской притчи, продиктованной вечностью жанра, и в отношении дразнящей «прототипности» книги Кёстлера, в которой, однако, тщетно будем искать мы смыкания с хроникой тридцатых годов, известной нам сейчас с гораздо большими, чем прежде, подробностями, искать портретного сходства персонажа с теми лицами, чьи изображения наконец перестали быть запретными.

Но, отдалив реальность от вымысла, авторы к более остро ощутимой реальности нас вплотную приблизили, подтвердив, что художественность — высшая достоверность. Читатель здесь должен, по выражению Валентина Распутина, почувствовать «прилив крови от движения». Раскрепощенная аналитика ведет и приводит к чувству...

Допускаю, что Оруэлл может шокировать жестокой однозначностью трактовки событий и лиц, преобразованных, зловеще сгущенных им в страшный сон скотного двора. Но то, что люди XX века пережили, быть может, и не выразить иначе? И все же черпалась откуда-то ими жизнестойкость, сохранялись иллюзии и приходило, пусть на время, забвение самого удручающего, убивающего надежду. Да ведь и надежды откуда-то брались — и кто-то действительно дожил и не до лучших, наверное, дней, но до тех по крайней мере, когда время наибольших ужасов можно громко проклясть.

Читай мы Оруэлла как литературу запрещенную, мы, возможно, находили бы в его притче если и не выход собственному отчаянию, то сомнительное утешение, что никуда уже не деться от произвола, что мир обречен, жизнь беспросветна и нести свой крест в ней, не доступной переменам,— единственное твое предназначение. И чем хуже — тем лучше: не останется хотя бы надежд, не в чем будет обмануться. И в такой тупик размышлений мог затолкнуть автор «Скотного двора».

Но как быть с разрешенным Оруэллом? Упрекать его теперь за преувеличения? Не соглашаться с ним, что хроника века, им так по-своему воспроизведенная,— сплошной монтаж аттракционов ужаса и зла? Достойно ли это мыслящего читателя? Неужели не поймет он, что в своем «монтаже» писатель намеренно опустил те паузы, те кратчайшие промежутки, которые позволяли вдохнуть и выжить? Впрочем, сколько же людей оказались этими паузами обделены! И сатирик Оруэлл — поэт этих обделенных. В жестокости его есть и пафос, рассчитанный на живых и помнящих. Знающих, что деспотизм и несвобода — не извне, а изнутри. Что в нас же самих они и начинаются. Литературу не всегда занимают конкретные носители зла, прописанные в истории, ее тревожит все человечество, зачастую неспособное противостоять злу в решающие моменты своей истории.

Оруэлл шокирует, не удивлюсь, тех, кто чувствует, что в сгущенности изображения писатель идет от натуры, в которой не намерен разделять деятелей и страны, испо-

ведующие различные, полярные идеологии, что он как бы уравнивает всех в ответственности за кошмары века. В убийственные метафоры своей сатирической хроники он преобразует общие для всех отрицательные черты, отказываясь — да и форма, им избранная, не позволяет — вникать в нюансы. Но оставаясь, как мы заметили, поэтом, он в беспощадности такого объединения, думаю, и видит спасение — он того и ждет, чтобы человечество ужаснулось самому себе. Все человечество, а не только люди, узнавшие через предельность его упрощений достаточно известные им события и фигуры, действовавшие на их памяти и глазах.

Конечно, «Скотный двор» — сильнодействующее средство.

При иных обстоятельствах можно было бы сказать, что притча (Замятин, Хаксли, Оруэлл...) «закрывает тему». Но с той же вероятностью, при изменившихся обстоятельствах, я бы предположил, что она эту тему — тему несвободы, выросшей из некогда благородных идей, погубленных изменой, преданных ради соблазна неограниченной власти, деспотизма,— только открывает на новом уровне восприятия художественного произведения. Поскольку никогда еще, пожалуй, интерес к психологии власти — и, соответственно к психологии подчинения,— к проблемам демократии не был столь велик. И глубина нашего проникновения в эти проблемы будет зависеть от нашей смелости — в том числе и от смелости обобщений.

Уроки такой смелости и преподаны нам Оруэллом в «Скотном дворе». Согласны мы до конца с автором или нет, близка ли нам его беспощадная метафоричность или мы предпочтем факты, вплавленные им произвольно в сюжет и сюжетом видоизмененные, рассматривать в рамках более традиционной узнаваемости, но инструмент исследования, врученный автором читателю, вряд ли будет пылиться в долгой ненужности, если конечно, пробудившаяся читательская активность не иссякнет, во что верить не хочется.

Разумеется, и Кёстлер вооружает нас каким-то (важно, в сущности, не слово, а состояние возросшей интеллектуальной вооруженности) инструментом, который нам пригодится еще неоднократно и чаще, наверное, чем тот, что мы приняли от Оруэлла. Кёстлер, само собой, традиционнее, чем Оруэлл, доступнее, и материал у него на сегодняшний день слишком уж близко ассоциативно заминирован — в повествование входишь как в здание, с недавних пор хорошо знакомое. И только очутившись во власти в е р с и и, догадываешься о силе авторской воли.

Роман «Слепящая тьма» опубликован у нас в год столетия Николая Бухарина — и хотя «дистиллированность» места действия и персонажей, замешающих в сюжете лица, реально существовавшие в истории, исключает достоверность биографических толкований, никуда не денешься от того, что в герое романа Николае Рубашове мы видим и Николая Бухарина. И не обманываемся, не разочаровываемся.

В роман Кёстлера мы входим со всем тем, что узнали в самое последнее время о Бухарине и других революционных деятелях, до недавнего времени находившихся в искажающей тени, и выходим ничуть не обогащенные фактически, но с непреодолимым желанием привести свое новоприобретенное знание в систему. Принимаешь или не принимаешь версию Кёстлера, ты, во-первых, отталкиваешься от нее в дальнейших своих размышлениях, а во-вторых, понимаешь, что быть просто хорошо информированным, но не иметь выстраданного взгляда на историю своей родины — безнравственно по отношению к обществу, в котором живешь, и по отношению к самому себе.

«Дистиллированность» Кёстлера — не счастливая находка, избавившая иностранного автора от неизбежных неточностей в понимании быта и особенностей психологии другого народа, но и загадка чисто художественного свойства.

«Дистиллированность» разжигает воображение, дает возможность пропитать авторский текст всей информацией, какой располагаешь. Но не станем поспешно тешить самолюбие мыслью, что мы сейчас осведомлены лучше автора и способны чем-то ему помочь. Кёстлер ближе нас стоял к событиям, лучше знал людей, послуживших прототипами его персонажа, и вполне мог бы не отклоняться от «документа». Отклонился же он, полагаю намеренно — намеренно домыслирал, намеренно упрощал, намеренно, надо думать, допускал фактические неточности.

«Дистиллированность» и оказалась изобразительным приемом, позволившим придать вещи «всемирность» звучания. В событиях, происшедших у нас, в судьбе таких людей, как Рубашов автор видел предостережение всему человечеству. И ответственности за случившееся с Рубашовым с человечества не снимал. Как не снимал ее и с самого Рубашова.

Версия Кёстлера о деятеле, посчитавшем своей обязанностью выполнить последнее партийное поручение: оклеветать себя признать себя «врагом народа» (вслед за Бухариным и другими знаменитыми большевиками на процессах тридцатых годов),— выставляет теперь героя не на суд истории, как мы в таких случаях привыкли говорить, а на суд обыкновенного, но должного, по мысли автора, о щ у щ а т ь с е б я в и с т о р и и человека — читателя, склонного то обожествлять политических лидеров, то отворачиваться от них, потерявших власть и влияние, вместо того чтобы вести себя единственно необходимым в интересах общества образом: видеть себя в них и их в себе. Литература изначально обращается к ч е л о в е к у — почему же вправе забывать о нем политика при переустройстве мира?

Читатель входит в роман к Рубашову, думая о тех, кто стал жертвами и в качестве таковых заслуживает глубокого сострадания. Но он уже не может отрешиться и от другой мысли: прежде чем стать мучениками жестоких обстоятельств, многие из пострадавших оказались виновными в том, что обстоятельства стали сильнее их.

Читатель входит, однако, в книгу не обвинять, а разобраться — в обстоятельствах, в людях, влиявших на события и утративших на них влияние, но прежде всего в себе самом, не праздным любопытством в роман приведенном...

Из месяца в месяц

Аргентина

«ГОМЕР ПАЙАДОРОВ»

Ежегодно 12 октября, в день смерти прославленного Габино Эсейсы (1858—1916), пайадора — так называют в Латинской Америке музыкантов, исполняющих под гитару собственные импровизации,— на его могилу на кладбище Цветов приходят собратья по искусству, пишет кубинская газета «Гранма».

Уже в 15 лет темнокожий аргентинец «удивлял всех своими блистательными импровизациями и брал верх над лучшими пайадорами своего времени». В 1880 году певец-самородок в рядах войск мятежного губернатора Карлоса Техадора сражался против президента Авельянеды. Уже тогда его считали более искусным пайадором, чем самого Хосе Беттиноти, любимца публики. О бесчисленных победах Эсейсы на состязаниях ходили легенды, напоминает «Гранма». Рассказывают, например, что однажды на концерте Эсейса попросил публику дать ему тему для импровизации. Некто мрачно произнес: «Метемпсихоз». Находчивый негр и тут не растерялся и почти мгновенно «выдал» импровизацию: «Все, что касается психоза,— весьма невнятно пайадорам Словарь бы очень пригодился для темы, заданной сеньором!»

Пайадоры наших дней, хотя и не столь уж многочисленные продолжают традиции своего искусства. А Габино Эсейсу они называют «первым среди равных» в своем цехе. «Гомером пайадоров». И народ не забывает своего Гомера. Эсейса, пишет обозреватель «Гранмы», «по-прежнему остается горячо любимым сыном своего народа».

Великобритания

ГОРЬКИЙ ПРИВКУС САТИРЫ

Режиссер Чарльз Старридж закончил съемки фильма «Пригоршня праха» по известной советскому читателю одноименной книге современного английского писателя Ивлина Во. Как отмечает обозреватель еженедельника «Ньюсуик» Дэвид Ансен, это не первая «встреча» двух мастеров: ранее Ч. Старридж участвовал в экранизации романа И. Во «Возвращение в Брайдсхед».

Действие «Пригоршни праха» разворачивается в среде английского дворянства. Бренда Ласт умна и очаровательна, ее муж Тони несколько чванлив и зануден, но обожает сына Джона Эндрю. Бренде скучно, и она заводит любовника, густоватого светского шалопая по имени Джон Бивер. Внезапная смерть мальчика обостряет все коллизии, и аристократ Тони в конце концов оказывается в самых отдаленных уголках южноамериканских джунглей, где «сходится с чудаковатым полукровкой, поклонником Диккенса» (роль Алеку Гиннесу, безусловно, удалась). По мнению рецензента Д. Ансена, повествование не случайно заканчивается в джунглях, ибо «под безупречной цивилизованной оболочкой «Пригоршни праха» ощущается нечто дикарское».

Создавая этот «элегантный, тонкий фильм», режиссер оставался верен замыслу автора романа, но в то же время по-своему переосмыслил «стремительную, хрупкую прозу» Ивлина Во. Так, Ч. Старридж в гораздо меньшей степени стремится скрыть под маской комедийности боль и трагедию. Грустные нотки звучат в фильме с самого начала, и зрителя как бы исподволь подводят к тому, что суета сует рождает трагедию, что «шумное веселье обернется пригоршней праха». «Нечасто у сатирического произведения бывает такой горький привкус», — полагает рецензент

Для творческой манеры Ч. Старриджа характерны «сдержанная грусть и меланхоличность», отмечает «Ньюсуик», и это хорошо видно по яркой, запоминающейся киноленте «Пригоршня праха». Журнал также высоко оценивает игру актеров. Джеймс Уилби (Тони), Кристин Скотт Томас (Бренда), Руперт Грейвз (Бивер) сумели с удивительной точностью найти нужные краски, воссоздавая на экране персонажей одного из шедевров Ивлина Во.

Кадр из фильма «Пригоршня праха».
(Еженедельник «Ньюсуик»)

Египет

НАГИБ МАХФУЗ — ЛАУРЕАТ НОБЕЛЕВСКОЙ ПРЕМИИ

Крупнейшему египетскому писателю-романисту, новеллисту и драматургу Нагибу Махфузу присуждена в 1988 году Нобелевская премия за совокупность литературных произведений. Это первый арабский писатель, удостоенный столь высокой награды.

Нагиб Махфуз Абд аль-Азиз ас-Сабильги (такозо его полное имя) родился 11 декабря 1911 года в Каире в семье мелкого чиновника. В 1934 году окончил философское отделение Каирского университета, но литератор победил в нем ученого-философа. В середине 30-х годов Махфуз впервые выступил в печати с рассказами, а вслед за тем создал три исторических романа из жизни Древнего Египта, в которых поставил проблему отношений народа и монархии. В 40-е годы он переходит к современной социально-бытовой тематике и создает серию романов, названных именами кварталов и улиц («Хан аль-Халили», «Переулок аль-Мидакк» и другие). В этих романах, а также в опубликованной позднее монументальной трилогии «Бейн аль-Касрейн» (1956—1957) Махфуз подробно и живописно рисует жизнь египетского общества, преимущественно средних слоев — чиновничества, торговцев, студентов — в период между мировыми войнами. За трилогию ему была присуждена на родине Государственная премия.

В более поздних произведениях Махфуза преобладает нравственно-философская тематика. Так, большой роман «Дети нашего квартала» (1959) представляет собой аллегорическую историю развития человеческого общества. В цикле из шести так называемых «малых» романов 60-х годов («Нищий», «Путь», «Болтовня над Нилом», «Пансионат «Мирамар» и других), а также в романах «Уважаемый господин» (1975) и «Харфуши» (1977) нашли отражение противоречия в жизни египетского общества после революции 1952 года.

В последние годы Махфуз обращается к мемуарному жанру. По сообщениям арабской печати писатель недавно опубликовал роман «Да осчастливит Аллах твой вечер!» Он представляет собой третью часть его автобиографической трилогии, первые две части которой составили романы «Каштамар» и «Утро раз». Во всех трех романах описывается жизнь в аль-Аббасийе — одном из районов Старого Каира, где Махфуз провел свою молодость («Каштамар» — название старинного кафе, которое молодой Махфуз часто посещал с друзьями).

В настоящее время общее число романов, созданных Нагибом Махфузом, перевалило за три с половиной десятка. Кроме того, им выпущено двенадцать сборников рассказов и пять пьес.

Отдельные романы и ряд рассказов Махфуза переведены на многие европейские языки, а также на языки ближайших соседей Египта — иврит, турецкий и персидский. По многим его произведениям поставлены кинофильмы.

На русском языке романы и рассказы Махфуза выходят с 60-х годов. Впервые с Махфузом-романистом советских читателей познакомил журнал «Иностранная литература»: в 1964 году на страницах журнала был опубликован его роман «Вор и собаки» в переводе Елены Стефановой. Некоторые произведения писателя опубликованы на языках других народов Советского Союза.

ВОЗВРАТ К ИСТОКАМ

Известный писатель Юсуф Идрис после долгого перерыва снова вернулся к жанру рассказа, с которого более тридцати лет назад блестяще начал свою литературную деятельность, сообщает журнал «Аль-Хиляль». Недавно в Каире вышла его новая книжка «Шоры на глазах», включающая пять рассказов и короткую повесть «Отец мужчин».

Обозреватель журнала отмечает новаторский характер рассказов, вошедших в сборник, и особенно того, что дал ему название. Сколь бы ни были интересны и впечатляющи публицистические статьи и пьесы писателя, заключает обозреватель, хочется во весь голос крикнуть: «Юсуф Идрис, не оставляйте своего главного прибежища — рассказа!»

ТОЛСТОЙ И ИСЛАМ

Каирское издательство «Ад-Дар аль-мысрийя ли-н-нашр ва-т-таузи» выпустило в свет книгу «Толстой и ислам». По словам обозревателя журнала «Аль-Хиляль», это — «книга-документ, в которой великий русский писатель-романист и философ излагает свой взгляд на ислам и пророка Мухаммеда; он считал это учение воплощением добра, справедливости и любви к человечеству, призывал изучать ислам и читать Коран».

Кроме высказываний Л. Н. Толстого о мусульманской религии и арабах книга включает письмо к русскому писателю известного египетского реформатора ислама шейха Мухаммеда Абдо, называвшего Льва Толстого «великим мыслителем-гуманистом», и другие ценные материалы.

Италия

НОВЫЙ РОМАН УМБЕРТО ЭКО

К герою второго романа известного семиолога Умберто Эко «Маятник Фуко» Казобону — историку, специалисту по процессам над тамплиерами, приведшим к упразднению ордена в 1312 году, — обращается за консультацией издательство «Гарамон»: туда поступила рукопись книги о рыцарях-храмовниках, содержащая ряд странных утверждений и зашифрованное послание... Дальнейший ход событий заставляет Казобона — уже сотрудника издательства — и двух его коллег заинтересоваться историей существовавших после тамплиеров тайных обществ и объединений, причастных к организации заговоров — от розенкрейцеров и иезуитов до современных масонов. Сначала с целью розыгрыша, а затем увлекшись, почти всерьез герои измышляют некий всемирный заговор, во исполнение которого якобы и действовали все мыслимые тайные силы и с которым связано также заключенное в рукописи послание. Выдумка обходится им недешево: один из них, Бельбо, попадает в плен к современной секте, глава которой утверждает, что он — бессмертный Калиостро...

Замысел романа возник у Эко восемь лет назад, сразу после выхода «Имени розы», а путь к его реализации пролег через полторы тысячи томов — от исторических документов до популярных изданий по физике и опусов о пророчествах Нострадамуса.

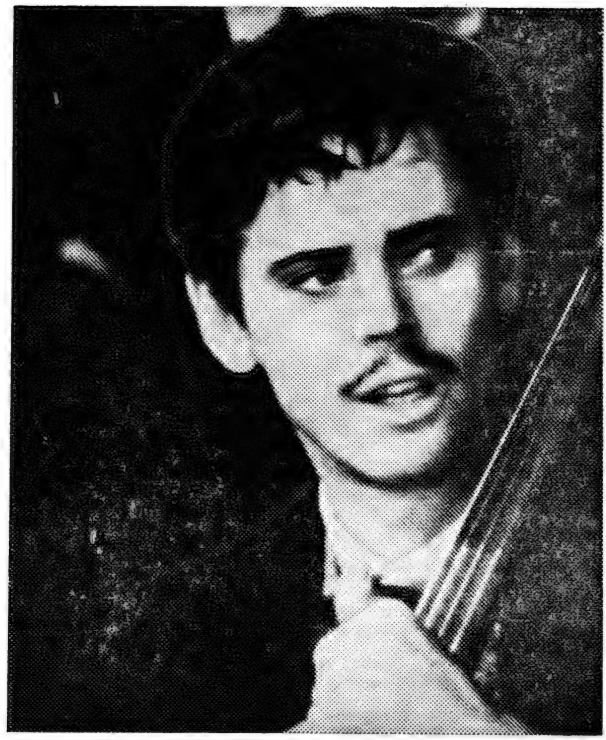
«После классической книги Эко создал книгу барочную,— отмечает во французском журнале «Нувель обсерватёр» Доминик Фернандез. — Если в первом случае ему удалось выдержать единство места, времени и действия, то погружение в культуру иррационального оказалось неизбежно сопряжено с путешествиями через границы и века».

«Так же как «Имя розы», «Маятник Фуко» — произведение очень сложное, многоплановое и потому адресовано самым разным категориям читателей — от массового до элитарного. «Это и авантюрно-детективный роман с тайнами и заговорами, с любовными похождениями, похищениями и убийствами, и философский антиобскурантистский памфлет, и семиологическое эссе об опасностях, каковыми чревато тенденциозное прочтение текстов», — пишет в еженедельнике «Эуропео» Уго Волли.

В новой книге Эко проявил себя как тонкий стилист, искусно меняющий повествовательные регист-

ры: здесь и строгий исторический анализ, и проникнутые лиризмом автобиографические воспоминания, и виртуозные пастиши, и головокружительные ряды скрытых цитат...

Как и в «Имени розы», Эко ведет многообразную игру с читателем: и когда устанавливает соответствие между структурой романа и кабалистическими десятью эманациями божественной сущности, схема которых представлена для удобства читателя на репродукции старинной иллюстрации; и когда наделяет лже-Калиостро чертами главы недавно раскрытой масонской ложи П-2 Личо Джелли, а директора издательства «Гарамон» «списывает» с Валентино Бомпиани — руководителя издательской фирмы, где Эко проработал много лет и где вышли оба его романа. Но за игрой стоит глубокая озабоченность автора поднятой темой и четкая этическая позиция. Роман Эко — о роли заговоров и тайных обществ в истории, о возможности их контролировать или пусть уж иметь о них верное представление. И хотя в его основе лежат не столько политические категории, сколько моральные дилеммы и интеллектуальный вызов, роман, по мнению Уго Волли, несомненно вызовет политические дебаты.



ЭСТЕТИКА ПАЗОЛИНИ

Пазолини-филолог ни в чем не уступал Пазолини-поэту. Можно без преувеличения назвать его лучшим критиком своего времени, пишет на страницах газеты «Корьере делла сера» известный литературовед Энцо Сичильяно. Эссе Пазолини, посвященные диалектальной и народной поэзии,— настоящие шедевры, в которых заключен опыт целой эпохи с ее восхищением народным языком страстным стремлением максимально раскрепостить язык литературы. Литературные очерки поэта, включенные в сборники «Страсть и идеология» и «Описания описаний» (эта книга вышла в свет после смерти автора), продолжает Э. Сичильяно, дают картину итальянской литературы 50—70-х годов, поражающую читателя остротой и новизной взгляда.

Новый сборник «Галерея смерти» (с предисловием Чезаре Сегре) в серии «Куадерни Пьер Паоло Пазолини» представляет ранее не издававшиеся эссе. Они были созданы в различные годы и охватывают весь период литературной деятельности писателя. Можно заметить как менялись со временем его установки — от чисто текстуального, лингвистического подхода к глубокс психологическому анализу Пазолини менялся, напоминает Э. Сичильяно,— в его оценках жизни и литературы чаще проскальзывали горечь, резкость. Поэзия, проза, эссеистика уже были для него формами идеологической борьбы. Однако поэтическое чутье и страсть исследователя оставались неизменными; отсюда по мнению литературоведа,— красота и непреходящая новизна эссеистики Пазолини.

«Молодой Тосканини» — так называется новый фильм Франко Дзеффирелли.

Артуро Тосканини, напоминает обозреватель журнала «Квик», родился в Парме в 1867 году, окончил парижскую консерваторию по классу виолончели. В начале 1886 года юный виолончелист в составе труппы выехал в Южную Америку. 25 июня 1886 года в Рио-де-Жанейро состоялся дирижерский дебют Тосканини. Выручая труппу—публика, недовольная дирижером, неистовствовала и уже готова была покинуть театр,— молодой виолончелист встал из-за своего пульта, поднялся на подиум и — без какой-либо репетиции — превосходно продирижировал «Аидой».

Юного Тосканини играет Томас Хауэлл, Надежду Булычеву (1859—1921), знаменитую русскую певицу, исполнительницу партии Аиды, Элизабет Тейлор.

На снимке: Томас Хауэлл в фильме «Молодой Тосканини».

(Журнал «Квик»)

Куба

ПОЭЗИЯ ПОСЛЕДНЕГО ДВАДЦАТИЛЕТИЯ

Антологию «Новая кубинская поэзия (1966—1986)» выпустило в свет испанское издательство «Орихенес». В сборник включено более ста тридцати произведений авторов, заявивших о себе в литературе после победы революции 1959 года. Это известные не только на родине, но и за ее пределами поэты Мигель Барнет, Нанси Морехон, Виктор Касаус, Освальдо Навarро, Луис Рохелио Ногерас. Значительная часть книги отведена произведениям представителей более молодого поколения — Хосе Переса Оливареса, Мерилин Бобес, Рейны Марии Родригес, Леона де ла Оса. «Перед зарубежными испаноязычными читателями открылась своеобразная панорама кубинской поэзии нашего времени,— отмечает рецензент газеты «Гранма» Фернандо Родригес Соса.— Они получили возможность увидеть ее истоки, судить о ее перспективах».

Составитель антологии — молодой испанский поэт, очеркист и критик Антонио Мерино — относит ее авторов, пришедших в отечественную литературу в конце 60-х и в 70-е годы, к представителям «новой кубинской поэзии», отмечает

рецензент. Посвятив несколько лет изучению истории латиноамериканской литературы, он в своих комментариях — и это особенно ценно — устанавливает связи между кубинской поэзией нашего времени и поэтической традицией Испании, а также Латинской Америки. Заслуживают внимания критиков и любителей поэзии ранее не публиковавшиеся произведения, а также краткие биографические сведения об авторах.

По мнению Фернандо Родригеса Сосы, «выход в свет этой антологии — убедительное свидетельство глубокого интереса к современной поэзии Кубы, признания ее достоинств в испаноязычном литературном мире».

Польша

«МУЗЫКА ПРОДОЛЖАЕТ РАЗВИВАТЬСЯ»

Богуславу Шефферу (род. в 1929 г.), композитору, историку и теоретику музыки, исполняется шестьдесят лет. Сторонник «метамузыки», «внепараметрового творчества», он широко использует в своих сочинениях нетрадиционные эффекты, экспериментирует со звучаниями, пишет в статье, посвященной его творчеству, еженедельник «Культура». Шефферу принадлежат симфонические, камерные, джазовые, электроакустические и компьютерные композиции, составляющие основу его «инструментального театра». Более четверти века назад Шеффер вместе с краковским ансамблем «МВ-2» (Молодые исполнители современной музыки) начал «опыты по переносу в театр принципов музыкальной формы» Его «театральные партитуры» — «Сценарий для несуществующего, но возможного инструментального актера», «Квартет для четверых актеров», «Вопль для трех актеров и оркестра», «Сценарий для трех актеров» и другие — попытка подчинения актерского действия импровизационной музыкальной структуре. В последние годы Шеффер развивает программу «инструментального театра» вместе с группой «Гасаб», куда кроме него входят скрипачка Барбара Стур и актер Миколай Грабовский. В интервью еженедельнику «Культура» композитор заметил: «Есть люди, которые брюзгливо твердят что, мол, «все это уже было». Мы — оптимисты — говорим: ворчуны тоже были, но музыка продолжает развиваться».

Шеффер пишет и пьесы для «театра как такового», среди них — драмы «Мрак», «Заря», «Грехи старости», «Качо». Построенные в соответствии с идеями «открытого театра» как ассоциативная цепочка эпизодов, театральные сочинения Шеффера предоставляют актерам широкое поле для фантазии и импровизации. По словам обозревателя журнала «Диалог», драматург-композитор «ловит на слух диссонансы обыденности», ищет и находит в реальности подлинный абсурд: в его театре нет причин и следствий, здесь оживают метафоры, властвует «черный юмор», «чистый нонсенс бормочущей повседневности». Излюбленный прием Шеффера, его основное средство экспрессии — шокирующий контраст, коллизия между социальной ролью персонажа, его действиями и словами. В построенной им гротесковой реальности «весьма сомнительно все, что говорится всерьез» — это современная комедия дель арте с элементами политического кабаре. Путь драматургии Шеффера на сцену был нелегок, она медленно проникала в профессиональный театр, но сегодня его сценические композиции ставятся повсеместно и, по мнению журнала «Диалог», пользуются заслуженным признанием публики и критики.

ТЕАТРАЛЬНЫЙ ДОМ ВИТКЕВИЧА

В Закопане четвертый год работает Театр имени Станислава Игнацы Виткевича. Его труппа состоит из выпускников краковской Высшей театральной школы, объединившихся вокруг Анджея Дзюка — режиссера и автора сценариев большинства постановок. Коллектив родился в начале 80-х годов, в процессе совместной работы студентов над учебным спектаклем по «Дон Кихоту» Сервантеса. В 1984—1985 годах театр под руководством второго режиссера Юлии Вернио работал в городе Валбжихе над пьесой «Путь в Дамаск» А. Стриндберга и «Прагматистами» С. И. Виткевича. В 1984 году премьера «Прагматистов» с аншлагом прошла в Закопане. Здесь же был подготовлен спектакль «Виткаций: автопародия», с которого в день столетия С. И. Виткевича, 24 февраля 1985 года, началась профессиональная история театра. Ныне труппа является секцией Закопанского общества любителей театра и арендует здание бывшего профилактория Титуса Халубинского, где в 20-е годы действовал Формистический театр, детище самого Виткевича. Группе молодых энтузиастов, подчеркивает журнал «Театр», удалось то, чего не смог добиться автор «Любала Вахазара»,— создать в городе постоянную профессиональную сцену.

Театр стал подлинным «домом Виткевича»: А. Дзюк и его товарищи видят свою важнейшую задачу в охране и пропаганде наследия драматурга, осуществляют его концепцию театра как средства «метафизического очищения». «Виткевич— наш главный собеседник в разговоре о том мире, где нам выпало жить...» — говорит руководитель коллектива. Репертуар театра разнообразен: здесь есть все — от античной трагедии и средневековой мистерии до современной авангардной драмы и постановок в духе кабаре. Среди спектаклей — ревю «Дыра, пробитая в парах абсурда» по сатирическим произведениям Ю. Тувима и А. Слонимского, «Жизнь есть сон» Кальдерона, «Бенефис» по дневникам и письмам актрисы Ирены Сольской, «Трагическая история доктора Фауста» К. Марло, «История» В Гомбровича, литургическая драма Кальдерона «Великий театр мира», «Кабаре Вольтер» — «дадаистически-сюрреалистический сеанс» по произведениям Т. Тцара, Ж. Рибмон-Лессеня, А. Арто и других, «Sic et non» по мотивам «Абеляра и Элоизы» А Дункана, инсценировка «Игрока» Ф Достоевского.

Как отмечает журнал «Диалог», театру наиболее близки проблемы «социальной эсхатологии», психологии личности, ритуального сознания в современном обществе. Театр стремится возродить единство публики и актеров. Партнерская игра с публикой здесь не самоцель, а часть художественного единства: представление «постепенно рождается» среди зрителей и кончается только тогда, когда уходит последний гость. Театр имени Виткевича признан одним из интереснейших явлений польского сценического искусства 80-х годов, удостоен авторитетных премий имени Конрада Свинарского (1987), имени Леона Шиллера (1988). В 1988 году прошли первые выступления за рубежом — на фестивалях в США, Канаде и СССР (Челябинск).

Станислав Игнацы Виткевич. Автопортрет.

(Журнал «Панорама»)

США

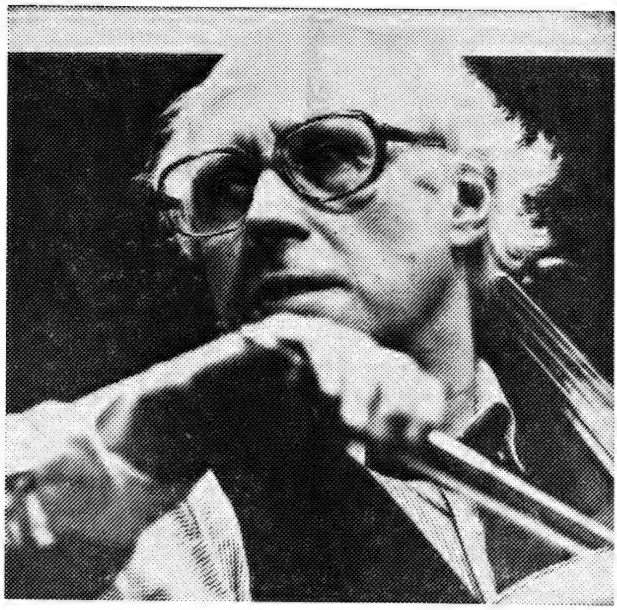
ЕМУ ПОКОРЯЕТСЯ МУЗЫКА

На одном из концертов фестиваля средиземноморских стран во главе оркестра стоял всемирно известный виолончелист и дирижер Мстислав Ростропович. Корреспондент французского журнала «Нувель обсерватёр» Жак Дрийон взял интервью у этого крупнейшего музыканта современности.

М. Ростропович много и успешно работает: помимо гастролей и концертов часто выступает на телевидении, выпускает новые пластинки, в частности недавно вместе с Французским национальным оркестром он записал «эпохальное полное собрание симфоний Прокофьева», а также его «монументальное оперное полотно «Война и мир». М. Ростропович, отмечает Ж. Дрийон, «редкостный, великолепный солист» — достаточно вспомнить его совместные записи: с Б. Бриттеном — произведений Шуберта, с С. Рихтером — сонат Бетховена.

Особое место в творческой жизни дирижера занимает работа в Вашингтонском симфоническом оркестре, который он, по мнению рецензента, «поднял на новый уровень». М. Ростропович расширил состав исполнителей за счет подобранных им самим музыкантов. «Мы много трудились, много гастролировали и добились поразительных результатов. Работать было легко, да и дисциплина у нас железная», — говорит дирижер. «Я репетирую всего четыре месяца в году, а за двенадцать лет мы исполнили уже более ста новых симфоний!» — восклицает Ростропович. Репертуар оркестра составляют произведения В. Лютославского, К. Пендерецкого, Л. Бернстайна, Дж. Крамба, А. Шнитке, Р. Щедрина, а также молодых американских и французских композиторов. Каждый год четвертого июля оркестр, по предложению М. Ростроповича, дает бесплатный концерт в честь Дня независимости.

Говоря об искусстве дирижирования, М. Ростропович подчеркивает, что обычно знает исполняемое произведение наизусть, но всегда старается дирижировать по партитуре: «Ведь я отвечаю за весь оркестр. Когда солируешь — другое дело. Если мне как виолончелисту приходится выступать с дирижером, который стоит за пультом без партитуры, я нервничаю...» Жак Дрийон вспоминает, как однажды на вопрос одного из журналистов об отношении М. Ростроповича к выступлению с дирижером-женщиной тот ответил: «Я бы предпочел мужчину. Вы знаете, я вообще-то не против женщин, но некоторые профессии все-таки не для них. Вполне допустимо, что мужчина может приблизиться к «женской составляющей» музыки, но женщине, исполняющей, скажем, «Дон Кихота», не веришь. Правда, были и прекрасные музыкантши — скажем, виолончелистки Жаклин Дю Пре, Рен Флашо...».



Мстислав Ростропович.

(Журнал «Нувель обсерватёр»)

Франция

СВОБОДНАЯ ПОЭЗИЯ «ОТЦА СЮРРЕАЛИЗМА»

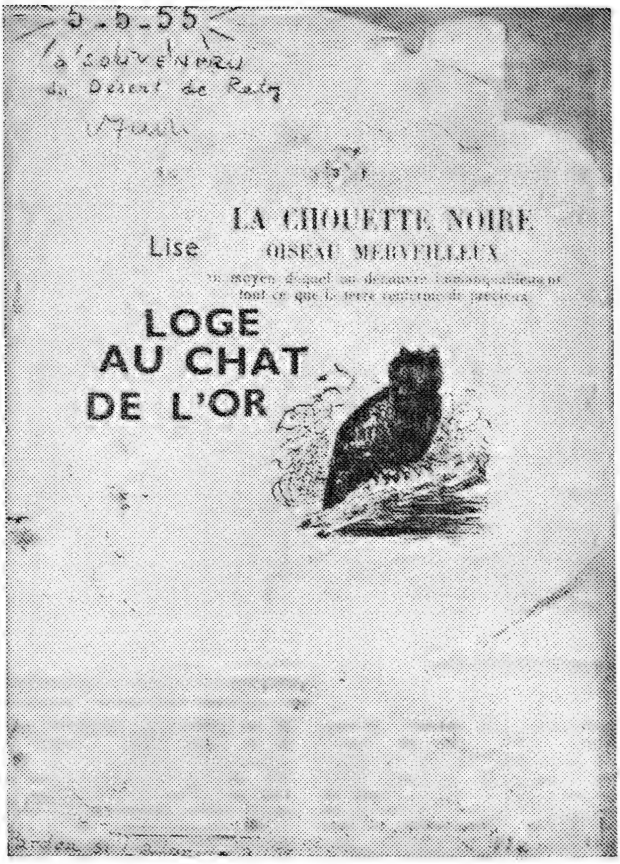
«Андре Бретон — мастер описания бытия человеческого, описания собственного бытия. И пожалуй, это лучше всего ощущается при знакомстве с произведениями из выпущенного издательством «Галлимар» первого тома полного собрания его сочинений»,— пишет на страницах журнала «Нувель обсерватёр» Клод Руа. На полноту и близость предложенного знакомства читатель может вполне положиться: Маргерит Бонне — редактор и составитель тома — не только крупный специалист в области литературы, но и друг семьи Бретонов; ей «были открыты и архивы, и душа поэта».

В этот том вошли произведения, написанные молодым Бретоном, мединком по образованию, в бурное время начала XX века (хронологически — вплоть до 1930 года). И они, по мнению К. Руа, как нельзя лучше отражают жизненное и творческое кредо поэта: «Быть, а не казаться, действовать, а не говорить, и если уж говорить, то только о том, что сам познал, постиг, испытал». Именно поэтому, утверждают критики, он столь яростно отвергал расхожую беллетристику, которая «искажает подлинность пережитого и сдерживает творческий порыв».

Искренность в выражении мыслей и чувств, возможность «быть самим собой» — девиз восемнадцатилетнего Бретона — первейшая из свобод, слагаемое «Свободы как основы человеческого характера», продолжает Клод Руа. Лейтмотив Свободы звучит и в написанной десять лет спустя поэме «Земной свет». Любви к свободе поэт, желавший, по собственному признанию, стать «идеальным анархистом», оставался верен до конца.

В своем стремлении достичь точности в передаче моментов «бытия человеческого», причем точности «не зеркальной и не механической, а поэтически переосмысленной», А. Бретон искал свободы за рамками стандартных форм и образов — и нашел желаемое в сюрреализме, отмечает рецензент «Нувель обсерватёр». Он стал не только основоположником и теоретиком этого направления в поэзии, но и его душой, подлинным лидером, снискавшим признание и уважение единомышленников благодаря своему «таланту дружить»: Элюар, Арагон, Ваше, Дали, Сезер, Превер, Тцара — вот самый краткий перечень близких друзей Бретона.

Бесспорное признание получил А. Бретон и у журналистов, окрестивших его «несокрушимым львом» и «отцом сюрреализма». Для



Коллаж Андре Бретона.

(Журнал «Нувель обсерватёр»)

самого же «отца сюрреализма», поясняет на страницах еженедельника «Кензен литтерер» издатель и критик Морис Надо. «сюрреализм — не поэтическая форма, а крик души. возвращающий ся с зарядом решимости порвать стягивающие человека путы». Созданные «отцом сюрреализма» поразительные образы, языковая символика,«поэзия бьющих гейзеров, падающих звезд и метеоритов»—свидетельство того, что ему удалось порвать эти путы. отмечает обозреватель «Кензен литтерер».

СУДЬБА БУНТАРКИ

Выразительное, одухотворенное лицо этой молодой женщины не может не привлечь к себе внимание, даже если не знать, что на фотографии, помещенной в журнале «Нувель обсерватёр», изображена знаменитость. Звезда Альбертины Сарразен блистала всего два с половиной года и закатилась так же внезапно, как и вспыхнула. Однако этого недолгого времени оказалось достаточно, чтобы ее творчество вошло в историю французской литературы XX века как явление незаурядное, самобытное, уникальное. Вся жизнь Альбертины — от интригующего начала до трагического конца — словно плод прихотливого воображения романиста. «10 июля 1967 года, — напоминает «Нувель обсерватёр», — Альбертина Сарразен легла на операцию почки. И умерла на столе от остановки сердца». Так нелепо оборвалась жизнь 29-летней писательницы, когда после долгих лет скитаний и унижений она, наконец, обрела счастье и признание.

Альбертина с детства была бунтаркой. Удочерив девочку-подкидыша, почтенные супруги Р., вероятно, мечтали вырастить ее благовоспитанной, делающей честь приемным родителям. Их мечтам не суждено было сбыться. Анна (так ее нарекли) рано проявила способности к литературе, музыке, философии, но все попытки подчинить ее жизнь жестким обывательским устоям, добиться слепого послушания принимала в штыки. Чем больше усилий прикладывали приемные родители, а позже — учителя интерната для трудновоспитуемых подростков, куда она была определена, — тем более вызывающие формы принимал ее протест.

Наконец в 18 лет она осуждена на семь лет за проституцию, воровство, попытку вооруженного ограбления. В тюрьме ей встретился талантливый педагог и психолог — Кристиана Гогуа-Микель, разглядевшая в «дерзкой преступнице» сильную, ищущую себя личность, яркое дарование. Дальнейшие события жизни Альбертины описаны в прославившей ее автобиографической трилогии. При побеге из тюрьмы она сломала ногу, и ее, беспомощную, подобрал и приютил Жюльен Сарразен, ее будущий муж. Встреча с ним наполняет жизнь Альбертины новым смыслом, она перестает чувствовать себя неприкаянной. она любима, она любит. Жюльен, как и его подруга, не в ладах с законом, ибо добывает средства к существованию весьма предосудительным способом. История их любви с короткими тайными встречами, долгими разлуками, браком в тюрьме составляет сюжетный стержень трилогии. Многое в этой истории напоминает средневековую легенду о Тристане и Изольде. как ни странно звучит подобное сравнение.

Рукопись первого романа Альбертина послала нескольким издателям одновременно. Один из них, Жан-Жак Повер, понял, что в его руки попала не просто сенсация, но безусловно талантливое произведение. поразительное по искренности, духовной напряженности. Роман вышел в свет в 1965 году. Для многих это был модный бестселлер, пикантное чтиво, а шокированные супруги Р. окончательно порвали с Альбертиной отношения. Зато у нее появилось немало друзей из среды писателей, журналистов. В 1967 году она придирчиво отбирает стихотворения для первого сборника... Книга вышла в назначенный срок, но Альбертины Сарразен уже не было в живых.

Жюльен Сарразен подал в суд на хирурга и анестезиолога. Шесть лет длился процесс, в результате которого вина врачей, проявивших пренебрежение к больной, была признана. После этого громкого дела французские врачи стали куда серьезнее относиться к применению анестезии... «Альбертина Сарразен по справедливости заслуживает того, чтобы ей поставили памятник», — говорит Жерар Шапю, глава Французского Общества анестезиологов и реаниматоров.

«Последней злой насмешкой судьбы» назвала в свое время К. Гогуа-Микель смерть Альбертины Сарразен. И сегодня, беря в руки ее романы, вы-

Альбертина Сарразен.

державшие уже десятки изданий, французские читатели остро ощущают горечь непоправимой утраты.

ФРАНЦУЗСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ ДВЕСТИ ЛЕТ СПУСТЯ

Издательство «Фламмарион» выпустило «Критический словарь Французской революции» под редакцией Франсуа Фюре и Моны Озуф. Великая французская революция «явилась уникальным событием, заложившим основы современной демократии», она непосредственно связана с сегодняшними проблемами, отмечает издательская аннотация.

Эту книгу нельзя назвать ни обычным словарем, ни энциклопедией. Она представляет собой сборник примерно из ста довольно значительных по объему эссе, сгруппированных в пяти крупных разделах: «События», «Деятели», «Достижения», «Идеи», «Историки». С помощью указателя читатель может легко отыскать интересующие его тематические статьи и, сопоставляя различные точки зрения, получить целостную картину вопроса. В «Словаре...» представлена не только история, но и критические комментарии событий и судеб, накопившиеся за двести лет.

В связи с выходом в свет «Словаря...» журнал «Нувель обсерватёр» помещает отрывок статьи из раздела «Деятели» о Ж.-П. Марате (1743—1793), озаглавленный «Великий обличитель». Автор эссе Мона Озуф приводит любопытные исторические факты, различные мнения о личности Марата — «Калигула перекрестков» (Шатобриан), «деятель разрушения» (Гюго), «король гуннов» (Луи Блан), — а также оценки его роли в революционной жизни Франции. Марат, получивший прозвище «Друг народа» (по названию издававшейся им газеты), был «журналистом на службе у простых людей, воплощением новой, могущественной силы — общественного мнения». По его собственному признанию, он был не столько деятелем революции, сколько ее трибуном: «Я участвовал в событиях лишь тем, что писал статьи». Этими статьями — страстными призывами к революции — он формировал и укреплял политические позиции восставших, «предсказывал» и разоблачал предательство одних и коррупцию других, создавал своеобразную «летопись революции». Он был поистине «глазами народа», пишет М. Озуф.

Помещенная в «Нувель обсерватёр» статья о Марате свидетельствует о несомненных историографических, социологических и культуроведческих достоинствах «Словаря...», представленного издательством «Фламмарион» на Международной книжной ярмарке во Франкфурте. Право на его публикацию приобрели крупнейшие издательства мира, в том числе — «Гарвард юниверсити пресс», «Зуркамп», «Бомпиани», «Альянца», «Нова фронтейра».

(Журнал «Нувель обсерватёр»)

ФРГ

РОМАН «НОВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ» В ФРГ

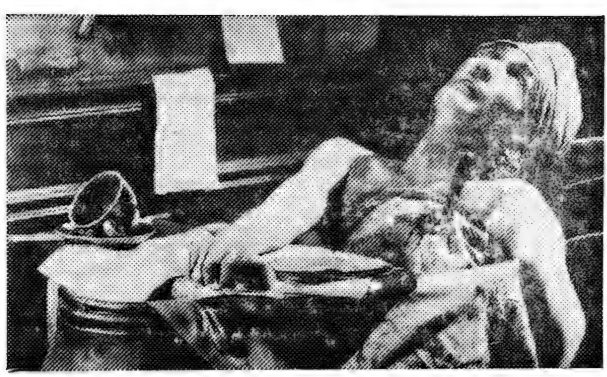
В гёттингенском издательстве «Штайдль» вышел в свет роман Александра Бека «Новое назначение».

«Сюрпризы ждут читателя этой книги еще до начала чтения,— пишет в газете «Франкфуртер альгемайне» критик Сабина Брандт.— Из комментария он узнает о судьбе романа и его автора, советского писателя Александра Бека. Оказывается, книга уже выходила в издательстве «Фишер» шестнадцать лет назад, в 1972 году, когда в Советском Союзе еще не было надежды ее опубликовать».

«Что же побудило теперь издательство «Штайдль» предложить немецкому читателю новый перевод?» — спрашивает рецензент. Ответ С. Брандт ясен: небывалый прежде интерес к советской литературе, новые надежды, вызванные перестройкой.

Антонен Арто в роли Ж.-П. Марата в фильме Абеля Ганса «Наполеон» (1927).

(Журнал «Нувель обсерватёр»)



«Именно под знаком гласности и перестройки роман Александра Бека появился теперь и в Советском Союзе, через двадцать четыре года после того, как автор его завершил. Когда Бек дописывал последнюю страницу, был смещен Хрущев и начался долгий период «брежневской реставрации». Конечно, еще вопрос, мог ли появиться такой роман и при Хрущеве. Во всяком случае при Брежневе он так и остался в ящике письменного стола А. Бека, который умер, не дождавшись лучших времен, — в том самом 1972 году, когда его книга вышла в ФРГ...»

Теперь, в 1988-м, она вышла одновременно не только в Москве и Гёттингене, где выглядит «новинкой», но и в столице ГДР. Причем гёттингенское издание предлагает читателям именно восточноберлинский перевод. Дело в том, что государственные издательства ГДР могут вкладывать в такую работу больше денег и времени, чем западные предприниматели, поэтому там переводы лучше.

Послесловие Раисы Орловой-Копелевой рассказывает об истории создания романа, особенно — его запрещения. Издательство подогревает читательский интерес и рекламой: текст на кричаще-желтой полосе, опоясывающей обложку, гласит: «Роман «с ключом» о сталинском времени».

Завершая рецензию, С. Брандт отмечает специфику восприятия книги западногерманским читателем: «В отличие от москвичей или жителей Восточного Берлина нас не так интересуют намеки на подлинные обстоятельства или сходство с прототипами, сколько проблема нравственного облика героя. Назвать изображенного Беком советского министра попутчиком... нет, это был бы явный эвфемизм. При всей симпатии к гласности и перестройке мы не можем закрыть глаза на то, что наш собрат бековского министра, Альберт Шпеер, за свои деяния поплатился двадцатью годами в Шпандау».

НА КРАЮ БЕЗДНЫ

Лучшим драматическим произведением минувшего театрального сезона называет журнал «Театер хойте» пьесу Харальда Мюллера (ФРГ) «Плот мертвецов». Премьера этой пьесы, повествующей о ядерной агонии человечества, совпала с трагическими событиями на Чернобыльской АЭС и вызвала огромный отклик в стране, которая, по горькому утверждению Х. Мюллера, «всего на несколько дней очнулась от сытого, равнодушного сна».

Итоговый сборник журнала «Театер хойте», посвященный лучшим достижениям в театральной жизни прошлого года, включал статью Х. Мюллера «В наших глазах отражается бездна» — своеобразный авторский разбор нашумевшего произведения.

Сцена из спектакля по пьесе «Плот мертвецов».
(Ежегодник журнала «Театер хойте»)

«Плот мертвецов»,— пишет Х. Мюллер,— это попытка разобраться в том, что такое «синдром муравьиной кучи», проще говоря, меня интересовало, что испытывает индивидуум, оказавшийся свидетелем гибели человечества».

Появление новейших средств массового уничтожения, по мнению Х. Мюллера, вызвало глубокие изменения в общественном сознании, однако «пока лишь немногие понимают в полной мере (а вернее — желают понять)», насколько серьезны и социально значимы такие изменения.

«Увы,— восклицает драматург,— современный прогресс все более смахивает на регресс, контуры будущего пока еще расплывчаты, но в них угадываются знакомые очертания первобытного леса. Голод, вражда, похоть, борьба за власть существовали всегда, но ядерная эпоха придала извечным бедам и порокам поистине катастрофический характер»

Рассказывая о причинах, побудивших его написать «Плот мертвецов», Х. Мюллер говорит о своем желании обратить внимание публики на неудержимый процесс разрушения планеты. «Конечно,— заявляет он,— мне не удастся изменить действительность к лучшему, ну так пусть по крайней мере зритель знает, что в своем страхе он не одинок».

«ЗАПИСКИ ОБ АННЕ АХМАТОВОЙ»

О жизни Анны Андреевны Ахматовой — одной из самых замечательных поэтесс России, творчество которой стало школой для нескольких поколений русских поэтов, в том числе и лауреата Нобелевской премии по литературе (1987) Иосифа Бродского, — широким читательским кругам ФРГ известно очень мало, пишет западногерманский журнал «Шпигель». В тени оставались прежде всего страшные годы сталинского массового террора — время, когда было написано одно из самых значительных произведений Ахматовой — стихотворный цикл «Реквием», лишь недавно опубликованный в СССР.

Именно об этом периоде жизни Ахматовой рассказывает книга ее младшей современницы и подруги Лидии Чуковской «Записки об Анне Ахматовой», немецкий перевод которой выпустило издательство «Гунтер Нарр». В этой биографической книге перед читателем предстает образ поэта на скорбном фоне эпохи 1938—1941 годов, очерченный с любовью и мастерством. «Шпигель» отмечает, что послесловие к книге Л. Чуковской написала Раиса Орлова-Копелева.

Швеция

ПОЛНОЕ СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ СТРИНДБЕРГА

Несколько лет тому назад «Норстедтс», одно из крупнейших издательств Швеции, приступило к осуществлению грандиозного замысла — начат выпуск полного собрания сочинений Августа Стриндберга. Работа над изданием неожиданно прекратилась в 1986 году по финансовым причинам, а также из-за споров, разгоревшихся между исследователями творчества классика. К 1986 году из запланированных 75 томов собрания сочинений свет увидели 14, а половина средств, отпущенных на проект государством — 10 миллионов шведских крон,— уже была истрачена.

И вот совсем недавно, к радости многочисленных почитателей Стриндберга, работа над собранием была возобновлена. Проект решено завершить в 1997 году, если удастся ежегодно выпускать пять — семь томов.

Текстологам и редакторам во главе с доцентом Ларсом Дальбеком предстоит огромный труд: восстановить первоначальный текст всех произведений Стриндберга, многие рукописи которых утеряны.

В ближайшее время будут опубликованы пьесы «Пляска смерти», «Игра грез», исторические драмы «Кристина», «Густав III», а также цикл публицистических статей под общим названием «Речи к шведской нации».

СОДЕРЖАНИЕ ЖУРНАЛА «ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА»

за 1988 год № 1—12

Бёлль Генрих — Под конвоем заботы (Роман. Вступление и перевод с немецкого М. Рудницкого), № 11, 12.

Боровский Тадеуш — Стихи и проза (Вступление Владимира Британишского. Перевод с польского Зигмунта Левицкого, Владимира Британишского, Е. Лысенко), № 10.

Бройн Гюнтер де — Новое благоденствие (Роман. Перевод с немецкого Е. Кацевой), № 1.

Булатович Миодраг — Самая большая тайна на свете (Рассказ. Перевод с сербскохорватского Татьяны Вирты), № 4.

Доктороу Э. Л. — Жизнь поэтов (Повесть. Перевод с английского В. Воронина), № 5.

Дюрренматт Фридрих — Правосудие (Роман. Перевод с немецкого С. Фридлянд. Послесловие Н. Павловой), № 6.

Кампаниле Акилле — Бедный Пьеро (Комедия в трех действиях с прологом. Перевод с итальянского Ф. М. Двин), № 12.

Кинселла Уильям Патрик — Ласки и горностаи (Рассказ. Перевод с английского Оксаны Кириченко), № 7.

Кхандекар В. С. — Король Яяти (Роман. Вступление и перевод с хинди М. Салганик), № 5—7.

Миллер Артур — Часы Америки (Пьеса. Перевод с английского Т. Голенпольского и С. Кибирского. Вступление Г. Злобина), № 11.

Модиано Патрик — Смягчение приговора (Перевод с французского Т. Ворсановой), № 12.

Мрожек Славомир — Произведения разных лет (Вступление А. Ермонского. Переводы с польского В. Чепайтиса, М. Павловой и В Бурича, В. Климовского, К. Старосельской), № 5.

РАССКАЗЫ КАНАДСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ (Перевод с английского М. Лорие, Оксаны Кириченко), № 7.

Росс Синклер — Звуки корнета в ночи (Рассказ. Перевод с английского М. Лорие), № 7.

Сабато Эрнесто — Туннель (Повесть. Перевод с испанского И. Глущенко. Вступление Валерия Земскова), № 6.

Сакони Карой — Французская ферма (Повесть. Перевод с венгерского Е. Малыхиной. Вступление Виктора Астафьева), № 10.

Скотт Пол — Остаться до конца (Роман. Перевод с английского И. Багрова), № 2.

Самора Висенте Алонсо — Новеллы (Перевод с испанского А. Косс), № 11.

Убалдо Рибейро Жоан — Сержант Жетулио (Роман. Перевод с португальского Л. Новиковой. Вступление Жоржи Амаду), № 9.

Уэлдон Фэй — «Поларис» (Повесть. Вступление Н. Коневой. Перевод с английского Людмилы Биндеман), № 5.

Фуэнтес Карлос — Старый гринго (Роман. Перевод с испанского Маргариты Былинкиной. Послесловие Юрия Дашкевича), № 3.

Фюман Франц — Два рассказа на античные темы. Нефела. Гера и Зевс (Переводы с немецкого Т. Холодовой и И. Кивель), № 12.

Хаксли Олдос — О дивный новый мир (Роман. Перевод с английского О. Сороки. Послесловие П. Палиевского), № 4.

Хорасанджан Бедрос — Ломтик слоеного утра в Макондо и другие рассказы (Перевод с румынского Анастасии Старостиной), № 3.

Хэммет Дэшил — Две повести (Перевод с английского В. Голышева. Послесловие Сергея Белова), № 7.

Чжан Сянлян — Мимоза (Повесть. Перевод с китайского Ильи Смирнова), № 8.

Эко Умберто — Имя розы (Роман. Перевод с итальянского Е. Костюкович. Вступление Вячеслава В. Иванова), № 8—10.

Эко Умберто — Заметки на полях «Имени розы» (Вступление, примечания и перевод с итальянского Е. Костюкович), № 10.

СТИХИ

Акико Есано — Танка нового времени (Перевод с японского А. Долина), № 7.

Бокусуй Вакаяма — Танка нового времени (Перевод с японского А. Долина), № 7.

Брейтенбах Брейтен — Слушок и др. стихи (Перевод с африкаанс Е. Витковского. Вступление Аполлона Давидсона), № 8.

Вивар Альфредо — Вариации (Стихи. Вступление и перевод с испанского Сергея Гончаренко), № 10.

Ганас Михалис — Кораблекрушение и др. стихи (Перевод с греческого С. Ильинской), № 7.

Ганн Том — Лазарь невоскресший и др. стихи (Переводы с английского Олега Юрьева, Леонида Аринштейна, Виктора Топорова, Дмитрия Закса), № 11.

Грасс Гюнтер — Стихи из трех романов (Перевод с немецкого Б. Хлебникова. Вступление А. Карельского), № 4.

Делюн Анри — Из цикла «Двадцать четыре часа и море в саду» (Перевод с французского Натальи Стрижевской, Мориса Ваксмахера), № 12.

Из поэзии КНДР (Перевод с корейского В. Летучего), № 5.

ИЗ ФРАНЦУЗСКОЙ ПОЭЗИИ. Наши гости из «Аксьон поэтик» (Вступление Тамары Балашовой), № 12.

Ифандис Яннис — Слова пьяного крестьянина и др. стихи (Перевод с греческого С. Ильинской), № 7.

Кадью Оливье — Стихи (Перевод с французского Ирины Кузнецовой), № 12.

Ку Хичер — По дорогам и перевалам (Стихи. Перевод с корейского В. Летучего), № 5.

Левертов Дениза — Два стихотворения (Перевод с английского Владимира Корнилова), № 8.

Левчев Любомир — Стихи из книги «Метроном» (Перевод с болгарского Владимира Соколова), № 2.

Ли Денсеб — Влюбиться в скалу (Стихи. Перевод с корейского В. Летучего), № 5.
Ли Сеныр — Водопад Куроён (Стихи. Перевод с корейского В. Летучего), № 5.
Маркопулос Георгос — Мой отец хотел построить дом и др. стихи (Перевод с греческого С. Ильинской), № 7.
Молескис Георгиос — Рассыпаются мысли... и др. стихи (Перевод с греческого Евгения Долматовского), № 12.

МОЛОДЫЕ ПОЭТЫ ГРЕЦИИ (Вступление и перевод с греческого С. Ильинской). № 7.

Нгуен Бинь — Белая бабочка, шелк золотой... (Стихи. Вступление и перевод с вьетнамского Ильи Фонякова), № 9.
Окар Эммануэль — Из книги «Город или остров». Письмо (Перевод с французского Натальи Стрижевской), № 12.
Падрон Хусто Хорхе — Лирика (Вступление и перевод с испанского Н. Ванханен), № 4.
Патилис Яннис — Дни 1973 года и др. стихи (Перевод с греческого С. Ильинской), № 7.
Пен Хонен — Сосна над отвесной скалой (Стихи. Перевод с корейского В. Летучего), № 5.

Поповский Анте — Небольшой урок математики сыну и др. стихи (Перевод с македонского Давида Самойлова. Вступление Владимира Огнева), № 3.

Руссло Жан — О чем они могут друг с другом... и др. стихи (Перевод с французского Мориса Ваксмахера), № 1.

Сегерс Пьер — Ты приходишь сюда и др. стихи (Перевод с французского Мориса Ваксмахера), № 1.

Сурита Рауль — Кордильеры и др. стихи (Вступление и перевод с испанского Евг. Евтушенко), № 2.

ТАНКА НОВОГО ВРЕМЕНИ (Вступленне и перевод с японского А. Долина), № 7.

Тен Мунхян — Куроён. Над мостом Ченсендэ (Стихи. Перевод с корейского В. Летучего), № 5.

Три патриарха французской поэзии (Вступление и перевод с французского Мориса Ваксмахера). № 1.

Френо Андре — Древний край и др. стихи (Перевод с французского Мориса Ваксмахера), № 1.

Шагал Марк — Сад и др. стихи (Перевод с идиш Льва Беринского), № 5.

Этьен Мари — Гамлет в своем дворце. Страсть и камни (Перевод с французского Мориса Ваксмахера), № 12.

ЛИТЕРАТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ

Ален — Суждения (Составление, вступление и перевод с французского С. Зенкина), № 11.

«Арфа царя Давида» (У истоков древнейшей лирической традиции. Вступленне и перевод с древнееврейского Сергея Аверинцева). № 6.

Байрон Джордж Гордон — Тьма. Прощай. Стихи (К 200-летию со дня рождения. Перевод с английского Юрия Кузнецова. Послесловие А. Зверева), № 1.

Бродский Иосиф — Большая элегия. Джону Донну, № 9.

Донн Джон — Четыре стихотворения (Перевод с английского Иосифа Бродского. Послесловие Вячеслава Иванова), № 9.

Кафка Франц — Замок (Роман. Перевод с немецкого Р. Райт-Ковалевой. Вступление А. Гулыги), № 1—3.

Лу Ю — Нежно-румяные руки... и др. стихи (Вступление и перевод с китайского Мих. Басманова), № 10.

Пессоа Фернандо — Клубятся тучи в вышине и др. стихи. Из «Книги тревог» (К 100-летию со дня рождения. Вступление А. Гелескула. Переводы с португальского Г. Зельдовича, А. Гелескула, Т. Родименко), № 11.

Унгаретти Джузеппе — Погребенный порт и др. стихи (К 100-летию со дня рождения. Перевод с итальянского Евгения Солоновича), № 3.

ПУБЛИЦИСТИКА

Асоян Борис — Принципы Додо (Вступление Аполлона Давидсона), № 10.

Вальраф Гюнтер — Взгляд в досье (Вступление и перевод с немецкого Алексея Григорьева), № 1.

Дмитриева Н. — Живое прошлое. Судьбы искусства: век XIX, век XX, № 1, 2.

Дюрко Ласло — 1956. Предварительное исследование и прагматическое изложение событий (Главы из книги. Перевод с венгерского и комментарий П. Бондаровского), № 7, 8.

Желицки Б. Й. — Уроки современной трагедии (Заметки историка), № 9.

Зотов Владимир — Китай: десять лет по пути обновления, № 5.

Каграманов Ю. — Ищут «утраченное будущее» (О так называемом альтернативизме в США), № 2.

Кралль Ганна — Опередить Господа Бога (Вступление и перевод с польского К. Старосельской. Послесловие Евг. Евтушенко), № 4.

Малерба Луиджи — Письмо из Рима (Перевод с итальянского Ф. М. Двин), № 1.

Мотылева Т. — Друзья Октября и наши проблемы, № 4.

Степанов А. — Принцип Питера, теорема Антонова и другие открытия века, № 11.

Фекете Дюла — Ограбление будущего (Размышления о новой форме эксплуатации. Перевод с венгерского Ю. Гусева), № 5, 6.

Хаммер Арманд (При участии Нейла Линдона) — Хаммер (Главы из книги. Авторизованный перевод с английского Галины Салливан), № 2, 3.

Ханкиш Элемер — В кривом зеркале? (О воздействии венгерских и американских телепрограмм. Перевод с венгерского П. Бондаровского), № 6.

Шумахер Тони — Судейский свисток (Фрагменты книги. Вступление и перевод с немецкого Павла Френкеля), № 7.

Шютт Петер — Поездка в Иран (Главы из книги. Перевод с немецкого В. Брун-Цехового), № 8, 9.

Якокка Ли (При участии Уильяма Новака) — Якокка: автобиография (Фрагменты книги. Перевод с английского И. Гуровой), № 12.

ДОКУМЕНТАЛЬНАЯ ПРОЗА

Мерль Робер — Солнце встает не для нас (Роман-репортаж. Перевод с французского Ю. Стефанова. Вступление Алеся Адамовича), № 10.

КУЛЬТУРА И СОВРЕМЕННОСТЬ

Абэ Кобо — Запад — Восток: встреча культур (Перевод с японского Б. Никольского), № 9.

Замойский Л.— По образу и подобию, № 1.

Замойский Лоллий — Делайте вашу игру, литераторы от бизнеса!, № 9.

ОТКЛИКИ, ВСТРЕЧИ, ВПЕЧАТЛЕНИЯ

Айтматов Чингиз — Гундула и ее братья, № 3.

Муравин Геннадий — Эльви Синерво: «Я так люблю смотреть на облака...», № 6.

КРИТИКА

АМЕРИКАНСКИЙ РОМАН СЕРЕДИНЫ 80-х: «ПАССИВНЫЕ ПРОРОЧЕСТВА»?, № 2.

Андре Робер — Вчера и сегодня (Перевод с французского И. Истратовой), № 9.
Балашова Тамара — ...Сегодня, № 9.

ГАБРИЭЛЬ ГАРСИА МАРКЕС РАССКАЗЫВАЕТ О СЕБЕ (Перевод с испанского Н. Богомоловой), № 3.

Гаррард Кэрол и Джон — Торжество традиции (Американская литература факта и русская художественная литература. Авторизованный перевод с английского И. Дорониной), № 5.

Гулыга Арсений — В призрачном мире бюрократии (Франц Кафка и его роман «Замок»), № 3.

Доктороу Эдгар Лоренс — Пафос призвания (Авторизованный перевод с английского М. Дубровской), № 2.

Ерофеев Вик.— «Поэта далеко заводит речь...» (Иосиф Бродский: свобода и одиночество), № 9.

Затонский Д — Нобелевская премия полвека спустя (Штрихи к портрету Элиаса Канетти), № 7.

Зверев А.— Необходимый скепсис, № 2.

Зверев А.— Крушение утопии, № 11.

Земсков В.— Искусство века великой метаморфозы (Актуальные заметки о Габриэле Гарсиа Маркесе и о нас самих), № 3.

Ивбулис В.— Поиск идеала и реальность (Индия в произведениях П. Скотта, О. Хаксли, Дж. Керуака и Г. Снайдера), № 2.

Карякин Юрий — Две войны за небытие, или О службе последней черты, № 8.

КЛАССИКА И МЫ, № 8.

Копелев Л.— О Генрихе Бёлле, № 12.
Мисима Юкио — Патриотизм (Перевод с японского Г. Чхартишвили), № 10.

Мотылева Т.— Перечитывая Льва Толстого, № 8.

Мотылева Т.— Духовная драма Бехера, № 11.

НАВСТРЕЧУ НАШИМ ПУБЛИКАЦИЯМ, № 10, 12.

Огнев Владимир — «Нам нечего скрывать друг от друга» (Литературный процесс в социалистических странах и новое мышление), № 4.

О ФРАНЦУЗСКОЙ ПРОЗЕ, № 9.

Перси Уокер — Роман как средство диагноза (Перевод с английского М. Дубровской), № 2.

РАССКАЗЫВАЮТ ИТАЛЬЯНСКИЕ ПИСАТЕЛИ: Луиджи Малерба, Марио Грассо, Мило Де Анджелис, Джузеппе Конте, Маурицио Кукки, Валерио Магрелли, Грегорио Скализе, Сальваторе Скалия, Пьетро Читати (Запись бесед Л. Вершинина, Е. Солоновича, И. Истратовой), № 4.

СОПОСТАВЛЯЯ ТОЧКИ ЗРЕНИЯ, № 5.

Теракопян Л.— От монологов к диалогу, № 5.
Трассар Жан-Лу — Гниенье (Перевод с французского Л. Лунгиной), № 9.
Чхартишвили Г.— Мученичество святого Себастьяна, или Завороженный смертью (Эстетика саморазрушения в творчестве Юкио Мисимы), № 10.
Элиот Т. С. «Улисс», порядок и миф (Вступление Е. Гениевой. Перевод с английского Ю. Комова), № 12.

ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ

КРИСТА ВОЛЬФ И ЕЕ ПОВЕСТЬ «АВАРИЯ» ПОД ТРЕМЯ УГЛАМИ ЗРЕНИЯ, № 1.

Карельский А.— Поэзия и мысль (Заметки о творчестве Кристы Вольф), № 1.

Косоруков А.— В поисках истины (О повести Кристы Вольф «Авария»), № 1.

Лакшин В.— Воспоминание о Дёрде Лукаче, № 7.

Олейник Борис — Сквозь окуляр доядерного опыта?, № 1.

О РОМАНЕ ГЮНТЕРА ДЕ БРОЙНА «НОВОЕ БЛАГОДЕНСТВИЕ», № 7.

Ракша Ирина — Красота первоначального замысла, № 7.
Топер П.— Опыт первого прочтения романа, № 7.

ПИСАТЕЛЬ И ВРЕМЯ

Лихачев Дмитрий, Самвелян Николай — Возвращение к Человеку. № 1.

«НЕ ПОДВОДЯ ИТОГОВ» (По страницам польской прессы. Збигнев Сафьян. Роман Братны, Ежи Яжембский, Тадеуш Конвицкий. Составление и перевод с польского Тамары Чугаиовой), № 12.

Огнев Владимир — Оскар Давичо, какой он есть... (О революции и свободе творчества. Вступление Н. Вагаповой), № 2.

ЗАМЕТКИ ПИСАТЕЛЯ

Пиларж Ян — Мы едем в Москву (Страницы из книги воспоминаний. Вступительное слово и перевод с чешского Светланы Шерлаимовой), № 10.

НАШИ ПУБЛИКАЦИИ

Земсков В. — Незрячий провидец, № 10.
Борхес Хорхе Луис — «Моя жизнь служит литературе» (Из интервью разных лет. Составление и перевод с испанского Н. Богомоловой), № 10.

МИР ХОРХЕ ЛУИСА БОРХЕСА, № 10.

Лукач Дёрдь — Великий Октябрь 1917-го и современная литература (Перевод с немецкого М. Левиной), № 6.

НАШИ ГОСТИ

Гизела Эльснер (ФРГ) — Л. Харлап, № 11.
Ева Харшани (Венгрия) — Запись беседы Л. Васильевой, № 3.
Пепетела, Жозе Луис Мендонса (Ангола) — Е. Ряузова, № 3.

АНТИРУБРИКА

Антов Ясен — Изящный Париж (Перевод с болгарского Сергея Драгомирецкого), № 11.

АФОРИЗМЫ (Перевод с норвежского Ольги Комаровой. Перевод со шведского Катарины Мурадян), № 2.

Булатович Влада — Афоризмы (Перевод с сербскохорватского Валентины Поляновой), № 11.

Вюрмсер Андре — Перед кладбищенскими воротами. Мидас (Рассказы. Перевод с французского Ирины Волевич), № 1.

Джусти Джузеппе — Покорное намерение переменить жизнь и др. стихи (Вступление Елены Сапрыкиной. Перевод с итальянского Евгения Солоновича), № 2.

Журист Эдуард — Малый специализированный словарь (Перевод с румынского Валентины Поляновой), № 11.

Каванах Патрик — Вешний день и др. стихи (Переводы с английского Григория Кружкова, Марины Бородицкой), № 4.

Кауфман Джордж С. — Спокойная тревога (Перевод с английского Юлии Рейдель), № 5.

НАУЧНО-ФАНТАСТИЧЕСКИЕ РАССКАЗЫ. Роберт Штеффен. Джордж Элек Эффинджер (Перевод с немецкого Ростислава Рыбкина, перевод с английского Н. Емельянниковой), № 12.

Пананти Филиппо — Эпиграммы (Вступление и перевод с итальянского Владимира Васильева), № 1.

ПОЛЬСКАЯ САТИРА ВОЕННЫХ ЛЕТ (Перевод с польского Вадима Климовского), № 5.

ПО СТРАНИЦАМ БОЛГАРСКОГО ЖУРНАЛА «АПРОПО», № 11.

Ралин Радой — Завет Кубрата (Перевод с болгарского Розы Бранц), № 11.

Стратиев Станислав — Пейзаж с собакой (Перевод с болгарского Росена Янкова), № 11.

Таунсенд Сью — Тяжкое отрочество Адриана Моула (Фрагменты романа. Перевод с английского Юрия Зараховича), № 7.

Црнчевич Брана — Афоризмы (Перевод с румынского Валентины Поляновой), № 11.

Чопич Бранко — Фараон (Перевод с сербскохорватского Росена Янкова), № 11.

К НАШИМ ИЛЛЮСТРАЦИЯМ

Заславская Марина — «Праздник сладостной печали», № 10.

Истратова И. — Константин Брынкуш, № 8.

Орлов А. Т. — Кришна Эсббар, № 11.

Савицкая Т. — Морис Утрилло, № 1.

СРЕДИ КНИГ

Издано в СССР

Алякринский О. — Записки сумасшедшего (Кен Кизи. Над кукушкиным гнездом), № 9.

Аникст А. — Книга об искусстве США (Е. М. Матусовская. Американская реалистическая живопись), № 1.

Вольпе М. — Черный Орфей теряет голос?, № 6.

Гаврон Е. — «...В моей руке цветок не отцветет» (Ярослав Сейферт. Прощание с весной. Избранная лирика), № 4.

Дюшен И., Озеров Лев — Связь времен и культур (Pr. Mérimée — А. С. Пушкин. С. Великовский. В скрещенье лучей. Групповой портрет с Полем Элюаром), № 8.

Захарова Н. — Добиться правды благодаря обману (Шэнь Жун. Деревенская тайна), № 9.

Здоровов Ю. — Если перевод — искусство (Перевод — средство взаимного сближения народов). № 4.

Зенкин С. — Жизнь и смерть утопии (Марио Варгас Льоса. Война конца света), № 8.

Злобина Е. — Гибель богов... (Андре Моруа. Байрон; Дэвид Вейс. Возвышенное и земное; Антонин Згорж. Один против судьбы; Роландо Кристофанелли. Дневник Микеланджело неистового), № 1.

Злобина Е. — Основания для надежды (Джойс Кэрол Оутс. Делай со мной что захочешь. Венец славы. Ангел света), № 8.

Кивель И. — Превратности равноправия (Неожиданный визит. Рассказы и повести писательниц ГДР), № 3.

Кутявина Е. — «... Самые обыкновенные плоды воображения...» (Ана Бландиана. Стихотворения. Рассказы. Эссе), № 3.

Любимова Е. — Манавака, которой нет на карте (Маргарет Лоренс. Кудесники), № 6.

Николюкин А. — «Моя вера в человека безгранична...» (Уильям Фолкнер. Собрание сочинений в шести томах), № 4.

Толмачев М. В. — Перечитывая Пруста (Марсель Пруст. В поисках утраченного времени: По направлению к Свану; Под сенью девушек в цвету; У Германтов; Содом и Гоморра), № 6.

Толмачев М. В. — Несостоявшееся знакомство (Микеланджело Буонарроти), № 9.

Хлодовский Р. — Судьба и выбор Цецилии Кин (Ц. Кин. Выбор или судьба), № 11.

ИЗДАНО ЗА РУБЕЖОМ

Березкина М. — «Биеньем пульса измеряя время...» (Мануэл Алегри. Вавилон), № 8.

Богомолова Н. — Приближение к герою (Мария Эстер Васкес. Борхес, его дни и время), № 8.

Буров В.— Романы о перестройке в Китае (Кэ Юньлу. Новая звезда. Ночь и день), № 4.

Ваксмахер Морис — История странная и таинственная... (Тахар Бен Джеллун. Священная ночь), № 6.

Вихавайнен Тимо — Что читает Финляндия?, № 11.

Гаков Вл.— Литературоведение изучает Апокалипсис (Пол Брайнс. Ядерные «холокаусты». Атомная война в художественной литературе, 1895—1984), № 1.

Генн М.— «Американский рейс» Антти Туури. (Антти Туури. Американский рейс), № 6.

Груздева Н., Злобина Е.— Феномен Гарсиа Маркеса: парадоксы прочтения, № 3.

Груздева Н.— Северное сияние для каталонцев (Литература народов советского Крайнего Севера), № 9

Ланин И.— Мир набекрень, или Достоверные невероятности Хермана Питера де Бура (Херман Питер де Бур. Мотоциклетный ангел и другие рассказы), № 4.

Ланин И.— Банальность как частный случай, или А вы счастливы жить, как живете? (Дорис Дёрри. Любовь, тоска и вся эта чертова дребедень), № 9.

Панкратова Элеонора — Многоликий Мартин Наг (Мартин Наг. Квелбелский дуб и революция. В борьбе за мир. Мир. Советская литература в Норвегии в период между войнами), № 1.

Прохорова И.— Откровения зимы (Энн Битти. Где ты найдешь меня и другие рассказы), № 3.

Скороденко В.— «Нам не дано предугадать...», или Необходимость новой жизни (Айрис Мердок. Книга и братство), № 3.

Тер-Маркарян М.— «...О красоте исчезнувшей рассказ» (Кристиан Барош. Зима красоты), № 3.

Тогоева И.— Стойкое деревце Чилоло (Чикайя У Там'си. Эти нежные плоды хлебного дерева), № 9.

ПИСЬМА ИЗ-ЗА РУБЕЖА

ЗАРУБЕЖНЫЕ ПИСАТЕЛИ О СОВЕТСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ, № 4.

Несвадба Йозеф — Вновь позывные Москвы... (Перевод с чешского Т. Н. Осадченко), № 9.

Ральф Де Буассьер (Австралия), **Патрик Смит** (США) (Перевод с английского В. Исакович), № 4.

НАША ПОЧТА

Из ответов на анкету «ИЛ», № 3—5.

Диалог с читателем: Сергей Грачев — Ю. Каграманов, № 4.

Отклики на диалог «Возвращение к Человеку» Д. С. Лихачева и Н. Г. Самвеляна, № 5.

Читатели одобряют, протестуют, предлагают..., № 10.

Редакцию посетили

Ларс Хесслинд (Швеция), **Иэн Макьюэн** (Великобритания), № 2.

Советская литература за рубежом, № 2, 6, 11.

Зарубежная литература в СССР, № 3.

Информация о планах журнала на 1989 год, № 8.

ЧИТАЛЬНЫЙ ЗАЛ

Нилин Александр — Читатель входит в роман, № 12.

ИЗ МЕСЯЦА В МЕСЯЦ, № 1—12.

АВТОРЫ ЭТОГО НОМЕРА, № 1—12.

◆

Авторы этого номера

ФРАНЦ ФЮМАН (FRANZ FÜHMANN; 1922—1984) — немецкий поэт и прозаик (ГДР), лауреат Национальной премии и других литературных премий. Многие произведения Франца Фюмана переведены на русский язык: повести и рассказы «Однополчане», «Суд божий», «Капитуляция», «Еврейский автомобиль», «Богемия у моря», «Обвинение и исповедь, призыв и надежда» вошли в книгу «Суд божий» (М., 1966), стихи, повести и рассказы — в «Избранное» (М., 1973), а также в книгу «Половина жизни. Избранная проза» (М., 1982). В «Иностранной литературе» напечатаны повесть «Барлах в Гюстрове» (1967, № 11), стихи, отдельные рассказы и публицистические выступления.

Рассказ «Нефела» взят из сборника «Ухо Дионисия» («Das Ohr des Dionysios». Rostock, Hinstorff Verlag, 1985), рассказ «Гера и Зевс» — из сборника «Скитания и возвращение Одиссея» и другие рассказы» («Irrfahrt und Heimkehr des Odysseus und andere Erzählungen». Rostock, Hinstorff Verlag, 1980).

ДОЛМАТОВСКИЙ ЕВГЕНИЙ АРОНОВИЧ (род. в 1915 г.) — советский поэт, прозаик, публицист. Лауреат Государственной премии СССР. Автор многих книг стихов, поэм и текстов песен.

ПАТРИК МОДИАНО (PATRICK MODIANO; род. в 1945 г.) — французский писатель Автор романов «Площадь Звезды («La Place de l'Étoile», 1968; литературная премия Фенеон и Роже Нимье), «Ночной дозор» («La Ronde de nuit», 1969), «Бульварное кольцо» («Les Boulevards de ceinture», 1972; Большая премия Французской академии), «Печальная вилла» («Villa triste», 1975), «Семейная летопись» («Livret de famille», 1977), «Улица Темных Лавок» («Rue de Boutiques Obscures», 1978; Гонкуровская премия), «Молодость» («Une jeunesse», 1981), «Августовские воскресенья» («Dimanches d'août», 1986) и др. Русский перевод романа «Улица Темных Лавок» напечатан Библиотекой журнала «Иностранная литература» в 1987 году.

Повесть «Смягчение приговора» вышла в Париже в 1988 году («Remise de peine». Paris, Editions du Seuil, 1988).

ВОРСАНОВА ТАТЬЯНА АВРААМОВНА — советский переводчик с французского. В ее переводах издавались романы М.-Л. Омов «Дорога» (М., 1985), «Тетя» Буало-Нарсежака (М., 1988), повесть Марилен Клеман «Ноэми и взрослые» (М., 1987 в сб. «Праздник в Бобуре»), пьеса Ф. Марсо «Яйцо» (М., 1988), рассказы и сказки М. Эме, Б. Виана, А. Лану и др.

В подборке стихов «Из французской поэзии» представлены поэты, впервые публикующиеся на русском языке:

АНРИ ДЕЛЮИ (HENRI DELUY; род в 1931 г.) — поэт, литературный критик, журналист, главный редактор журнала «Аксьон поэтик». Автор ряда поэтических сборников, в том числе «Тысячи» («Les Mille», 1978). «Двадцать четыре часа любви в июле или в августе» («Vingt-quatre heures de l'amour en juillet ou en août», 1981), составитель «Пристрастной антологии новой поэзии 1960—1982», переводчик немецкой, итальянской, португальской поэзии. Предлагаемые стихи взяты из сборника «Двадцать четыре часа любви в июле или в августе» (Paris, Édition Ipomée, 1981).

ЭММАНЮЭЛЬ ОКАР (EMMANUEL HOCQUARD; род. в 1940 г.) — поэт, прозаик, издатель. Автор многих книг стихов и прозы, среди них «Альбом зарисовок Виллы Харрис» («Album d'image de la Villa Harris», 1978), «Аэро в лесах Манхэттена» («Aerée dans les forêts de Manhattan», 1985), «Личная жизнь в Танжере» («Un privé à Tanger», 1987), «Мыс Доброй Надежды» («Le Cap de Bonne Espérance», 1988). Удостоен литературных премий Франс Кюльтюр (1985), Римской премии (1987) и др. Публикуемые стихи взяты из сборника «Город или остров («Une ville ou une petite île», P. O. L.-Hachette, 1981).

МАРИ ЭТЬЕН (MARI ETIENNE) — поэтесса и театральный деятель. Работала с Антуаном Витезом в Театре Шайо. Выпустила ряд

поэтических книг «Долгий слог» («La longue», 1981), «Кровь стража» («Le sang du guetteur», 1985). Публикуемые стихи взяты из сборника «Лик и даль» («La face et le lointain», Édition Ipomée, 1986).

ОЛИВЬЕ КАДЬО (OLIVIER CADIOT; род. в 1956 г.) — поэт, автор оперных либретто. Выпустил книги «Семь развязок в медленном темпе» («Sept détails assez lents», 1983), «Последний из Могикан» («Le dernièr des Mohicans», 1986), «Искусство поэзии» («L'art Poétic'», P. O. L., 1988), откуда взяты публикуемые стихи.

АКИЛЛЕ КАМПАНИЛЕ (ACHILLE CAMPANILE; 1900—1977) — итальянский писатель-юморист, драматург. Автор романов, сборников рассказов, пьес в том числе «Изобретатель лошади и пятнадцать прочих комедий» («L'inventore del cavallo e altre quindici commedie», 1971), «Пособие по практике разговорной речи» («Manuale di conversazione», 1973; премия Виареджо), «Спаржа и бессмертие души» («Gli asparagi e l'immortalita dell anima», 1973). Пьеса «Бедный Пьеро» была напечатана в журнале «Сипарио» («Il povero Piero». Sipario, Bompiani, 1961).

ДВИН ФРИДЭНГА МИХАЙЛОВНА — советский переводчик с итальянского. В ее переводах выходили книги Э. Петри «Рим, 11 часов», Н. Палумбо «Налоговый инспектор», Д. Сантиса «Пока ты не стал солдатом», Ф. Феллини «Делать фильм», сценарий Ф. Феллини и Т. Гуэрры «И плывет корабль» («ИЛ», 1984, № 9), Микеланджело Антониони «Тот Кегельбан над Тибром» («ИЛ», 1985, № 7) и др.

ГУРОВА ИРИНА ГАВРИЛОВНА — советский переводчик с английского. В ее переводе изданы романы А. Троллопа «Барчестерские башни», А. Азимова «Сами Боги», повесть Дж. Стейнбека «Квартал Тортилья Флэт», М. Твена «Письма с Земли», рассказы Ч. Диккенса, Э. По, Ч. П. Сноу и др.

КОПЕЛЕВ ЛЕВ ЗИНОВЬЕВИЧ (род. в 1912 г.) — критик, литературовед, переводчик с немецкого. С 1980 года живет в ФРГ. Автор книг «Сердце всегда слева» (М., 1960), «Фауст» Гёте» (М., 1962), «Брехт» (М., 1966), автобиографической трилогии «Хранить вечно» (США, 1976), «И сотвори себе кумира» (США, 1978), «Утоли моя печали» (США, 1981), «Почему мы стреляли друг в друга» («Warum haben wir aufeinander geschossen?», совместно с Г. Бёллем; ФРГ, 1981), «Святой доктор Федор Петрович» (Англия, 1985), «Дух веет где хочет. Очерки о немецких писателях» («Der Wind weht wo er will». ФРГ, 1988).

РОБЕРТ ШТЕФФЕН (ROBERT STEFFEN; род в 1952 г.) — люксембургский прозаик, поэт и музыкант. Рассказ «Дорогому папочке» («Für unsern lieben Papp1») опубликован в составленном Р. Штеффеном сборнике люксембургской научной фантастики «Рай земной» («Der Himmel auf Erden». Wiltz, Gollo Music & Literature, 1979).

ДЖОРДЖ ЭЛЕК ЭФФИНДЖЕР (GEORGE ALEC EFFINGER; род. в 1947 г.) — американский писатель-фантаст. Рассказ «В чужом облике» («The Pinch Hitters») взят из сборника научно-фантастического юмора «Смеющийся космос» («Laughing Space». Boston, Houghton Mifflin, 1982).

■

В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ:

Роман ГРЭМА ГРИНА «Монсеньор Кихот». Этот роман-диалог между священником и мэром-коммунистом отражает мысли писателя о необходимости новых отношений между коммунизмом и христианством. Роман сопровождает статья протоиерея АЛЕКСАНДРА МЕНЯ «Трудный путь к диалогу».

В центре повести ВЕРНЕРА ХАЙДУЧЕКА (ГДР) — любовная драма. Героев разделяет граница между ГДР и ФРГ, граница, которая проходит и в сознании окружающих их людей.

Стихотворения в прозе Шарля Бодлера в переводе ВЛАДИСЛАВА ХОДАСЕВИЧА.

В январском номере редакция начинает рассчитанную на год публикацию романа ДЖЕЙМСА ДЖОЙСА «Улисс».

Статья ЦЕЦИЛИИ КИН «Из хроники Коминтерна» посвящена острым проблемам международного коммунистического движения, в особенности Компартии Италии. Статья содержит много материалов, неизвестных советскому читателю.

Широкий круг проблем современности обсуждают западногерманский писатель ГЮНТЕР ГРАСС и советские участники «круглого стола» на тему: «Демократия — очень трудная вещь...»

Проблеме смертной казни посвящена публикация в новой рубрике «Тема для дискуссии»: эссе АЛЬБЕРА КАМЮ «Рассуждения о гильотине» и статья советского кинорежиссера ГЕРЦА ФРАНКА «...И не только о гильотине».

■

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР

Ч. Т. АЙТМАТОВ

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

С. С. **АВЕРИНЦЕВ**, А. М. **АДАМОВИЧ**, Н. А. **АНАСТАСЬЕВ** (первый зам. главного редактора), О. С. **ВАСИЛЬЕВ** (зам. главного редактора), Л. Н. **ВАСИЛЬЕВА**, Т. П. **ГРИГОРЬЕВА**, Ю. В. **ДАШКЕВИЧ**, Е. А. **ДОЛМАТОВСКИЙ**, Я. Н. **ЗАСУРСКИЙ**, Г. П. **ЗЛОБИН**, И. Ф. **ЗОРИНА**, Т. П. **КАРПОВА**, Е. Ф. **КНИПОВИЧ**, Т. Л. **МОТЫЛЕВА**, П. В. **ПАЛИЕВСКИЙ**, В. С. **ПЕРЕХВАТОВ**, А. Н. **СЛОВЕСНЫЙ** (отв. секретарь), Е. В. **СТОЯНОВСКАЯ**, К. А. **ЧУГУНОВ** (зам. главного редактора).

Художественный редактор **Е. Н. Черняев**. Технический редактор **Е. П. Поляков**.

Адрес редакции: 109017 Москва, Ж-17, Пятницкая ул., д. 41, тел. 233-51-47.

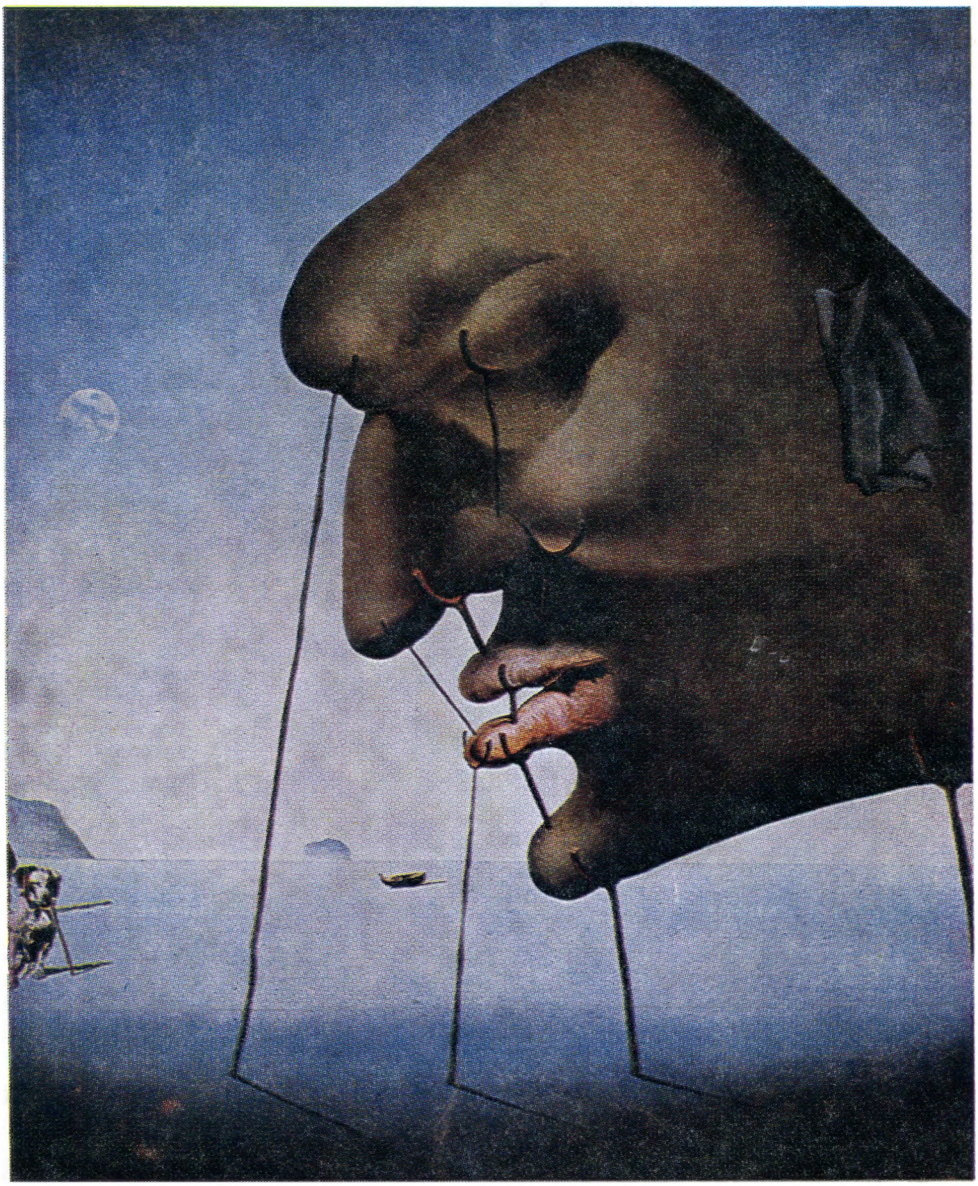
Издательство «Известия Советов народных депутатов СССР». Москва, Пушкинская пл., 5.

Журнал выходит один раз в месяц.

Сдано в набор 29.08.88. Подписано в печать 16.11.88. Формат 70×108 1/16.
Печать высокая. Объем 16 п. л., 22,4 усл. п. л., 27,20 уч.-изд. л.

Тираж 400 000 экз. (1-й завод: 1 — 350 000 экз.) Зак. 3170.

Ордена Трудового Красного Знамени типография «Известий Советов народных депутатов СССР» имени И. И. Скворцова-Степанова. Москва, Пушкинская пл., 5.

Трансформация

Цена 1 руб. 80 коп. Индекс 70394